

Кассия Сенина



КАССИЯ

ΚΑΣΣΙΑ

18+

Кассия Сенина

**Кассия**

«Автор»

2008

## **Сенина К.**

Кассия / К. Сенина — «Автор», 2008

Роман рассказывает о событиях, происходивших в Византии в первой половине девятого века. На фоне войн Империи с болгарами и арабами, церковно-политических смут и борьбы иконоборцев с иконопочитателями разворачивается история жизни и взаимоотношений главных героев — знаменитой византийской поэтессы Кассии, императора Феофила и его жены Феодоры. Интеллектуальная жизнь византийской элиты с ее проблемами и жизненной философией, быт и нравы императорского двора, ожесточенная борьба церковных партий и жизнь монахов становятся обрамлением для истории любви, которая преодолевает все внешние и внутренние препятствия и в конце концов приводит героев к осознанию подлинного смысла всего, что с ними произошло. Текст романа приводится по изданию: Кассия Сенина (Т. А. Сенина). Кассия. Санкт-Петербург: Издательский проект «Квадривиум», 2015. 944 с. ISBN 978-5-9906154-6-5

© Сенина К., 2008

© Автор, 2008

## Содержание

ЧАСТЬ I. ЗЁРНА	6
1. Монах из Филомилия	7
2. Брат и сестра	14
3. «Велика вера твоя»	22
4. Идеальный ставленник	26
5. Два Никифора	30
6. Награда для эконома Великой церкви	34
7. «Отщепенцы от Церкви»	41
8. «Стадо диких кабанов»	45
9. Принцессы острова	52
10. Полуденный бес	58
11. «Слово Божие не вяжется»	63
12. Чаша для болгарского хана	70
13. «Злой недуг»	75
14. Бремя тяжкое	79
15. Когда восходит Пес	84
16. Кольца змеи	93
17. Версиникийский разгром	104
18. Неволю василевс	110
19. Шипы	118
20. Болгарское нашествие	124
21. Грамматик	130
22. Антикенсоры	137
23. Предвестия	145
24. Свидетели истины	152
ЧАСТЬ II. БОРЬБА ЗА ОБРАЗ	160
1. Портик Мавриана	161
2. «Я оставляю вас христианами»	165
3. «Победы знамение»	171
4. Рабы Божии	178
5. «Новый Ианний»	183
6. Эконом Иосиф	189
7. Палестинцы	196
8. Новая мера	202
9. Игумен Великого Поля	209
10. «Это ничего не значит»	214
11. Вонита	221
12. «Старая кустодия»	230
13. Ветхий Рим	237
14. Маставрское дело	248
15. Исповедники	255
Конец ознакомительного фрагмента.	263

# **Кассия Сенина**

## **Кассия**

*Племя женское сильнее всех,  
И тому воистину свидетель – Ездра.  
(Св. Кассия Константинопольская)*

## ЧАСТЬ I. ЗЁРНА

*Отдельно не родится ни добро, ни зло,  
Всегда они в смешенье.*  
(Еврипид)

## 1. Монах из Филомилия

*Кто в надежде на победы домогается всё большего, не рассуждая о шаткости и неизвестности счастья, того это самомнение вовлечет в дела безрассудные.*

*(Менандр Византиец)*

Вечером третьего июня одиннадцатого индикта, когда красноватое солнце уже садилось, уступая место долгожданной прохладе, монах Варсисий, совершив обычное молитвенное правило, покинул келью: его хижина из обмазанного глиной тростника была тесна и темновата, и в теплую пору отшельник чаще проводил время снаружи, под хлипким навесом. Оглядев перекошенные грядки с чахлыми листьями свеклы, бобов и сельдерея, Варсисий вздохнул и вышел за покосившийся плетень. Ясный безоблачный закат говорил о том, что жара вряд ли спадет в ближайшие дни, – а значит, дождей не стоило ждать до самых июльских календ. Вдали, на пологом склоне холма, на вершине которого стояла Филомилийская крепость, возле белых домиков копошились земледельцы. Сошурившись, Варсисий поглядел на вившуюся в долине дорогу, ожидая, впрочем, что она будет пуста и безлюдна, – путники редко посещали Филомилий. Однако на дороге виднелось облако пыли: оно быстро приближалось, и вскоре монах различил четырех всадников, которые свернули не в сторону крепости, а на тропу, ведущую к хижине Варсисия. Отшельник на всякий случай ретировался под защиту своей убогой изгороди и скрылся в хижине, но вскоре услышал снаружи знакомый голос:

– Отче, открывай! Свои!

Монах поспешно отворил калитку и поклонился:

– Здравствуй, господин Вардан! Чем обязано наше смирение дорогому гостю?

– Здравствуй, отче! Мне нужно поговорить с тобой... только по секрету, – ответил высокий темноволосый мужчина в богатом одеянии, входя во двор к отшельнику.

Вардан Турк, стратиг восточных фем, недавно назначенный на эту должность императором Никифором, страстно мечтал о царской короне. В народе, особенно среди монахов, любили и почитали свергнутую Никифором императрицу Ирину, а нового василевса не жаловали: бывший логофет геникона уже в начале своего правления показал себя человеком жестким, более всего заботясь о пополнении казны. Он упразднил налоговые льготы, в том числе для монастырей, ввел несколько новых пошлин и, как говорила молва, готовился отяготить граждан и другими поборами, чтобы поскорей умножить государственные средства, растраченные при прежней императрице – как утверждали одни, на благотворительность, как злословили другие, на личные нужды придворных евнухов. Усиление поборов вызвало недовольство, которым и решил воспользоваться Вардан, тем более что в войсках тоже роптали на императора по причине задержки жалования, и мечта о порфире, поманившая стратига, с каждым днем казалась все более осуществимой. Филомилийский отшельник был давним знакомым Вардана, стратиг по временам обращался к нему за духовными советами, а теперь приехал, чтобы открыть свои намерения и попросить благословения и молитв.

В хижине монах предложил Вардану сесть на крышку сундука, служившего обитателю кельи и сиденьем, и хранилищем для сухарей, бобов и фиников, а сам присел на край покрытого рогожей деревянного ложа. Стратиг заметно нервничал. То и дело переменяя позу, он рассказал о своих замыслах и, склонив голову, просил молитв. Ужас отразился на лице отшельника, и Варсисий, резко встав, сказал, простирая к стратигу худые, почти костлявые руки:

– Господин, не замахивайся на такое дело! Ничего из этого не выйдет, ты потеряешь не только имущество, но и глаза и в несчастьях проведешь остаток дней! Молю тебя, послушай

моего совета – отступись! Отступись скорей от твоего намерения и даже не думай о царской власти!



Ответ монаха, слывшего прозорливцем, настолько сильно отличался от чаяний стратига, что Вардан, изменившись в лице, вскочил и выбежал из хижины. Когда он вышел за плетень, двое его спутников, которые, спешившись, ожидали стратига, подвели ему коня.

Третий спутник Турка гарцевал верхом на вороном жеребце тут же неподалеку. Самый высокий и широкоплечий из всех, с густой шевелюрой жестких волос цвета воронова крыла, горбатым носом и черными глазами, он был родом из Армении; густые брови придавали его лицу несколько угрюмое выражение. Впрочем, он действительно был неразговорчив, хотя умел при случае выражаться красиво и изящно – сын патрикия Варды, родственника Турка, он получил неплохое образование. Отвагой в сражениях Лев вполне оправдывал это имя: покинув родину, как только ему исполнилось восемнадцать, он приехал в фему Анатолик, поступил на военную службу и вскоре стяжал славу неустрашимого храбреца. Вардан, получив в управление восточные фемы, сразу включил его в число своих приближенных. Лев уже два года был женат на Феодосии, дочери патрикия Арсавира, и не так давно у них родился сын.

Два других спутника Вардана лишь недавно стали известны местным военачальникам. Один был моложе Льва, звали его Михаил, а из-за врожденного порока речи он получил прозвище Шепелявый. Среднего роста, коренастый, с небольшими темными глазами и волнистыми, но жидковатыми волосами, он был уроженцем Амория. Его мать была дочерью владельца постоянного двора на городской окраине, а отец добывал пропитание земледелием, но по настоянию жены бросил его и стал плотничать. Михаил с детства жил в бедности и, повзрослев, решил во что бы то ни стало выйти в люди. Шепелявый едва умел читать и писать, зато отличался выдающимися познаниями в скотоводстве, научившись им частью от отца, а более всего от своих дядек, отцовских братьев-земледельцев: с ходу указывал, какие из мулов пригодны для перевозок, а какие хороши для седоков и не пугливы, ловко погонял непокорных ослов и мог с одного взгляда сказать, какие из коней сильны и быстры в беге, а какие выносливы в бою; последним умением он и приглянулся Вардану.

Что касается третьего спутника Турка, то светлые волосы, круглое лицо и сероватые глаза выдавали в нем славянское происхождение. Он был старше и Михаила, и Льва, прихрамывал на одну ногу, но был очень крепок телом и силен. Молодость его прошла бурно: устроившись на службу к одному стратигу, он вступил в связь с его женой, а быв уличен, сбежал к арабам и провел там несколько лет, изучив тамошний язык и обычаи. Однако разбогатеть ему не удалось, и, возвратясь в Империю, он добрался до Амория, где в трактире познакомился с Михаилом и решил вместе с ним попытать счастья на военной службе. Звали его Фома.

Когда Варсисий, выбежавший вслед за своим гостем, увидел этих троих, он на несколько мгновений остановился, как вкопанный, с широко раскрытыми глазами, а потом бросился к стратигу со словами:

– Господин Вардан, стой! Мне надо сказать тебе кое-что важное! Прошу тебя, выслушай, Христа ради!

Стратиг возвратился, думая услышать что-то новое и – как знать? – благоприятное для своих планов: монах был настолько взбудоражен, что можно было подумать, будто ему внезапно открылось нечто из ряда вон выходящее. Но когда он вновь оказались в келье Варсисия, отшельник, не садясь, повернулся к Вардану и подрагивающим от волнения голосом произнес:

– Молю тебя, господин, оставь свои замыслы! Ты почтен высоким саном, богат, знатен, тебя уважает сам император... Не меняй все это на грядущие беды! Знай, что не ты, а твои слуги, которые ждут тебя там, завладеют престолом, сначала высокий и черный, а за ним – тот, что с отвисшей губой. Третьего тоже ждут провозглашение и славословия, но престола он не получит и погубит свою бедную душу...

– Да что ты несешь?! – вскричал стратиг. – Вот дьявол!

Стремительно развернувшись, он покинул хижину, понося монаха отборной руганью, и вскоре только следы копыт на тропе напоминали отшельнику о необычном посещении. Варсисий долго стоял у калитки, провожая взглядом четырех всадников, и по его впалым щекам текли слезы.

По дороге Вардан, громко и нервно хохоча, рассказал своим спутникам о пророчествах «шельмы-черноризца» насчет них.

– Еще один прорицатель выискался! – По суровому лицу Льва скользнула пренебрежительная усмешка.

– Вот-вот! – подхватил Фома с ухмылкой. – Им же скука смертная, отшельникам этим, сидят целыми днями одни, вот при случае и развлекаются, как могут...

– Да наврал он все, господин Вардан! – воскликнул Михаил. – Ты не волнуйся! Ну, посмотри на меня – какой из меня император?! Этот отец тут, наверное, пьет много с тоски, вот и мерещится всякое! Спьяну, знаете, и мне иногда такое привидится...

Но несмотря на эти издевки, во взглядах, которыми обменялись Михаил с Фомой, проскользнул огонек: они уже во второй раз слышали в свой адрес пророчество о царстве. Год назад, еще до назначения Вардана главнокомандующим на восток Империи, они оба, тогда состоявшие на службе у патрикия Сисиния, стратига фемы Анатолик, однажды были приглашены к нему на ужин, и, что самое странное, стратиг стал пировать наедине с гостями, выгнав всех слуг, а других приглашенных не было. Друзья исподтишка недоуменно переглядывались, но ели с аппетитом. Когда был выпит уже второй кувшин вина, Сисиний с торжественным видом поднялся с места и сказал:

– Вы, конечно, гадаете, что это я вас позвал. А вот, слушайте! Вчера возвращаюсь я в Аморий и заезжаю в трактир по дороге... А там недалеко от села этого живет мой знакомый монах, я его навещаю иногда... советуюсь, знаете, то-се... Мне говорили, он еще и пророчествует, и верно предсказывает, но сам-то я никогда не слышал, а тут... Стою на дворе, гляжу – мой черноризец идет. «О, – говорю, – приветствую, отче!» И что вы думаете? Он ничего не ответил, даже не кивнул, подошел и смотрит на меня так, смотрит... Мне прямо не по себе стало. «Ты чего, – говорю, – отче?» А он вдруг бух на колени! И шепчет: «Не прогневайся, господин, но выслушай меня, грешника! Хоть и стратиг ты, а императоров на службе у себя имеешь!» Я ему: «Ты что, отче?! За такие речи, сам знаешь...» А он: «Истинно, истинно говорю тебе! Михаил амориец и Фома хромой, что у тебя служат, корону носить будут!» – и руки к небу поднял... А потом поклонился и пошел. Совсем будто не в себе был, точно и впрямь Духом охвачен. Хорошо, разговора никто не слышал... Так что, выходит, друзья мои, я сейчас пирую с будущими императорами! Ну, за судьбу!

Ошарашенные Михаил и Фома подняли кубки. Не шутка ли всё это?.. Но даже если и так, попить они всегда не прочь! Ешь, пока дают, а там видно будет! Вино лилось рекой, и захмелевший стратиг, посмеиваясь, поднимал тосты «за будущих государей». Фома пил молча, улыбаясь и как будто не пьянея; Михаила, напротив, совершенно развезло, и он уже собрался запеть еврейскую песню – одну из тех, что ему частенько приходилось слышать в детстве в бедняцких кварталах Амория, – когда Сисиний пригласил в залу дочерей Агнию и Феклу и объявил их и своих сотрапезников женихами и невестами. Все четверо лишились дара речи. Фома сидел, как деревянный, с Михаила тотчас слетел весь хмель; оба растерянно взирали на неожиданных невест. А девушки, то краснея, то бледнея, искоса взглядывали то на свалившихся на их головы женихов, то на отца, гадая, не шутка ли это не в меру развеселившегося родителя, который на днях рассуждал о том, как выдать дочерей замуж повыгоднее, а теперь задумал породниться с простыми стратиотами, – да еще один хромой, а другой косноязычный... Но Сисиний не шутил, и когда прошло первое удивление, Михаил, повнимательнее взглянув на предложенную ему в невесты Феклу, обнаружил, что она замечательно хороша собой, и поднявшись, торжественно заявил:

– Господин Сисиний! Думаю, сегодня Сам Бог говорит через тебя, а можно ли противиться Богу! – И они с Фомой согласились на внезапное предложение.

Тут же были позваны остальные домашние, и застолье превратилось в пир по поводу помолвки, затянувшись глубоко за полночь. Правда, невесты хранили гробовое молчание и никакой радости не выказали, но Сисиний всегда был в семье полновластным господином, все его трепетали, от супруги, теперь уже покойной, до слуг, и какое-либо непослушание представлялось немислимым...

– Если черноризец и наврал, так это нас не касается, – тихо сказал Михаил Фоме, когда они уже под утро уходили от стратига. – Дурак или не дурак Сисиний, что поверил ему, но мы-то с тобой точно не в проигрыше!

– Угу, – пьяно улыбнулся Фома.

Однако не прошло и трех месяцев после того, как друзья стали зятьями стратига, и судьба обошлась с ними самым вероломным образом. Было перехвачено некое «мятежное» письмо Сисиния к низложенной императрице Ирине, и василевс Никифор лишил стратига всех имений и отправил в далекую ссылку. Потеряв сразу и тестя, и покровителя – Сисиний умер в изгнании спустя пять месяцев, – Михаил и Фома с супругами уже приготовились к бедности и скитаниям, но тут им опять повезло: они попались на глаза Вардану, который, затеяв мятеж, собирал вокруг себя всех так или иначе обиженных императором. И вот, сейчас пророчество подтверждалось, хотя в несколько иной версии, не слишком благоприятной для Фомы. Зато Михаил сильно задумался...

Между тем, Вардан, вдоволь насмеявшись над «обезьяной в рясе», махнул рукой на предсказание Варсисия. Мечта о пурпуре уже настолько завладела стратигом, что расстаться с ней было трудно, а пророчество монаха казалось совершенной нелепостью. «Ну, положим, представить Льва на троне еще можно, – думал Вардан. – Но император шепелявый и полуграмотный... Что за чушь! А я, дурак, еще считал этого враля Божиим человеком!»

На следующий день стратиг принялся собирать против императора Никифора большое войско – за ним пошли четыре восточные фемы, за исключением отказавшегося повиноваться Арменьяка, – и 19 июля начал восстание.

...Впоследствии Вардану не раз пришлось вспомнить пророчество «шельмы-черноризца». Когда мятежные войска подошли к Хрисополю, император послал к восставшим Иосифа, эконома столичного храма Святой Софии, и он, вступив от имени василевса в переговоры со стратигом, одновременно начал тайно уговаривать приближенных Турка сложить оружие, обещая прощение и всяческие милости. Шепелявый Михаил согласился сразу и убедил Льва последовать его примеру. Фома остался с Варданом, но после отхода значительной части войск провал восстания был очевиден. Мятежный стратиг отступил к Малагинам и вскоре, отчаявшись в успехе, покинул войско, постригся в монахи и удалился на остров Проти. Император в наказание лишил имений многих архонтов, поддержавших бунт, и оставил войско без жалования, зато не поскупился на награды тем, которые добровольно присоединились к нему до окончания мятежа: Лев получил должность начальника федератов и дворец Дагисфей к северо-западу от Ипподрома, а Михаил стал комитом шатра при стратиге Анатолика и владельцем небольшого дворца Кириан в районе Влахерн.

В Амории, главном городе Анатолика, Шепелявый приобрел особняк, и там в конце июня Фекла родила сына. Мальчика крестили на сороковой день, в праздник Рождества Богородицы, причем воспитателем его от купели стал Лев, нарочно ради этого приехав в гости к другу. Михаил дал сыну имя Фебфил – в память собственного отца, уже умершего.

Время шло, император Никифор, хотя постоянно опасался заговоров, всё же довольно прочно утвердился на престоле; казалось, ничто не предвещало смены власти, и слова монаха из Филомилия представлялись нелепой фантазией. Лев уже и думать о них забыл, тем более

что не знал о той части пророчества Варсисия, которая касалась Вардана и сбылась спустя несколько месяцев после мятежа: несчастный Турк, несмотря на обещание василевса не карать его и позволить мирно жить в монастыре, был ослеплен по приказу Никифора. Михаил, однако, запомнил слова прорицателя. Тогда, знойным июньским вечером, стоя у подгнившего частокола, он успел рассмотреть монаха, прорекшего, как оказалось, ему царство: Варсисий отнюдь не походил на «шельму», и чем чаще Михаил размышлял о пророчестве, тем больше крепло в нем убеждение, что слова отшельника непременно сбудутся...

## 2. Брат и сестра

*Глушцам отрадно хвастовство крикливое,  
Но мудрому – молчанье и покой души.  
(Георгий Писиды)*

8 сентября – в тот самый день, когда Вардан Турк решил сложить оружие и ночью тайно покинул мятежное войско, – Георгий, протоспафарий и член Синклита, сидел у себя дома за обеденным столом, отделанным слоновой костью, и с ожесточением расправлялся с внушительным куском жареной свинины, приправленной индийским перцем и корицей. Двое слуг стояли у него за спиной, готовые исполнить приказания господина, и время от времени многозначительно переглядывались: хозяин был явно не в духе. Георгий принадлежал к числу людей, которые никогда не могут почувствовать себя счастливыми: несмотря на то, что его жизнь была вполне благополучна и устроена, он постоянно находил поводы для гнева или зависти.

Он происходил из семьи обедневшего македонского землевладельца, который был вынужден продать большую часть своих поместий и жил, плохо сводя концы с концами; в довершение бедствий мать семейства умерла, оставив отца с двумя детьми на руках. Георгий был старше своей сестры Марфы на восемь лет и, когда ему пошел шестнадцатый год, с благословения отца отправился искать счастья в Царствующий Город. Константинополь поразил молодого провинциала: огромные площади и широкие центральные улицы, вымощенные мраморными плитами, где рядом с одетыми в шелка сановниками можно было встретить безобразных нищих в отрепьях; роскошные портики и высокие колонны; многочисленные статуи работы знаменитых античных мастеров, свезенные со всей Империи для украшения Нового Рима; поднимающиеся тут и там прекрасные храмы; величественные дворцы с золочеными крышами, облицованные мрамором и украшенные барельефами; особняки богатей, окруженные великолепными садами; шумные рынки, где можно было купить всё, что угодно, от простого ячменного хлеба до одежд из драгоценного шелка и багдадских узорчатых ковров; и, наконец, величественно плывший над Городом купол Святой Софии... Глядя на всё это великолепие, потрясенный юноша думал: «Надо обосноваться здесь во что бы то ни стало!» Теперь ему внушала тоску и ужас одна мысль о том, что в случае неудачи придется вернуться домой, к жизни среди виноградников и ячменных полей, в окружении земледельцев в вечно испачканной землей одежде, с грубыми манерами, часто неспособных связать двух фраз, поскольку их постоянным обществом были овцы, козы и собаки. Немало походов и злоключений выпало на долю Георгия, однако юный честолюбец добился своего: умевший втираться в доверие к вышестоящим путем искусной лести и разных приемов, которым он Бог весть, у кого научился, экономный до скарелности и расчетливый, через семь лет он был женат на дочери богатого константинопольского купца, имел особняк рядом с форумом Феодосия, носил титул протоспафария и заседал в Синклите. Когда отец написал ему, что Марфу неплохо бы тоже устроить в столице, Георгий немедленно пригласил сестру к себе, собираясь выдать ее замуж так, чтобы этот брак мог упрочить его собственное положение при дворе.

Марфе в то время исполнилось пятнадцать. Ее нельзя было назвать красавицей, но было что-то запоминающееся в разрезе ее больших темных глаз и овале смугловатого лица, обрамленного темно-каштановыми волосами. Поселившись в доме брата, она жила почти затворницей, пряла лен, читала Псалтирь и по воскресеньям и праздникам, а иногда чаще ходила в церковь. Георгий обращался с сестрой со снисходительностью старшего, накопившего немалый жизненный опыт, воображая, как устроит ее брак, и как она потом будет до гроба ему благодарна за братскую любовь и заботу...

Но почтенного синклитика постигла неудача: пока он был выбирал подходящую партию для сестры, стараясь не прогадать, Марфа сама позаботилась о себе. Все началось со случайной встречи в воскресенье на выходе из Святой Софии. Народу было так много, что в толкотне Марфу оттеснили от ее служанок; она слегка растерялась и, отойдя в сторону, встала в простенке между дверями из нартекса в храм, надеясь, что девушки отыщут ее, когда схлынет толпа. Но тут к ней, как назло, привязался оборванец, выклянчивая милостыню. Марфа дала ему обол, и он скрылся в толпе, однако вскоре появился в окружении десятка таких же попрошайек. Они окружили девушку, с жалобным нытьем протягивая к ней грязные руки, а один, видимо, чтобы вызвать побольше сочувствия, распахнул на груди лохмотья и показал ужасную незаживающую язву. Марфе стало дурно. Она беспомощно огляделась вокруг, уже готовая заплакать, и вдруг поймала взгляд выходившего из храма в нартекс высокого молодого человека. Она умоляюще посмотрела на него, а он, тут же оценив ее положение, быстро подошел, сунул в руку каждому попрошайке по мелкой монетке и строго сказал:

– А теперь брысь! И не смей больше приставать к госпоже!

Оборванцы немедленно исчезли.

– Благодарю тебя, господин! – воскликнула Марфа. – А то я не знала, что и делать...

– Не стоит благодарности, госпожа. – Молодой человек слегка поклонился, и девушка отметила, что у него густые вьющиеся волосы золотисто-русого оттенка, очень красивая осанка и изящные манеры. «Придворный, наверное», – подумала она. А он несмело спросил: – Но почему ты здесь одна, госпожа?

– Я не одна, я со служанками, но их унесло толпой. – Девушка улыбнулась. – Я решила тут подождать, пока они разыщут меня... О, да вон они! Анфуса, Мира! – Марфа помахала им рукой.

Как только служанки подошли, молодой человек весело сказал:

– Вот вам ваша госпожа, в целостности и сохранности! Не бросайте больше ее одну! – и, еще раз поклонившись Марфе, исчез в толпе.

По дороге домой девушка рассказала служанкам о своем «избавлении» от оравы нищих и вдруг всплеснула руками:

– А я ведь даже не спросила его имя! Как жаль! Не знаешь, за кого и молиться...

– Но можно ведь просто «о благодеющих нам», госпожа, – сказала Анфуса.

– Ну, да, – кивнула Марфа. – А всё-таки с именем было бы лучше, – добавила она задумчиво.

Возможность узнать это имя неожиданно представилась всего неделю спустя, в Книжном портике, куда Марфа часто заходила после литургии, прежде чем отправиться домой. Своих денег на покупку книг у нее не было, а в доме брата книг почти не водилось, поэтому девушка подолгу задерживалась в портике, перелистывая рукописи. Особенно она любила смотреть книги с рисунками и орнаментами, вздыхая про себя: «Какая красота! Но мне такое никогда, верно, не купить, ужас, как дорого!» И вот, осторожно перелистывая большую Псалтирь с миниатюрами, сделанными, впрочем, не слишком умелой рукой, Марфа услышала рядом голос, показавшийся ей знакомым. Повернув голову, она увидела того самого молодого человека: он что-то обсуждал с продавцом.

– Ах! – воскликнула она, быстро подойдя к нему. – Как хорошо, что я тебя встретила, господин!

Молодого человека звали Василий, он служил при дворе в чине кандидата. Они познакомились, разговорились, и встречи их в Книжном портике, как будто бы случайные, стали своего рода традицией.

– О, госпожа Марфа, какая неожиданность! – говорил он, входя под отделанные мрамором своды портика и видя девушку у прилавка.

– Вот так встреча, господин Василий! – чуть улыбалась она, и они церемонно раскланивались.

Правда, кое для кого из слуг не было секретом, что этими встречами молодые люди были обязаны вовсе не случаю, но никто из сопровождавших Марфу при ее выходах из дома или носивших ее письма к Василию, не донес Георгию о Марфином знакомстве: слуги понимали, что девушка вряд ли будет счастлива, если проведет всю жизнь в атмосфере, царившей в семействе протоспафария, а они успели полюбить ее, – не в последнюю очередь за то, что она, в отличие от их хозяина, никогда не обращалась с ними пренебрежительно и высокомерно. Наконец, через два месяца Василий сделал Марфе предложение, а еще через две недели она сообщила брату о своих намерениях. Георгий был в гневе – ведь он уже почти уладил дело с выдачей сестры замуж за одного патрикия, имевшего при дворе значительные связи и много друзей, – но отговорить сестру не смог. Девушка проявила неожиданную твердость.

– Знаешь, что? – сказала она брату. – Я не собираюсь служить тебе разменной монетой! И не хочу приносить себя в жертву твоему честолюбию! Ты устроил свою жизнь, как хотел, позволь и мне сделать то же!

– Ты... – Георгий задохнулся от возмущения. – Да как ты смеешь! Я тебя сюда пригласил, приотил, а ты!.. Как ты посмела так себя вести?! Это неприлично! Как ты вообще могла вступать в разговоры с незнакомым мужчиной? Это не пристало девушке из хорошей семьи! Так не выходят замуж приличные девицы! И этот Василий – где его только воспитывали?! Он должен был посвататься к тебе через твоих родителей, обратиться к отцу... а прежде всего ко мне! Разве не на моем попечении ты живешь? – Протоспафарий всё более распалялся. – Вот погоди, я напишу отцу и расскажу ему, что ты учудила! Вот посмотрим, что он скажет!

Марфа рассмеялась:

– О, не беспокойся, папа уже всё сказал! – С торжествующим видом она сунула брату в нос письмо отца, который давал родительское благословение на ее брак с Василием.

Оставив сестру в родном доме еще ребенком, Георгий совсем не знал ее характера. А Марфа, хотя вела себя как можно тише, скромнее и незаметнее, очень быстро оценила обстановку в доме брата и поняла, что Георгий готовит ей, подыскивая жениха, ту же участь, что и собственной жене – довольно красивой, но бесцветной женщине, голоса которой почти не было слышно в доме и в чью голову даже не приходила мысль подвергнуть критике те или иные взгляды и привычки супруга. Но в сердце Марфы жила неосознанная тяга к чему-то большему, чем роль молчаливой и всегда покорной жены, которая нянчит детей, занимается домашним хозяйством, по воскресеньям ходит в церковь в пышных нарядах, а вечера проводит за прялкой. Василий открыл ей другой мир, в котором были книги с творениями святых отцов и произведениями древних поэтов, беседы о прочитанном... И этот мир осеняла живая вера в Бога, которую сохранила в душе Марфа, но давно утратил ее брат.

Сыграв свадьбу, молодые стали жить во Влахернском районе Города в доме Василия, перевезя туда и престарелого отца Марфы, который умер четыре года спустя. Георгий долго гневался на сестру за неудачный, на его взгляд, брак: придворный невысокого чина, Василий не имел большого состояния, а при его тихом и скромном нраве ожидать, что он постарается сделать карьеру, не приходилось. Самым милым местом для Василия был семейный очаг, а на придворные дразги он смотрел с плохо скрываемым отвращением. При встречах брат не прочь был укорить сестру за «бестолкового» мужа, а та неизменно отвечала ему какой-нибудь колкостью, вызывая у него еще больший гнев. «Вот увалень! – думал Георгий о Василии. – Так всю жизнь и проходит ведь в кандидатах... Хорошо еще, не сорит деньгами, а то бы Марфа с ним по миру пошла! Но это у них пока нет детей, а когда они заведут хотя бы двоих?.. Ну, сестрица, ну и бестолочь!»

Но внезапно всё изменилось. В течение года умерли родители Василия, оставив ему небольшое состояние; а еще через год скончался его дядя по отцу, богатый фракийский зем-

левладелец: его дети поумирали в юном возрасте, и он завещал свои поместья племянникам; треть земель досталась Василию. Не успел еще наследник сообразить, что ему делать со свалившимися на его голову именьями, как умер его дядя по матери, известный константинопольский аргиропрат, также бездетный вдовец, и почти всё его состояние отошло к Василию: помимо внушительных сумм, исчислявшихся в литрах золота, молодому кандидату достался целый сундук ювелирных украшений и драгоценностей, не выкупленных заложившими их некогда владельцами. Так вчерашние скромные супруги внезапно превратились в одних из самых богатых людей в Константинополе, не употребив для этого ни усилий, ни ухищрений, не лести, ни подкупа, не участвуя в дворцовых интригах и не заводя «выгодных друзей». Уже одно это выводило из себя брата женщины, которую он еще недавно укорял за брак, обрекший ее на «полунищее» состояние.

Но дальше поводов для зависти у Георгия только прибавлялось. Вскоре Василий и Марфа поселились в просторном двухэтажном особняке в центре столицы, вблизи форума Константина. Марфа вдруг проявила таившиеся в глубине души способности, и дом их был отделан с замечательным вкусом и великолепием. Приходя к сестре в гости, Георгий умирал от зависти: он сознавал, что, даже отделав собственный дом убранством по той же цене, он всё равно не смог бы добиться такой исключительной красоты, отпечаток которой лежал на всем, к чему прикасались проворные руки Марфы. Сестра теперь ходила в дорогих шелках и изящных украшениях, выходя на улицу в окружении свиты из рабынь и слуг, но при этом сохранила внутреннюю простоту бедной провинциалки. Жизнь с супругом сказалась на ней благотворно совсем не в том направлении, о котором мечталось Георгию: Василий был хорошо образован и любил читать, а с тех пор как нежданно разбогател, стал тратить значительные деньги на пополнение домашней библиотеки. Марфа тоже пристрастилась к чтению, и часто по вечерам после ужина супруги с увлечением обсуждали какую-нибудь трагедию Еврипида или размышляли над тем или иным святоотеческим писанием...

Время шло, и зависть к сестре в Георгии опять сменилась гневом. Во-первых, Василий даже и не подумал потратиться на то, чтобы купить себе какой-нибудь более высокий титул и приобрести влияние в известных кругах. Он так и остался при своем чине кандидата и по-прежнему избегал погружаться в придворную жизнь, – а значит, Георгий никак не мог использовать в своих целях внезапное обогащение сестры. Во-вторых, несмотря на двенадцать лет совместной жизни, у Василия и Марфы до сих пор не было детей, тогда как у Георгия родились уже три сына и дочь. Он не верил, что Марфа, его родная кровь, может быть бесплодной, а потому валил вину на ее мужа: «Вышла, тоже мне, за какого-то!..» Впрочем, под видом беспокойства о счастье сестры, Георгия куда больше беспокоила участь ее имущества: «Этак они еще поживут немного без детей, да и начнут жертвовать все на богадельни и на прокорм этих бездельников-монахов!»

А Марфа с мужем по вечерам всё чаще грустили в своем красивом доме, хотя почти никогда не говорили о своем горе и ни в чем не обвиняли друг друга. Настойки и порошки, которые врач выписывал Марфе, ничем не помогли, и в конце концов она перестала их пить. Оставалось только молиться о даровании ребенка и в минуты уныния перечитывать библейские истории и жития, где говорилось о чудесном рождении дитяти у бесплодных родителей...

Георгий не очень-то верил в чудеса, а вот поворчать очень любил, особенно на сестру, что не преминул сделать и сегодня. После праздничного богослужения в честь Рождества Богородицы и Крестного хода из Святой Софии в Халкопратийский храм, протоспафарий, проводив императора во дворец, возвращался домой и под арками Милия встретил сестру, шедшую из церкви. Марфа, как всегда, изящно одетая, в темно-зеленой тунике и мафории более светлого оттенка, шла в сопровождении служанок, не глядя по сторонам, и если бы брат не подошел к ней, она бы его не заметила. Они поздоровались, и Георгий сказал:

– Ну, что, богомолка, все молишься?

– Да... Что же еще делать в храме? – спросила Марфа, глядя на него слегка насмешливо. Она знала, что брат, бывая в церкви, частенько был занят не молитвой, а обменивался новостями и обсуждал дела с друзьями и знакомыми.

Георгий не замедлил с ответным ударом:

– А толку-то от твоих молитв? Нет, чтоб детей побольше вымолить!

Протоспафарий не отличался тактичностью и с завидным постоянством при встречах с сестрой заводил речь об одном и том же, как будто больше им не о чем было говорить... Впрочем, тем для бесед у них действительно давно не находилось. Георгий, поселившись в столице, заботился о деньгах и карьере, но не о собственном образовании, уверенный, что за деньги можно купить расположение и умных людей, а самый великий философ без денег будет вынужден ютиться по тесным квартиркам и зарабатывать на жизнь уроками. Поэтому он так и остался при знаниях, полученных в начальной школе, и часто даже не понимал шуток своей уже весьма начитанной сестры, за что тоже сердился на нее, а еще больше на Василия как виновника этого: «излишнее образование», по мнению Георгия, женщине могло только повредить. Марфа, со своей стороны, смотрела на брата со снисходительной жалостью, и его выпады уже давно не задевали ее. Но сегодня она была в унынии и потому ответила слегка раздраженно:

– Можно подумать, молитвы нужны, только чтобы выпрашивать земное благополучие!

– А что ж, – усмехнулся Георгий, – об одном спасении души, что ли, прикажешь заботиться? Вот сейчас, да, всё побросать, всё имущество разбазарить попрошайкам и жуликам в рясах, а самим жить в темном углу и душу спасти! Это, знаешь ли, там... для монахов! А мы с тобой люди мирские, как ни поверни, и должны думать...

– Вот и думай – сам за себя! А меня оставь в покое! Всё, что ты можешь мне сказать, я уже слышала не раз, и память у меня пока, слава Богу, хорошая, так что не стоит повторяться! До встречи!

Марфа холодно кивнула брату и пошла прочь быстрым шагом, служанки едва поспевали за ней. «Эк побежала!» – неодобрительно подумал Георгий: по его представлениям, для знатной женщины так быстро ходить было неприлично.

И вот теперь, заедая свинину фригийской капустой, Георгий, вспоминая «дерзость» сестры, просто разрывался от гнева. Разве он не желает ей добра?! И разве он безбожник какой-нибудь? Но нельзя же, дьявол побери, впадать в такой... аскетизм! Всему есть мера... Правда, конечно, с его стороны было ошибкой год назад намекнуть Марфе, что ради продолжения рода не грех бы ей на время завести любовника. Сестра тогда так рассердилась на него, что несколько месяцев при встрече не здоровалась и даже, завидев брата, переходила на другую сторону улицы... Но разве есть толк во всех этих ее молитвах и хождении по городским святыням? Если до сих пор не помогло, так уж, верно, и не поможет... Еще, чего доброго, эти монахи, с которыми она якшается, убедят ее принять постриг – дескать, «не благословляет Господь детьми, и в этом указание...» Но ведь и лекарства тоже не помогают... Тьфу, проклятье! Проклятье!..

...Придя домой и едва прикоснувшись к поданному обеду, Марфа сидела на террасе, погружившись в невеселые думы. Наконец, она позвала служанку и велела принести Евангелие, которая любила открывать наугад и читать, когда у нее было скорбно или уныло на душе. Раскрыв книгу, она прочла: «И жена некая, будучи в тчении крови двенадцать лет, и много пострадала от многих врачей, и расточив всё свое, и не получив никакой пользы, но придя еще в худшее положение, услышав об Иисусе, подойдя в народе сзади, прикоснулась к ризам Его; ибо говорила: если прикоснусь ризам Его, спасена буду. И тотчас иссяк источник крови ее, и она уразумела телом, что исцелилась от язвы...»

«Христа окружало множество народа, – подумала Марфа, – а исцелилась только одна эта женщина! Потому что она верила. А мы? Что у нас за вера! Постоим на службе, помолимся утром и вечером, ну, пожертвуем что-нибудь бедным... А так – все время в суете, о Боге не помним... Но ведем себя так, как будто Бог нам еще и должен что-то – как же, мы ведь потратили драгоценное время на несколько молитв или службу выстояли! Того и гляди начнем требовать у Него: “Отдай мне, что должен!” Наверное, потому и не получаем просимого...» Слезы навернулись у нее на глаза.

– Господи! – прошептала она, – неужели мы так и умрем бездетными?..



ЛЕЗВЫ НАБЕЖУЛИСЬ У НЕЕ НА ГЛАЗА.



### 3. «Велика вера твоя»

*...твое имя. Хорошо, что оно так странно, так односторонно, музыкально, как свист стрелы или шум морской раковины; что бы я стал делать, называйся ты одним из тех благозвучных, но нестерпимо привычных имен, которые чужды Прекрасной Неизвестности?*

*(Александр Грин)*

Марфа поднялась, приказала подать носилки и отправилась во Влахерны, по дороге предаваясь мрачным мыслям. Ее брат, с тех пор как покинул родительский дом и перебрался в столицу, постоянно варился в котле придворных интриг и сплетен, стараясь отхватить все новые куски от пирога жизненных благ, к вопросам веры был равнодушен, святоотеческих книг не читал и вообще не читал почти ничего, кроме хозяйственных счетов; его настоящей религией было следование взглядам власть имущих. Марфа любила богослужения – Георгий на них зевал; она много благодарила нищим и бедным – он называл их не иначе как «тунец-ядцами» и гнал от порога; она часто жертвовала деньги на монастыри и храмы, особенно в Студийскую обитель, – Георгий считал это пустой расточительностью. Хотя брат и ворчал на сестру, что ей следовало бы вымолить «побольше детей», на самом деле он не особо верил в силу молитв, а Евангелие, пусть и лежало у него в доме на почетном месте под иконами, открывалось крайне редко. Но Марфа совсем не так относилась к вере: она подолгу молилась, много читала Писание и святых отцов – всё это было пищей для души, без которой она не могла жить. К укором брата она давно привыкла и не воспринимала их всерьез, но очередная стычка внезапно привела ее почти в отчаяние: конечно, она не подвизалась так, как те монахи или благочестивые миряне, истории о которых можно было прочесть в «Луге духовном», но всё же она старалась исполнять заповеди, каялась в их нарушениях, молилась. «И получается, всё это для того, чтобы Георгий смеялся надо мной и укорял за “чрезмерное благочестие”! – подумалось ей, когда она входила во Влахернский храм. – Нет, я не хочу, чтобы он смеялся над нами, над моей верой! Не хочу, не хочу!.. Господи, помоги нам!»

Марфа подошла к раке с ризой Богоматери и стала молиться о даровании ей ребенка.

– Матерь Божия! – шептала она. – Умилосердись над нами! Я знаю, что для христиан не обязательно продолжение рода, но всё-таки раз я замужем... Почему у нас с Василием нет детей? И еще брат смеется над нами, думает, что молитвы это все пустое... Ты Сама всё знаешь и видишь! Умоли Сына Твоего даровать нам чадо! Мы грешные, недостойны милости и ничем воздать Тебе не сможем... Но если... если наш ребенок, когда вырастет, решит посвятить себя Богу, мы не будем противиться этому! Услышь молитву мою, Владычица! Ты всё можешь!

Она молилась, стоя на коленях на прохладных мраморных плитах, и вдруг странное чувство охватило ее. Ей представилось, будто драгоценная рака словно бы исчезла, и какое-то бесконечное пространство открылось перед ней, и оттуда, из этого пространства, пришли и прозвучали в сердце слова: «О, женщина, велика вера твоя! Да будет тебе, как ты хочешь!» – и тут же всё как бы закрылось, а она ощутила себя по-прежнему стоящей на полу перед ракой. Марфа поклонилась до земли и поднялась, охваченная радостью и страхом: в душе родилась непоколебимая уверенность, что молитва услышана.

Дома она ничего не сказала мужу, хотя он, чувствуя ее внутреннее ликование, несколько раз посмотрел на нее вопросительно... Но через два месяца, прохладным осенним вечером, когда они вместе вышли в сад поглядеть на звездное небо, Марфа, с легкой краской на щеках, сказала Василию: «Знаешь, кажется... у нас будет ребеночек!» – и тогда уже рассказала, как молилась Богородице и как Она *услышала* ее.

Долгожданное чадо родилось 11 июля следующего года. Радости супругов не было предела, так же как и удивлению родственников и врача. Когда новорожденная завопила, широко раскрыв большие синие глаза, Марфа, лежавшая на постели, слабо улыбнулась мужу и сказала:

– Ну, вот, слава Богу! Дождались...

– Как мы назовем ее? – спросил Василий. – Глаза-то какие...

Марфе хотелось чего-то необычного. Пока она перебирала в уме разные имена, Василий взял со столика Псалтирь, открыл наугад и прочел: «Престол Твой, Боже, в век века: жезл правости – жезл царствия Твоего. Возлюбил Ты правду и возненавидел беззаконие: сего ради помазал Тебя, Боже, Бог Твой елеем радости больше причастников Твоих. Смирна, и стакти, и кассия от риз Твоих...»

– Кассия! – сказала Марфа. – А помнишь, так звали одну из дочерей Иова, которые родились у него после испытания?

– Да, точно! И красивее их «не было в поднебесной», – Василий улыбнулся. – Ну что, назовем Кассией?

– Да, давай! Красивое имя!

В честь крещения дочери они устроили пир, на который пригласили родственников и знакомых, и жизнь в особняке вблизи форума Константина потекла безоблачно и так счастливо, что можно было только позавидовать супругам, словно помолодевшим лет на десять после того, как дом их наполнился звуками голоса маленькой Кассии.

Однако и теперь Георгий нашел повод для постоянного недовольства сестрой: ему не нравилось, что она «якшается с монахами». Но особенно беспокоило протоспафария не само близкое знакомство Марфы с людьми в черном, а то, что эти монахи были «смутьянами»: любое противление высшей власти, церковной или светской, а тем более той и другой вместе, было для Георгия опаснейшим безумием. Главой этих «бунтарей» был человек, с которым Марфа состояла в переписке и у которого окормлялась духовно, – Феодор, бывший настоятель Саккудиона, а теперь игумен Студийский.

Знакомство Марфы со «смутьянами» произошло во время церковного разделения из-за второго брака императора Константина. Василий, обязанный каждый день участвовать в дворцовых церемониях и общавшийся с придворными, знал почти все подробности истории с новой женой василевса и последующей смутой. Василий с Марфой относились к происшедшему во дворце резко отрицательно; Марфа в очередной раз поругалась с братом, который, как всегда, целиком и полностью поддерживал императора и поносил монахов, которые протестовали против насильственного пострижения первой супруги василевса, осуждали его второй брак с любовницей, называя его «прелюбодейным», и из-за этого прекратили церковное общение с патриархом Тарасием и с императором. Узнав, где был заключен Феодор, Марфа послала ему дары и краткое письмо: она восхищалась его стойкостью и просила молитв о себе и о муже. Василий возмущался поведением патриарха:

– Он и сам побоялся обличить императора, и за своих собратий не вступился, когда с ними расправились! А ведь они защищают евангельские заповеди! Что же тогда защищает патриарх? Собственную шкуру?!

– Но ведь государь, говорят, пригрозил святейшему возобновить иконоборчество, – сказала Марфа.

– Ерунда! – Василий раздраженно махнул рукой. – Это всё слухи, ничего достоверного не известно, а то бы при дворе заговорили бы о таком... Но даже если и так – что, сразу пугаться, сразу на попятный? Не думаю, что государь мог осуществить такую угрозу. Если он и сказал такое, то просто в запальчивости... И если патриарх так поспешил этому поверить, то потому, что хотел поверить!

Когда через год после свержения императора Константина и восстановления церковного мира, Феодор и Платон с братией получили для жительства Студийский монастырь, Василий

и Марфа были счастливы увидаться с исповедниками, чтобы попросить у них благословения и молитв, и после никогда не оставляли студитов пожертвованиями. Между тем, Георгий, когда заходила речь о церковных делах, не упускал случая, чтобы не заметить сестре несколько злобно:

– А я вот говорю, что наплачемся мы еще с твоим любимчиком, ох, наплачемся! Помяни мое слово!

...Темноглазый мальчик сидел на мягком персидском ковре, подогнув под себя ногу, и на стоявшей перед ним низкой скамеечке пытался воздвигнуть сооружение из деревянных кубиков и брусочков. Время от времени постройка, из-за какого-нибудь криво положенного брусочка, падала и рассыпалась, но строитель, с тем же сосредоточенным видом, начинал всё заново. Когда дворец рухнул в четвертый раз, мальчик нахмурился и закусил губу. Видно было, что ему хотелось разбросать кубики, однако он снова поставил четыре самых больших по углам будущего здания и возобновил строительство.

– Видите, госпожа, какой упорный!

– Да, характер!

Фекла и нянька наблюдали за Феофилом, которому недавно исполнилось полтора года. Сын был единственным утешением и радостью для Феклы, которая, при всем почтении к отцу, никак не могла одобрить его выходки, в результате которой она стала супругой шепелявого Михаила. Между любителем лошадей и знатоком мулов, никогда не бравшим в руки книг, и хрупкой девушкой, зачитывавшейся проповедями Григория Богослова, действительно, не было почти ничего общего. Михаил поначалу повел себя с женой достаточно развязно, но, к своему смущению, натолкнулся на презрительную холодность: «красотка» проявила послушание отцу, вступив в брак, но пылких чувств к супругу выказывать не собиралась. Впрочем, после рождения сына ее отношение к мужу стало более теплым, но особенной симпатией к Михаилу она так и не прониклась. От природы утонченную, ее чаще не сместили, а раздражали его грубоватые шутки и страсть театрально «представляться»; его, в свою очередь, раздражала любовь жены к чтению, и он частенько посмеивался над ней, советуя «побольше глядеть не в книгу, а в зеркало, как все нормальные бабы». За два года они так и не нашли общего языка, и даже ночное «красноречие» мужа не действовало на Феклу, в результате чего он поостыл и махнул на жену рукой, сочтя про себя, что супружеская жизнь не задалась, а «все бабы дурны и злонравны». А она, просыпаясь по ночам, иной раз долго лежала с открытыми глазами и пыталась представить, как могла бы сложиться ее судьба, выйди она замуж иначе, но у нее плохо получалось. Все известные ей замужние женщины, были ли их мужья благородного происхождения или нет, жили примерно одинаково: дом, дети, походы в церковь и в баню, обмен сплетнями и обсуждения новых назначений мужей или собственных нарядов и украшений... У Феклы не было таких подруг, с которыми она могла бы обсудить прочитанную книгу или поделиться восторгом по поводу красоты солнечного заката, – не то, чтобы она боялась показаться смешной, но она чувствовала, что не встретит того отклика, какого желала ее душа. Да у нее и вовсе не было настоящих подруг: женское общество Амория не блистало изысканностью, а Фекла, с ее внешностью, которой чтение и раздумья придали еще больше изящества, с ее природной грацией и умом, выглядела среди местных матрон чужеродно. Она внутренне тосковала, хотя смирялась: «Что ж, видно, воля Божия, и надо терпеть!» Но если б не сын, жизнь ее была бы совсем безотрадней.

«Что-то из него вырастет? – думала Фекла, глядя на Феофила, собиравшего рассыпавшиеся кубики. – Только бы не подобие отца! Надо непременно нанять ему лучших учителей, и как можно раньше!» Мальчик между тем водрузил деревянный конус на вершину своего дворца и торжествующе посмотрел на мать.

– Молодец ты у меня! – Фекла поцеловала сына.

Шелковая завеса на дверях раздвинулась, и в комнату вошел Михаил.

– В игрушечки играете? – сказал он. – А на свете кое-что происходит...

– Что-то случилось? – с беспокойством спросила Фекла.

– Патриарх позавчера помер, сегодня новость из столицы привезли!

– Ах! – Фекла перекрестилась на висевшую в углу икону Богоматери. – Вечная память!..

И кто теперь будет вместо него?

– Да уж, верно, тот, кого захочет император! Впрочем, пока ничего не известно. Гонец говорит: августейший расстроен. Кажется, не видит подходящего человека...

В комнате воцарилось молчание. Маленький Феофил перевел взгляд с матери на отца, затем на няньку и снова на мать. Он не понимал, что произошло, но, казалось, тоже проникся чувством, которое в этот момент охватило взрослых: смерть патриарха Тарасия, в течение двадцати одного года управлявшего Константинопольской Церковью, стала неким порогом – и что стояло за ним?..

## 4. Идеальный ставленник

*Первое достоинство человека – знать то, что хорошо; второе – действовать, как должно. Настоящее время требует и того, и другого – и притом готовности к действию.*

*(Дексип)*

Патриарх Тарасий умер 18 февраля, в третий год царствования императора Никифора. Через две недели после того, как новопреставленного святителя с честью похоронили в храме Святых Апостолов, прохладным мартовским вечером в игуменских покоях Студийского монастыря за столом, на котором стоял медный светильник и лежали несколько исписанных листов пергамента, сидел старец-монах с морщинистым лицом, сложив на коленях слегка опухшие руки. Его небольшие темные глаза следили за другим монахом, лет сорока пяти, высоким и худым, с изжелта-бледным лицом и седеющими темными волосами, который молча ходил из одного угла в другой с озабоченным видом. Наконец, он остановился посреди кельи и устремил на старца пронзительный взгляд.

– Я не знаю, отче, что отвечать государю, – сказал он. – Сейчас нужен патриарх с железным характером, способный противиться вмешательству власти в церковные дела. Безусловно, из монахов, высокий по жизни, образованный, ревнитель канонов... Но где теперь найти такого? К тому же он должен быть избранником клира и монашества, а не просто ставленником императора...

– Но государь ведь с тем и разослал письма, чтобы выяснить, кого народ хочет видеть патриархом, – тихо проговорил старец.

– Да, но, может, это просто уловка? Спросить для вида мнение народа, а потом поступить по-своему...

– Зачем тогда рассылать письма? Он просто устроил бы совещание и предложил на одобрение своего ставленника, как покойная августа. Ведь и такое избрание легко представить всенародным.

– Пожалуй, ты прав... Но за кого подать голос? Я что-то не вижу никого действительно достойного. Этот хороший монах, но не умеет руководить; тот знает толк в управлении, но несведущ в канонах; а иной вроде всем хорош – но возникни какая-нибудь ересь, не сумеет отстоять православие... Нет пригодного к такому служению, «нет ни одного»! Печаль, печаль, отец Платон!

– Что ж, Феодор, ты ведь можешь просто написать государю, каким тебе видится идеальный ставленник, не предлагая никого определенно.

– Отче, ты читаешь мои мысли! Это единственное, что пришло мне в голову: написать о качествах ставленника и о том, как должно проходить избрание, не указывая ни на кого лично. Я тут уже набросал письмо...

Феодор взял со стола два листа и протянул Платону. Тот, слегка щурясь, стал читать, время от времени кивая головой в знак одобрения. Дочитав до конца, он отложил письмо и сказал:

– Да, всё так... Пожалуй, и исправлять нечего.

– Значит, подписываем, отче?

– Подписывай и посылай от себя, а я отвечу государю отдельно.

– Разве у тебя на уме кто-то определенный?

– Да, – Платон чуть улыбнулся.

– И кто он?

– Позволь пока умолчать об этом.

– Гм!..

Феодор пристально поглядел на дядю. Платон сидел, прикрыв глаза, и по его лицу – спокойному и немного строгому лицу аскета – невозможно было прочесть его мысли; только при-смотревшись, можно было по собравшимся в уголках глаз морщинкам догадаться, что внутренне старец продолжал улыбаться. Феодор опять заходил по келье.

– Всё равно, если император и впрямь желает, чтобы в патриархи был поставлен тот, кого захочет народ, вряд ли это возможно. Все назовут разных лиц, единства мнений не будет, и государь поступит по-своему...

– Не беспокойся! – Старец поднял глаза на племянника. – Посылай свое письмо... А о единстве мнений я позабочусь.

Феодор, как вкопанный, остановился перед Платоном; в его уме промелькнуло ужасное подозрение.

– Уж не собираешься ли ты... – начал он и замолк: улыбающиеся глаза дяди превратили подозрение в уверенность. Феодор хотел что-то сказать, но Платон остановил его знаком руки.

– Отец игумен, – сказал он, – вот уже много лет я тебя слушаю, как отца, но ты постоянно называешь истинным отцом себя и братьев мое смирение. Так послушай теперь меня и не противоречь. Ты сейчас описал идеального ставленника, не мешай же мне подать свой голос за того, кто, по моему мнению, этому образу соответствует. Понятно, что мы не избежим укоров, найдутся те, кто припишет нам грязные побуждения... Но против своей совести я идти не могу и постараюсь сделать всё, чтобы это избрание состоялось.



Тарец поднял глаза на племянник

Ты видишь этот мир

Феодор стоял перед дядей с таким же обреченным видом, как двенадцать лет назад, когда он, по воле заболевшего Платона и уступая просьбам братии, вынужден был согласиться на игуменство в монастыре.

– Что ж, – прошептал он, – да будет воля Божия!

Платон поднялся со стула и сказал Феодору:

– Отче, повели выдать мне новое перо и побольше листов. Мне, видимо, придется много писать. И императору, и другим... Вчера я получил два письма, от игумена Стефана и от Халкидонского владыки.

– Чего они хотят?

– Они тоже получили запрос государя и спрашивают совета, за кого подать голос.

Феодор тяжело вздохнул.

– Хорошо, – сказал он, – тебе принесут всё, что нужно... – Он хотел что-то добавить, но махнул рукой и промолчал.

– Не горюй, отче, – ласково сказал Платон, глядя на смущенного племянника. – Может, мое начинание не будет успешным, но попытаться нам ничто не мешает. А там уж как Бог даст...

Когда Платон вышел из кельи, Феодор подошел к столу и, опершись на него рукой, некоторое время, не мигая, смотрел на огонь светильника.

– Отче, отче! – прошептал он, покачав головой. – Я не могу помешать тебе, но... принять вместо одного монастыря целую Церковь?! Нет, к этому я не готов!

Он снова перечитал свой ответ императору, постоял еще немного и, наконец, решительно обмакнув перо в чернила, подписал: «Смирный Феодор, игумен Студийский».

... На следующий день после обеда императору принесли письмо из Студия. «Наконец-то! Долго же они тянули с ответом!» – подумал василевс, нетерпеливым жестом развернул письмо и стал читать.

Игумен Феодор писал, что Бог привел Никифора на царство, «дабы не только мирское управление, находившееся в худом состоянии, было устроено хорошо, но и церковное управление, если в нем будет какой недостаток, было исправлено», что для первого император сделал уже много, и «остается теперь и другой части испытать подобное внимание и заботливость» – через избрание достойного патриарха. Студит не решался подать голос ни за кого, не видя такого, кто блистал бы среди прочих, «как солнце между звездами», – и потому осмеливался лишь дать совет о том, как богоугодно провести избрание нового предстоятеля: «Чтобы, делая выбор, из епископов, из игуменов, из столпников, из затворников, потом из клира и из самих сановников взяли тех, которые преобладают пред прочими умом, благоразумием и жизнью. Пусть же сойдут и столпники, пусть выйдут и затворники, потому что ищется полезное для всех, чтобы ты обсудил и вместе с ними избрал достойнейшего», – и тогда император будет блажен, и царство его утвердится, ибо «Бог даровал христианам эти два дара – священство и царское достоинство: ими врачуются, ими украшается земное, как на небе. Поэтому если одно из них будет недостойно, то и всё вместе с тем необходимо подвергается опасности».

– Столпники! Затворники! – пробормотал император. – Что могут понимать эти анахореты в церковном управлении? Довольно мнения епископов и игуменов... Впрочем, что-то святые отцы с ответами не торопятся... За столько времени всего с десятков писем, и в каждом – о новом лице! Этак, собравшись, они будут полдня спорить и ни на ком не сойдутся! Ладно, подождем всё же ответов от остальных...

## 5. Два Никифора

*– Но государство – собственность царей!  
– Прекрасно б ты один пустыней правил!  
(Софокл)*

15 марта, в Крестопоклонную Неделю, Василий вернулся домой взволнованный. Марфа укладывала спать дочь, и когда отец вошел в детскую, Кассия заулыбалась и протянула к нему ручки.

– Папа!

Василий взял девочку на руки и осторожно покачал.

– Какие новости? – спросила Марфа.

– Неожиданные! Государь гневался, что епископы и игумены, которым он писал по поводу ставленника в патриархи, не спешат отвечать, а теперь стали приходить ответы, и он гневается еще больше.

– Почему?

– Большинство подает голос за Студийского игумена!

– Но ведь это же чудесно! – радостно воскликнула Марфа.

– Чудесно-то чудесно... конечно, о таком можно только мечтать! Но вряд ли государь согласится: патриарх с независимым характером, умеющий отстаивать свои убеждения... Император ведь любит, чтобы всё было по-его!

– Но если большинство за Феодора...

– Так что ж, разве императорам впервой навязывать Церкви свою волю? – с горечью сказал Василий. – Впрочем, государь, говорят, намерен соблюсти вид законности: воспользуется тем, что за Феодора голос подали не все... Хочет представить собору своего ставленника.

– И кто это будет?

– Пока неизвестно. По крайней мере, я не слышал, чтобы называли имя... Но говорят, кто-то из мирян.

Вскоре в столицу стали съезжаться епископы и игумены для избрания нового патриарха. В цветonoсный понедедельник император, создав в Магнавре епископов, клир и синклитиков, произнес перед ними такую речь:

– Святейшие наши владыки, честные отцы и многочтимые граждане! Вам, без сомнения, известно, что я обращался к священным иерархам и настоятелям святых обителей с вопросом о том, кого они желали бы видеть своим новым предстоятелем, а нашим духовным первопастырем и отцом. К сожалению, ознакомившись с полученными ответами, я не нашел единства мнений, столь любезного для мира церковного: одни предлагали одного, другие другого; наконец, кое-кто – не буду называть имен, щадя немощь человеческую, – не постеснялся предложить самого себя. Поэтому я решил вынести на ваш суд, о боголюбезное собрание, свое собственное предложение. Многим из вас, думаю, неизвестен почтенный Никифор, муж в высшей степени разумный, благочестивый, знакомый не понаслышке с книжной премудростью, сведущий в богословии и православный. Некогда он был асикритом, но с юности его тянуло к высшему жителству, и ныне он обитает в уединении монастырском. Хотя он еще не принял святой схимы, однако, житием своим – скажу без преувеличения – оставил позади многих схимников. Полагаю, он вполне достоин наречья «мужем желаний» для нашей овдовевшей Церкви.

Предложение императора не было полной неожиданностью для собравшихся. Кое-кто из синклитиков уже знал, кого прочит в патриархи государь, а многие епископы и клирики слышали, что василевс не одобрил ни одного из предложенных ими в ставленники лиц. Канди-

дат, названный императором, возражений у большинства не вызывал. Никифор происходил от славных и благочестивых родителей: отец его Феодор при императоре Константине Исаврийце служил нотарием при дворе, но был отправлен за иконопочитание в ссылку, где и умер; за ним в изгнание последовала и его супруга Евдокия, после смерти мужа она с сыном вернулась в столицу, где Никифор получил блестящее образование и был взят на службу при дворе. После единоличного воцарения Ирины Никифор удалился от придворной службы – из желания более совершенного жителства и, как поговаривали некоторые, потому, что не очень одобрял совершенный императрицей переворот, – и основал монастырь на одной из пустынных гор на берегу фракийского Босфора. Там он подвизался, изучал Священное Писание и творения отцов, но не бросал светские науки и пострига пока не принимал, хотя жил почти по-монашески. Император Никифор после воцарения вспомнил о бывшем асикрите, предложив ему занять должность попечителя при самом большом в столице приюте для бедных, и Никифор прекрасно справился с порученным делом. Этого-то человека император и хотел видеть на патриаршем престоле, и никто не мог упрекнуть его в том, что он избрал недостойного. Нарекание могла вызвать только принадлежность Никифора к мирскому сословию, но, хотя существовали каноны, запрещающие подобное поставление, ради церковной пользы можно было сделать исключение: спорить с императором представлялось делом бесполезным и даже небезопасным для мира Церкви. И вот после недолгого молчания и перешептываний раздался голос епископа Лерского:

– Мы согласны, государь, с твоим предложением. Воистину, мы не найдем более подходящего избранника! Достоин!

– Достоин! Достоин! – раздалась и другие голоса.

Император погладил бороду, чтобы скрыть усмешку: Лерский епископ был одним из тех иерархов, которые в ответ на запрос о ставленнике написали, что примут того, кого сочтет нужным предложить государь, «сердце коего в руке Божией». Но что же несостоявшийся патриарх? Император быстро нашел глазами высокую фигуру Студийского игумена: Феодор стоял недалеко, у одной из колонн из зеленого фессалийского мрамора. Никифор смотрел внимательно: худое желтоватое лицо игумена было спокойным; Феодор глядел в пол, но, словно почувствовав, что на него смотрят, поднял глаза, и император не увидел в них досады – скорее, взгляд Студита выражал облегчение. Зато этого нельзя было сказать о стоявшем рядом с ним Платоне. Самообладание в этот момент явно изменило старцу: брови его были насуслены, лицо помрачнело. «Ничего! – подумал василевс. – Перебьетесь! Я не глупец, чтобы пускать Феодора на кафедру!»

Спустя два дня Никифор приехал в Константинополь и предстал перед императором.

– Господин Никифор, – сказал ему василевс в присутствии сановников, епископов и придворных клириков, – по моему совету священство, монашество и граждане нашего богоспасаемого государства, почтенное и честное собрание, сочло тебя достойным занять патриарший престол Царицы городов. Предо мною, богобоязненный, если б я ставил ни во что заповеди Божии и нерадел об их исполнении, открылся бы наклонный и широкий путь, идя которым я сделал бы архиереем не человека, достойного кафедры, а первого встречного, который бы изъявил на это желание. Но поскольку из божественного Писания я знаю, каков должен быть имеющий священнодействовать и других возводить в священные степени, – знаю, что он должен быть высок в добродетели, иметь чистые уста, быть стражем ведения, истолкователем закона и вестником Господа Всемогущего, – то боюсь, как бы, пренебрегши священной заповедью, я не подвергся бы осуждению и не навлек на себя грозное проклятие...

Император говорил долго – он был не прочь показать свои познания в риторике и любил, чтобы ему внимали. Он восхвалял добродетели Никифора и призвал его не предпочесть «любовь к блаженному уединению» возможности «стать глашатаем для других», и заботиться не только о своем спасении, но «стараться, чтобы спасение получили все», и ради этого обр-

чить себе Церковь – «прекраснейшую невесту, послушно принимающую в свои уши жемчуг правых и чистых догматов». Когда он закончил свою длинную и напыщенную речь, те придворные, которые еще не успели изобразить на своем лице восхищение, поспешили его явить; впрочем, многим речь действительно понравилась, хотя иные и заскучили под конец. Избранному императором ставленнику, однако, было не до риторических красот, ведь решалась вся его дальнейшая судьба!

– Мне думается, государь, – подняв глаза на василевса, сказал он, и в его голосе послышалось сдерживаемое волнение, – что пасти словесное стадо способен только отрешившийся от земли и живущий одним небесным, готовый душу положить за паству. Вряд ли я, смиренный, способен к такому служению и...

Император прервал его:

– Нет у тебя основания противиться и отклонять священное иго Христово, ибо, как я сказал, Само Слово, приходя на помощь, будет сопастырствовать тебе и сделает легким для тебя всё, что казалось доньше трудным. Итак, принимаешь ли ты новое назначение?

Бывший асикрит едва заметно вздохнул и ответил:

– Принимаю.

...После монашеского пострига, при котором присутствовал сам император, Никифор за несколько дней прошел рукоположение во все степени священства и стал патриархом Константинопольским 12 апреля, на Пасху. Святая София в ту ночь сверкала тысячами огней; золотистый свет заливал собравшийся народ, облеченный в праздничные белые одежды; у всех лица сияли радостью. Никифор прочел составленное им самим исповедание веры, обещая сохранить его незапятнанным, ни в чем не преступая церковных установлений, и когда хиротония была совершена, собравшийся народ трижды воскликнул: «Достойный после достойного!» – после чего новый патриарх возглавил пасхальную службу. Он ничем не разочаровал свою паству: аскетичного вида, высокий, с пронизательным взглядом, седеющими волосами, величественной осанкой и хорошо поставленным голосом, он словно был создан для ношения патриаршего омофора. Все были до того восхищены новым архипастырем, что мало кто заметил отсутствие среди пришедших на торжество Студийского игумена и его дяди-подвижника.

В среду Светлой седмицы эпарх давал у себя в особняке ужин, куда были приглашены многие придворные, в том числе комит федератов Лев. За столом зашел разговор о новом предстоятеле Церкви.

– А ходят слухи, что большинство епископов поначалу предложили в патриархи Студийского игумена.

– Что-то сомневаюсь в этом... Я слышал, что Феодора предлагал его дядя Платон.

– Да, предлагал и даже, говорят, пытался повлиять на знакомых придворных!

– Что я знаю точно, так это что он ходил к монаху Феоктисту, родственнику государя, просил посодействовать избранию Феодора. Но это было уже после того, как все согласились на поставление Никифора, и государь очень разгневался на Платона...

– А кстати, где же они оба, эти почтенные отцы? Что-то я на пасхальной службе их не видел...

– Да, правда, я тоже удивился, что их нет.

– Э, да вы разве не знаете, что император, когда узнал о том, что Платон ходил к Феоктисту, посадил их с Феодором под арест? Они и сейчас в заключении. Наверное, еще недели две просидят, а то и больше – для острастки.

– Вот это да! Круто он с ними обошелся!

– Думаю, боялся выступления студитов при хиротонии патриарха и принял меры.

– А и то сказать – что это они надумали? Выступать против ставленника, который уже всеми одобрен – это не пустяк!

– Дураки они, вот что! Думали, император согласится поставить в патриархи Феодора! Этого-то смутьяна!

– Да, он со своими монахами много крови попортил покойному патриарху...

– Не попортил бы и нынешнему, – вдруг сказал до того молчавший Лев. Патрикий Петр любопытно взглянул на него.

– А нынешнему-то с чего бы?

– Всякое бывает... – Лев залпом осушил очередной бокал золотистого муската и опять погрузился в молчание.

«Экий он! – подумал Петр, поглядывая на комита. – Молчит, молчит, а потом как скажет... А может, знает чего?»

Но Лев ничего не знал. Он сказал просто то, что неожиданно пришло ему в голову в виде некоей мысли-озарения, – с ним иногда случалось такое. Обычно он сам не придавал значения таким мыслям и чаще всего вскоре забывал о них. Так и теперь он совершенно не догадывался о том, что произнес пророчество.

## 6. Награда для эконома Великой церкви

*Люди, издавна принявшие на себя управление важнейшими делами,  
не могут уже отказаться от опасностей и от войны, даже и тогда,  
когда этого пожелают.*

*(Дексипп)*

Студийский игумен Феодор и старец Платон еще находились в заключении, когда император, призвав нового патриарха к себе, сказал:

– Святейший владыка, ты, конечно, помнишь о печальных событиях, происходивших десять лет назад, когда незаконный брак державного Константина возбудил смуту в Церкви и в обществе. Твоему святейшеству должно быть известно и то, что наша царственность никогда не одобряла этого брака, и мы не признали никаких прав за ребенком, родившимся от этого союза. Отец младенца вот уж несколько месяцев как преставился ко Господу, а мать искупает свой грех, приняв пострижение в святой обители...

«К чему он клонит?» – думал патриарх, слушая размеренную речь своего царственного тезки. Разумеется, он помнил о той смуте десятилетней давности, когда саккудионские монахи показали себя силой, перед которой склонились в конце концов и патриарх, и император. Никифор уже знал, перед кем император отдал ему предпочтение, когда происходили выборы первосвященителя. Заключение Феодора и Платона под стражу обеспокоило его, и он много молился о том, чтобы не произошло каких-либо возмущений в Церкви. Впрочем, студиты признали нового патриарха, а Феодор из заключения прислал ему письмо с поздравлениями и пожеланиями достойно проходить высокое служение, под письмом поставил свою подпись и Платон. Получив это письмо, патриарх вздохнул с облегчением, но вдруг разговор о прошлых смутах завел император – с какой целью?

– Итак, – продолжал между тем Никифор, внимательно следя за выражением лица патриарха, – все виновники беззакония получили должное наказание, в том числе и бывший пресвитер Иосиф, обвенчавший прелюбодейный брак. Вот о нем-то я и хочу ныне говорить с твоей честностью. Иосиф оказал мне огромную услугу три года назад, когда богопротивный Вардан замыслил зло против нашей державы. Бог знает, как долго пришлось бы нам усмирять этих безумцев, если б не Иосиф! Он вызвался быть посредником в наших переговорах с восставшими, и благодаря ему в самом начале мятежа значительная часть бунтовщиков перешла на нашу сторону. Это помогло быстро подавить мятеж и отделаться, благодарение Богу, весьма малой кровью. Можно сказать, что не только наша держава обязана благоденствием господину Иосифу, но и многие граждане наши обязаны ему жизнью своей или родных и близких! И вот какую мысль я имею с той поры. Иосиф уже достаточно был наказан за свое преступление. Да, то незаконное венчание, которое он неосмотрительно совершил, привело к смутам в государстве, но теперь напротив – мы видим, что его стараниями государство было избавлено от мятежа и кровопролития. Поэтому мне представляется вполне справедливым возратить ему священный сан.

Патриарх невольно вздрогнул. Возратить сан изверженному? Невозможно!

– Не спеши возражать, святейший. – Голос императора стал вкрадчивым. – Я понимаю всю сложность вопроса. Потому при жизни твоего предшественника по кафедре я и не заводил об этом речи. Но сейчас, думаю, мы не совершим ничего нового и хоть сколько-нибудь безрассудного, если изверженного одним приемем сами. Напротив, мнится мне, мы исполним этим закон любви. Ведь Иосиф уже понес наказание за свой проступок, и его восстановление в сани станет лишь делом снисхождения, которое всегда дозволялось Церковью.

– Государь, – ответил патриарх, – я понимаю, ты хочешь отблагодарить оказавшего тебе услугу... Но пересмотреть дело Иосифа было бы можно, если б он был извержен неправильно. Увы, это не так. А нарушение канонов без особой нужды чревато новой смутой. Думаю, государь, ты согласишься, что *церковной* нужды в восстановлении Иосифа в сане нет никакой. Это взбудоражит и тех, кто выступал против патриарха Тарасия за его снисходительность к Иосифу, и тех, кто чтит память святейшего, потому что это будет отменой *его* решения по делу. Не думаю, что будет благоразумным отблагодарить Иосифа ценой спокойствия Церкви и государства.

Император слегка улыбнулся и в упор посмотрел на патриарха.

– Да, святейший, если бы дело было в одной благодарности, я нашел бы другой способ. Но Иосиф очень талантлив в проведении переговоров и вообще человек весьма умный. Он может мне еще пригодиться в делах. Однако на нем лежит пятно церковного прещения, и это очень плохо! Это снижает его влияние, и не всегда можно использовать его для поручений.

– Твои соображения понятны, государь. Но вряд ли те, кого взбудоражит восстановление Иосифа в сане, будут пытаться их понять.

– Мне кажется, святейший, ты опасешься того, чего нет, и принимаешь тени за самую истину. Кому охота будет сейчас будоражить прошлое?

«Кому бы ни пришла такая охота, – думал василевс про себя, – они узнают, как идти против воли императора! Студиты? Что ж, если они взбунтуются, пусть пеняют на себя!» Никифор всё еще сильно был раздражен против студийских монахов и в глубине души отчасти даже хотел, чтобы они как-нибудь высказали недовольство новым патриархом: это стало бы поводом раз и навсегда отбить у них слишком сильное рвение к «борьбе за церковную правду».

Взгляды императора и патриарха скрестились. Знавший Никифора еще тогда, когда тот был логофетом геникона, патриарх прекрасно понимал, что скрывалось за обтекаемыми и внешне мягкими словами василевса: непреклонное желание, чтобы всё было так, как он решил, – и на этот раз он требовал нарушить каноны, которые патриарх всего несколько дней назад при хиротонии обещал блюсти нерушимыми. Какие цели преследовал император? Только ли отблагодарить Иосифа? Только ли снять с него пятно?..

«Он хочет показать, что воля императора – закон для Церкви! – промелькнуло в голове у патриарха. – Если я пойду у него на поводу, это будет явным знаком подчинения властям. Опять начнется смута... Но если я не соглашусь, смута тоже будет – ведь он не отступится...»

Молчание затягивалось. Наконец, патриарх сказал:

– Государь, я не могу решать такой вопрос единолично. Священника судит собор епископов, не менее шести. Извержение из сана – наказание необратимое. Если даже Иосифу можно вернуть сан по снисхождению, то в любом случае это должен решать собор.

– Так в чем же дело? Ты можешь в любое время собрать нужное число епископов. Государственная почта к твоим услугам. Полагаю, владыки не заставят долго себя ждать. Думаю, в целях большей представительности собора можно созвать... скажем, человек пятнадцать.

– Хорошо, государь. Собор будет созван в ближайшее время. Я же, со своей стороны, подчинюсь тому решению, которое он вынесет.

– Вот и прекрасно. Надеюсь, что они всё разрешат ко всеобщему удовольствию и благу.

В голосе императора патриарху почудилась усмешка. Но когда он взглянул в глаза василевсу, взгляд императора был прозрачен и ничего не выражал... Нарочито ничего не выражал.

Патриарх возвращался к себе с тяжелым сердцем. Начало его управления Церковью грозило ознаменоваться не слишком красивым деянием. Но что делать? Ссориться с императором, благодаря которому он, в общем, и стал патриархом? Да, похоже, василевс и рассчитывает на то, что с благодетелем никто ссориться не станет... «Никто из разумных», как любит он выражаться. С благодетелем? Но разве хотел Никифор быть патриархом? Насколько спокой-

нее и лучше была его жизнь на том берегу Босфора, в монастырском уединении, среди книг и немногих единомудренных друзей! А теперь... что ждет его теперь?

«Господи, – молился патриарх, – направь стопы мои, наставь меня на стезю заповедей Твоих!» Он вспомнил о Студийском игумене. Император очень разгневался на студитов за возмущение против его ставленника в патриархи; от решения разогнать обитель василевса удержали только увещания придворных советников, говоривших, что гонение на столь славный и большой монастырь, где подвизалось уже до тысячи монахов, вызовет общенародное недовольство не только против императора, но и против нового патриарха. На днях василевс собирался подписать указ о освобождении Феодора и Платона. Но что скажут эти прежние борцы против прелюбодейного брака императора Константина с Феодотой, если собор решит восстановить Иосифа в сане? Впрочем, уже прошло много лет... Быть может, всё обойдется? Ведь Иосиф понес наказание, девять лет жил без сана, а восстановление будет... ну да, делом снисхождения. Почему нет? Если на соборе всё будет сделано по-умному, без лишних поклонов в сторону василевса, то большой смуты, даст Бог, не будет... О, если бы вообще обойтись без смут! В конце концов, протест имел смысл в то время, когда существовал сам пререкаемый брак, который соблазнял народ, способствовал разврату среди подданных... Но Константин умер, бывшая императрица кается в монастыре, а Иосиф – ведь он и правда уже наказан. Феодор умный человек и должен понимать, что поднимать крик теперь – значит поступать не очень разумно...

В патриарших покоях стояла тишь. Келейник дремал на скамье перед дверью. Но не было тишины в душе патриарха. Увы, престол предстоятеля Царицы городов не был монашеской кельей.

«Ты знал, на что шел, – говорил патриарх сам себе. – И если ты теперь здесь, то будь на высоте. Император хочет показать, что его власть выше нашей, а мы должны доказать обратное. Но не обязательно это делать прямолинейно. Надо быть мудрее...»

Патриарх не сомневался, что намеченный собор возвратит сан эконому Иосифу, но, немного поразмыслив, он взглянул на дело несколько иначе. Снисхождение? Почему бы и нет? Виновные понесли наказание, и теперь кому какое дело до прошлого Иосифа? Кто может восстать против решения собора? Кто посмеет сейчас отложиться от патриарха, как тогда, при святейшем Тарасии? Если такие будут, кто бы ни были, они узнают, что патриаршая кафедра – это не пустое место... Студиты? Что ж, если они взбунтуются, пусть пеняют на себя!

...Фекла играла с сыном, когда Михаил вернулся с собрания архонтов у стратига Анатолика в приподнятом настроении.

– Прекрасный у нас император, скажу я тебе! – воскликнул Михаил с порога.

– К чему это ты?

– Да вот, помнишь ты того монаха, который приезжал к нам в лагерь во время восстания Вардана?

– Такой высокий, лысоватый... и с красивым голосом?

– Да-да, он самый! Иосиф. Он когда-то был и священником.

– И что?

– Это тот самый Иосиф, который обвенчал Константина с Феодотой.

– А, да, я слышала... Мой отец был против этого брака.

– Ну, конечно! Твой отец! Вы все фарисеи, вот что!

Феофил побросал игрушки и во все глаза смотрел на отца.

– Опять ты ругаться... – Фекла вздохнула.

– Потому что вот такие святоши, как вы, и мутят воду! Им, видишь ли, правила нужно соблюдать! Человек государственного ума, а они его такой острастке подвергли!

– С чего ты взял, что у него государственный ум?

– С того, что он обвенчал императора с его новой женой и избавил Империю от многих бед!

– Избавил?! Да ведь после этого как раз началась смута!

– Она началась из-за всяких дураков и святош! А если б не Иосиф, еще бы и не то было! Император, говорят, грозился вовсе патриарха с престола согнать... Так что у Иосифа ум государственный, как ни глянь. Недаром нынешний государь его отправил тогда к нам!

– Его направил император?

– Ну да, с предложением, чтобы мы перешли на его сторону.

– Ах, вот как...

– Да, и ты должна этому радоваться! Или ты была бы в восторге, если бы меня посадили на кол?

Феклу внутренне передернуло. Михаил любил иногда в грубовато-шутливом виде намекать ей, что понимает, как она к нему относится и как была бы рада, если б он исчез из ее жизни. Эти шутки всегда больно кололи, словно выставляя на вид ее грех: да, она не любила и не уважала мужа, действительно иногда мечтала, чтобы он куда-нибудь исчез... Но, если задуматься, что бы она делала без него, одна, с ребенком? Снова замуж? Эта мысль вызывала у нее еще бóльшую тоску, чем те песни, которые Михаил иной раз распевал в пьяном виде за ужином. Всё-таки к мужу она худо-бедно привыкла, но потратила на это столько внутренних сил, что перспектива начинать всё заново ее попросту пугала. И всё же где-то в глубине души иногда позвякивало: а что, если бы представилась возможность выбрать?..

Она подняла глаза на насмешливо глядевшего на нее Михаила и тихо сказала:

– Может, и не посадили бы.

– Что, ты думаешь, Вардан стал бы императором? Как же! Не могло этого быть, не было на это воли Божией, и зря он тогда всё затеял! Сидел бы себе, вино попивал, как честный страгиг, так нет... Ну, так вот... Всё время ты меня перебиваешь! Говорят, в патриархии был собор, который вернул сан Иосифу. Так что он снова будет в Великой церкви служить.

– Признали, что его извергли несправедливо?

– М-м... Не знаю... Кажется, нет. Вроде просто решили по снисхождению его простить.

– А император тут при чем?

– Так по его же предложению было сделано! Он, верно, давно хотел, но ждал, пока патриарх сменится...

– Понятно.

– Ну вот, я рад, что такого достойного человека отблагодарили по достоинству!

Когда Михаил вышел, Фекла задумалась. Ей опять вспомнился мятеж против императора Никифора, столь плачевно окончившийся... Да, муж прав: зря Вардан тогда затеял это дело! Но в то время все были словно помешанные. Вардан замахнулся на царскую диадиму, а ее собственный отец – разве не в надежде на родство с будущим императором выдал ее тогда замуж вот так? И надо было!..

– Ма-а... – протянул Феофил. Фекла стряхнула с себя задумчивость и, опустившись на ковер рядом с мальчиком, привлекла его к себе. Слава Богу, у нее есть сын!

Тем временем в константинопольской Великой церкви шла вечерня.

– Ибо Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веко-ов! – раздавался под сводами голос пресвитера Иосифа.

Патриарх, стоя в алтаре, слушал этот голос, зазвучавший в Святой Софии после девяти лет молчания, и гадал, каковы же будут последствия соборного решения.

– О мире всего мира, о благостоянии Святых Божиих Церквей и соединении всех Господу помо-о-олимся! – выводил диакон.

Будет ли мир и благостояние?..

Это должно было показать будущее. Но оно начиналось уже сейчас.





атриарх, стоя в алтаре, слуша  
ЭТОТ ГОЛОС, ЗАВУЧАВШИЙ В СВЯТО



## 7. «Отщепенцы от Церкви»

*Но напрасны, согласно пословице, были их песни: они натолкнулись на твердых людей.*

*(Продолжатель Феофана)*

Василий вернулся из дворца обеспокоенный. Он принес тревожные новости, касавшиеся студитов и архиепископа Иосифа, родного брата Феодора, недавно занявшего Солунскую кафедру, который прибыл в столицу около полутора месяцев назад и жил в Студии:

– При дворе заметили, что владыка Иосиф, с тех пор как приехал сюда, не участвовал ни в одном соборном служении с патриархом, а ведь уже прошло несколько праздников – Успение, Новолетие... не говоря о воскресеньях. Вчера император послал через логофета дрома запрос владыке, почему он не сослужит со святейшим. Говорят, что ответ василевсу не понравился. Боюсь, скоро опять начнется смута...

Действительно, тучи на церковном горизонте сгушались. Со времени собора, возвратившего сан эконому Иосифу, прошло два года. Студийский игумен, посоветовавшись с дядей и со всей братией монастыря, пришел к выводу, что принять решение собора со спокойной совестью невозможно. Если патриарх Никифор считал, что сейчас протест не имеет смысла «за давностью лет» и потому, что не предвидится большого соблазна для общества от возвращения Иосифу сана, то Феодор рассуждал иначе. Для игумена не имело значение время – для него был важен принцип, ведь снова поднимался вопрос о пределах церковного снисхождения. Собор, восстановивший Иосифа в сане, представил дело так, что эконом был прощен после должного раскаяния. Но возвращение сана даже после раскаяния было канонически невозможным – если только прощенный не был наказан несправедливо. Получалось, что Иосифа и вовсе не следовало извергать из сана, что извержение это было, в сущности, неправильным; этого не было сказано на соборе прямо, но это подразумевалось, и некоторые из соборян потом открыто говорили, что Иосифа с самого начала не за что было наказывать: он обвенчал брак императора Константина по молчаливому согласию патриарха Тарасия, чем избавил Церковь от возможных потрясений со стороны василевса, – что же в этом было ужасного? Игумен одного из никейских монастырей писал Феодору, что тамошний епископ прямо говорил, будто Иосиф был извержен не по делу, а студиты – просто любители смут, рвущиеся сделать себе имя на разного рода борьбе «за церковную правду» и готовые делать слона из каждой пролетевшей мухи.

– Они не умеют жить, вот и выступают, почем зря – чтобы все узнали, какие они удалые монахи! – таков был приговор Никейского преосвященного.

В этих условиях безропотно принять решение собора о восстановлении Иосифа в сане – значило признать всю прошлую борьбу, ссылки и страдания напрасными и ненужными, признать незаконное венчание непредосудительным делом, признать неразумие ревнителей канонов. На это Феодор никак не мог пойти! Уже то, что храм Студийского монастыря был посвящен святому Иоанну Предтече, обличившему некогда незаконный брак царя Ирода и за это обезглавленному, вдохновляло игумена и всю братию на новую борьбу. Однако студиты не сразу выступили с открытым протестом. Для начала Феодор прекратил общаться с экономом, патриархом, епископами, бывшими на соборе, который восстановил эконома в сане, а также с василевсом. Хотя в Студийском монастыре продолжали поминать патриарха и императора за богослужением, Феодор избегал являться во дворец и не приходил в Великую церковь на соборные служения.

– Собор, – говорил игумен, – это не просто собрание епископов и пресвитеров, хотя бы их и много было, поэтому премудрый Сирах учит нас, что «лучше один праведник», творящий

волю Божию, «чем тысяча грешников». Собор должен быть собранием во имя Господне, для мира и соблюдения священных канонов, он должен связывать и разрешать не как случится, а как следует по правилам. Иначе это не святой собор, а бесчинное сборище!

Молчаливый протест студитов длился два года, но теперь, похоже, борьба вступала в новую стадию. Архиепископ Иосиф на запрос логофета о причинах его отсутствия на соборных службах, ответил, что ничего не имеет против императора и патриарха и избегает общения с ними исключительно из-за незаконного восстановления в сане эконома Великой церкви. «Пусть перестанет священнодействовать низложенный, – писал архиепископ, – и мы немедленно вступим в общение с императором и с нашим святейшим владыкой».

Последствия этого письма были самые отрицательные. Император, вообще ставший довольно подозрительным в последнее время, прежде всего в связи с несколькими заговорами против него, был готов видеть за каждым даже чисто церковным выступлением очередную политическую угрозу. Совсем недавно было подавлено восстание Арсавира, в котором оказались замешаны не только военные и светские лица, но и некоторые епископы и игумены, и даже клирики Святой Софии. И вот, не успел василевс расправиться с одними смутьянами, как появились другие...

– Нет, это уже слишком! – возмущенный император ходил из одного угла залы в другой. – Я не могу позволить, чтобы эти черноризцы оскорбляли меня и твое святейшество и возмущали государство и Церковь! Их дерзость не должна остаться безнаказанной!

Патриарх, стоя у мраморного стола, следил за василевсом. Вид его был суров – Никифор тоже не испытывал восторга от действий студитов. Но особенное его недовольство вызвал архиепископ Иосиф: он принял рукоположение на Солунскую кафедру, ни словом не обмолвившись о своем нежелании иметь общение с патриархом, а теперь, явившись в столицу, в чужую епархию, начинает тут какие-то выступления...

«Где логика? – думал патриарх. – Если для него мое поведение канонически небезупречно, то как он принял хиротонию? Правда, не от моих рук, но разве он не поминал меня всё это время? Разве он на что-то намекал хоть словом? Нет! Похоже, тут влияние его брата... Всё-таки игумен заходит слишком далеко! Что за страсть к бунтарству?!»

– Государь, – сказал он, – я в целом с тобой согласен: студиты действительно выступили не по делу. Что до архиепископа Солунского, то его поведение вопиюще неканонично. Мне кажется, их выходки должны быть разобраны на соборе. Впрочем, нужно попытаться еще подействовать увещаниями...

– Да, святейший, да. Это вопиюще!

На следующий же день посланные от императора, придя в Студийский монастырь, заявили Иосифу, что «император не имеет в нем нужды ни в Солуни, ни в другом месте». Когда они ушли, архиепископ переглянулся с игуменом.

– Похоже, меня хотят лишиться кафедры... и отправить на страну далече.

– Да... – проговорил игумен. – Видно, время молчать прошло. Настало время говорить!

– Что ты думаешь делать?

– Пока не знаю, брат... Как это всё печально! Они думают, что я смутьян и хочу сделать себе имя на церковных дрязгах... А я – с каким удовольствием я жил бы в тиши монастыря, общаясь со своей братией и не вмешиваясь ни во что другое! Но заповедь Божия принуждает говорить... Впрочем, для начала надо связаться с Симеоном.

Монах Симеон был родственником императора, к его-то посредничеству и решил прибегнуть Студийский игумен. Через четверть часа он уже сидел за столом и писал письмо. Строчки быстро ложились на папирус. Иногда рука игумена замирала, он обдумывал очередную фразу, и вновь перо летело дальше. Феодор уверял, что заповеди и каноны не позволяют ему и братии вступить в общение с экономом Иосифом и просил Симеона «поторопиться отклонить искушение» и успокоить императора, ведь причина отказа от общения не в нем,

а в Иосифе, которому нельзя было возвращать сан. «Пусть он будет экономом, – Феодор не был против этого, – но для чего ему еще недостойно священнодействовать?» Все это может кончиться печально, потому что попытка представить беззаконника невинным не останется без возмездия свыше. Феодор просил Симеона донести эти соображения до императора и его сына-соправителя: если они «обуздают» Иосифа, «ангелы восхвалят их, все святые прославят, и вся Церковь возвеселится, и держава их получит великое приращение от Божественной помощи свыше...»

Феодор решил написать и самому василевсу, прося принять их с братом-архиепископом и выслушать их объяснение. Но Никифор отказал им в свидании, а переписка игумена с придворными ни к чему не привела: мало кто из них искренне сочувствовал студитам, да и сочувствующие не решались противоречить воле императора, тем более, что патриарх, как стало известно, был раздражен не менее василевса и решительно настроен на подавление смуты. Многие уже ожидали каких-то резких действий со стороны императора, когда с северо-западных границ пришла весть о наступлении болгар, и Никифор поспешил в лагерь, временно оставив «смутьянов» в неопределенном положении.

Слух о протесте студитов быстро распространялся, пошли пересуды, насмешки и клевета. «Раскольники», «ревнители не по разуму», «любители споров», «властолюбцы» – такими эпитетами награждали Феодора и его монахов. Игумену тут же попомнили попытку «пробраться в патриархи»: говорили, что он завел смуту просто из неприязни и ревности к святейшему, что он, добившись извержения Иосифа, будет добиваться и низложения патриарха Никифора, и осуждения покойного святителя Тарасия... Постоянно возникали всё новые слухи, Феодор уже не мог понять, откуда они берутся: будто он издевается над братьями монастыря, считает православными каких-то еретиков... Константинополь весь исполнился пересудов, так что даже уличные мальчишки в Псамафийском квартале показывали пальцем на Студийскую обитель и рассказывали услышанные ими от родителей небылицы про тамошних монахов.

Наконец, «жестокое слово» вышло из уст самого патриарха.

– Это отщепенцы от Церкви! – сказал он про студитов на собрании столичного духовенства. Эти же слова были сказаны и студийскому иеромонаху Иоанну при личной встрече.

Узнав об этом, Феодор поспешил написать патриарху: «Блаженнейший! – говорилось в письме. – Какой скорби справедливо должна была предаться душа наша при этих словах? Как не высказать оправдания перед твоей святостью, чтобы молчанием не подтвердить обвинения?»

Отправив брата Феососта с письмом в патриархию, Феодор возвратился в свою келью, перекрестился на икону и прошептал:

– Что ж, я сделал все, что мог... А теперь да будет над нами воля Господня!

...Патриарх стоял у окна и читал только что принесенное письмо от Студийского игумена.

«Разве закон наш, – говорится в Писании, – судит человека, если не услышит от него прежде и уразумеет, что тот творит?» Так следовало поступить и тогда, когда твое блаженство услышало нечто тяжкое и прискорбное о нашем смирении». Но, замечал Феодор, студиты «доселе ничего такого не слышали от святой души твоей ни через посланного, ни лично, и не получали внушения, – и такой произнести приговор! Да рассудит твое совершенство, справедливо ли причинена эта скорбь чадам твоим?»

Игумен писал, что ни он, ни его братья, ни архиепископ Иосиф не являются «отщепенцами от Церкви», но православны, отвергают всякую ересь и принимают все святые соборы и каноны. «Ибо, – прибавлял он, – не вполне, а наполовину православен тот, кто полагает, что содержит правую веру, но не руководствуется божественными правилами». Он уверял, что ничего не имеет против патриарха, и нынешняя размолвка произошла исключительно из-за

восстановления в сане эконома. Феодор пояснял, что заговорил об этом только теперь, а не сразу после принявшего незаконное решение собрания епископов – «не знаю, как назвать его», добавлял он промежду прочим, – поскольку следовал словам Писания: «Человек премудрый умолчит до времени». Не имея епископского сана, он полагал, что для него «достаточно оберегать самого себя» и не общаться с экономом и с теми, которые служат вместе с ним, «пока не прекратится соблазн». Но, подвергшись несправедливым нареканиям и видя, что никто и не думает о запрещении Иосифу служения, игумен вспомнил слова пророка: «Молчал я, но разве и всегда умолчу и потерплю?» – открыто высказал свое мнение о происшедшем и просит патриарха «обуздать этого человека», чтобы самому не подвергнуться укорам, и «чтобы не осквернялся божественный жертвенник служением низложенного». Если же патриарх и император не позаботятся об этом, писал Феодор, «то одному Богу известно, что будет с выступающими на защиту заповеди, а в Церкви нашей – свидетель Бог и избранные Ангелы Его – произойдет великий раскол».

Никифор раздраженно бросил письмо на стол.

– Нет, какова дерзость! За кого Феодор принимает меня? Кто я ему – архиерей или один из его монахов?!

Он обернулся и увидел у двери принесшего письмо секретаря, испуганно смотревшего на него.

– А, ты еще здесь? – недовольно спросил патриарх.

– Прости, святейший! Я обещал принесшему письмо монаху сказать, каков будет твой ответ.

Патриарх сдвинул брови.

– Передай ему, – сказал он, помолчав, – что ответа не будет.

## 8. «Стадо диких кабанов»

*Не злоумышляй, нечестивый, против жилища праведника, не опустошай места покоя его, ибо семь раз упадет праведник, и встанет; а нечестивые впадут в погибель.*

*(Притчи Соломоновы)*

«О Боже, “что за край, что за племя”! Кого я поставлен пасти! Это не епископы, а... стадо диких кабанов!»

Патриарх не мог сдержать гнева по поводу прошедшего в Святой Софии собора. Сам он не присутствовал там из-за приключившегося с ним недомогания, которому Никифор поначалу был в глубине души рад: не очень-то ему хотелось идти на собор, созванный утвердить волю императора, а не Церкви. Даже раздражение против архиепископа Иосифа не перетягивало чашу внутренних весов, и патриарх поддался малодушию: конечно, он мог бы пойти на собор, не так уж он был болен, если честно признаться... Но если б он знал, что там произойдет! Жизнь опять показала, что взятую ношу надо нести, не пытаясь даже отчасти переложить ее на чужие плечи. Теперь, прочтя запись деяний собора и выслушав рассказ синкелла о том, как он проходил, Никифор был в высшей степени раздражен; пожалуй, он не мог и вспомнить, когда в последний раз был столь разгневан.

– Нет, Николай, ты представь, – сказал он, обращаясь к келейнику, – постановить такое на соборе!

– Но, владыка, – робко возразил монах, – по-моему, большой беды тут нет... Изверженный снова служит, и это признано снисхождением...

– А, да при чем тут он? Мне, честно говоря, мало дела до этого эконома! Знавал я его еще в ту пору, когда был асикритом... Услужливость, обходительность, способность убеждать... Да, за богослужением он хорош, голос красивый... Что ж, пускай служит... с паршивой овцы, как говорится... Но я не о том. Вот почитай-ка соборное определение!

Патриарх положил на стол перед келейником несколько листов пергамента.

– Читай вслух. Вступление не надо, смотри сразу сами решения.

– «Поскольку устремление императора ко вступлению в новый брак было упорным и не поддающимся убеждению, – начал читать Николай, – и предписания священных канонов святой нашей Церкви не могли быть исполнены, блаженнейший и святой владыка наш святейший патриарх Тарасий, благорассудительно пользуясь правом, неотъемлемо принадлежащим епископскому чину, ради предотвращения еще более тяжкого ущерба для святой Церкви, могущего произойти из-за противоречия императору, употребил временное снисхождение, следуя благочестивым примерам святых наших отцов, и позволил Иосифу, бывшему игумену Кафарскому, эконому Великой церкви, совершить бракосочетание императора Константина и Феодоты...»

Николай остановился и поглядел на патриарха.

– Вообрази, как студиты истолкуют это определение! – сказал тот. – Но, не говоря о прочем, я совершенно точно знаю, что святейший Тарасий не благословлял Иосифа совершать венчание, и игумен совершил его по собственной воле...

И вдруг он вспомнил. Будущий патриарх, а тогда протоасикрит императора Константина, Никифор в тот июльский день разбирал документы в большом зале Консистории. Рядом за мраморным столом сидели два писца и переписывали документы, за которыми должен был вот-вот зайти логофет геникона. Один из писцов так торопился, что поломал перо и в сердцах отбросил его в сторону. Сосед молча протянул ему новое и покосился на протоасикрита. Никифор улыбнулся и уже хотел сказать какую-то шутку для ободрения заваленных работой и

к тому же одуревших от жары писцов, когда завеса на дверях, ведших из Консистории в три-клин Кандидатов, раздвинулась, и вошел логофет Никифор, разговаривая с сопровождавшим его экономом Великой церкви.

– Не соглашается? – спросил логофет.

– Нет, увы! Боюсь, что святейший недопонимает положение, а дело может обернуться скверно...

– Да... Добрый день, господин Никифор, – обратился логофет к протоасикриту.

– День добрый.

– Экая нынче жара стоит!

– Да, жарковато...

Логофет подошел к писцам.

– Ну что, готово?

– Да, господин, вот только последний лист дописать...

– А, ну, я подожду. Да не торопись, а то ошибок наделаешь! – Логофет снова повернулся к эконому. – Да, дело серьезное...

– Святейший не учитывает, что здесь страсть, – закивал Иосиф, – а страсть слепа и безумна... и способна на многое...

– Так что же! Думаю, тут может сослужить службу и кто-нибудь другой... Например, твоя честность.

Взгляды логофета и игумена встретились.

– Ты думаешь, господин? – нерешительно промолвил Иосиф. – Но что скажет святейший?

– О, думаю, он не будет сильно гневаться на тебя! Скорее, будет рад такому выходу из положения. А уж государь точно будет благодарен...

Писец закончил работу и протянул логофету пергамент.

– Отлично! Ну, теперь можете отдыхать.

– Да какое там! – Писец уныло вздохнул. – Еще вон целая куча работы...

– А... Ну, справитесь, даст Бог... До свидания, господин Никифор!

– До свидания.

Протоасикрит раскланялся с логофетом и игуменом, и они пошли к выходу из Консистории, продолжая разговор.

– Так ты подумай над этим, отче, – говорил логофет Иосифу. – Хоть это и не совсем по чину будет, но что делать! Зато, даст Бог, всё успокоится и обойдется...

Вся эта сцена четырнадцатилетней давности вспомнилась теперь патриарху очень ясно. «Как это я забыл? – думал он. – Ведь сам Никифор и предложил тогда Иосифу совершить это венчание! Вот и еще одна причина, почему ему хотелось снять с него прещение...»

– Продолжай же! – обратился патриарх к келейнику.

– «Исходя из вышеизложенного, – читал дальше Николай, – мы подтверждаем, что упомянутый Иосиф действовал с полного благословения святейшего патриарха Тарасия и по приянтому в Церкви снисхождению, а посему его восстановление в священном сане, совершенное святым собором, состоявшимся три года назад в этом богоспасаемом Городе Константина, было справедливым, и он может и впредь беспрепятственно совершать священнослужение». – Он опять остановился.

– Как тебе такое определение? – спросил патриарх.

– Сколько я помню, владыка, прошлый собор признал, что Иосифу возвращается сан в порядке снисхождения. А тут уже выходит, что он поступал во всем хорошо...

– А значит и извержен был изначально несправедливо, потому что, обвенчав Константина с Феодотой, не сделал ничего плохого. Именно! Читай дальше!

– «Кто не признаёт снисхождения святых, да будет анафема...»

По решению собора, подкрепленному ссылками на соответствующие каноны, Феодор и Платон за учиненное «возмущение» и «непослушание своему епископу» извечались из сана и предавались анафеме, а архиепископ Иосиф, без благословения патриарха служивший в его епархии и «уничивший лицо местного предстоятеля», лишился епископства.

– Д-да, – проговорил Николай после небольшого молчания, – кажется, они перестарались...

Патриарх заходил по келье.

– Говорят, будто Феодор мстит мне за то, что не стал патриархом. Я уверен, что это неправда, игумен выше этого, хоть и смутьян порядочный... Но теперь наверняка будут говорить, что во мне разыгралась ревность за то, что его поначалу предпочли мне, а я попал на престол, в сущности, благодаря покровительству императора... Студийский игумен под анафемой! Что скажет народ?!

– И архиепископ Иосиф извержен...

– Ну, он-то наказан по делу. Он действительно вел себя недолжным образом. Хотя, может быть, стоило избрать более легкое наказание... Но как проходил этот собор! Святитель Григорий в свое время говорил о «стае галок»... Но тут даже не стая, тут... стадо!

«Баранов», – подумал патриарх про себя и нахмурился. Больше всего ему не нравилась во всем этом роль Иоанна Грамматика. По рассказу синкелла, именно слова Иоанна не только решили исход дела, но и повлияли, по-видимому, на строгость приговора. Патриарх безотчетно недолюбливал этого монаха. Больно горд, и холодком каким-то от него... Но умен, да, очень умен, что правда, то правда...

Патриарх опять взял в руки деяния собора, постоял, бросил их на стол и сел. Как ни ужасно, но придется подписать это! Утром он получил от Феодора письмо, которое тот после оглашения приговора послал ему, в надежде, что патриарх не подпишет соборных определений... Но это невозможно. Если сейчас воспротивиться решениям собора, то надо уходить с кафедры – не самое разумное, что можно сделать. Кроме того, игумен пытался оправдать своего брата-архиепископа, а ему-то как раз патриарх не находил оправданий. Нет, теперь нет хода назад, придется идти взятым курсом. Но куда все это приведет?..

– Что же теперь будет? – спросил келейник робко. Он был испуган, видя обычно сдержанного патриарха в таком гневе.

– Трудно и представить! Император намерен разогнать Студий. Это и само по себе вызовет недовольство в народе, а анафема игумену... Эх, не был бы Феодор так упрям!.. Но наши соборяне постарались, ничего не сказать! Боже! Что за времена, что за нравы!

Собор, состоявшийся на галереях Великой церкви 8 января, действительно мало походил на церковное собрание, хотя там присутствовало несколько десятков епископов, игумены монастырей и трое императорских чиновников. Все, в том числе император, вернувшийся к концу Рождественского поста из военного похода и хотевший поскорее покончить с неприятностями, вызванными студийскими «смутьянами», ожидали, что патриарх сам будет присутствовать на нем и руководить разбирательством. Но недомогание удержало Никифора в келье, а в его отсутствие соборное заседание приняло невиданно бурный и необузданный характер.

Но это было неудивительно: еще до собора атмосфера в столице накалилась до предела. По повелению императора, Студийский монастырь в последних числах декабря был окружен воинским отрядом, так что никому из братии даже не позволялось выходить за стены. Патриарх, несмотря на раздражение против Феодора и его брата-архиепископа, постоянно ощущал себя между двух огней: ему не хотелось затевать гонений против студитов, он всё еще надеялся на их «благоразумие» – и в то же время в глубине души признавал, что они в целом правы в своем протесте, а он, требуя от них уступок, идет против совести, сам уступая тому, чему уступать не должно... От мучительных раздумий Никифор даже осунулся; келейники с беспокойством поглядывали на него, но не осмеливались задавать лишних вопросов. 1 января после

литургии патриарх, хмурый и не выпавшийся, вызвал к себе Никейского и Хрисопольского епископов и послал их в Студий с требованием признать эконома Иосифа в сани.

– Напрасно вы противитесь, – сказал Игнатий, епископ Никейский, – и зря обвиняете Иосифа в беззаконии. Сам святейший Тарасий в свое время повелел ему совершить венчание императора Константина с Феодотой, это было всё равно, что венчание патриаршей рукой! Или вы не признаёте святости блаженного Тарасия?

– Прости меня, владыка, – ответил игумен, – но ты говоришь неправду. Святой Тарасий говорил мне лично: «Да будут отсечены руки мои, если они совершили прелюбодейное венчание! Разве я венчал?» И еще говорил, что никогда не одобрял действий Иосифа, но лишь уступал до времени, применительно к обстоятельствам. И он сожалел об этом! Как же вы, несчастные, смеете позорить память святейшего гнусными наветами на него?

– Слушай, Феодор! – воскликнул епископ Хрисопольский Стефан. – Ты еще долго будешь упорствовать и пустословить, корчить из себя героя и исповедника? Тебя послушать, так все остальные – просто сборище нечестивцев, не знающих ни Евангелия, ни канонов! Все епископы, клир, игумены и сам патриарх признали Иосифа! Ты что, один пойдешь против большинства?!

– Я буду стоять за соблюдение заповедей, даже если останусь один. И это вы рассуждаете о большинстве – вы, архиереи? Но с каким большинством была истина, когда толпа требовала у Пилата распятия нашего небесного Архиерея Христа? Вашими речами о «большинстве» вы только являете свое нечестие! Вы, значит, ищете опоры не в истине, а в числе единомышленников. Горе, до каких времен мы дожили!

– Не знаю, до каких времен дожили мы, а вот ты, Феодор, рискуешь очень скоро дожить до тех времен, когда твой монастырь разгонят и сам ты окажешься далеко отсюда!

– Что ж, я готов! Сам Христос Бог наш не имел, где приклонить голову... А патриарху передайте вот что: «Ты уповаешь на жезл тростяной сокрушенный сей – на Египет, на который если обопрется муж, войдет в руку его и проткнет ее: таков и фараон, царь египетский, и все уповающие на него!» А мы уповаем на Бога, и да будет с нами святая воля Его!

В ту же ночь Феодор, Платон, архиепископ Иосиф, а также Калогир, старший из студийской братии и заместитель игумена, были взяты под стражу и отведены в заключение в монастырь святых Сергия и Вакха. Дважды император посылал к ним для переговоров и увещаний монаха Симеона, но безрезультатно.

– Мы крепко держимся за Божий закон и побеждаем, как и раньше, – сказал посланному Феодор. – Мы перенесем любые испытания, если благоволит Бог, но не вступим в общение с Иосифом и сослужащими с ним, пока он не перестанет священнодействовать!

Под его взглядом Симеон стушевался и, не находя, что сказать, вздохнул и прошептал:

– Жаль мне вас, преподобнейшие отцы!..

– О, не нужно сожалений! – ответил архиепископ Иосиф. – Не плачьте о нас, «но плачьте более о себе и о чадах ваших». Для нас же теперь – время борьбы и подвига, но также и венцов, и славы!

На второй день после праздника Богоявления четверо отцов предстали перед собором. Старца Платона, который от болезни не мог ходить, принесли туда на носилках. Один из сановников развернул хартию и прочел длинную речь императора, смысл которой сводился к тому, что Иосиф был восстановлен в сани вполне согласно «с практикой священного снисхождения и Божественным человеколюбием», а потому протесты неуместны. В таком же духе выступил и Хрисопольский епископ, призывая студитов к покорности, смирению, покаянию и послушанию священноначалию. Собравшиеся всячески выражали одобрение. Наконец, обвиняемые были призваны к ответу. На вопросы председателя собора они отвечали всё то же: пусть перестанет священнодействовать изверженный, и тогда они вступят в общение с патриархом и императором. Когда же епископы стали возражать, что эконом совершил венчание Констан-

тина и Феодоты по снисхождению, ради церковной пользы, а потому осуждать его не за что, Феодор ответил:

– Как можете вы, почтеннейшие, говорить, будто он не совершил ничего незаконного? Он, богохульствовавший на Святого Духа в молитве венчания! Он, старающийся представить беззаконие правдой и показаться святее Иоанна Крестителя! Он, дерзнувший противоречить и Самому Христу: ведь Господь назвал прелюбодеем разводящегося с законной женой, а Иосиф такого прелюбодеев поставил пред жертвенником и возложил на него брачный венец! Разве это не хула на Духа, которая «не простится ни в сем веке, ни в будущем»?

Эти слова вызвали против обвиняемых целую бурю. Их окружили и стали осыпать упреками и оскорблениями; в какой-то момент Калогиру, как он потом признался игумену, показалось, что еще немного – и их просто растерзают.

– Упрямыцы!

– Безумные гордецы!

– Бунтари! Смутьяны!

– Они, видно, считают себя святее всех святых!

Феодор же повторял:

– Гибнет Предтеча! Нарушено Евангелие! Это не снисхождение, а прелюбодейство, и ваш Иосиф – сочтатель прелюбодеев!

– Ты не знаешь, что говоришь, что болтаешь! – кричали ему с разных сторон.

– Вы все идете на поводу у императора! – воскликнул архиепископ Иосиф. – Испугались за свои места и должности! И это – епископы Христовой Церкви!

– Э, владыка, – вдруг раздался громкий, четкий голос, в котором звучали металлические нотки, – согласие с императором – вовсе не такой страшный грех, как тебе мнится!

Крики поутихли, и собравшиеся повернулись к говорившему – худощавому монаху лет тридцати. Его высокий лоб и пронизательные глаза выдавали пытливый ум; на лице с резкими чертами, в обрамлении коротко стриженных черных кудрей, читалось некоторое высокомерие. Он сидел на скамье в стороне и холодно, но очень внимательно наблюдал за происходящим. Иоанн был не епископом и даже не игуменом, а всего лишь чтецом в Сергие-Вакховом монастыре, однако его пригласили на собор как человека очень образованного и начитанного – порой и епископы обращались к нему за разными справками. До пострига он занимался преподаванием, и за ним еще в то время закрепилось прозвище Грамматик. Когда взоры всех обратились к нему, он встал, чуть поклонился председательствовавшему и обратился к обвиняемым:

– Разве вы, почтенные отцы, не признаёте мудрости великого императора Юстиниана, строителя Святой Софии?

– Почему же? – ответил Феодор. – Признаём.

– И ты, владыка, тоже признаёшь? – спросил Иоанн архиепископа Иосифа.

– Да. Но при чем тут...

– В таком случае, – продолжал Грамматик всё тем же спокойным и уверенным тоном, – вы должны согласиться, что непреклонная императорская воля есть обстоятельство, которое, если его невозможно примирить с канонами Церкви, следует признать достаточным для оказания снисхождения. Ведь великий Юстиниан, среди прочих своих мудрейших законоположений установил и следующее: «Что угодно императору, то имеет силу закона». А никто из присутствующих, думаю, не посмеет сомневаться в православности этого василевса.

Архиепископ Иосиф хотел что-то ответить, но ему не дали. Крик поднялся пуще прежнего, уже не просто раздраженно-злой, а злорадно-торжествующий:

– Эти смутьяны не признают и великого Юстиниана! На царя земного замахнулись, скоро замахнутся и на Царя Небесного!

– Наглецы и пустословы! Воздать им по заслугам!

– Анафема!

Обвиняемые переглянулись. Платон покачал головой и закрыл глаза, словно ему не хотелось даже видеть всех этих соборян; архиепископ Иосиф махнул рукой в знак того, что возражать или оправдываться бесполезно; Калогир скрестил руки на груди и опустил голову, показывая, что дальше он будет лишь молча ждать определения собора. Феодор тоже понял, что участь их решена, и они хранили молчание до самого конца заседания, никак не отвечая на оскорбления и поношения.

Собор произнес анафему против не признающих «снисхождения святых», после чего Феодора, Платона и Калогира вывели вон и отвели под конвоем в Агафскую обитель, а архиепископа оставили для суда над ним – ему в вину вменялось, в частности, то, что он, по просьбе игумена Феодора, совершил литургию в Студийском монастыре без позволения патриарха. По окончании собора император отправил в Агафский монастырь спафариев, которые объявили узникам, что они преданы анафеме и низложены. Когда было зачитано соборное определение, Феодор тихо произнес, так что слышали только стоявшие рядом:

– «Меч их да войдет в сердца их, и луки их да сокрушатся!»

На что Калогир так же тихо ответил:

– «Не убоюсь от множества людей, окрест нападающих на меня».

Тогда Платон, лежавший в углу на рогоже, открыл глаза и произнес почти неслышно, так что Феодор и Калогир угадали, скорее, по движению его губ:

– «О Боге сотворим силу, и Он уничтожит стужающих нам»!

...За окном давно стемнело. В гостиной царил мягкий полумрак, уютно мерцали светильники, но у Василия и Марфы, сидевших за столом друг против друга, на лицах отражалось беспокойство.

– Что же теперь будет? – проговорила Марфа.

– Студий император намерен разогнать. Игумена и первенствующих братьев, видимо, сошлют... Думаю, будет смута.

– Да, если уж при святом Тарасии гонения на студитов возмутили всех, то сейчас тем более...

– Хуже всего не это. Я получил сегодня письмо от отца Феодора. Он пишет, что поскольку собор наложил несправедливые прещения и принял постановления, противные Евангелию, то его следует считать еретическим... со всеми вытекающими.

– Так что же, теперь... и причащаться нельзя с ними? С патриархом? Да?

– Получается, что так.

– Ох!.. Неужели собор и вправду еретический?

– Вот, читай. – Василий протянул жене письмо Студийского игумена.

«Они не просто какие-нибудь еретики, – писал Феодор об участниках собора, – но отступники от Евангелия Божия», поскольку «употребление имени Божия при бракосочетании прелюбодеев назвали снисхождением Божиим, благом и спасительным для Церкви. Какое неслыханное богохульство! И в свое оправдание они говорят, будто, когда речь идет об императорах, не нужно принимать во внимания евангельский закон». Последнее особенно возмутило игумена: «Кто же законодатель для императора? Разве из этого не ясно, что антихрист уже при дверях? Ибо и антихрист, став царем, станет требовать только того, чего он хочет и что приказывает», а «такой же произвол учинили и епископы на соборе»: они анафематствовали тех, кто не согласился с беззаконием, и этим «что иное сделали, как не анафематствовали святых, прежде всего Предтечу и, страшно сказать, Самого Владыку святых?» Игумен решительно утверждал, что участники собора, «дерзнувшие открыто нарушить Евангелие и предавшие анафеме не хотевших нарушать его», стали еретиками, поскольку ввели в Церковь

лжеучение. «Итак, – писал Феодор, – зная, что это ересь, вам следует избегать ее и еретиков, чтобы не имел общения с ними и не принимать Святые Тайны там, где поминают их».

Марфа положила письмо на стол и посмотрела на мужа.

– Что ты думаешь делать?

– Не знаю. – Василий был в некоторой растерянности. – Честно говоря, я не готов к такому повороту. В любом случае, мне придется участвовать в церемониях при дворе и ходить вместе с государем в Великую церковь... Хотя если уж совсем строго подходить, то нельзя и этого, но к такой строгости я точно не готов. А вот не причащаться... Может быть, это и удастся. Может, не заметят, не знаю...

– Но где же тогда причащаться?

– Да, это вопрос. Кто последует за отцом Феодором? Придется устраивать тайные служения... Прямо как при иконоборцах, вот дожили!

– У нас тут часовня... Ведь в ней можно служить, в крайнем случае?

– Да, если придет священник с антимином... Но кто бы мог к нам придти, если студитов разгонят?

– Ох! Только бы удалось все это скрыть от Георгия – наше устранение от общения с ними! Если он узнает, опять будет крика...

– Ничего, будем надеяться, что не заметит. На меня он уже давно рукой махнул, а ты можешь и дома отсидеться.

– Отсидеться... Но сколько это всё продлится?!

– Это одному Богу известно...

## 9. Принцезы острова

*Военный успех зависит обычно не столько от силы натиска на противника, сколько от мудрой прозорливости и умения вовремя и с легкостью одержать победу.*

*(Лев Диакон)*

В конце января Феодор, Платон и Калогир были сосланы на Принцезы острова. Иосиф, «бывший архиепископ Солунский», как теперь называли его, провел некоторое время в дворцовой тюрьме, но потом и его отправили в ссылку.

Тяжело больной Платон попал на пустынный островок Оксию, где его заключили в деревянном сарае, приставив к нему прислужника, который приходил к старцу раз или два в день, но больше не служить, а издеваться: он отказывался переносить Платона ради нужды, не приносил ему лекарств, насмехался и всячески поносил старца, называя его «старым ослом». Порой в ответ на просьбы о лекарствах или услугах он, сплевывая на землю, говорил: «Перетопчешься, старый пес! Ты и так зажился на свете! Зачем тебе лекарства? Совсем ни к чему! Скорей подохнешь и перестанешь докучать миру своими стонами!» Старец чувствовал себя все хуже и со дня на день ожидал конца. Он не роптал, ничего не отвечал на оскорбления прислужника, только непрерывно повторял молитву; даже когда он впадал в полузабытье, губы его шептали: «Господи, помилуй меня грешного...»

На острове Проти в тесной келье одного из местных монастырей томился архиепископ Иосиф. К нему приставили двух монахов, которые держали его взаперти и пищу выдавали мерой, так чтобы он только не умер с голода. Архиепископ ослабел и почти всё время лежал и молился; никаких книг и письменных принадлежностей ему не давали; стражи не отвечали на его вопросы и сами ни о чем не спрашивали. «Вот и сподобил Бог уйти в затвор», – подумал Иосиф и перестал ждать каких-либо вестей извне. Архиепископ потерял счет дням, а о времени суток узнавал только примерно, по положению солнца, которое около полудня заглядывало в маленькое окно под потолком кельи, и по скудному пайку из хлеба и воды, а иногда полугнилых овощей, которые приносили стражи ближе к вечеру. Но однажды, к его удивлению, страж-монах, с таким же суровым видом, как и всегда, войдя в его келью и поставив на расшатанный столик посуду с едой, положил рядом запечатанное воском письмо и, ни слова не говоря, вышел. Архиепископ вскочил с рогожи, но, почувствовав головокружение, прислонился к стене. Он сжал руками голову и постоял немного, потом взял письмо, распечатал его и поднял поближе к свету. Когда Иосиф увидел знакомый почерк, сердце его так забилося, что он вынужден был сесть на рогожу. Он совершенно забыл о еде и с жадностью принялся за чтение письма.

«Возлюбленный брат мой и владыка! Уже давно я стремился всей душой послать письмо твоей святости, но у меня не было удобного способа, ибо я, несчастный, находился под крепкой стражей и едва мог вздохнуть свободно...»

Игумен Феодор был заключен в тесной и темной келье монастыря Богородицы на острове Халки. Надзор за ним был поручен самому игумену монастыря Иоанну, знакомому и единомышленнику эконома Иосифа, и поначалу был очень строгим: к Феодору никого не пускали, еду ему приносил сам игумен, и только иногда – другие монахи; отправлять и получать письма узник не мог, книг ему не давали. Только через месяц после начала ссылки Феодора брат Дионисий, переодетый в мирскую одежду, тайно пробрался на остров, сумел связаться с одним из монахов монастыря, где содержался изгнанник, и передать игумену письмо с кратким описанием судьбы студийской братии.



Студиты не подвели своего настоятеля. Некоторое время после собора монастырь оставался оцеплен стратиотами, а затем, когда Феодор, Платон и Калогир с архиепископом Иосифом были сосланы, всех братьев под конвоем препроводили в Елевфериев дворец, где с ними встретился сам император. Никифор попытался склонить студитов к общению с патриархом; в ход пошли и убеждения, и угрозы, и обещания разных милостей. Навкратию император предложил игуменство в Студийском монастыре, если он подпишется под определением собора, на что экононом заявил, что скорее даст отсечь себе руки, чем одобрит нечестивое постановление. Остальные монахи тоже были непреклонны. Наконец, император в гневе заявил:

– Если вы всё еще упрямитесь, то знайте, что все, кто не подпишется под определением, будут сей же час высланы вон из Города, без права проживания в монастырях, а особо упорных и дерзких, – император посмотрел на Навкратия, – ждут ссылки и тюрьмы! Итак, решайте! Кто согласен подписать определение, вставайте на правую сторону, кто не согласен – на левую!

То, что произошло затем, присутствовавшие запомнили надолго. Все студиты – все, как один, несколько сотен монахов – молча перешли на левую сторону, и в тишине, повисшей под сводами залы, раздался голос Навкратия:

– Мы не изменим церковным правилам и наставлениям нашего отца!

Император на несколько мгновений потерял дар речи: такого провала он не ожидал. Кровь бросилась ему в лицо, и, повернувшись к эпарху, он произнес сквозь зубы:

– Взять их! Навкратия в тюрьму! Всех, кто там у них занимал руководящие должности – под стражу! Остальных – вон из Города! И чтоб духу их тут не было! Если кто в столице вздумает их укрывать, пусть пеняет на себя!

Узнав о подвиге братии, Феодор исполнился такого веселья, что пробыл почти целый день в молитве, благодаря Бога и прося укрепить братию на исповедническом пути. Однако игумена беспокоило то, что брат Епифаний, которого он еще до собора отправил в Рим с письмом к папе Льву, всё еще не возвращался и от него не было никаких вестей. Феодору удалось написать и передать через Дионисия новое письмо папе, которое должен был отвезти в Рим брат Еврепиан.

«Поступи по примеру Учителя твоего Христа, – взывал игумен к папе, – и протяни руку нашей Церкви, как и Он Петру: Он – начинавшему утопать в море, а ты – погрузившейся уже в бездну ереси...» Феодор совсем не был уверен, что папа Лев выступит против решений «прелюбодейного собора», однако понимал, что надо сделать всё от него зависящее ради торжества истины.

Надзор за узником не ослабевал, и передать следующее письмо возможность представилась не так уж скоро. От Дионисия Феодор узнал, что Иосиф и Платон содержатся на двух соседних островах; о судьбе Калогира Дионисий ничего узнать не смог. Феодор неустанно молился за своих сподвижников и духовных чад, в молитве за других совсем забывая о себе и словно не замечая собственных лишений. Между тем кормили его плохо, в келье было сыро и темно, и многих других, очутись они в подобном положении, всё это привело бы в уныние. Но Феодор и не думал унывать. Иногда игумен монастыря приходил и пытался читать ему наставления о вреде церковной смуты. Студит неизменно отвечал, что виновники смуты – это экононом и возвратившие ему сан, а он, Феодор, никакой смуты учинять не собирался, но только желает всегда неизменно соблюдать божественные заповеди.

– Так что же, Феодор, по-твоему, только ты один соблюдаешь заповеди, а все остальные... патриарх, епископы, игумены... император... все они нечестивы и стоят на пути погибели?!

– Почтеннейший, я всего лишь овца, а овца не может отвечать за своих пастырей или за других овец. Но мы – овцы разумные, а не стадо свиней, которое под влиянием бесов готово нестись куда угодно, даже с крутизны в море. Я никого не сужу, но каждому из нас придется отвечать за себя перед Богом. Я забочусь лишь о том, чтобы соблюсти заповеди самому, и чтобы

не нарушили божественного закона порученные моему руководству братия. Патриарх и прочие, о ком ты говоришь, имеют ум и сами пусть рассуждают о правильности своих поступков, а я буду поступать так, как кажется мне согласным с Евангелием.

Каждый раз Иоанн уходил из кельи опального игумена в смутных чувствах. Этот «смутьян и наглец» на поверку оказался совсем не таким, как расписали Феодора привезшие его сюда. Он производил впечатление исключительной цельности: никакого внутреннего смятения, разногласий с самим собой. Ни разу Иоанн не видел его в раздражении или гневе, даже когда нарочно оскорблял или приносил испорченную пищу. Игумен всегда кротко благодарил, ни в чем не упрекал своего стража и никогда не роптал. Феодор почти постоянно пребывал в ровном и, что более всего поражало, радостном настроении. Иоанн не мог понять, как этот человек – глава знаменитейшего столичного монастыря с огромными имениями, начальствовавший над почти тысячью монахов, имевший свободный доступ ко двору императора, умный, образованный, влиятельный, – вдруг так запросто решился проститься со всем этим, обменять монастырские помещения с мраморными полами на убогую келью, общество любимых братий – на одиночество, почет и общественную значимость – на изгнание, поношения и, страшно сказать, церковную анафему. И всё из-за чего? Из-за какой-то мелочи – восстановления в сане этого Иосифа! Безумие! Но Феодор не походил на безумца...

Иоанн вновь и вновь шел к узнику в надежде разгадать эту загадку – и не мог. Иногда он, подходя к келье Феодора, прислушивался, приложив ухо к двери, и слышал, что игумен молится: Феодор время от времени читал вслух псалмы – Псалтирь он знал наизусть, как и почти все службы суточного круга, ему не требовались книги, чтобы служить часы, вечерню или полунощницу. Но большей частью узник молча молился про себя, стоя на коленях или, при утомлении, сидя в углу кельи. И это – «отщепенец от Церкви»!.. Да, Феодор считал осудивший его собор еретическим и не хотел иметь общения с признавшими его решения епископами и игуменами, но при этом в нем не было видно никакого превозношения. Своих противников, при всех пылких обличениях в их адрес, он, кажется, жалел и скорбел обо всем случившемся. «Сеющий ветер пожнет бурю», – качал он головой, и взгляд его становился печальным: он словно прозревал в будущем какие-то гораздо более ужасные события, чем нынешняя церковная смута...

Правда, Феодор умел и язвить. Однажды, после очередной попытки Иоанна внушить ему «покорность вышестоящим», опальный игумен сказал, усмехнувшись:

– Я охотно выкажу покорность, если твое преподобие укажет мне, где в Евангелии и канонах сказано, что венчать прелюбодеев – не грех. Или у вас какое-то другое Евангелие?

– Наглец!

Иоанн в сердцах даже топнул ногой. Ему захотелось ударить упрямца, но он сдержался – хотя Феодор по его лицу и по невольному движению руки понял, что он хотел сделать, – и вышел из кельи, хлопнув дверью, однако тут же остановился от поразившей его мысли: «А ведь, может, он сейчас... молится за меня, как за оскорбившего!» Иоанн поколебался и возвратился в келью узника. Феодор стоял лицом к востоку и молился про себя, слов не было слышно.

– Феодор!

Тот слегка вздрогнул, обернулся, и Иоанн на миг закрыл глаза. В этот момент у Феодора было такое светлое лицо, что на него было почти невозможно смотреть – всё равно что на солнце. Но это длилось лишь мгновение; взглянув на узника вновь, Иоанн уже не увидел ничего необычного.

– Феодор, ты... Ты сейчас молился за меня? Ответь!

– Да, – тихо ответил игумен, он словно был слегка смущен.

Иоанн сел на край деревянного низкого ложа, покрытого драной рогожей и указал узнику место рядом с собой. Феодор сел. Они помолчали.

– Феодор, – сказал Иоанн, не глядя на него, – тебе... что-нибудь нужно? Книги или, может быть, пергамент, папирус, чернила?

– О, да! – Лицо Феодора засветилось радостью. – Если бы ты был так любезен предоставить мне возможность писать письма! Я так беспокоюсь за моих чад...

– Твой брат Иосиф находится на соседнем острове. Думаю, ему можно будет передать письмо... Я принесу тебе всё необходимое.

Феодор встал и поклонился ему.

– Благодарю тебя, господин Иоанн! Да благословит тебя Бог за эту милость!

– Не стоит благодарности...

Иоанн тоже встал, смущенный. То, что он сделал, было неожиданностью для него самого. Идя по монастырскому двору, он думал: «Что за сила такая в нем? Непостижимо! Кажется, в его положении уже не на что надеяться... А между тем...»

Между тем, в Иоанне крепла непонятно откуда взявшаяся уверенность, что этот худой изгнанник в старой и местами изодранной рясе, со свалывшейся бородой, анафематствованный и поносимый, заключенный в мрачной келье на хлебе и воде, этот «отщепенец» и «мятежник» – победит. Что он уже победил.

...Патриарх отдыхал после праздничной службы в честь Новолетия, когда келейник доложил, что пришел эконоом Иосиф. Никифор поморщился и чуть заметно вздохнул. Он никогда не питал особых симпатий к Иосифу, даже еще до начала всей этой церковной смуты; теперь же, когда из-за «дипломатических способностей» эконома начались неприятности, конца которым пока не предвиделось, как ни надеялся патриарх на обратное, Иосиф вызывал у него чувство, сходное с зубной болью. Чего ему надо?.. Никифору очень хотелось сказать больным и не принимать эконома, но он понимал, что это малодушие. Что такое в сущности Иосиф? Игрок? Нет, игрушка, разменная монета в руках императора! Несчастный человек, сам не знающий, скорее всего, о своем несчастье...

– Хорошо, пусть войдет.

Поприветствовав патриарха, эконоом сказал:

– Святейший, тут у меня гостит Халкитский игумен Иоанн...

У патриарха сжалось сердце. Настоятель монастыря, где уже восемь месяцев содержится под стражей Студийский игумен!

– И что же? – спросил он ровным голосом.

– Он хотел бы поговорить с твоим святейшеством. Он будет здесь еще два дня.

– Хорошо. Пусть придет завтра после обеда.

Спустя четыре дня Феодор неожиданно получил завтрак, чего не бывало с начала его ссылки – до сих пор ему приносили еду только раз в день, ближе к вечеру, – и завтрак тоже небывалый: вареные овощи, мягкий хлеб и даже чашу вина. Монах, принесший пищу, глядя на узника, чье лицо отражало невольное изумление, улыбнулся и сказал:

– Это еще не все неожиданности. Сегодня тебя переведут в другую келью.

Действительно, спустя примерно час к Феодору пришел игумен Иоанн.

– Ну что, Феодор, ты готов к переходу на новое место жительства?

– Готов... Но что случилось?

– Да ничего особенного... Просто я только вчера вернулся из Константинополя. Там, в общем, всё по-старому... Я виделся с патриархом.

– И?

– Вот, следствием является то, что ты уже видел и еще увидишь. Идем! Отныне ты будешь жить в помещении посуше и посветлее. – Иоанн улыбнулся. – Удобнее будет письма писать... Но я святейшему про письма не говорил, не беспокойся!

– Он, думаю, и так знает, – улыбнулся и Феодор.

С тех пор, как Иоанн предоставил ему возможность вести переписку, игумен извел немало листов, и его послания уже читались и переписывались не только в Царствующем Городе, но и в других местах Империи. Посещавшие Феодора братия, в том числе Григорий, покидая Халки, всегда уносили с собой по несколько писем. Настало время говорить, и Феодор не умолкал.

– Святейший велел передать тебе поклон, – сказал Иоанн, – и такие слова: «Бог да простит тебя. Мы нуждались в твоей помощи здесь, но ты ушел и обосновался там. Я тебе завидую».

– Он так сказал?

– Да, именно так, я запомнил слово в слово.

– Ха! – Феодор помолчал. – Завидует... Если завидует, так пускай и сам уходит!

– Ну, Феодор, – с упреком сказал Халкитский игумен, – владыка велел позаботиться о тебе, расспрашивал, как тебе тут живется... А ты насмехаешься над ним!

– Нет, я не насмехаюсь. – Феодор вдруг стал серьезным и печальным. – Но я говорю то, что есть. Патриарх предпочел жить, уступая императору, я же предпочел не уступать. Теперь он мне завидует... Я понимаю, ему тяжело... с такими-то епископами! О, я видел на соборе, что это за епископы! Но что посеет человек, то и пожнет. Куда повернет, туда и пойдет... «Сеющий ветер пожнет бурю».

– Ты что-то часто это повторяешь, Феодор! Какую бурю ты еще нам пророчишь?

– Не знаю, отче, не знаю... Я не пророк. Но одно я знаю точно: никогда преступление заповедей и гонение невинных не проходило бесследно, и нелживо Писание – «сеющий ветер пожнет бурю»!

## 10. Полуденный бес

*Причина войны должна быть законной.  
(Св. император Маврикий)*

Когда северный ветер сменился на южный, и настало самое знойное время года – несмотря на близость моря, воздух иногда был душен до невозможности, – в сердце архиепископа Иосифа тоже воцарились тяжесть и духота. Получив в июне первое письмо от брата, он обрадовался и внутренне воспрянул: возможность хоть изредка получать весточки от Феодора делала заключение не таким тяжелым. Стражи не сразу согласились принести Иосифу письменные принадлежности, но все же переговоры, которые он упорно изо дня в день в течение недели вел с ними, наконец, увенчались успехом, и ответ Феодору был отправлен. Архиепископ ожидал, что чернила и перо у него отберут, но этого не произошло. Тогда на оставшихся листах пергамента он стал записывать свои мысли о снисхождении в церковных делах. Уже давно в душе архиепископа жило некое сомнение, которому он до сих пор, однако, не давал хода, зная, что если будет много думать об этом, то только разорит свое душевное устройство, и тогда пребывание в заключении станет невыносимым. Но теперь Иосиф, наконец, решился изложить свои мысли, тем более что в письме Феодора прозвучало слово «ересь».

Правомерно ли было считать еретическим осудивший их собор? Не следовало ли все же согласиться, что по снисхождению восстановление эконома в сане было возможно? Стоило ли поднимать такое возмущение? Стоило ли дело эконома того, что архиепископ покинул свою кафедру, оставив паству неизвестно кому – быть может, «наемнику, а не пастырю», – и отправился на этот остров в бессрочную ссылку?

Иосиф вспоминал те доводы, которыми брат убеждал его в свое время в необходимости протеста, но сейчас они почему-то не казались ему столь же убедительными, как тогда. Что это? Малодушие? Он испугался лишений? Испугался умереть здесь, в этой убогой келье, лишенным сана, с клеймом «отщепенца»? Нет, но...

Иосиф думал о патриархе. Этот человек – умный, образованный, благочестивый, вроде бы не рыхлого характера, – он тоже испугался императора? Ведь он подписал соборные определения, хотя Феодор и надеялся, что патриарх такое не одобрит... А может быть, святейший думал, что так нужно для пользы Церкви – и был прав?

Мысли архиепископа возвращались в детство. Тогда он и Евфимий с сестрой жили в полном послушании у матери, всегда ощущая себя рядом с ней, как за каменной стеной: на все вопросы у нее были четкие ответы, всё было разложено по полочкам. Они читали жития святых, исправно молились по утрам и вечерам, ходили в храм по воскресеньям и праздникам, учились в школе, и жизнь была такой простой и понятной... Только с Феодором тогда творилось неладное, и мать не знала, что с ним делать, молилась и плакала по ночам. А затем – приезд дяди, и всё так внезапно изменилось! Иосиф помнил, как Феодор убеждал его и брата, что нет ничего лучше монашеской жизни, а они слушали, раскрыв рот, вчерашнего гуляку, который вдруг совершенно переродился. Как это произошло? Здесь была какая-то тайна, известная только троице – дяде, матери и самому Феодору. И потом жизнь в монастыре... В послушании, смирении, мужественном перенесении лишений не было в обители никого, равного Феодору. Братия дивились ему, многие советовались с ним в духовных вопросах; Иосиф тоже обращался к Феодору с различными недоумениями и получал такие точные и ясные ответы, которые могли быть только плодом собственного опыта, а не одних книжных знаний. Иосиф всегда совершенно искренно считал брата высшим себя во всем, не завидовал ему, а только удивлялся. С тех пор как Феодор стал помощником настоятеля, а потом и игуменом, братия всегда ощущали себя рядом с ним, как в крепости, «в огражденном граде», куда не проникнет

враг, а если и проникнет, тут же убежит вон посрамленный. То, что Феодор три года назад не стал патриархом, а Иосиф вскоре после этого получил епископство, казалось ему недоразумением: он безусловно считал брата более достойным архиерейского сана. Но так распорядился Бог, и Иосиф покинул монастырь и вступил на Солунскую кафедру. Что же, теперь он жалел о потерянном месте? Нет, не о месте он жалел. Если бы дело было только в этом, он отогнал бы эти мысли как греховные и успокоился бы. Но...

Правомерно ли восстановление эконома в сане – деяние, в общем, случайное – представлять как нечто принципиальное, влекущее за собою обвинение в ереси? Не преувеличение ли это?.. Архиепископ написал брату в ответном послании некоторые свои соображения на эту тему и, отправив письмо, погрузился в смутные мысли. Впрочем, умом он понимал, что на него просто нападает уныние – тот самый «полуденный бес», искушающий отшельников. Иосиф чувствовал себя больным и разбитым, от постоянного голода и грубой пищи начались рези в желудке и головные боли. В конце концов стражи сжалились и стали кормить его лучше, даже приносили целебный травяной отвар, но заключенному это уже мало помогало. Впрочем, при бодрости духа он легче терпел бы телесные лишения, но поселившиеся в его душе сомнения постепенно сгрызали остатки мужества. Иосифу не хватало поддержки брата, а о судьбе Платона он боялся и думать: старец был уже так болен, когда над их головой прогремели анафемы... Впрочем, какая смерть лучше принятой в борьбе за истину? Но... действительно ли они во всем правы? – и мысли архиепископа возвращались к тем же вопросам. В то же время он неожиданно резко ощутил нехватку книг. Голова болела все чаще и мучительней, и он порой не мог вспомнить того, что раньше знал наизусть. Архиепископ лежал на рогоже, закрыв глаза, молился, но то и дело молитву перебивала мысль: «Скорей бы, что ли, смерть!»

В таком положении его и нашел брат Григорий, пробравшийся на остров и сумевший подкупить стражей: Василий с Марфой, которых он тайно посетил, узнав, что он собирается навестить принцевских изгнанников, снабдили его деньгами и вещами. И вот он, с большим мешком за плечами, появился на пороге покосившейся кельи, стоявшей между старыми корявыми деревьями. Архиепископ приподнялся на рогоже и несколько мгновений всматривался в посетителя.

– Владыка, это я, благослови!

– Григорий! – Иосиф с трудом поднялся, и они бросились друг к другу в объятия.

Вечером Григорий и Иосиф – одетый в новую рясу и башмаки, накормленный и снабженный тетрадкой, куда были переписаны «Увещательные главы» святого Иоанна Карпафского, – сидели рядом на рогоже и обсуждали положение дел. Архиепископ пожаловался на свою жизнь, но про сомнения распространяться не стал, чтобы не смущать брата: Григорий был полон воодушевления и отчасти ободрил Иосифа, особенно сообщением о том, что никто из студийской братии до сих пор не отрекся от исповедания, но все стоят твердо, хотя некоторые монахи содержатся по одному или по двое-трое в крепостях и монастырях, терпя притеснения от тамошнего начальства, а другие вынуждены скрываться и сообщаться друг с другом тайно, больше по ночам. Архиепископу стало стыдно: «Если все братия, даже самые юные, так стойко терпят лишения, то как я могу ныть и унывать?!»

Наутро Григорий покинул архиепископа, собираясь навестить старца Платона, а потом хотел посетить и игумена. На обратном пути с Халки он обещал завернуть опять к архиепископу. Они расцеловались и расстались со слезами на глазах.

Золотые номисмы сделали свое дело: у Иосифа появилось деревянное ложе, и ему больше не приходилось лежать на земле; расшатанный стол починили, и на нем стоял светильник, в который ежедневно подливали масло; пищу стали приносить дважды в день, а после обеда узника выводили на час-полтора погулять по острову. Архиепископ взбирался повыше и, опершись на суковатую палку, стоял и смотрел, как волны Пропонтиды разбиваются внизу о прибрежные камни. Он вглядывался в остров Халки, возвышавшийся за соседней Антигоной:

монастыря, где содержался Феодор, не было видно отсюда, но даже сам вид острова, где жила родственная душа, доставлял архиепископу утешение. Скоро Григорий будет уже там и, наверное, принесет ему письмо от Феодора...

Монах появился опять спустя две недели. Он побывал на Оксии, но увидеться с Платоном ему поначалу не удалось. Злонравный страж, взяв у Григория деньги и нагло улыбувшись, заявил:

– А теперь, дорогой, убирайся-ка отсюда подобру-поздорову, и чем быстрее ты это сделаешь, тем умнее будешь! – и, в ответ на протесты Григория, расхохотался: – Не думаешь ли ты, что зря потратил деньги? Экий ты, братец, пень! Если б не они, так я бы уж тебя связал и передал властям! Так что давай, чеши отсюда, дружище! А старик ваш обойдется и без вас, эка невидаль!

Монах приуныл, но решил не отступаться. Он выследил, где жил человек, стороживший Платона: это был местный, обитавший на острове с семьей. Григорий сумел познакомиться с его супругой Мелитой и, расписав ей бедственное положение Платона, его старость и болезнь, быстро вызвал у нее сочувствие старцу. Женщина согласилась помочь Григорию проникнуть к узнику, на другой день подпоила мужа, подмешав в вино снотворную настойку, и когда он уснул, стащила ключ, который стражник всегда носил на шее на веревке. Так Григорий, наконец, пробрался к старцу. Платон был едва живой. Мелита, тоже пришедшая посмотреть на узника, была в ужасе, увидев его – истощенного, в лохмотьях, с ранами на ногах... Она сбегала домой и принесла масла, и Григорий принялся смазывать старцу раны. Платон тихо плакал от радости: он уже не чаял увидеть кого-нибудь из своих. Когда Григорий рассказал ему о братии, о том, что виделся с Феодором и с архиепископом, старец совсем воспрянул духом и сказал:

– Слава Богу, укрепляющему рабов Своих! Теперь и умирать не страшно: мои чада оказались верны и достойны получить венец жизни!

– Отче, милостью Божией, ты еще поживешь, не умрешь, – сказал Григорий и вдруг совсем по-детски воскликнул, жалобно глядя на старца: – Не умирай, отче!

– На всё воля Божия, брат. – Платон слабо улыбнулся. У него не было сил писать письмо, и он устно сказал Григорию то, что хотел передать Феодору. Узнав о том, что архиепископ, похоже, приуныл, Платон посоветовал Феодору составить подборку из творений святых отцов относительно послабления и строгости в соблюдении церковных правил, – благо Халкитский игумен предоставил узнику возможность пользоваться книгами из монастырской библиотеки.

На рассвете Григорий простился со старцем и в то же утро отправился на Халки, дав Мелите денег и взяв с нее обещание позаботиться о том, чтобы ее муж окончательно не уморил Платона. У Феодора Григорий пробыл несколько дней. Иоанн был к нему весьма любезен, хотя и не разрешал много разговаривать с узником.

– Иоанн на словах одобряет эконома и прелюбодейный собор, – рассказывал Григорий архиепископу, – но видно, что наш отец произвел на него такое впечатление... Если бы ты, владыка, видел отца! Он сияет!

– А как его здоровье?

– Жалуется на слабость. Условия там не очень... Но он – сияет! Понимаешь, владыка?

– Понимаю...

Григорий принес и ответ от Феодора на письмо. Феодор постарался разрешить возникшие у Иосифа сомнения. Архиепископ читал и думал, что брат всегда был силен в логике, и вообще, в отличие от Иосифа с Евфимием, науки с юности давались Феодору легко, и он без труда заучивал наизусть целые отрывки из книг. Игумен был верен себе: «Какое может быть снисхождение к тем, кто служит вместе с сочетавшим прелюбодеям и председательствовал на соборе, утвердившем прелюбодеяние?» К письму он прилагал несколько листов со святоотеческими цитатами, которые должны были убедить Иосифа в правильности избранного ими пути. Архиепископ просмотрел их: вроде бы всё было верно... Но не давала покоя мысль: почему же

патриарх, этот благочестивый, как все о нем говорили, образованный и начитанный не менее, если не более Феодора человек, рассудил иначе?

Григорий сказал архиепископу, что поселится на Халки вблизи монастыря – там нашлась подходящая пещера, – будет по мере возможности навещать Феодора и заботиться о переправке писем. Он даже надеялся со временем выпросить у Иоанна позволения поселиться вместе с игуменом.

Иосиф собрался с мыслями и написал Феодору более подробно о своих сомнениях, не утаив ни одного помысла; в сущности, это было письмо-исповедь. Когда Иосиф его закончил, на душе сразу стало легче. Он отправил письмо с Григорием, передав также для Феодора и несколько листов со своими рассуждениями о пределах церковного снисхождения, – Григорий рассказал игумену о том, что архиепископ написал некий «труд», и Феодор хотел прочесть его.

Ответ от брата Иосиф получил только в середине сентября. На этот раз письмо было более пространное. Игумен писал, что они уже достаточно и в нужной мере применяли снисхождение до прелюбодейного собора, но оно привело лишь к тому, что противники стояли на своем, а экономом Иосиф беспрепятственно служил с патриархом. «Одни речи до войны, и другие – после войны», а потому теперь настало время строгости, и нужно терпеливо переносить лишения и молиться за гонителей. Феодор соглашался братом в том, что «из-за падения одного человека нельзя разделять Церковь», но разъяснял это так: «Из-за одного человека мы не отделяемся от Церкви, которая “от запада, и севера, и моря”, и даже от здешней Церкви – конечно, кроме одобренных прелюбодеяние. Ибо они – не Церковь Господня»; напротив, как раз они и отделились от Церкви, приняв в общение эконома. Легко и логично Феодор разрешал все недоумения архиепископа, а по поводу скорби его о пастве сообщал, что среди солунцев тоже есть противники решений «прелюбодейного собора», претерпевающие гонения, как и студиты, и писал: «Что же касается города твоего, то в нем ты возжег высокое пламя благочестия, которого человек не погасит вовеки. Нужно не печалиться, но радоваться этому, как и я, окаянный, радуюсь рассеянию смиренного монастыря моего, ибо это рассеяние – ради Господа».

Но самое большое впечатление на Иосифа произвели слова патриарха, переданные Феодору через Халкитского игумена, – Студит процитировал их в письме к брату. На следующий день во время прогулки архиепископ долго смотрел на маячивший в дымке константинопольский берег. Теперь в душе его был покой. «Я завидую тебе», – в этой краткой фразе патриарха было, в сущности, разрешение всех недоумений архиепископа: Никифор сознавал, что пошел на поводу у василевса и потерял в лице Феодора верного помощника, способного отстаивать независимость Церкви пред лицом императорской власти.

...Книги в дальних шкафах были сложены весьма небрежно, кое-где их уже погрызли мыши. Слежавшиеся страницы с трудом разлеплялись, некоторые рвались в руках. Вдохнув очередную порцию пыли, Иоанн громко чихнул.

– Вот варвары! – пробормотал он. – Так относиться к книгам!

Патриаршая библиотека была его излюбленным местопребыванием. Он имел разрешение еще от патриарха Тарасия приходить сюда для занятий и это право усердно использовал. Книги были его страстью: он не мог равнодушно пройти мимо рукописи, даже самой неказистой на вид, – напротив, такие-то еще больше привлекали его внимание. Всё свободное время Иоанн тратил на чтение и занятия науками. С юности привыкший довольствоваться немногим, он мало ел, а спал от силы часа два-три в сутки. Он был крепок телом и никогда не болел; зрение его, несмотря на многие часы, проведенные за книгами, было острым и ничуть не притуплялось. С годами Грамматик научился быстро разбирать почти любой почерк и легко восстанавливал по смыслу полустершиеся или неграмотно переписанные слова, а потому читать даже те книги, за которые никто не брался по причине плохого почерка переписчиков или многочисленных ошибок, для него не представляло особого труда.

Неудивительно, что в патриаршей библиотеке его внимание привлекали чаще всего самые дальние углы, самые пыльные сундуки и полки, где попадались рукописи, годами никем не раскрывавшиеся. Библиотекари порой даже не знали, что за книги там хранятся, и Иоанн попросил у патриарха благословения самому смотреть и брать рукописи, хотя от должности помощника библиотекаря отказался. Впрочем, неофициально он всё равно, можно сказать, занимал ее: главный библиотекарь, увидев его интерес к старым рукописям, был даже рад этому и попросил Иоанна составить список непронумерованных и неучтенных книг, если таковые будут ему попадаться, а когда ему или его помощникам нужно было отлучиться, они смело оставляли в библиотеке Грамматика, который при необходимости мог не хуже них найти для пришедшего читателя нужную книгу.

Иоанна интересовало всё, от гомилий Григория Богослова до медицинских трактатов Галена и Гиппократов. Хотя в библиотеке хранились в основном книги церковного содержания, но попадались и исторические, и по медицине, и творения эллинских философов и поэтов...

В особых сундуках содержались еретические книги. Здесь были сочинения Оригена, Евагрия Понтийского, Нестория, Диоскора, Феодора Мопсуэстского, Филоксена Маббугского, Севира Антиохийского, Дидима – всё это было внимательнейшим образом изучено пытливым книголюбом. Особенно заинтересовали Иоанна богословские полемические сочинения времен императора Юстиниана. Часто Грамматика можно было видеть сидящим над очередной книгой, с полуприкрытыми глазами, погруженным в раздумья, так что иной раз он даже не отзывался, когда библиотекарь окликал его. О чем он думал? Иоанн ни с кем не делился своими мыслями...

## 11. «Слово Божие не вяжется»

*Хочешь ли ты изменить этот мир,  
Сможешь ли ты принять как есть,  
Встать и выйти из ряда вон,  
Сесть на электрический стул или трон?  
(Виктор Цой)*

9 июня третьего индикта, около двух часов пополудни, у ворот опустевшего Студийского монастыря стояли два высоких широкоплечих стратиота, вооруженных щитами и копьями, один белокурый, а другой рыжий, с усыпанным веснушками лицом. Солнце палило нещадно, и пот тек со лбов стратиотов, подозрительно и грозно глядевших на всякого, кто приближался к обители.

– Экое пекло! – сказал рыжий.

– Да уж... Скорей бы смена!

– Еще часа полтора нам тут торчать. – Рыжий сощурился на солнце, пытаясь определить, сколько времени.

– Эва! Глянь, какие мулы!

Двухколесная повозка, запряженная парой красивых черных мулов с белыми звездами во лбу, остановилась перед обителью. Женщина в зеленой тунике и легком шелковом мафории, выйдя из повозки, подошла к монастырской стене чуть левее ворот. Солдаты, повернув головы, наблюдали за ней, а она прошептала, проведя рукой по шершавой каменной кладке:

– Господи! Не посрами упования нашего! Ты знаешь, что за заповеди Твои страдают исповедники, укрепи их и вразуми противных! – На мгновение она прижалась к нагретой солнцем стене, перекрестилась и пошла к повозке.

– Эй, женщина! – крикнул рыжий стратиот, решив показать, что они не просто так торчат у ворот монастыря. – Ты здесь, давай, не шатайся! Смутьянов отсюда выкинули в два счета, смотри, и тебя заметут!

Женщина остановилась и взглянула на стратиотов.

– Молитвами этих «смутьянов» да смилуется Бог над вами и над теми, кто разогнал святую обитель!

– Чего-о-о? – грозно крикнул рыжий, слегка оробев под ее взглядом и от этого еще больше раздражившись.

Марфа ничего не ответила и вновь забралась в повозку. Где-то сейчас игумен Феодор, владыка Иосиф, братия? Вернутся ли они вновь в опустевший Студий? Кончится ли когда-нибудь эта смута? Пока она всё ширится... Разогнав монастырь, император рассчитывал покончить с возмущением, а это стало только началом. Он думал, что «смуту» затевают одни студиты, но протесты нарастают, и теперь гонения на противников незаконных решений собора идут уже по всей Империи. Ох, чем-то все это кончится?..

Когда Марфа вернулась домой и прошла в гостиную, из боковой двери навстречу ей выбежала Кассия.

– Мама! Вот и ты!

– Да, вот и я. – Марфа улыбнулась, ласково потрепав дочь по голове. – На улице жарко... Чем ты занималась с утра? Господин Власий приходил?

– Да, мы сегодня читали третью песнь, про Елену, как Александр и Менелай за нее сражались! – Кассия с важным видом сложила руки на груди и принялась читать наизусть:

«Старцы, лишь только узрели идущую к башне Елену,

Тихие между собой говорили крылатые речи:  
“Нет, осуждать невозможно, что Трои сыны и ахейцы  
Брань за такую жену и беды столь долгие терпят:  
Истинно, вечным богиням она красотою подобна!  
Но, и столько прекрасная, пусть возвратится в Элладу;  
Пусть удалится от нас и от чад нам любезных погибель!”»

- Ты что, это прямо сейчас выучила?
- Да! То есть нет... Я не учила, оно само запомнилось! А Власий сказал... Он сказал, что это «поразительно»! Только вот я не знаю, что в этом такого... поразительного?
- Ну, просто редко бывает, чтобы маленькие дети так вот сразу запоминали такие стихи...
- А-а... Значит, как ты с папой живешь – это тоже поразительно?
- Почему?
- Вы не кричите никогда, не ругаетесь... А Мелания говорит, я слышала, что мужья с женами почти всегда ругаются!
- Это она тебе говорила? – Марфа слегка нахмурилась.
- Нет... Она это на кухне с Анфусой. А я просто... я мимо проходила!
- Ах, ты, любопытная, везде успеваешь!



а... То есть нет... Я не учила,

Беспрепятственное хождение Кассии по всему дому и то, что девочка совала нос везде, в том числе и на кухню, и на задний двор, с точки зрения ее дяди-протоспафария, являлось «верхом неприличия»: он был страшно возмущен, узнав об этом, когда случайно, зайдя к сестре в гости, услышал от прибежавшей Кассии веселый рассказ о том, как на кухне слуги спорили о приправах для жаркого. Но Марфа не хотела ограничивать Кассию и слишком подавлять ее стремления: ведь она сама выросла на свободе, среди садов и полей, при отце, который не особенно следил, в каком углу дома его дочь читает книгу или пытается поймать залетевшую бабочку, чтобы выпустить в сад... Василий был согласен с женой, и потому Кассия получала не такое воспитание, как многие девочки из богатых семей, которых растили с одной целью – выгодно выдать замуж. Иной раз, глядя на дочь, Марфа вспоминала о своем обещании, данном Богородице, и гадала, может ли выйти так, что Кассия действительно захочет пойти в монахи, когда вырастет. Пока об этом трудно было судить. С одной стороны, девочка была очень живая, всем интересовалась, любила читать и рассуждать вслух о разных занимавших ее вещах, – и в то же время могла подолгу сидеть одна где-нибудь в углу с игрушками или в саду под деревом, о чем-то думая... Иногда она капризничала, но это случалось редко; в целом Кассия росла послушной, родителям было не на что жаловаться. Но иной раз неясное ощущение чего-то особенного, что ждет Кассию в будущем, охватывало Марфу. Что ни говори, а девочка умна не по возрасту... В ее годы Марфа еще и не открывала великого поэта, а дочь рассказывает целые куски из поэмы, даже не уча нарочно! И красивая растет – в кого только такая?

Родители думали, что замечательный синий цвет глаз дочери со временем сменится на другой, как бывает у младенцев, но этого не произошло. Кассия росла темноволосой, белокожей, с огромными глазами цвета лазурита. Ни Василий, ни Марфа не помнили, чтобы у кого-то в их родстве были глаза такого редкого цвета.

– А ты где была, мама? – прервала Кассия ход ее мысли.

– Ездил за город передать еду и одежду для одного монаха.

– А почему у него нет одежды в его монастыре?

– Потому что его выгнали из монастыря. Вообще их монастырь разогнали, и они скитаются и прячутся по разным местам, а некоторые сидят в заточении.

– Ой! Бедные! А ты им помогаешь, да? За что же их разогнали?

– За то, что они стоят за Божию правду, против тех, кто нарушил заповеди Христа.

– Но если они за Христа, то Он должен Сам помогать им!

– Конечно! Он дает им силы всё терпеть... И помогает через людей.

– Через тебя, да?

– И через меня... Но гораздо больше через других. Я-то мало делаю для этих исповедников, увы!

– Но тогда мы можем делать больше! Мы можем... – Кассия задумалась, наматывая на палец кончик своей косы. – Мы можем кого-нибудь поселить у нас дома! У нас тут много места. А они скитаются... Вот им пока и будет, где жить! Ведь их должны оправдать, если они за правду?

– О да, я верю в это!.. А в твою маленькую голову пришла большая мысль! Надо поговорить с папой!

Василий вернулся из Священного дворца хмурый.

– Император думал убедить мир, что только одни студийские монахи такие смутьяны, любители побуянить из-за пустяков! – начал он, едва войдя в дом. – Думал, что после их изгнания протесты прекратятся, что никто не посмеет поднять голос против решений собора... Как он просчитался! А теперь не хочет этого признать, воздвигает всё новые гонения! Это походит уже на безумие.

– Кого-то еще взяли? – с беспокойством спросила Марфа.

– Говорят, игумен Стефан и его монахи – представь, все пятьдесят! – предали анафеме прелюбодейный собор и покинули монастырь, некоторых уже арестовали. Но они не одни – вместе с ними прокляли этот собор еще больше сотни монахов и местный епископ!

– Ого!

– И это еще не всё. Ходят слухи, что Херсонский епископ удален с кафедры, а тамошний игумен Антоний и несколько монахов заключены под стражу... – Василий достал из кармана сложенный лист пергамента и протянул жене. – Это копия письма игумена Феодора к брату Навкратию, господин Феодот дал мне почитать. Воистину, «слово Божие не вяжется!»! Подумай: он в заточении, отрезанный от братии и от всех, – а его голос звучит повсюду!

– Да, уже одно это вселяет надежду! – Марфа развернула письмо и стала читать про себя. – Боже! – в ужасе прошептала она. – Почти семьсот ударов!

– Это кому? – раздался сзади испуганный голос. Василий с Марфой обернулись. Кассия, неслышно вошедшая в залу во время их разговора, вопросительно смотрела на них.

– Так бичевал нечестивый епископ исповедника Христова, – сказал Василий.

– Семьсот ударов? Бичом? Ведь это больно?

– Да, очень больно! Можно запросто умереть даже от гораздо меньшего числа...

– А за что он его? – спросила опять Кассия. – За то, что он за правду Христову, да?

– Да. – Василий удивленно взглянул на дочь.

– Я ей кое-что рассказала сегодня, – пояснила Марфа. – А она знаешь, что сказала?

Погоди, дочитаю...

– Мама, читай вслух, я тоже хочу знать!

Марфа вопросительно посмотрела на мужа.

– Ладно, читай. Ребенок тоже должен знать, что творится в нашем «богоспасаемом» отечестве... Тем более, что она у нас умненькая! Читай, пожалуйста, с начала.

В письме студийского игумена рассказывалось о том, как в Фессалонике после изгнания архиепископа Иосифа назначенный вместо него архиерей расправлялся с теми, кто не хотел его поминать и не признавал решений «прелюбодейного собора». Евфимия, игумена одного из солунских монастырей, отказавшегося признать нового епископа, бичевали прямо в храме почти до смерти, но он все равно отказался поминать «прелюбодействующего» епископа. После истязания «некто, подражавший Христу, взял Евфимия в свой дом и, приложив к кровавым ранам и язвам телесным свежую кожу убитого ягненка, оживил этого мужа», вылепил и тайно отпустил. «Кто из православных когда-нибудь поступал так с еретиком? – восклицал Феодор. – Воззри, Господи, Господи, на такое бедствие и пощади народ Твой, устроив мир православия в нашей Церкви!»

Когда Марфа закончила читать, Кассия бросилась к отцу и ухватила его за плащ, который он еще не успел снять.

– Папа! Там сказано, что «подражавший Христу взял его в дом свой»! Нам тоже надо так!

– Вот видишь, – сказала Марфа. – Она еще днем предложила сделать из нашего дома странноприимницу для гонимых.

– Что ж, «из уст младенцев»... – Василий положил руку на голову Кассии, зарывшейся лицом в его плащ. Кассия подняла голову; в ее глазах блестели слезы. – Не плачь, – сказал Василий решительно. – Мы им поможем, насколько это в наших силах.

– И пусть Бог довершит остальное! – тихо сказала Марфа.

– Аминь! – ответил ей муж.

...Когда учитель ушел, Фекла спросила сына, уже готового бежать в сад играть:

– Ну, чем вы сегодня занимались?

Вместо ответа мальчик, заложив руки за спину и выставив вперед подбородок процитировал:

«В мрачную осень как быстрые воды с небес проливает  
Зевс раздраженный, когда на преступных людей негодует,  
Кои на сонмах насильственный суд совершают неправый,  
Правду гонят и божией кары отнюдь не страшатся:  
Все на земле сих людей наводняются быстрые реки,  
Многие нависи скал отторгают разливные воды,  
Даже до моря пурпурного с шумом ужасным несутся,  
Прядая с гор, и кругом разоряют дела человека, —  
С шумом и стоном подобным бежали троянские кони».

– Какой же ты у меня молодец! – восхитилась Фекла. Феофил, поковыряв носком башмака узор на ковре, сказал:

– Когда я вырасту, я тоже буду ездить на коне!

– Конечно, будешь!

– И воевать с врагами!

– Да, если будут войны...

– И еще буду совершать суд по правде!

– Ну, для этого надо работать судьей или быть эпархом... или императором.

– А как стать императором?

Сердце Феклы глухо стукнуло: на память ей пришли речи мужа о будущей порфире, – Михаил частенько поминал пророчество монаха из Филомилия и был уверен, что когда-нибудь обуется в красные сапоги. У Феклы его разговоры на эту тему всегда вызывали досаду и испуг, и она не раз просила мужа «забыть это несчастное пророчество», – но тот лишь посмеивался и говорил жене, что пурпур ей очень пойдет.

– Императором становится тот, кого выберут знатные люди, войско и народ, – ответила она на вопрос сына.

– Значит, им может стать кто угодно?

– В общем, да, если Бог благоволит. – Она опять вздрогнула внутренне. – Вот, великий Юстиниан, который построил храм Святой Софии, был из семьи простых земледельцев.

– Да? А где про него можно прочесть?

– О, про него многие писали... Например, его современник историк Прокопий.

– А у нас есть эта книжка?

– Да.

– Я хочу почитать ее!

Фекла ненадолго задумалась. Не рановато ли ребенку читать Прокопия?..

Их домашняя библиотека была небольшой: Михаил книг вообще не открывал, а книги, принадлежавшие Сисинию, почти все пропали при изъятии его имущества; Фекла и Агния сумели припрятать только несколько рукописей. Когда Михаил получил должность комита шатра и у них появились кое-какие лишние деньги, Фекла стала покупать книги, но не часто, чтобы не вызывать лишний раз недовольство мужа. Список «Войн» Прокопия преподнес им Лев – это был его подарок по случаю крещения Феофила.

– Пусть растет воином! – сказал крестный.

С тех пор Фекла не один раз перечитала произведение историка из Кесарии. А вот и сын дорос... Дорос ли? Что он там поймет? Впрочем, там всё больше про войну, как и у Гомера. Да, наверное, можно... Учитель говорил, что мальчик сильно опережает в развитии своих ровесников, и Фекла радовалась, что наняла сыну грамматиста, не дожидаясь, пока Феофилу исполнится семь лет.

– Да, милый, вечером я дам тебе книгу.

– Ура! – Феофил подпрыгнул, кинулся к матери, обхватил ее и, когда она наклонилась к нему, чмокнул в щеку. – А теперь я пойду гулять, ага? – И он вприпрыжку выбежал из комнаты.

Фекла, улыбаясь, смотрела ему вслед. «Но что за странный вышел разговор! – подумала она. – Как стать императором!..» Ей вдруг пришло в голову, что всем занятиям люди учатся: как переписывать книги, как выращивать скот, как обрабатывать землю, как воевать, как чеканить монеты, как делать украшения или посуду, как шить одежду, – и только как быть императором, не учит никто... кроме Бога? «Мною цари царствуют», – говорит Бог в Писании. Что же? Ужели любого, стоит ему только быть коронованным, Господь умудряет царствовать? Но ведь в истории бывали и плохие цари. Говорят, Бог попускает плохих царей, а хороших посылает по благоволению... Неожиданно Фекле подумалось: каким бы правителем стал ее собственный муж, если бы сбылось то, о чем он постоянно мечтает, – императором по попушению или по благоволению? Но что за мысли ей приходят в голову сегодня!..

Она подошла к окну и снова заулыбалась: Феофил уже залез на росшую во дворе смоковницу и дразнил оттуда толстого полосатого кота, который, сидя под деревом, взирал на мальчика то ли удивленно, то ли с возмущением. Несмотря на рано пробудившуюся в нем страсть к чтению и ко всяческим познаниям, Феофил с не меньшей охотой предавался играм, забавам, физическим упражнениям, так что иной раз совершенно замучивал своих друзей – сыновей живших по соседству нотариуса и хартулария, – вызывая их бегать наперегонки, метать камни или прыгать через препятствия. И внешнею, и умом мальчик пошел совсем не в отца, за что Фекла неустанно благодарила Бога. К счастью, Михаил, хотя сам не стремился к образованию, не мешал учить Феофила. Правда, поначалу, когда мальчику было всего четыре года, а Фекла уже решила нанять ему учителя, муж недовольно сказал:

– Что-то рановато ты это...

– Ничего не рановато. Он у нас умный, такие вопросы нянькам задает, что они и не знают, что отвечать! И всё меня спрашивает, что за книги я читаю, – тоже хочет...

– Книги, книги... Дались вам эти книги! Смотри, не вздумай превращать ребенка в книжного червя!

– Нет, что ты, я вовсе не думаю об этом! Но образование никому не повредит. Подумай, ведь у образованного больше возможностей преуспеть на службе и при дворе!

Последний довод убедил Михаила. Он никогда не забывал о пророчестве филомилиийского монаха и рассудил, что сыну будущего императора образование, действительно, не мешает. За себя Михаил не беспокоился: он верил, что будет царствовать и без образования, – ибо так хочет Бог.

## 12. Чаша для болгарского хана

*Бога, в руке Которого дыхание твое и пред Которым все пути твои, ты не прославил. За это ... исчислил Бог царство твое и положил конец ему.*

*(Книга пророка Даниила)*

Шел к концу второй год пребывания Феодора на острове Халки. Телом заключенный в келье, духом Студийский игумен обтекал все концы Империи, куда только могли доходить письма. Его послания переписывались адресатами и передавались дальше, ободряя соратников по борьбе, заставляя задуматься равнодушных, приводя в гнев противников. Студийскую братию игумен наставлял и письменно, и устно – более всего через брата Гайана, который тоже поселился на Халки, недалеко от места заключения Феодора, и по его поручению обходил почти всех монахов, передавая наставления. Из Рима возвратился Епифаний, привезя от папы письмо, благословение и богатые дары, которые игумен тут же велел разослать нуждающимся братьям. Папа сочувствовал Феодору и хвалил его ревность о соблюдении священных канонов, но вместе с тем выражал недоумение по поводу дошедших до него слухов о том, что Феодор будто бы признаёт православными неких еретиков-акефалов.

– Наши супостаты со своими сплетнями добрались и до Рима, – вздохнул Феодор, выслушав рассказ Епифания и прочтя письмо папы. – Придется тебе, брат, снова отправляться туда. Я напишу письма, а ты действуй благоразумно, постарайся рассеять сомнения на наш счет!

«Ты, по примеру Христа, воззвал к нам, смиренным, – говорил игумен от имени своего и Платона в новом письме предстоятелю Рима, – и оживил дух наш, укрепил немощь, утвердил слабость...» Послание вышло длинным. «У нас, блаженнейший, состоялся всенародный собор, где заседали и начальствовали сановники, собор для нарушения Евангелия Христова», – писал Феодор и доказывал, что решения собора были «нечестивыми предприятиями и действиями прелюбодейной ереси». В конце игумен опроверг возводимые на него обвинения, анафематствовав еретиков, в сочувствии которым его подозревали. Написал он также письмо влиятельному игумену Василию, настоятелю греческого монастыря в Риме, с просьбой о молитвах и о воздействии на папу: Феодору хотелось, чтобы Римский первосвященитель осудил решения прелюбодейного собора. Епифаний, прочтя оба письма, покачал головой:

– Я-то поеду, отче... Готов хоть завтра в путь. Но только, думаю, святейший не пойдет дальше слов и писем. Он жаловался мне, что до сих пор не получил обычного послания от патриарха Никифора, хотя уже идет пятый год, как тот на кафедре, да и государь наш ему враждебен. С Карлом-то он мир заключил, а вот папе и приветствия не послал!

– Думаешь, на осуждение прелюбодейников он не пойдет?

– Почти уверен, что нет. Тут большая политика, а мы кто? Для папы – люди маленькие, и от Рима до нас далеко. Ты пишешь одно, от наших противников доходит другое... Разберись тут! Хорошо уже, что папа нам сочувствует, а на большее вряд ли можно рассчитывать.

– Как он выразился об истории эконома, это всего лишь «вопрос о грехах одного священника»...

– Не стоящий его забот! Да, так он на это и смотрит в целом. И потом, отче, у них Карл уже сменил несколько жен, так что папе по такому вопросу выступать как бы даже и не к лицу...

– Но ты всё равно поезжай! Надо стараться, чтобы он сохранял о нас благоприятное мнение, даже если вмешиваться в это дело не будет. – Феодор помолчал. – Да, благоприятное о нас мнение. Оно нам скоро понадобится.

Как бы ни обстояли дела на западе, на востоке письма Феодора и стойкость его монахов постепенно меняли положение. У опального игумена появилось немало открытых сторон-

ников, и многие из них уже поплатились ссылкой за поддержку студитов. Еще больше было приверженцев тайных, в том числе среди придворных. Большую роль сыграло то, что студиты и их единомышленники прекратили молитвенное общение с признававшими прелюбодейный собор. Это заставляло многих, поначалу равнодушно отнесшихся к восстановлению в сане эконома Иосифа, задуматься о том, что вопрос не так маловажен, как могло показаться на первый взгляд. Для тех, кто обращался с вопросами к студитам, наготове были разъяснения, убеждения, копии с писем Феодора, цитаты из святоотеческих творений; борцы выступали во всеоружии, и число приверженцев Студийского игумена росло с каждым днем.

Влияние императора между тем с такой же быстротой падало: одни роптали на него за гонения на студитов и их единомышленников, другие – за то, что он отяготил граждан налогами. С течением времени положение лишь обострялось. Даже монах Симеон, эта «трость, всяким ветром колеблемая», как называли его за глаза, как-то раз в беседе с глаза на глаз сказал императору:

– Не прогневайся, государь, на то, что я скажу! Боюсь, что напрасны были наши надежды подавить церковный бунт... Это надо было предвидеть с самого начала, но мы часто думаем, что другие так же рассуждают, как мы, а оно не всегда так...

– Что ты хочешь сказать? – Император теребил бороду.

– Государь... люди делятся на тех, кто руководствуются одними земными соображениями, тех, кто руководствуется земными, вспоминая в то же время и о небесных, и тех, кто руководствуются в целом небесными, не забывая при этом и о земных. Но есть еще один род людей – их мало, но они встречаются, – которые руководствуются одними небесными соображениями, совершенно пренебрегая ради них всем земным. Студийский игумен – из этого рода, и потому... – Симеон остановился в некоторой нерешительности.

– И потому?

Монах вздохнул и сказал совсем тихо:

– И потому, государь, скорее небо столкнется с землей, чем мы убедим его уступить. Он будет бороться до смерти... или до победы.

– Глупости! – Раздраженный василевс поднялся. – Не думаю, что он настолько безумен, чтобы не хотеть, к примеру, вернуться в Студий... Еще увидим, чья возьмет!

Когда император расстался с Симеоном, монах покачал головой. Он давно знал Никифора и понимал, что скрывалось за его бравадой: император был напуган и растерян.

Идя быстрым шагом по переходам Священного дворца, василевс размышлял о том, как выйти из создавшегося положения; он уже давно подумывал об этом, но... Патриарх! В последнее время он задавал императору загадки. Никифор явно уклонялся от обсуждения скользкой темы. Василевс уже не раз в той или иной форме намекал, что неплохо было бы как-то уладить дело со студитами, но патриарх словно не хотел понимать намеков.

– Тяжелые времена настали для нашей державы, святейший, – говорил император. – «Вовне свары, внутри раздоры»...

– О, да, государь! – отвечал патриарх озабоченным тоном. – Что может быть хуже внутренних смут! Враг нашего спасения не дремлет и не дает покоя ни государству, ни Церкви! – И он неизменно переводил разговор на павликиан, намекая, что неплохо было бы принять против этих еретиков крутые меры.

«Он что, издевается?» – думал император, поглядывая на своего тезку. Затевать новое преследование из-за веры, когда еще не расхлебаны последствия предыдущего?!.. Но как ни пытался император проникнуть в мысли патриарха, это ему не удавалось. За пять лет, проведенных Никифором на престоле Царицы городов, бывший асикрит сильно изменился. Он и раньше умел владеть собой, но теперь научился это делать столь хорошо, что даже келейник патриарха, с пристрастием и угрозами допрошенный императором, не мог сказать относительно тайных мыслей и настроений святейшего ничего определенного.

– Владыка почти всегда ровен, только иной раз выглядит усталым от трудов. Нет, он ничем не возмущается, разве что недоволен выходками павликиан...

– Дались ему эти павликиане! – прошипел император.

Когда испуганный келейник пересказал в тот же вечер патриарху этот разговор, заметив, что василевс, кажется, очень обеспокоен и даже растерян, Никифор слегка улыбнулся и произнес только:

– «Сеющий ветер пожнет бурю!»

Наконец, император сдался. На следующий день после разговора с монахом Симеоном он вызвал к себе патриарха и открыто заговорил о том, что на болгарской границе беспокойно и скоро придется идти в военный поход, а потому, в целях внутренней безопасности и укрепления тылов, хорошо бы уладить дело со студитами.

– Я понимаю твою озабоченность, государь, – ответил патриарх, – но не вижу, какой тут можно найти выход. Мы должны блюсти соборные решения, которые единолично я отменить не вправе. Их может отменить только новый собор и лишь в том случае, если они были неверны.

Патриарх умолк, ощущая, как глубоко внутри в нем закипает гнев. Император сначала добился того, чтобы соборно – и будто бы по желанию патриарха! – вернули сан Иосифу, а теперь хочет, чтобы и первый шаг к примирению с отколовшимися сделал патриарх... Но не будет этого, нет! Хватит уже императору навязывать ему свою волю! Хочет примирения – пусть первый признает свою неправоту! Пусть сам упрощает о созыве собора, пусть сам скажет, что Иосифа не нужно было восстанавливать в сане, что его требования нанесли вред Церкви... Пусть объявит об этом сам! А он, патриарх, не заговорит об этом первым, нет! Сначала император осудил студитов руками патриарха, а теперь хочет послать его на поклон к ним... Нет, нет!

Император расстался с патриархом в раздражении и растерянности. К вечеру им овладели тоска и даже страх: мерещилось, что где-то, быть может, в самом дворце, уже зреет заговор против него, ведь недовольных теперь – хоть отбавляй... Никифору вспомнился старец Платон, осужденный на злосчастном соборе два года назад. Каково ему сейчас там, на Оксии? Ведь он жив еще – удивительно! А Феодор – он уже всю Империю заполнил своими воззваниями... Так-то его там стерегли всё это время, дьявол бы их побрал! Сколько неприятностей может причинить один игумен! Почему патриарх не хочет примирения? Неужели ему нравится эта смута?.. А ведь он предупреждал с самого начала, что смута будет... Но император не поверил, понадеялся на силу власти, на человеческую слабость, на то, что студиты не пойдут на разрыв, не захотят расстаться со своим огромным и богатым монастырем, а если и произойдет возмущение, его легко будет подавить... Как он просчитался! Ему вспомнился тот момент, когда студиты, все как один, перешли на левую сторону. Да, уже тогда надо было понять... Но, Боже, что за человек этот игумен, если он смог воспитать их так?! Да что их – он уже кучу народа перемутил, помимо студитов! Неужели он не уступит, не согласится?.. И еще эти болгары... Как уйти в поход, оставляя за спиной такое?!

...Феодор только что вычитал по памяти службу шестого часа, когда двери его кельи распахнулись и вошли два спафария. Опальный игумен уже несколько дней жил вместе с Григорием в большой светлой келье одного из монастырей в предместье Константинополя: Студита перевели сюда в начале мая приказом императора. Тогда же Платон был переправлен с Оксии в один из столичных монастырей, и отныне узникам предоставлялись все условия для нормальной жизни, хотя под надзором.

– Ну вот, – сказал Феодору при прощании игумен Иоанн, – государь, похоже, смягчился.

– Или испугался.

– Испугался? Чего же он мог испугаться?

Вместо ответа Феодор чуть заметно улыбнулся. Халкитский игумен не очень разбирался в положении дел и, хотя поддерживал связь с экономом Иосифом и монахом Симеоном, получал от них далеко не все сведения о происходивших событиях; Феодор знал о них гораздо лучше своего стража и прекрасно понимал, что означал жест императора. Теперь, когда шел уже третий год после разгона Студийского монастыря, их положение было далеко не таким, как после «соборища прелюбодействующих». Сейчас у них была сильная поддержка, и не из какого-то сброда, а из людей достойных и благочестивых; за ними стояли исповедники, бичеванные за протест против решений пресловутого собора; им открыто сочувствовали не только многие монахи и игумены, но и некоторые епископы; неявных же сторонников их взглядов, в том числе из знатных лиц, было еще больше. Императору, пережившему за годы царствования уже несколько заговоров против своей власти, было чего опасаться.

– Благодарю тебя, господин Иоанн, за все твои услуги и благодеяния нам! – сказал Феодор. – Но жаль, что ты так и не понял неправоты прелюбодейного собора и этим лишил себя тех венцов, которые мог бы стяжать в борьбе за истину Божию. Впрочем, да не лишит тебя Господь той награды, обещанной за чашу холодной воды, поданную во имя ученика!

Иоанн в изумлении посмотрел на Студита.

– Феодор! – воскликнул он. – Вот уже два года я наблюдаю за тобой и не перестаю удивляться... Скажу правду: я восхищался тобой, хоть и не понимал тебя! Из-за такой мелочи пойти на такие лишения! Да, я восхищался тобой и даже... не раз испытывал ощущение, что ты действительно победишь, как ты говоришь... Хотя это противно всякой логике!

– «Соглашаюсь, душой несогласный»?

– Да... Да! Несогласный! Ты всегда, с самого начала и до сего дня держался так, будто не ты, а мы являемся осужденными Церковью! Но подумай, ведь и сейчас ты идешь не на свободу, а на новое место ссылки, пусть и ближе к Городу... Неужели ты думаешь, что император с патриархом признают твою правоту?

– Да, господин, пока я и правда иду опять в ссылку, но приближается время, когда не только ты, но и вся вселенная увидит, кто был прав пред Богом. А решения собора, которыми ты прикрываешься, «исчезнут с шумом, и память их погибнет». Что же до императора... – Феодор замолк и, сощурившись, посмотрел вдаль. Они с Иоанном стояли на монастырской пристани, у которой покачивалось небольшое судно, которое должно было доставить Феодора и брата Григория на константинопольский берег. Стратиоты ожидали, пока узник простится с Халкитским игуменом, а случившиеся тут же несколько братий, только что воротившиеся с рыбной ловли, кто с любопытством, кто с жалостью, кто с тайным сочувствием, смотрели на Феодора. Григорий стоял чуть поодаль и прислушивался к прощальному разговору своего игумена с Иоанном. Перед Феодором расстилалась морская гладь, небо было ясным и прозрачным, и так же ясно было в душе узника. Он вновь взглянул на Иоанна и сказал: – «Видел я нечестивого, превозносящегося и возвышающегося, как кедры ливанские, и прошел мимо, и се, нет его, и поискал его, и не нашлось место его!» Настанет время, и оно уже близко, когда ты, господин Иоанн, вспомнишь эти слова. Прощай!

Поклонившись игумену, Феодор взошел на судно. Григорий тоже простился с Иоанном и последовал за Студитом. Когда они заняли указанные им стратиотами места, Григорий спросил:

– Отче, а откуда это: «Соглашаюсь, душой несогласный»?

– Из «Илиады».

– А! Ты и оттуда...

– Да, я многое помню с молодости... Хотя кое-что предпочел бы забыть.

Халкитский игумен некоторое время смотрел вслед уплывавшему судну, а потом повернулся к своим монахам и сказал чуть раздраженно:

– Что столпились? А ну, быстро на послушания!

Братия вернулись к сетям и рыбе, а Иоанн стал подниматься по дорожке в гору, к монастырю, и тут вспомнил о пергаменте, который вручил ему Феодор «на память», покидая келью, где провел много месяцев. Небольшой лист, свернутый трубочкой, Иоанн так и нес в руке. Он остановился, развернул лист и прочел:

*«К тюрьме на острове Халки:  
Заключила ты, келья, меня, странника, против ожидания,  
Я же нашел тебя приятнейшим жилищем.  
Град Византий бросает меня сюда,  
Сия же безвестная изгоняет страсти.  
Темница для меня – лишь тело,  
А место, данное мне, всякое равно,  
Ибо всецело Божие, и я Его есмь странник».*

Попутный ветер надувал паруса судна, уносившего Божия странника к очередному месту жительства; остров Халки быстро уменьшался в размерах, и всё ближе сверкал на солнце купол Великой церкви...

И вот, теперь прибывшие к Феодору спафарии, говорили всё те же речи, которые он слышал еще до злополучного собора от монаха Симеона и иных доброжелателей: его призывали уступить, то пугая новой ссылкой, то обещая в случае согласия возратить игуменство в Студии.

– Напрасно вы трудитесь, господа, – ответил игумен. – Я остаюсь при своем мнении, которое вам хорошо известно. Вы говорите, государь отбывает в военный поход? Что ж... Жаль, что он и сам не хочет раскаяться в своем заблуждении, и других продолжает склонять к тому же. А потому передайте ему: «Не возвратишься тем путем, каким идешь ты ныне»!

Вечером 26 июля четвертого индикта запыленный гонец на взмыленном коне принес в Константинополь новость, потрясшую всех граждан и вызвавшую переполох во дворце: ночью во время сражения с болгарами ромейское войско было разбито, причем враги учинили страшную резню – были убиты несколько знатных патрикиев, стратиг Анатолика, domestik экскувитов, друнгарий виглы, многие архонты фемных отрядов и множество простых стратиотов; часть воинов попала в плен, и лишь немногие смогли спастись бегством. Император Никифор пал, а его сын и соправитель Ставракий был тяжело ранен.

Никифор стал первым со времен Валента императором ромеев, убитым на войне с варварами, – уже одно это наводило на всех ужас и уныние. Константинополь огласился воплями вдов и сирот. А спустя немного времени до столицы дошла еще одна ужасная новость: болгарский хан Крум сделал из черепа убитого императора чашу, оковал серебром и пил из нее со своими военачальниками. И тогда же по Городу распространился с быстротой молнии новый слух – видимо, его источником были те самые спафарии, которых император посылал перед походом на переговоры к Студийскому игумену: Феодор предсказал императору, что тот не вернется с войны – и это будет карой за гонения на студитов!

Монах Симеон, страшно напуганный, каждому встречному говорил:

– Увы нам, увывы и горе! Господь покарал нас за гонения на угодников Его! Не будет к нам благоволения Божия, пока длится церковный раскол!

Сам же Феодор, узнав о том, какая судьба постигла императора, перекрестился и сказал:

– Да помилует его Господь и да простит согрешения его за скорбь кончины... Но это – возмездие Божие и урок прелюбодейникам!

### 13. «Злой недуг»

*Нам следует поддерживать законы,  
И женщине не должно уступать.  
Уж лучше мужем буду я повергнут,  
Но слить не стану женщины рабом.  
(Софокл)*

2 октября пятого индикта рано утром Ставракий был разбужен испуганным шепотом:

– Государь! Государь, проснись!

Ставракий открыл глаза, приподнял голову и увидел перед собою смущенное лицо монаха Симеона.

– Государь, – задыхающимся голосом сказал инок, – я должен тебе сообщить, что... ты уже более не император...

– Как?!

– Только что на ипподроме Синклит и всё войско провозгласили Михаила Рангаве, и сегодня же будет коронация!

– А! – выдохнул Ставракий, откидываясь на подушки. – Предатели! Стефан донес... Сестрица добила-таки своего! Ну, посмотрим, долго ли она будет наслаждаться порфирой... Но Боже мой!

Ставракий с трудом повернулся, засунул руку под перину и достал оттуда длинный узкий кинжал с рукояткой из слоновой кости. Симеон охнул и сделал было движение к нему, но Ставракий усмехнулся и проговорил:

– Не бойся, я не для этого... Лучше пойдешь поскорей, раздобудь мне рясу!

С этими словами Ставракий обрезал себе волосы, отбросил в сторону кинжал и спутанные темные пряди и опять упал на подушки. Симеон всё понял и мгновенно исчез за дверью. А бывший император сжал кулаки, ударил ими несколько раз по ложу и заплакал от злости и бессилия.

В ту ночь, когда император Никифор погиб от рук болгар, его сын был ранен копьем в спину и, едва избежав смерти, с трудом добрался до Адрианополя. Доместик схол Стефан и магистр Феокист немедленно провозгласили Ставракия самодержцем. Войско присягнуло императору, воодушевленное речью, которую он, морщась от боли в ране и часто останавливаясь передохнуть, произнес перед воинами, обещая исправить несправедливости, сделанные его отцом, выплатить задержанное жалование и уменьшить денежные поборы. В числе прочих присягнул Ставракию и муж его родной сестры Прокопии – куропалат Михаил Рангаве. Однако друзья Михаила почти сразу предложили ему принять власть, говоря, что Ставракий тяжело ранен и вряд ли выживет, да и к царствованию не способен по причине недалекого ума и скверного характера. Но Михаил не соглашался, ссылаясь на данную императору присягу, из-за чего у него вышла стычка с женой.

– Трус! – кричала Прокопия. – Ты предпочитаешь служить этому бездарному дурню, моему братцу – чтоб его вороны унесли! – вместо того чтобы взять власть, которую принесли тебе на блюде!

Злые языки передавали, что после этого разговора куропалат не досчитался многих волос в бороде... Но его поддержал доместик схол: Стефан надеялся, что Ставракий еще выживет, и не хотел идти на риск, зная, что Михаил – человек бесхарактерный, а значит, на деле править в Империи будут другие люди.

Между тем у Ставракия отнялись ноги, и в столицу он был доставлен на носилках. Патриарх, посетив его, советовал молиться Богу и поскорей утешить ограбленных покойным императором:

– Ты ведь знаешь, государь, что говорит апостол: «Хвалится милость на суде».

Намек был довольно прозрачен, но Ставракий не торопился утешать обиженных – он еще надеялся остаться в живых. А Прокопия не теряла времени даром: в первую очередь, она склонила Феоктиста на сторону своего мужа, пообещав «во всем слушаться мудрых советов» магистра. Феоктист, размыслив о выгодах для себя при воцарении Михаила, с которым они были давними и близкими друзьями, причем дружба была неравной – Михаил почти всегда подчинялся суждениям Феоктиста, – не заставил долго себя уговаривать. К тому же он знал о почтении, которое Михаил и его родня питали к сосланному Студийскому игумену, и надеялся, что с восшествием на престол Рангаве будет наконец-то покончено с церковным расколом. Феоктист имел большое влияние при дворе и принялся увещевать синклитиков принять сторону Михаила, из-за чего сильно разругался с домашником схол.

– Ты хочешь попасть под пяту к этой бабе! – гневно прошипел Стефан, который терпеть не мог заносчивую и властолюбивую Прокопию. – Тупица! Она нас всех сожрет и не подавится!

– Зря ты кипятишься, господин, – посмеиваясь, отвечал Феоктист. – К сестре легче найти подход, чем к братцу... Сам увидишь!

Действительно, император, и без того упрямый и несговорчивый, стал попросту несносен – может быть, от мучений, причиняемых ему раной. Он бранил и Феоктиста, и Стефана, и собственную сестру, которую в конце концов выгнал, повелев больше не впускать к себе: до него дошли слухи, что Прокопия домогается царства. Тем временем императрица Феофано, жена Ставракия, отчаявшись в его жизни, принялась размышлять о том, как бы самой воцариться после его смерти, подобно покойной августе Ирине, хотя была бездетна. Она стала уговаривать мужа распорядиться, чтобы престол остался за ней. Узнав об этом, домашник схол возмутился:

– Ну, нет! «Не дам я женщине собою править!» Лучше уж Михаил с его бабой, чем опять баба на троне единолично!

Император, заподозрив неладное, призвал Стефана к себе и спросил, как бы устроить так, чтобы Михаил Рангаве из дворца Манганы, где он жил, был приведен в Священный дворец и ослеплен.

– Ибо я окончательно уверился, – сказал Ставракий, – что он злоумышляет против нашей державы.

Доместик возблагодарил Бога, что в покоях императора был полумрак: горел только один светильник, поскольку Ставракий, по своему болезненному состоянию, не выносил яркого света, и даже днем окна были закрыты тяжелыми занавесями. Едва справившись с волнением, Стефан сказал, что в настоящее время желание императора осуществить нельзя: Михаил окружен телохранителями, а дворец у него как крепость, так что лучше выждать до утра. Император согласился, хотя был очень недоволен, и просил доместика никому не говорить о его намерении. Стефан всячески успокоил Ставракия и, выйдя из его покоев, немедленно отправился к патриарху.

Никифор только недавно вернулся к себе из храма Святой Ирины, где служил вечерню. Стефан попросил его отослать келейника и наедине доложил патриарху обстановку во дворце.

– Да, – сказал Никифор, – государь не пожелал исправить ошибки отца, но, видно, готов еще и усугубить их... Увы!

Взгляды доместика схол и патриарха встретились. Стефан улыбнулся одними краями губ и подошел под благословение.

– Благословен Бог наш всегда, ныне и присно и во веки веков! – тихо произнес патриарх.

Всю ночь домашник собирал войска и архонтов на крытом ипподроме, а утром Синклит собрался во дворец, и Михаил Рангаве был провозглашен императором.

Когда новый василевс вместе с супругой и патриархом пришли к Ставракию, они застали бывшего императора уже в монашеской одежде. Ставракий, хоть и жалобным тоном, разразился упреками в адрес пришедших. Патриарх принялся утешать низложенного василевса, уверяя, что случившееся – следствие того, что все отчаялись в его жизни. Он говорил, что новый император приложит все усилия, чтобы соответствовать высокому званию и поистине быть другом Божиим и отцом для подданных, и постарается разрешить те затруднения, с которыми не успели справиться Ставракий и его отец. Рангаве согласно кивал в такт речи патриарха.

– Государь надеется, – говорил Никифор, – справиться и с церковной смутой. . .

Тут Ставракий, злобно усмехнувшись, прервал речь патриарха:

– О, да, тут ты не найдешь друга лучше него!

Прокопия поджала губы, метнув в умирающего брата гневный взгляд. Михаил смутился и с беспокойством взглянул на патриарха. Намек Ставракия был понятен, ведь и семейство Рангаве, и магистр Феоктист благоволили к студийским изгнанникам, а значит, прекращение раскола могло обернуться не совсем желательным для святейшего образом. . .

«Ты не хотел уступить моему отцу, когда он искал примирить тебя с Феодором, так теперь уступишь этому. . . да еще как уступишь!» – думал Ставракий, глядя на патриарха. Никифор, однако, никак не отозвался на выпад бывшего василевса. Сказав еще несколько общих фраз, он поспешил откланяться; Михаил и Прокопия тоже не задержались у Ставракия.

Спустя два часа Рангаве был коронован в Великой церкви, и начались обычные по такому случаю торжества, затянувшиеся до позднего вечера. Многие не спали в ту ночь, бодрствовал и монах Симеон. Сидя в своей келье, родственник двух императоров, из которых один доставил язычникам радость пить вино из своего черепа, а другой умирал от раны, всеми брошенный и почти забытый, шепотом читал при светильнике книгу Екклесиаста, и слезы текли по его щекам, падая на шерстяную мантию: «Есть лукавство, которое видел я под солнцем, и часто оно бывает между людьми: муж, коему даст Бог богатство и имение и славу, и нет для души его лишения ни в чем, чего бы ни вожелел он; но не даст ему Бог власти вкусить от сего, ибо чужой муж вкусит всё сие. И сие суета и злой недуг есть. . .»

. . . На другой день после коронации император имел разговор с патриархом.

– Святейший, – сказал Михаил, – меня очень беспокоит церковное разделение, возникшее при прежних государях. Думаю, пора покончить с этой язвой на теле церковном. Надеюсь, вы с господином Феодором найдете общий язык!

– Не знаю, государь, – ответил патриарх. – Это зависит не только от меня.

Через неделю игумен Феодор явился во дворец с избранными из братий, постепенно возвращавшихся из мест ссылки в родную обитель. В Магнавре уже собрались император и высшие сановники, ожидали патриарха. Феодор и братия поклонились василевсу и по его приглашению молча встали на указанное им место. Казалось, их нисколько не смущало, что все собравшиеся буравили их взглядами – изучающими, подозрительными, любопытными, осуждающими, восхищенными. . . Патриарх, войдя, сразу прошел поприветствовать императора; придворные, в свою очередь, приветствовали главу Константинопольской Церкви. Студиты продолжали стоять, не двигаясь с места. Наконец, патриарх повернулся к ним и встретился взглядом с Феодором.

– Ты знаешь, – сказал император вечером жене, – я смотрел на них и не мог понять. . . Они оба такие. . . Подвижники, постники, духом горящие! Какие лица! Я смотрел в их лица. . . Нет, я не мог понять: почему?!

– Почему они поссорились? – спросила полулежавшая в низком, задрапированном пурпурным шелком кресле Прокопия, лениво потягиваясь. – Власть, дорогой мой! Самолюбие. . . Ты же знаешь, Феодор должен был стать патриархом, но не вышло, – вот он и хочет теперь

заставить Никифора плясать под свою свирель, доказать, что есть и на первосвященника управа похлеще кесаря!

– Ты судишь о других по себе. – Михаил поморщился. – Глупо это... Нет, Феодор не такой! Он стоит за церковный закон...

Да, игумен стоял за каноны – и отступить не собирался.

– Охотно отвечу, трижды августейший, – сказал он, быв спрошен императором о том, каковы условия, на которых он и его сторонники согласны войти в общение с патриархом. – Эконом Иосиф должен быть лишен сана, как и подобает за совершенное им беззаконие. Невинно осужденные должны быть оправданы. Как ты понимаешь, государь, для этого нужен собор, который пересмотрит дело заново – по справедливости и законно.

Игумен обращался к императору, но на самом деле слова его были адресованы патриарху, сидевшему на золоченом кресле на возвышении рядом с Михаилом.

– Святейший, как ты смотришь на это? – спросил император.

Никифор немного помолчал; выражение его лица было суровым.

– Я должен подумать.

## 14. Бремя тяжкое

*Когда бы оба вы взяли за ум,  
Я не желал бы ничего иного.  
(Софокл)*

Патриарх сидел за письменным столом в своих покоях и поворачивал в пальцах костяное перо. Перед ним лежал лист пергамента, светлый, хорошей выделки, на котором было написано: «Всесвятейшему и блаженнейшему брату и сослужителю господину Льву, папе старейшего Рима, Никифор, Божию милостью епископ Константинопольский, радоваться». Патриарх задумчиво смотрел перед собой, взгляд его был печален. Уже давно Никифор никому не мог поверить терзавшие его скорби и сомнения.

«Никто, никто, – думал он, – не знает, что это за иго несносное, что за бремя тяжкое возложено на меня! Феодор отстаивает каноны... Хорошо ему делать это так уверенно: у него в подчинении всего несколько сотен монахов, а не целая Церковь! Ему не надо думать о том, что скажет император, как посмотрит императрица, что подумают синклитики, как обернется то или иное слово... Нет, конечно, надо в какой-то мере, но что это по сравнению с тем, о чем вынужден думать я! И теперь он опять требует... Он всегда требовал! Интересно, что было бы, если б он стал патриархом вместо меня?.. Впрочем, что было бы с ним, неизвестно, а вот я избавился бы от многих зол! Господи, на какое служение призвал Ты меня, совсем к нему не способного! Видно, это наказание за мои грехи...»

Он обмакнул перо в чернила и написал: «Поистине велик и досточуден и всякой похвалы достоин тот верный и благоразумный раб, который описывается в притчах священных евангельских повествований. Поставленный от господина своего над именем его, он рассудительно управляет...» Да, если кто и мог понять скорбь его души, то разве что поставленный на столь же высокое служение! Папа может понять его и подать совет... Патриарх вздохнул свободнее, и мысль его тоже потекла легче; строчки быстро ложились на пергамент. «Я же оказываюсь не из тех, кто может так управлять и направлять, а из имеющих нужду в руководстве...»

«Если бы патриархом стал Феодор, справился бы он?» – опять подумалось Никифору. Халкитский игумен тогда, в сентябре, приехав в Город, не мог скрыть своего восхищения узником и даже спросил у патриарха, бывают ли святые раскольники... Да, Феодор сумел собрать и воспитать единоедушное и мужественное братство: почти никто из его братьев не уступил ни угрозам, ни уговорам, не поколебался в ссылках и притеснениях! У патриарха зануло внутри, когда он вспомнил о том, как старательно некоторые епископы и игумены взялись исполнять постановления собора, даже до крови преследуя противников. «Разве могу я сказать, что здесь нет моей вины? – с горечью подумал Никифор. – Разве не прав был Феодор, говоря, что мы действовали недостойно христиан?» Конечно, будь игумен на месте патриарха, он не уступил бы императору ни на йоту. но император, скорее всего, и не решился бы требовать у Студита того, что потребовал у Никифора – ведь Феодор не был бы обязан василевсу своим избранием...

«Но поскольку, по соизволению и по попущению Божию, я подклонил себя под иго Его и принял эту службу и обязанности вопреки своему желанию, даже некоторым образом по принуждению, то расскажу обстоятельства моей прежней жизни и до какого положения дошли они...»

Никифор отложил перо и закрыл глаза. Перед его мысленным взором потекли воспоминания. Родившись в Константинополе в начале царствования Константина Исаврийского, он был вынужден, еще не успев окончить школу, отправиться вместе с родителями в ссылку. После смерти отца девятнадцатилетний юноша побудил мать воротиться в столицу, которая всё время жизни в изгнании влекла его к себе неудержимо – блестящий Город, чье величие

особенно ощущалось по сравнению с провинцией и где остались друзья детства и многочисленные родственники. По возвращении в Константинополь Никифор погрузился в светские науки, наверстывая упущенное за годы ссылки, упражнялся также в каллиграфии, показав большие способности, и вскоре, по ходатайству родных, был взят на службу писцом в императорскую канцелярию. Как очень многие тогда, он чтит иконы, но в то же время старался «не давать повода ищущим повода», памятуя судьбу отца: Никифору хотелось учиться и жить в столице.

После того как его дядя, протоасикрит Тарасий, под началом которого он служил, неожиданно для него самого и для его многочисленных друзей и учеников, прямо из мирского состояния был избран на патриарший престол, Никифор продолжал служить императорским секретарем. Его любили при дворе. Он отличался немногословием и ясностью мысли, умея излагать главное в кратких словах, и хотя довольно хорошо изучил риторику, витиеватостями в речи не злоупотреблял и вообще вел себя скромно. С воцарением Константина и Ирины иконопочитатели осмелели и стали открыто высказывать свои взгляды, и тогда Никифор стяжал известность, обратив довольно многих колеблющихся к православию. После восстановления иконопочитания на Никейском соборе его придворная служба продолжалась вполне безоблачно, пока не грянула смута, связанная со вторым браком императора Константина. Удаление августы Ирины от власти не особенно огорчило Никифора: взрослый сын-император хотел управлять самостоятельно, это было вполне естественно. При возникших сложностях из-за женитьбы василевса на Феодоте Никифор, хотя и не одобрял в душе этого деяния, решил дипломатично молчать и не брал открыто ничью сторону, всецело, впрочем, сочувствуя патриарху, которому пришлось нелегко...

Хотел ли император действительно восстановить иконоборчество в случае отказа признать его второй брак, как он в сердцах пригрозил Тарасию, или это было сказано просто в припадке гнева? Бог знает! Патриарх предпочел отнестись к обвенчанному незаконный брак Иосифу снисходительно, Никифор поддерживал позицию Тарасия. Но не так считали студиты... Они никогда не отличались излишней дипломатичностью! Как теперь, так и тогда, они требовали, не соглашались уступить, шли на лишения и ссылки... И в итоге добились того, что патриарх не только пошел на уступки, но и принес свои извинения, – впрочем, лишь после того, как император был свергнут с престола своею матерью.

Ослепление Константина произвело тяжелое впечатление на Никифора. Хотя императрица и объясняла случившееся государственной необходимостью, хотя ее сын действительно не проявил больших способностей к управлению, хотя его второй брак вызвал смуту в Церкви и падение нравов среди подданных, но... Никифор хорошо помнил «скверную прелюбодейку» Феодоту. Знала ли эта высокая красавица с волосами цвета опавших листьев, на что шла, когда побуждала императора развестись с Марией и жениться на ней? Предполагала ли она, чем все это кончится? Слепой Константин окончил свои дни в отведенном ему особняке, и Феодота преданно ухаживала за ним, а когда он умер, обратила особняк в монастырь и постриглась там. Она назвала его «Обителью покаяния». Никифор несколько раз встречал бывшую августу: в ней почти ничего не осталось от прежней блестящей женщины; теперь это была смиренная инокиня, редко поднимавшая глаза от земли, и только осанка выдавала в ней прежнюю императрицу...

Несчастливая судьба императора Константина заставила Никифора по-иному взглянуть на жизнь, чье непостоянство обнаружилось перед асикритом нагляднейшим образом. В то самое время, когда Платон и Феодор, по приглашению императрицы Ирины, переселились вместе с саккудионским братством в столицу и заняли Студийский монастырь, Никифор покинул Константинополь – как он думал, навсегда: насколько девятнадцатилетний юноша когда-то рвался из Никеи Вифинской в Царицу городов, настолько императорский асикрит теперь стремился прочь от этого величественного и прекрасного, но одновременно надменного и безжалостного Города... Кажется, годы, проведенные Никифором на суровой горе над Босфором, где только

книги и несколько единомудренных мужей были его друзьями, стали самым счастливым временем в его жизни. Никифор предавался службам и келейным молитвословиям, строго постился, в свободное время занимался чтением божественных книг и светскими науками и понемногу готовился принять ангельский образ. Однако стать монахом ему пришлось совсем при других обстоятельствах.

«Но ведь невозможно, чтобы все происходило согласно с нашими намерениями, и бывают случаи, когда господствует необходимость и предприятия получают тот исход, которого хочет Бог. Это именно и случилось со мной. Я не достиг того, что предполагал», – писал патриарх и, рассказав, как волей императора, Синклита и общего церковного собрания он был поставлен на Константинопольскую кафедру, продолжал: «Итак, поскольку я подъял иго сие против желания и принял на себя заботы о душах недостойно – не так, как подобает по благодати, – то я боялся прежде всего разнообразных и хитросплетенных козней изобретателя зла...»

Он опять отложил перо и задумался. Студиты и вся эта история с восстановлением в сане Иосифа воистину были словно посланы ему как дьявольское искушение, с первых же дней патриаршества! И теперь приходилось честно признать, что он не выдержал испытания достойно. Он вспомнил, как просил игумена Иоанна передать Феодору, что завидует ему... Впоследствии патриарх не раз жалел об этих словах, но в то же время понимал, что желание взять их обратно было плодом самолюбия. Игумен был правее патриарха – по абсолютной мерке. Но по относительной... Как поступил бы Феодор на его месте? Что из этого вышло бы?

Эти вопросы мучили Никифора неотступно, и он не знал ответа на них. В конце концов, если бы Господу было угодно, чтобы патриарх жестко поставил себя перед императором, не уступая ни в чем требованиям власти, Он мог бы сделать так, чтобы патриархом стал Феодор... Что невозможно Ему? Но Он возвел в это достоинство Никифора, не обладавшего столь непреклонным характером, как Студийский игумен. Не должен ли был Феодор постараться помочь патриарху, вместо того чтобы выискивать сучки в его глазах и поднимать пыль до небес? Чего добился он своим бунтарством? Чего искал он, чего ищет до сих пор? Ждет, чтобы патриарх извинился перед ним, как некогда Тарасий? Что ж, извиниться недолго, игумен многое претерпел за эти годы... Император, затеявший всё это дело, мертв, и можно безболезненно вновь извергнуть Иосифа из сана. Феодор требует собора... «Ожесточился ты, прося», но он прав: чтобы отменить решения того собора, нужен новый собор, всё верно. Но что взамен? Взамен... игумен откажется от обвинений патриарха и послушных ему епископов в ереси!

Никифор поднялся из-за стола и заходил по келье. Нет, всё-таки Феодор далеко зашел! «Прелюбодейная ересь» – так он называл решения собора, состоявшегося три года назад в столице... Патриарх взглянул на икону Спасителя в углу кельи и прошептал:

– Господи! Для того ли Ты свел меня с любезной мне горы и возвел на это служение, к которому я неспособен, на этот престол, которого я недостойн, чтобы в конце концов эти люди ославили меня как еретика, и не какого-нибудь, а «прелюбодейника»?! – Он снова сел за стол и взялся за перо. Губы его сжались в суровую линию.

«А потом, увидав неприязненность начальства и враждебность ненавистников, я стал замечать коварство и злокозненность тех, кто весьма старательно следит за нашими делами, хорошо или нет обстоящими. Не видя в своих глазах бревен и не желая очищать с них гной, но усердно занимаясь чужими сучками, они ради дел совершенно ничтожных, пустых, не стоящих никакого внимания, нечестиво вооружают свои языки против предстоятелей и отовсюду нападают жестоко и в высшей степени несправедливо...»

Да, несправедливо! Патриарх хмурился всё больше. Пожалуй, студиты еще скажут – да ведь они и говорят, это известно! – что не их надо принимать в Церковь из раскола, а ему, патриарху, и поминающим его епископам, надо через покаяние вернуться в Церковь! Если они

решили таким образом подражать прежним исповедникам веры, то они слишком много мнят о себе!

Прося у папы братских молитв, Никифор выражал надежду, что папа ободрит и укрепит его, «существо слабое и немощное», на борьбу с невидимыми врагами и подаст совет, как надо поступать, «чтобы успешно и смело противодействовать непокорным и противящимся и усыновить их как чад Церкви...»

Императорское посольство в составе митрополита Синадского Михаила и протоспафариев Феогноста и Арсафия, с посланием от Михаила Рангаве к Карлу Великому и от патриарха Никифора папе Римскому Льву, посетившее Ахен и Рим и принятое там с великой пышностью, вернулось в Константинополь в марте следующего года. Послы везли ответные письма папы Льва и Карла, чей императорский титул теперь, спустя двенадцать лет после коронации, был официально признан ромейским василевсом – в обмен на возвращение Венеции, Истрии и Далмации, подчиненных в последние годы франкам, под власть Империи. Папа советовал патриарху примириться с отколовшимися и постараться всячески уладить отношения с ними, «да не разрывается хитон церковный». После того как послы отчитались перед императором, тот, посоветовавшись с ближайшими советниками, призвал к себе патриарха и снова завел разговор о церковном расколе.

– На следующей седмице мы будем праздновать Благовещение Пресвятой Богородицы, и мне бы очень хотелось в этот день видеть игумена Феодора в Великой церкви сослужащим тебе, святейший.

– Вряд ли это удастся сделать так скоро, государь, – ответил патриарх. – Ведь сначала нужно собрать собор. Разве что к Цветоносной неделе можно уладить дело, да и то...

– Что?

– Если Феодор не будет противиться, – мрачно ответил Никифор. – У него ведь тоже есть условия...

...Вечером в Фомино воскресенье в большой гостиной дворца Кириан было оживленно. В гостях у Михаила, который вместе с семейством время Великого поста и Пятидесятницы обычно проводил в столице, были Лев с женой и двумя сыновьями. Новый император не только быстро вернул Льва из ссылки, куда тот попал после заговора, организованного его тестем против прежнего василевса, но и записал его в число своих придворных равдухов, а несколько дней назад возвел в сан патрикия и назначил стратигом Анатолика. Злые языки поговаривали, будто император был неравнодушен к супруге Льва, но тем, кто ближе знал Феодосию и государя, было ясно, что это клевета. Правда, императрица, взбудораженная сплетнями, как говорили, устроила мужу очередной скандал с рукоприкладством и затаила зло на Феодосию. Лев, вернувшись из ссылки, сразу возобновил дружбу с Михаилом, сделав его своим поверенным и приближенным. Теперь друзья праздновали новое назначение Льва перед отъездом в Аморий. Лев рассказывал о прежних военных походах против агарян, и маленького Феофила было не оттащить от крестного: мальчик слушал его, раскрыв рот и не отходил ни на шаг, несмотря на то, что дети Льва Симватий и Василий то и дело звали его играть. Феофил присоединился к ним только тогда, когда Михаил завел речь о придворных интригах и церковных делах.

– Дивлюсь я на наших честных отцов, – усмехался Михаил, – то собирают соборы, пишут письма, анафематят друг друга, обвиняют в ереси, пыль столбом... А потом – раз! – и вот уже все помирились, целуются, хвалят друг друга. А виноват-то кто? Покойник император, конечно!

– А что ж? Его вина тут действительно была самая большая, – заметил Лев. – Не он ли всё это затеял – восстановление Иосифа, собор? Студий разогнал... Не умно!

– Слава Богу, теперь всё утихомирилось! – сказала Фекла.

– А всё-таки студиты это сила! – задумчиво произнесла Феодосия. – Подумать только, они добились отмены соборных решений, господин Иосиф опять на Солунской кафедре... Вот что значит твердость духа!

– Сила, сила! – проворчал Михаил. – От таких упертых одни беды! Чем им экононом помешал, спрашивается? Прямо там, преступника нашли... Умный человек, большую службу сослужил государству, а они заладили свое: «прелюбодейник»!

– Фарисеи они, эти монахи! – сказал Лев. – Но император всё же совершил глупость. Надо было действовать не так прямолинейно.

– Легко тебе судить со стороны! – Михаил усмехнулся. – Вот посмотрим, как ты сам будешь управляться с преподобнейшими отцами, когда время придет!

– Я? – Лев удивленно взглянул на друга. – Чего это вдруг? Шуточки у тебя...

– А ты забыл, что сказал Вардану монах из Филомилия?

– Монах из Филомилия? – Лев наморщил лоб. В его уме не сразу всплыло то давнее пророчество, о котором он и не вспоминал все эти годы. Лев чуть насмешливо поглядел на Михаила. – Ты что, действительно поверил болтовне этого черноризца? Я уж и забыл давно про это, насилу припомнил!

– Ах, Лев, какой же ты замечательный! – воскликнула Фекла. – А Михаил... Если б ты знал! Он постоянно вспоминает об этом! Кажется, этот монах скоро будет мне сниться в страшных снах!

– Что, правда, что ли? – Лев переводил изумленный взгляд с Феклы на ее мужа и обратно.

– Зря вы глумитесь! – сказал Михаил. – Вот увидите, всё сбудется! Ты подумай, дружище, ведь мятеж Турка провалился? Провалился! А теперь вспомни: когда Вардан уходил от монаха, на нем лица не было. Что это могло означать? Что отшельник ему и предсказал провал мятежа! Так оно и вышло! Вардан нам не рассказал тогда, что отшельник напроорочил ему, а только про нас передал, но думаю, пророчество было верным. А потому от пурпурной обуви никому из нас не уйти, вот увидите!

## 15. Когда восходит Пес

*Взгляни: в моей руке лишь глиняная крынка,  
И верещанье звезд щекочет слабый слух...  
(Осип Манделштам)*

Майское солнце пробивалось сквозь переплетения виноградных лоз, зажигая яркой зеленью листья и вычерчивая на земле причудливую резную тень. Треск кузнечиков сливался с гудением пчел, аромат роз спорил с запахом свежескошенной травы, с ближнего поля слышалось мычание коров, а со стороны курятника – веселое квохтание. Под эти звуки, радовавшие его больше, чем иного аристократа благовония и звон кифары, седовласый, но все еще статный и крепкий селянин в белой рубахе до колен, подпоясанный веревкой, опершись на толстую суковатую палку, с важным видом говорил:

– И вот, слышь, как лето придет, он сказал, так священники, значит, все передерутся, и чума будет...

– Святой Боже! – воскликнула невысокая сухонькая женщина, испуганно возводя к небу темные, как маслины, глаза. – Да правда ли? откуда ему известно?

– А вот, говорит, Пес ему так открыл! Говорит, ежели Пес восходит в Скорпионе, то всего этого, значит, и ожидать следует...

Панкратий был зажиточным земледельцем: имел две пары волов, полсотни овец, большой виноградник и сад, взятое в аренду пшеничное поле, множество кур и гусей, всегда исправно платил налоги, и семья его никогда не голодала зимой; они даже частенько помогали бедным соседям. Но более всего питало тщеславие Панкрата то, что он умел читать, и известный в этих краях астролог, промышлявший составлением гороскопов для новорожденных детей суеверных богатых землевладельцев, проезжая иногда через их село, останавливался в его доме и достаивал хозяина «ученой беседы». Беседы эти заключались преимущественно в том, что астролог, разгорячившись не то от пророческого экстаза, не то от выпитого вина, – а вина в погребах у Панкрата всегда находились, и очень неплохие, – изрекал свои прогнозы, тыкая узловатым пальцем в разложенную на столе ветхую карту звездного неба и разглагольствуя про какие-то «дома», а Панкратий с умным видом поглаживал бороду, кивал и время от времени изрекал одобрительное «угу» или восхищенное «ого». После такой беседы Панкратий обычно преисполнялся чувства собственного достоинства, выпивал пару чаш вина и шел пугать свою набожную супругу. Феофания, как большинство селянок, была неграмотна и очень уважала и трепетала своего «ученого» мужа, почти с благоговением слушая пересказываемые им астрологические прогнозы, словно это было чтение Священного Писания за литургией.

Этим теплым майским вечером, Панкратий, проводив астролога до калитки, подозревал жену, поливавшую в саду привитые виноградные лозы и яблони – в это время года их надо было поливать ежедневно, – и стал пересказывать ей очередные предречения звезд.

– Ох, беда-то какая, ежели чума! Не дай, Господи! – Феофания испуганно перекрестилась.

– Ежели звезды глаголют так... – начал Панкратий и умолк. Он увидел с любопытством смотревшие на него из-за увитой плющом изгороди два синих глаза. – Это кто тут к нам пожаловал? – Панкратий подошел к калитке и открыл ее. – Ну, заходи, милая, гостьей будешь.

В калитку вошла девочка лет восьми, стройная, загорелая, одетая в легкую шелковую тунику персикового цвета. Ее темно-каштановые с золотистым отливом волосы растрепались и кудрями падали на плечи, большие глаза цвета лазурита внимательно смотрели на Панкрата.

– Ты чья такая будешь? Не господская ли дочка?

Девочка молчала.

- Ты из того большого дома на холме? – спросила Феофания.
- Да.
- Ну, так и есть, господская! Да как ты сюда пришла одна? От ведь хватятся тебя!
- Не хватятся! – Девочка улыбнулась. – Сейчас там все спят после обеда, и няньки тоже заснули.
- А ты и сбёгла? – Феофания всплеснула руками. – Еще такая малёхонькая, а гуляешь одна! Не страшно?
- Я не боюсь. Тут же люди везде.
- Людей-то пуще всего и надо бояться! – учительным тоном сказал Панкратий.
- Почему? – Девочка удивленно взмахнула ресницами.
- Лукавый искушает, – вздохнула Феофания. – А ты, доча, такая хорошенькая! Тебе надо осторожнее с людьми-то... С мужиками-то в особь...
- Да, мужчины любят красивых, я читала... Они из-за красоты даже войны затевать могут!
- Из-за красоты иной и глотку перережет! – сказал Панкратий.
- Бог с тобой! – испуганно замахала на него Феофания. – Ребенка напугаешь! Еще влетит от госпожи-то!
- Ты читать умеешь? Такая маленькая? – Панкратий недоверчиво глядел на девочку.
- Я не маленькая! – надулась она. – Мне уже девятый год. И меня уже четыре года учителя учат. Я взрослая! Читать могу и считать! Мы уже всего Гомера прочитали!
- Гоме-ера! – выдохнул Панкратий. Это имя было для него почти священным: он знал, что Гомера читают образованные господа, – а значит, это нечто великое, недоступное простым смертным вроде него. Но что такая маленькая девочка уже прочла всего Гомера – это было совсем непостижимо.
- А как звать-то тебя? – спросила Феофания. Она понятия не имела о Гомере и потому не была так потрясена, как муж.
- Кассия.
- Вишь! – сказал Панкратий. – Имя-то какое... тонкое! Чисто господское!
- Дык, они ж и есть господа, – сказала Феофания, – не чета нам, убогим... Господин-то Василий при дворе служит! Царя видит каженный день! Энтю тебе не овец доить!
- Кто такой Пес? – спросила Кассия.
- Панкратий приосанился. Хоть и господская дочка, и всего Гомера прочла, а всё-таки есть же вещи, которые она не знает, а он, простой земледелец, знает! Вот, что значит водиться с такими учеными людьми как астролог!
- Это, дитя, звезда такая. Из созвездия Большого Пса. Ты знаешь, что такое созвездие?
- Знаю.
- Во. Пес восходит двадцатого июля, и восходит он, значит, в разных созвездиях, а от этого, значит, зависит, что у нас тут случится...
- Почему зависит?
- Ну... звезды... они нарочно для того служат, чтобы будущее предсказывать.
- Как они могут знать будущее? Ведь они не живые!
- Они... они встают так или этак... А будущее по ним предсказывают умные люди, которые, значит, понимают... Астрологи называются!
- А кто их этому научил, астрологов, – понимать по звездам?
- Ну... – Панкратий не находил, что сказать.
- Будущее только Бог знает! – упрямо сказала Кассия. – А все эти звезды... это... – она остановилась, вспоминая слово, которым отец называл астрологию, – суеверия! Вот.

– Да как это?! – воскликнул Панкратий. – Как же, милая, суеверия, ежели наш тутошний астролог в том году предрек, что у нас новый император будет? А Никифор-то государь как пошел на войну, так и не вернулся!

– Да какие еще страсти-то про него сказывают, – добавила Феофания, – будто болгарин-то энтот, Крум, из его головы себе чашу сделал и пил из ней, нехристь поганая! – Она опять испуганно перекрестилась. Девочка задумалась.

– Это совпадение, – сказала она, помолчав. – Совпало, вот вы и запомнили. А если б он прорек что-нибудь, а оно бы не исполнилось, то забылось бы, и всё.

– А и то! – Феофания оживилась. – Помнишь, Панкрат, энтот твой астролог сказывал в позапрошло лето, что будет недород? А у нас зерном-то все амбары были завалены... Значится, не всё сбывается... Може, и права девчушка-то? Може, и чумы никакой не будет?

– Ты скажешь! – возмутился Панкратий. Угрозу авторитету астролога он воспринимал как личное оскорбление: как это он, Панкратий, мог бы дружить с пустыми людьми и рассказчиками басен?! – Может, Господь суд Свой отменил, по милости, а так бы и голод был, и всё, что хошь... Как с этой, как ее... Ниневией! во!

Кассия опять задумалась.

– Если через звезды Господь указывает, то это может быть, – сказала она. – Вот как Рождество Христово было звездой указано... А если звезды сами по себе, то не могут они знать ничего!

– Так оно конечно, Господь! – согласилась Феофания. – Куды ж без Господа-то?

– Ну, вот и славно! – обрадовался Панкратий: авторитет астролога удалось сохранить, и при этом вышло еще так благочестиво. – А ты, милая, коли зашла, так пойдем в дом, мы тебя молоком напоим, с лепешками!

Сидя на высоком табурете за столом, на котором стояло блюдо со свежее испеченными лепешками, огромный глиняный кувшин молока и несколько стаканов и тарелок из красной глины, украшенных зелеными полосками, Кассия разговорилась. Панкратий с Феофанией и трое их малолетних внуков, с любопытством тарасившихся на гостью из-за плетеной соломенной занавески, закрывавшей проход в соседнюю комнату, узнали, что Кассия с матерью и сестрой уже неделю живут в своем загородном доме и проживут, видимо, до конца лета. Как сестричка? Хорошо, растет, разговаривает много, веселая...

Рождение второй дочери, появившейся на свет через три года после Кассии, произвело небольшой переполох среди их родственников. Семейный врач развел руками, улыбнулся и сказал: «Хотел бы я знать, как вы это делаете!» – после рождения Кассии он говорил, что такое чудо вряд ли еще раз повторится, а никаких лечебных настоек Марфа не пила. Девочку назвали Евфрасией.

– Вот и славно, вот и слава Господу, что растет! – воскликнула Феофания. – А у нас тут разговоров было! Даже отец Нил раз на праздник-то Захарии праведного с Елисаветою, в проповеди и говорит: грешные мы, не веруем, не молимся, вот и не получаем ничего, а кто молится, тем Господь дает! Вона, говорит, господину-то Василию с госпожою Марфой уж второе дитя дарствовал, а долго как не было у них! Се, говорит, вера, она и горы движет! Так и сказал! Помнишь, Панкрат?

– Как не помнить, по-омню! Вишь, дитя, твои родители как, уж и в проповедь попали! Пример нам, грешным! Вот и ты с них пример бери! По молитвам-то Господь и подает, по вере...

Кассия слушала, ела лепешки. А Панкратий продолжал расспрашивать. Папа? Он приезжает навещать их, но не может надолго отлучаться из Города, потому что служит во дворце. Дворец? Да, Кассия много раз видела его, они гуляли мимо с мамой и с папой... Нет, внутри она не была, но папа рассказывал о том, как там всё устроено: очень красиво, много мрамора, золота, драгоценных мозаик, тканей, украшений... Государь? Его она видела только издали,

во время службы в Великой церкви и еще на крестном ходе... Святая София? О, это очень, очень красивый храм, ужасно большой, как небо! Они живут недалеко и часто бывают там...

Часа через полтора Панкратий провожал Кассию домой. Они шли мимо огородов и виноградников, и Панкратий с важным видом объяснял:

– Вот, виноград выращивать – это штука не такая простая. Это не то, что ткнул в любое место, и он вырастет и вкусный будет. Не-ет, тут наука! До того, как сажать, надо, значит, перво-наперво узнать, какое вино даст земля. Потому как не всякая земля дает хорошее вино. И вот, значит, как это определить, что она дает? Тут наука! Сначала, значит, роешь яму глубиной... ну, фута этак два... Берешь оттудова комок земли и бросаешь его в кувшин с водой, в стеклянный... Взбалтываешь... А, забыл еще, важно что! Вода должна быть чистая, самая что ни на есть прозрачная... Дождевая должна быть вода. И вот, значит, болтаешь ты этот кувшин, чтоб замутилась вода-то. И ставишь на стол или там куда... В общем, оставляешь, пока, значит, не отстоится. Глядишь ее на свет, воду-то, кувшин-то этот, и вот, ежели видишь, что вода совсем прозрачная стала, значит, отстоялась. Можно пробовать! И вот, отпиваешь, значит, эту воду. И какой у ней вкус, такое и вино на этой земле уродится! Ежели, к примеру, вода дурно пахнет, или горькая, соленая, или привкус какой нехороший, значит, ни в коем разе виноград сажать нельзя. А вот ежели вода выходит вкусная, сладкая, ароматная, – смело засевай! Я так вот всю жисть делаю, и вино у меня по всей округе славится! Да вот, хоть ты, дочка, можешь у родителей твоих спросить: даже в столице, говорят, такое вино не на каждом столе бывает! А все почему? Нау-ука! С головой все надо делать, а не так, что саженец воткнул – и тут тебе сразу и вина полные погреба...

Кассия шла молча, внимательно вслушиваясь в напевную речь селянина. «Чудно как говорит, не так, как у нас дома...» Прилетевшая с поля большая золотистая бабочка на миг села Кассии на макушку. Она так красиво смотрелась на темных волосах девочки, что Панкратий загляделся. Кассия встряхнула головой, и бабочка взлетела, покружилась над ней и полетела вперед. Девочка провожала ее глазами.

– Наверное, это здорово – летать! – сказала она задумчиво. – Жаль, что люди не умеют...

– Э-э, дитя, люди-то умеют много чего другого, – сказал Панкратий, – чего не умеют бабочки! Не тужи! Эта бабочка всяко не такая красивая, как ты, дитя! Дай Бог тебе вырасти на радость родителям... и мужу будущему!

– Мужу? – Кассия посмотрела на спутника.

– А то ж! Вырастешь, выйдешь замуж...

– Зачем?



– Как – зачем?! – Панкратий даже остановился и почесал в затылке. – Потому что так все девицы делают... О муже чтоб заботиться, детей выращивать. Как твои мама с папой вот!

– Да, они хорошие. Они самые лучшие!.. Но я еще подумую, – сказала Кассия серьезно. Панкратий хитровато улыбнулся.

– Думай, дитя, думай... Учись... Ты еще юная совсем. А вот подрастешь... У нас вона тут соседи, сын у них в монахи ушел... Дай, Господи, памяти... Да уж годов этак пять прошло... Вона как! Быстро время-то идет... Ушел, значит, в монахи, а моя дочь меньшая давай тож: и я, мол, хочу Богу угодить! Я ей говорю: на всяком, говорю, месте, Ему угодить-то можно, а из тебя – какая монашка, смех один... Куда! Заладила: хочу и хочу! Мать в слезы – любит она ее очень, меньшую-то. Хошь и Богу, а отдавать-то жалко... Ну, что делать? Стали, значит, ей жениха искать. В соседнем селе и нашли, из семьи крепкой, работающей... Малец-то видный, загляденье! Пригласили, значит, в гости. И как она, дочка-то, с ним спозналась, так и всё, про монастырь ни гу-гу! Скоро и свадьбу справили. Уж четвертый год живут, дитёв двое, славно! Вона как оно бывает! Вот и ты подрастешь, да как встретишь жениха, так и думать не будешь, там уж всё по-другому будет... Эх, дитя, дитя!

– Как же не думать? – удивилась Кассия. – Ум исчезнет?

– Эка ты сказала! А и впрямь – исчезает он от любви-то, да...

– Но это разве хорошо? Зачем мне быть без ума?

– Это, дитя, другое... Это не то, чтобы совсем без ума, а... другое там... Э, да что! Вырастешь, так узнаешь!

– Ну, всё, вот уже наш сад начинается, – сказала Кассия. – Дальше я сама пойду. Благодарствуйте! – Она слегка поклонилась Панкратию и, пройдя несколько шагов вдоль живой изгороди, нырнула в проход между кустами и вмиг оказалась на той стороне. Обернулась, помачала селянину рукой и стала подниматься к большому двухэтажному дому, стоявшему на вершине холма.

Панкратий смотрел ей вслед, поглаживая седеющую бороду.

– Касси-ия! – проговорил он напевно. – Бывает же... Всего Гомера! Дает же Бог людям ума! Не чета нам, убогим... Да хранит тебя Господь, прекрасное дитя!

...Невысокий худощавый юноша стоял на крыше дома и, запрокинув голову, смотрел сквозь осколок темного стекла на солнце, уже наполовину закрытое черным диском, который неумолимо захватывал все новые и новые кусочки света, и они словно исчезали в бездонной дыре. Внизу, на улицах, толпился народ самого разнообразного толка, от сановников и купцов до уличных торговцев и нищих.

– Исчезает! Исчезает! Скоро совсем закроется!

– Господи, помилуй нас, грешных!

«Интересно, – думал юноша, – какова тут закономерность? Ведь наверняка не случайно это происходит...» Лев впервые наблюдал полное солнечное затмение. Он испытывал не страх перед грозным на вид явлением, но жгучий интерес, который вызывало у него вообще устройство видимого мира и его законы. Окружающий мир был полон тайн, но Лев был уверен, что к ним можно было подобрать ключ. Ведь как-то всё это устроено...

От солнца остался узкий сияющий серп. Над Городом повис полумрак; стало прохладно и уютно.

– А-а! – раздался внизу истошный женский крик.

Юноша передернул плечами. Бедные люди, не понимают, что всё это легко объяснимо: просто луна закрыла солнце... Впрочем, он знал причину затмений только в общих чертах. Его интересовала периодичность, возможность предсказаний, и он знал, что нужно читать об этом

у Птолемея, но пока ему так и не удалось даже подержать в руках книгу знаменитого ученого. И вот еще теперь... Как же всё неудачно вышло!

Льву на днях должно было исполниться шестнадцать. Окончив начальную школу, он прошел курс грамматики, стихосложения и риторики, и ему хотелось учиться дальше – математике, физике, астрономии, – но с учителями дело обстояло плохо. Хороших было мало, и они просили за уроки больших денег, а те, чьи уроки Лев мог оплатить, не удовлетворяли его. Последний его учитель, человек уже преклонных лет, прямо сказал Льву, что не может соответствовать его запросам, и что ему лучше найти себе более сведущего преподавателя или заняться самообразованием. Но для последнего нужны были книги, а денег на их покупку у Льва не было. Они с матерью с трудом сводили концы с концами. Отец погиб на войне, когда мальчику пошел только второй год; мать была очень нелюдима, ни с какими родственниками, кроме троюродной сестры и ее семейства, а также своего дяди со стороны матери, не общалась. Значит, нужно было искать преподавателя. Старик-учитель сказал Льву:

– Я не знаю, кто подошел бы тебе лучше, чем Иоанн Грамматик. Да вот только трудно тебе будет добраться до него, сынок. Он ведь из придворного монастыря, птица высокого полета. Да я слышал, и рода не известного, из Морохорзамиев... Но главное – горд очень, вряд ли будет учить просто так, а только если сам какой интерес тут возьмем...

Лев вздрогнул от удивления: Грамматик был из того же рода, что и его мать! Конечно, Лев слышал об Иоанне не раз, но даже и не думал об учебе у него: вряд ли этот ученый муж снизошел бы до неизвестного и бедного юнца. Но вот если они родня, то... В тот же день Лев заговорил об этом с матерью. На вопрос юноши, не приходится ли ей родственником ученый грамматик Иоанн Морохорзамий, она ответила после краткого молчания, сильно побледнев:

– Это мой троюродный брат.

– Вот это да! Почему ты раньше мне об этом никогда не говорила? О, как замечательно! Значит, я смогу попросить его быть моим учителем!

– Нет, нет, Лев, только не это! – воскликнула мать, изменившись в лице. – Только не учеба у этого человека!

– Но почему, мама? – растерянно спросил Лев. – Ведь он один из самых ученых людей в Городе! И у него, говорят, есть доступ к патриаршей библиотеке, где столько книг! Разве ты не знаешь, что я ищу человека, который мог бы научить меня высшим наукам?

Мать смотрела на него скорбно. Помолчав, она тихо сказала, взяв сына за руку:

– Лев, я тебя прошу. Ради памяти покойного отца. Ради меня. Обещай мне, что ты никогда не будешь учиться у этого человека! Нет, не спрашивай меня ни о чем. Тебе лучше не знать, почему... Но поверь мне, поверь, этот человек ужасен! Да, он мой брат... к сожалению. Обещай мне, что ты никогда не будешь учиться у него! Обещай!

– Но, мама, – ошарашено сказал юноша, – я, конечно, не знаю, может, он и не очень хороший человек... Но ведь я буду учиться наукам, а не нравам... Если он станет склонять меня к каким-то порокам, я тут же брошу учебу у него, клянусь тебе! Но я не слышал про него ничего такого! Напротив, все его хвалят, я столько про него слышал, говорят, что он по жизни аскет и очень умен...

– Да, он очень умен. Но лучше б он таким не был.

– Но, мама!..

– Лев, мальчик мой, я тебя умоляю! Что угодно, только не учеба у этого человека! Погоди... – Она поднялась, быстро зашла за ширму, где стояла ее кровать, и принесла небольшой ларец из дерева, с резным узором из птиц и листьев. Сняв с шеи маленький ключик на веревке, она открыла ларец. Лев увидел там несколько золотых колец, большие тяжелые серьги, тонкой работы ожерелье, браслеты со вставками из красных камней... Гранатов? Лев сразу понял, что все эти вещи очень дорогие. Он взглянул на мать удивленно и вопросительно. Она несколько мгновений молча перебирала украшения. – Вот, это всё, что осталось у меня в

память о твоём отце, Лев. Я никогда не надевала их с тех пор, как он погиб... Но и расстаться с ними не могла. Но теперь... я продам их, и пусть эти деньги помогут тебе получить образование! Поезжай на Андрос, сынок! Там живет мой двоюродный дядя. Он монах, уже старец, игумен монастыря, очень умный. В свое время он изучил много наук, до монашества преподавал тут в Городе, в монастыре у него большая библиотека. Мы с ним переписываемся изредка. И потом, у него есть знакомые ученые монахи, и он подскажет тебе, где можно найти книги... Поезжай, Лев! Только не ходи к Иоанну, нет, не надо!

Юноша молчал, пораженный. Значит, в прошлом между его матерью и ее братом что-то произошло? Или, быть может, мать знала про дядю нечто такое, чего больше никто не знал... Как бы то ни было, Льву пришлось пообещать матери не ходить учиться к Иоанну Грамматику. Фамильные драгоценности были проданы на другой же день. Аргиропрат с подозрением посмотрел на бедно одетую женщину, принесшую на продажу такие вещи, и, взвешивая и осматривая украшения, раздумывал о том, не надо ли донести эпарху: а вдруг краденое? Потом неприятностей не оберешься... Но что-то в лице вдовы внушило ему доверие, и он, не задавая лишних вопросов, отвесил ей горку золотых номисм.

И вот, Лев готовился к отъезду на Андрос. Уже были куплены в дорогу необходимые вещи, мать написала письмо дяде-игумену, и сегодня юноша должен был пойти в порт и узнать, когда отходит нужное судно. Но случившееся затмение смешало планы. Народ всполошился и вывалил на улицы, побросав дела, а Лев полез на крышу дома, где они с матерью снимали комнату, и наблюдал величественную и жутковатую картину.

Темный диск полностью закрыл великое светило, так что только серебристая корона сияла вокруг пугающей черноты. Наступил мрак, и Лев увидел звезды, ясно обозначившиеся в потемневшем небе. У него захватило дух, и он улегся на теплую еще крышу, заложил руки за голову и предался созерцанию. На улицах между тем раздались крики ужаса. Но вскоре в небе вновь появился узкий сияющий серп, и словно огромное кольцо засверкало в вышине. Сияние быстро увеличивалось, исчезли звезды, сумрак начал отступать – всё повторялось в обратном порядке. Народ облегченно вздыхал, многие крестились. Какой-то спор внизу на улице привлек внимание Льва, и он, переместившись ближе к краю крыши, сел и прислушался к крикам. Граждане, убедившись в том, что солнце не погасло и небо не столкнулось с землей, обратились к текущим делам, пытаясь связать их с небесными знаменами.

– А я вам говорю: это всё потому, что потакают этим проклятым афинганам и павликианам, чтоб им пусто было! Господь гневается, вон и знаменья посылает! И ведь государь начал их казнить, так нет, отговорили, чтоб им пусто было! А всё этот логофетишка дрянной, чтоб ему пусто было!

– Ну, ты и разошелся, господин, хе-хе! Логофет-то все ж пока он, а не ты! А то, поди ж ты, тебя вот не взяли в Синклит да в государевы советники, хе-хе!

– Да ты помолчи уж о Синклите! Нешто там все умные заседают? У кого деньги и знакомства, те там и заседают, чтоб им пусто было!

– И то! А ума у них, может, и с чернильный орех нет!

– Ха-ха-ха!

– Чего ржешь, дурак!

– А я вам говорю, что гнев Божий!

– Гнев-то гнев, да только на что? Может, не что павликиан не казнят, а наоборот, что казнить их стали?

– Вот-вот, и то! Я слышал, что логофет не сам собой воспротивился казням, а так сказал отец Феодор, Студийский игумен, исповедник великий!

– Смутьян он великий, а не исповедник! Все б такие были исповедники, так у нас бы в государстве уже было бы действительно пусто!

– Не клевети на святого! Он Божий человек, не чета вам! Вы только языком болтать можете, а он за правду сколько претерпел! Ты бы столько пострадал, так тоже был бы против казней! А то сегодня одних, завтра других... Господина-то Феодора тоже считали преступником, а теперь и государь его чтит, советы его слушает!

– Молчи, баба!

– Баба-то баба, но иной раз может поумнее мужа высказаться, хе-хе!

– Это кто тут такой умный нашелся, а?! А ну, как я сейчас твой череп вскрою, поглядеть, много ли там мозгов!

– Ш-ш-ш, вон эпарх едет с отрядом! Сейчас заметут вас, болтуны!

Спорщиков словно ветром сдуло. Верхом на пегом коне в сопровождении стратиотов проехал эпарх Константинополя, строго поглядывая по сторонам. Стратиоты имели нарочито лихой вид, стараясь показать, что им, в отличие от простого народа, никакие затмения не страшны. Улица пустела. Солнце снова начинало печь голову. Лев вздохнул и направился к спуску с крыши.

– Ну, что там? – спросила мать из-за ширмы, когда он вернулся. Каллиста с утра лежала с приступом сильной головной боли.

– Да всё хорошо, мама! Солнце опять светит!

– Слава Богу!

Лев задумался. Павликиане, афингане... Император Михаил, по внушению патриарха и некоторых синклитиков, объявил этим еретикам смертную казнь. Решение поддержали и многие епископы, особенно в восточных провинциях, где павликиан было очень много. Но вскоре по этому вопросу возникли прения и в Синклите, и в патриарших палатах. С особенной силой против казни инакомыслящих выступали игумен Феодор и находившийся под его духовным руководством логофет Феоктист. Феодор сумел убедить патриарха; говорили, что он встретился и с императором, а логофет со своими сторонниками действовал в Синклите. Вспоминали Евангелие, слова Христа, что «Сын человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать»; вспоминали Дионисия Ареопагита и историю со святым Карпом; вспоминали Златоуста, который грозил христианам Божиим гневом и истреблением, если они вздумают убивать еретиков. Кажется, этот последний довод более всего устрошил императора: ведь болгары продолжали опустошать приграничные области Империи, и Крум, как было слышно, расхрабрившись от недавних побед над ромейским оружием, собирался двинуться вглубь Фракии и далее к Царствующему Городу...

Текущие новости Лев узнавал или от друзей, или на рынке, или в Книжном портике, куда часто заходил посмотреть в лавках рукописи, на покупку которых у него не было денег. Позиция Студийского игумена была юноше более близка. Он всё собирался дойти до Студия в какой-нибудь из праздников, чтобы побывать на службе и посмотреть на знаменитого исповедника, а может быть, и получить от него благословение, но так и не собрался. Теперь Льва ждал неизвестный Андрос, новые места, новые люди, а главное – долгожданный учитель философии и книги, книги! Скорей бы! Правда, боязно оставлять мать одну... Впрочем, ее сестра будет навещаться... И ведь он же не навсегда уезжает. Даст Бог, еще свидится!

## 16. Кольца змеи

*Вы относитесь к врагам с полнейшим презрением, как будто они уже окончательно побеждены; я же полагаю, что благодаря такой вашей уверенности мы подвергаемся несомненной опасности...*

*(Проконий Кесарийский)*

В субботу, на память святых Варфоломея и Варнавы, патриарх служил литургию в храме Апостолов. Храм был переполнен, народ толпился даже на улице, но мысли большинства собравшихся были заняты не праздником, а тем, что происходило во Фракии. После взятия болгарскими Месемврии Город уже полгода бурлил, почти не переставая, то глуше, то сильнее, словно огромный котел, и пар вот-вот мог поднять крышку и вырваться наружу. Всё чаще там и сям слышались порицания в адрес императора и особенно императрицы, наглее становились торговцы, мрачнее смотрели рыбаки и каменщики, купцы кидали друг на друга обеспокоенные взгляды, придворные уже не так спесиво вышагивали по мостовым, знатные женщины опасались выходить на улицу без свиты из нескольких крепких слуг, монахи больше не встречали в народе того почтения, к которому привыкли за прошедшие два десятилетия... И всё чаще на улицах поминали «Константина, победителя болгар». Столица походила на натянутую струну, готовую вот-вот порваться. А над всем этим витал страх – почти непреодолимый, животный – страх перед потерей родных, разорением, осадой, голодом... Нынче люди собрались в храм не просто помолиться апостолам, но молить Бога о милости для державы: на литии прозвучали прошения о победе ромейского оружия, о мире, о благопоспешении благочестивому императору. Но всё это уже не умиротворяло душу, как прежде, не ободряло, не вселяло надежды. Угрюмое беспокойство читалось на лицах. Молились все, но по-разному: кто искренно, кто по привычке, кто с жаром, кто с тоской в глазах, кто сосредоточенно, кто рассеянно, кто надеясь, кто ропща...

Из-за страшной давки никто не замечал, как несколько человек уже долгое время возились у дверей в Юстинианову усыпальницу. Убого одетых, их можно было бы принять за обычных нищих, если бы не выправка, – за спиной этих бедняков, несомненно, была служба в войсках. Об их прошлом говорило и то, как слаженно они действовали, обмениваясь чуть заметными знаками и быстрыми взглядами. Теснившиеся рядом богомольцы ничего не замечали, а между тем ворота в усыпальницу уже были сняты с петель, и шестеро держали их, не спуская глаз с седьмого, высокого угрюмого армянина, который внимательно прислушивался к ходу богослужения. И вот, с хоров послышалось медленное, прекрасное и торжественное:

– Херувимов тайно образующе...

Разговоры быстро стали стихать, переходя в шепот, и вскоре в храме настала почти полная тишина: казалось, он вдруг опустел. Когда певчие допевали «всякое ныне житейское», армянин чуть заметно кивнул, – и тут же все семеро с силой налегли на врата, и те со страшным грохотом упали внутрь усыпальницы. Взломщики, громко топоча, пробежали по створкам и устремились к высокому зеленому саркофагу, украшенному барельефами с изображением битв и военных трофеев. Припав к нему они хором завопили, так что услышали все собравшиеся в церкви:

– Восстань и помоги погибающему государству!

И тут же армянин громко закричал:

– Вот он! Смотрите! Великий Константин! Он восстал из гроба и пошел на болгар!

В храме поднялось неопишное смятение. Стоявшие рядом с усыпальницей устремились туда, окружив саркофаг и виновников шума, которые продолжали выкрикивать:

– Великий Константин, победитель болгар! Непобедимый вождь! Он поможет нам! Он избавит нас от врагов! Он избавит нас от идольского нечестия! Да будут выкопаны кости икон!

Находившиеся в других концах храма пытались пробраться ближе и увидеть, что происходит; давка еще более усилилась, раздались крики – кого-то придавили; женщины свешивались с галерей, там и сям поднялся детский плач...

Умолкшие было певчие попытались продолжить «Херувимскую», но выходило нестройно. Патриарх в алтаре едва сдержал духовенство, рвавшееся взглянуть, что происходит, однако несколько свещеносцев и диаконов все-таки выбежали на солею.

– Дорогу, дорогу! – Эпарх с отрядом стратиотов сквозь толпу пробирался к усыпальнице.

Взломщики были схвачены и со связанными руками выведены из храма. Но не опустив голову шли они, а дерзко глядя по сторонам и улыбаясь, точно герои...

Назавтра около полудня Никифор из окна патриарших палат наблюдал, как этих семерых, уже порядком исполосованных бичами и с трудом волочивших ноги, вели по Августеону к Милию, откуда должно было начаться их шествие по Средней улице. Эпарх самолично ехал впереди верхом на коне. Сразу после вчерашнего происшествия нарушители порядка были допрошены и сначала лгали, будто врата в усыпальницу отворились сами собой, но под угрозой пыток рассказали всё, как было. Эпарх приказал бичевать их и решил провести по Городу, причем они во всеуслышание должны были выкрикивать, за что наказаны и как пытались обмануть народ, – ведь за сутки слух о происшествии в храме Апостолов успел облететь весь Константинополь и обрасти самыми фантастическими подробностями. Говорили, будто Константин Исавриец поднялся из саркофага на белом коне, облаченный в золотые доспехи и сияющий пурпурный плащ, и, пройдя сквозь стену, отправился во Фракию воевать с болгарями; будто при этом в храме попадали ликами вниз все иконы, а духовенство онемело и от страха побежало из алтаря... Слова быстро перерастали в дела: в тот же день вечером на площади Быка двое бедных чернорабочих побили монаха. Рабочие рассуждали о происшедшем в храме и один во всеуслышание проклинал иконопочитание, говоря, что никогда при государях Льве и Константине Империя не терпела таких бед на войне с варварами, как при всех последних православных императорах, а второй рабочий поддакивал. Проходивший инок попытался образумить хулителей, но те набросились на него, злобно крича, что «от этих лентяев-черноризцев один вред», – и если бы не вмешательство окружающих, монаху пришлось бы худо...

Теперь стало ясно, что император совершил непоправимую ошибку, когда в начале царствования разжаловал множество стратиотов из константинопольских тагм под предлогом того, что они были нетверды в вере. Вспоминая те события, патриарх мучительно размышлял, не было ли здесь частично и его вины. Тогда он просил василевса объявить смертную казнь павликианам и афинганам и вообще строже смотреть за проявлениями ереси, но благодаря вмешательству Студийского игумена казнь была отменена. Однако Михаил, желая выказать ревность о православии, решил «очистить от еретиков городские полки», – и в результате Константинополь наполнился разжалованными воинами, оставшимися без снаряжения, без занятий, без земли... Безумный шаг! Но полтора года назад он никому не показался таким. И вот они – плоды: эти семеро все оказались из числа разжалованных. А их бывшие товарищи шатались по улицам и рынкам и всё громче заговаривали о том, что Империя терпит бедствия за «нечестивое идолопоклонство», что Константин, «победитель болгар», был великий пророк и угодник Божий, что в военных поражениях последних лет виновато православие и его защитники – монахи. Эти речи падали на подготовленную почву, ведь простой люд рассуждал прямолинейно: государство терпит беды от варваров уже много лет, и чем дальше, тем больше, и всё это при государях, чтущих иконы; при государях, которые иконы уничтожали как идолы, Империя отразила и арабское, и болгарское нашествие и одержала много блестящих побед, – значит, теперь Господь прогневался за идолопоклонство. И всё чаще, всё громче на улицах звучало: «Долой иконы!»

Положение стало угрожающим. Патриарх понимал, что еще одна победа болгар может вызвать катастрофу. Понимал это и эпарх: вчера вечером он ушел от Никифора крайне обеспокоенный, почти подавленный, и патриарху нечем было утешить его. Он не хуже эпарха сознавал, что столица стоит на грани гражданского мятежа: когда-то прасины, восставшие против Юстиниана Великого, призывали «откопать кости» императора и его сторонников, – теперь же народ грозился «сокрушить кости икон»... Бессмысленно было закрывать глаза: ядовитая змея иконоборчества вновь поднимала голову, пока лишь медленно шевелилась и поигрывая кольцами, но в этих движениях чувствовались злость и сила. Можно ли было еще упрятать гадину в клетку? – вот каким вопросам задавались православные, и вот почему так важна была сейчас победа ромейского оружия! Но что судит Бог?..

Патриарха томили тяжелые предчувствия. Отойдя от окна, он взял с полки книгу в коричневой обложке, украшенной узором из золотых крестов. Это были проповеди великого Божьего слова, которые Никифор любил перечитывать на досуге.

– Божественный Григорий, что скажешь ты ныне? – тихо проговорил патриарх, открывая книгу наугад. Раскрылось «Первое обличительное слово на царя Юлиана» – там, где святитель рассуждал, почему Господь попустил воцариться гонителю христиан.

«Одного еще недоставало, чтобы к нечестию присовокупить и могущество. Через несколько времени и то дают ему над нами умножившиеся беззакония многих, а иной, может быть, скажет: благополучие христиан, достигшее высшей степени и потому требовавшее перемены, – свобода, честь и довольство, от которых мы возгордились...»

– Да разве было оно – благополучие высшей степени? – прошептал патриарх.

Ему вновь вспомнились церковные смуты, которые сопровождали его патриаршество от первых дней и окончились лишь недавно. Какое там благополучие! Горький свиток Иезекииля-пророка! Но...

– Господь запретил выдергивать плевелы, чтобы не повредить и пшеницы, – сказал Феодор на совете в Магнавре, протестуя против казни павликиан. – Как же вы, богопочтенные, предлагаете истреблять еретиков? Ведь нам запрещено даже желать им зла! Послушайте не меня, убогого, но божественного Златоуста: «Еретика убивать не должно, – говорит он, – иначе это даст повод к непримиримой войне во вселенной». И еще: «Все неисцельно зараженные сами по себе подвергнутся наказанию. Поэтому если хочешь, чтоб они были наказаны, то ожидай определенного к тому времени», – Богом определенного, не нами! Не сказал ли Господь: «Все, взявшие меч, от меча погибнут»? Смотрите, почтеннейшие, как бы нас не покарала за то, что, зная Евангелие, мы пренебрегли им ради привременной выгоды! Богу такое убийство не угодно, и я никогда не одобрю этого!

Патриарх тогда согласился с ним и потом еще не раз размышлял об этом. Да, Феодор был прав, и происходившее сейчас подтверждало его правоту, хотя на первый взгляд казалось наоборот. Не далее как позавчера патриарх получил письмо от Феофана, игумена Великого Поля: он рассказывал о своем житье-бытье, о том, что хроника, которую он взялся дописывать за покойным синкеллом Георгием, близка к завершению, но ему в последнее время трудно стало писать из-за частых приступов почечной болезни, а в конце упоминал о дерзкой выходке местных павликиан, едва не запаливших обитель, и с раздражением замечал, что Феодор Студит и его единомышленники стали плохими советниками для императора. «Петр, глава апостолов, за одну ложь умертвил Ананию и Сапфиру, – писал Феофан, – великий Павел громко вопиет, что “делающие сие достойны смерти”, и это за один плотский грех! Так не противятся ли им те, которые освобождают от меча людей, исполненных всякой нечистоты душевной и телесной, служителей дьявола?! К чему говорить об их покаянии? Пустые речи! Эти еретики уже никогда не могут раскаяться. Но Феодор, видно, считает себя умнее и святее первоверховных...» Патриарх покачал головой. Феофан ошибается... «Не знаете, какого вы духа», – сказал Господь ученикам, когда они хотели истребить небесным огнем самарян, не принявших

Христа. Если единственным возможным доводом против инакомыслящих сочтен обнаженный меч, то это свидетельство слабости... Слабости, а не силы. Не потому ли еретики всё больше поднимают голову, что почуяли эту слабость?

– Христиане заключают под стражу и бичуют тех, кто отстаивает Христа и Евангелие, – видано ли такое дело? Как бы не отмстил Господь за такой союз неправды! – говорил Феодор когда-то по поводу смуты из-за эконома Иосифа. Не предсказал ли он и погибель императору Никифору? Что же, он был прав, когда предрекал какую-то бурю, как рассказывал Халкитский игумен Иоанн?..

«Когда мы были добронравны и скромны, – читал Никифор дальше у Григория Богослова, – тогда возвысились и постепенно возрастали, так что под водительством Божиим сделались и славны, и многочисленны. Когда же мы растолстели, тогда сделались своевольны, и когда разжирели, тогда доведены до тесноты. Ту славу и силу, какую стяжали мы во время гонений и скорбей, утратили мы во время благоденствия...»

Патриарх закрыл книгу. Змея ереси выгибалась перед ним, зловеще блестя чешуей, готовая к броску. Но может быть, еще обойдется? Что там во Фракии? О, если бы победа!

Семерых «негодяев», меж тем, уже вели по Средней. Здесь было особенно людно; народ сбегался глазеть со всех сторон. Кто насмеялся, кто хмурился, кто исподлобья оглядывал епарха и стратиотов, кто поносил «нечестивых иконоборцев», а кто, спрятавшись за чужие спины, выкрикивал:

– Долой идолы! Они навлекли на нас гнев Божий!

Улыхав это, «негодяи» умолкли и перестали кричать о причинах своего наказания, но плетка епарха быстро привела их в чувство.

– Мы хотели обмануть благочестивых граждан! – выкрикнул армянин, которого вели первым. То же повторял второй и все остальные по очереди. Затем первый продолжал: – Мы солгали, будто врата к гробнице нечестивого Константина открылись сами!

– Это мы хитростию открыли их!

– Мы дерзнули несправедливо обвинять православных в бедствиях, которые терпит Империя!

Пухлая торговка хлебом, смотревшая на процессию из-за своего прилавка, неодобрительно покачала головой:

– Ишь, складно как твердят! Епарх-то, вон, слова подсказывает да плетку кажет! Бедняги, как исполосовали-то их!..

– Да-а, бичей не жалели! – хмуро проговорил стоявший рядом, с лотком на жилистой шее, торговец пирожками.

– Бичи не хлеб, чего их жалеть, – усмехнулся седой сутулый каменотес. Он стоял, опираясь на суковатую палку грубыми мозолистыми руками и из-под насупленных бровей сурово глядел на процессию. Рядом с ним стоял подмастерье – юноша с только пробивавшемся на бороде золотым пухом, загорелый, с румянцем во всё лицо и с избитыми и истертыми руками. – Они сейчас его нечестивым зовут да проклятым, – продолжал старик, – того государя... А я-то по-омню хорошо: при нем хлеб был дешевый, не то, что сейчас, и много было хлеба! Торговцы на рынке нищим, бывало, целые караваи кидали...

– Нда, а теперичи, поди, еще подорожает хлеб-то! – сказал оборванный мужик с мешком через плечо. – Болгары, слышно, уж пол-Фракии разорили и до самого Города грозятся дойти...

– А эти ироды, нет чтоб с варварами воевать, как надо, со своими же воюют, неймется им! Ико-оны им, вишь, кано-оны!

– И-и, чтоб им пусто было, канонистам этим! Их бы землю копать заставить, али кирпичи класть!

– Кости икон да сокрушатся!

- Ах ты, безбожник!
- Это вы безбожники, идолопоклонники треклятые!
- Да отсохни твой поганый язык, собака!

Завязалась драка, и эпарх послал одного стратиота из отряда разнять ее. Тем временем за всем этим следил внимательный взгляд – пожалуй, слишком внимательный, более цепкий, чем хотелось бы устроителям этого публичного шествия. Высокий худощавый монах только что вышел из Книжного портика с большим свертком в руках и, прислонившись к одной из колонн, пристально наблюдал за происходящим. Его взгляд успел охватить всё – и картину целиком, и мелкие детали, – заметить и беспокойство, прятанное за спесью эпарха, и неуверенность на лицах стратиотов, и угрюмые взгляды чернорабочих, и испуг в глазах прошмыгнувшего мимо черноризца; ухо улавливало разговоры в толпе, выкрики недовольные и одобрительные, и клич, который он уже не впервые слышал в последние дни:

- Да будут выкопаны кости икон!

Процессия давно ушла вперед, зеваки тоже разбежались – кто следом за ней, кто по своим делам, – Артополий опять погрузился в обычную суету, а монах всё стоял у колонны. Опустив сверток на землю и скрестив руки на груди, он глядел куда-то в пространство.

- Здравствуй, Иоанн!

Грамматик вздрогнул и стряхнул задумчивость. Перед ним стоял невысокий монах с сокрушенно-просительным выражением лица, какое бывает у нищих, но при этом щеголевато одетый – ряса и мантия его были сшиты явно не где попало и стоили недешево.

- А, отец Симеон, приветствую! Как поживаешь?

– Помаленьку, милостью Божией, спасаемся... А ты о чем это тут так задумался? Я тебя еще вон от того угла заприметил, и всё иду, гляжу, а ты всё вот так стоишь да смотришь в одну точку, словно статуя!

- Тонкая улыбка пробежала по губам Иоанна.

– Да так, задумался об образе нашего жития. Как говорили древние, «не довольствуйся поверхностным взглядом; от тебя не должно ускользнуть ни своеобразие каждой вещи, ни ее достоинство». Вот я и наблюдаю... Углубляюсь в сущее, так сказать.

– Хм... Да разве у каждой вещи есть достоинство? Взять хоть этих нечестивцев, которых тут провели, видал? Разрази их гром! Какую смуту они вчера устроили, проклятые еретики! Говорят, они из павликиан...

– У еретиков, – Иоанн усмехнулся, – есть одно очень большое достоинство: они заставляют православных думать. Прощай, господин Симеон, а то мне уже недосуг! – Слегка кивнув собеседнику, Грамматик поднял с земли свой сверток и зашагал прочь.

– Эх ведь сказал-то! – пробормотал Симеон, провожая его взглядом. – Мудрит, всё мудрит чего-то... Э!.. – Он махнул рукой и пошел своей дорогой.

... С улицы послышался взрыв детского хохота, визг, возня... Флорина выглянула в окно.

– Варда! – закричала она строго. – Ты что-то разошелся! Посмотри на себя, на кого ты стал похож! Ведь только всё чистое одел с утра, а теперь ты, что поросенок!

- Мама, мама! – раздался звонкий голосок. – Он опять дерется!

- Доносчица!

- Я не доносчица! Ты мне всю косу растрепал!

- Велика важность!

- Я тебе покажу, велика или нет! Вот тебе! Ха-ха! Догоняй!

- Ну, держись, Феодора!

Быстрый топот двух пар ног – и всё стихло. Флорина отошла от окна, качая головой.

– Вот сорванцы! Каждый день их приходится мыть – к вечеру всегда грязные, как эфиопы! Вы с Софией всё же не были такими неумными. Да и Ирина не такая...

– Ну, мы ж не мальчики, – улыбнулась сидевшая в плетеном кресле молодая женщина. – И потом, я всегда была тихоней, ты знаешь. Феодора совсем другая!

– Да уж, не знаю, что из нее выйдет... Капризная, непредсказуемая... К тому же боюсь, как бы она не выросла толстушкой... Она и сейчас обижается, когда братья ее называют толстой, а что же будет, если она такой и вырастет?

– Ты погоди, дорогая, она ж еще мала. Рано судить, рано! Она еще первой красавицей у нас будет!

Обе женщины повернулись на голос. В дверях комнаты стоял высокий широкоплечий мужчина; черная шевелюра, крупный горбатый нос и густые брови придавали ему грозный вид, но темные глаза смотрели весело; он улыбался, сверкая зубами.

– Ах, Марин, – сказала Флорина. – Ты всегда слишком снисходителен к детям, а Феодору баловать опасно, она такая своенравная...

Флорина являла разительную противоположность мужу: небольшого роста, миниатюрная, светловолосая, голубоглазая, с тонкими чертами лица, она в то же время обладала жестким характером, который совсем не вязался с ее внешностью. Марин впервые увидел ее в церкви в Афинах, куда приехал вместе с родителями навестить родственников. Флорине было тогда пятнадцать лет, и она показалась Марину похожей на ангела с фрески на стене храма. Всю службу он смотрел на это «чудное явление» во все глаза, а когда служба кончилась, понял, что уедет из Афин только вместе с девушкой, о чем тут же и сообщил матери с отцом. Те попеняли ему, что он в храме занимается не тем, чем нужно, но, расспросив родственников и узнав, что девушка из хорошей семьи и благочестивая, недолго думая, послали сватов. В родную Эвессу, городок в Пафлагонии, где семья Марина владела большими поместьями, юноша возвращался спустя три месяца, увозя молодую жену и немало приданого. С тех пор прошло восемнадцать лет. Марин уже давно был друнгарием, и в Пафлагонии его знали как одного из богатых землевладельцев, а жена его славилась в округе тем, что почти наизусть помнила весь Новый Завет и очень близко к тексту многие жития святых. В Эвессе супруги владели двухэтажным особняком, который был виден издали и удивлял приезжих несколько тяжеловатым стилем: огромными мощными колоннами по бокам от входа, большим балконом, нависавшим над первым этажом вдоль боковой стены, и массивной крышей, крытой медью и сверкавшей на солнце так, что прохожие иной раз прикрывали глаза ладонью, глядя на этот дом, обсаженный яблонями и оливами и окруженный высоким каменным забором. У Марина и Флорины было шестеро детей: два сына – Варда и Петрона, и четыре дочери – Каломария, София, Ирина и Феодора.

Каломария, которой пошел семнадцатый год, была старшей и, оправдывая свое имя, самой красивой из сестер: черноглазая и высокая – в отца, правильные черты лица и золотистые волосы она унаследовала от матери; в ее движениях сквозила уверенность в себе. Она уже полтора года была замужем за молодым армянином по имени Арсавир, сыном синклитика. На три года ее старше, красавец под стать супруге, умный, состоятельный и со связями при дворе, он увез молодую жену в столицу, где она еще больше расцвела и, кажется, достигла предела земных желаний. Этим летом она приехала навестить семью, а заодно обсудить вопрос об обручении Софии, которой скоро должно было исполниться тринадцать лет: Каломария нашла ей жениха в столице – Константина, четырнадцатилетнего сына патрикия Феодосия Вавуцика. Патрикий был другом родителей Арсавира и, познакомившись с Каломарией и узнав, что у нее подрастают сестры, озаботился о будущем сына. Хотя Арсавир и шутил, что он «самую красивую уже отхватил», Феодосий, смеясь, говорил, что они люди скромные, да и сын у него не то, чтобы красавцем растет, а потому невеста будет в самый раз.

– Ты кстати зашел, – сказала Флорина мужу. – Мы тут на самом деле говорили не о Феодоре, а о Софии. Я что-то боюсь отпускать ее в Константинополь...

– Мама думает, – смеясь, сказала Каломария, – что столица это такое гнездо пороков!

– Гнездо, не гнездо, – возразила Флорина, – но суеты там побольше, чем тут, и соблазнов тоже. А София у нас такая тихая, смиренная... Боюсь, там такие не ко двору, как начнут «перевоспитывать», греха не оберешься...

– Ну, посмотри на меня! – воскликнула Каломария, вставая. – Разве я превратилась в «греховный сосуд»?

– У тебя всё же другой характер, чем у Софии. Она мягкая...

– Дорогая, – улыбаясь, сказал Марин, – порочный человек как свинья – грязи найдет. Посмотри на дочь наших соседей: она и не в столице, а вошла в такую историю, что не дай Бог. И кто тянул, а? Я вот совсем не боюсь за Софию. Мягкая-то она мягкая, но внутри – стержень железный!

– Да, мамочка, папа прав! Сколько я помню, она всегда брала верх над Ириной в играх, да и мне не спускала, хоть я гораздо старше! Мягко стелет, да жестко спат! – Каломария опять улыбнулась.

– И потом, – добавил Марин, – мы ведь ее туда ненадолго отпустим. Обручится, проживет месяц-два, да и назад. До свадьбы-то еще года два-три ждать придется.

– Уговорили! – вздохнула Флорина. – Присылайте сватов.

– Замечательно! – Каломария подошла к матери и поцеловала ее в щеку.

– Только надо подождать, чем кончатся фракийские дела, – вдруг нахмурился Марин. – Да и в Городе, ты говоришь, беспокойно...

– Не то, чтобы беспокойно... – Каломария поморщилась. – Просто некоторые бродяги мутят народ против икон. Но думаю, когда государь вернется из похода, он быстро усмирит их! Был такой Николай, пустынноиком прикидывался, а сам иконы поносил, даже при людях расколос образ Богоматери...

– Вот негодяй! – воскликнула Флорина.

– Да, – продолжала Каломария. – Так государь повелел его схватить и отрезать язык! Тот и умер после этого. Вот и с этими нечестивцами то же будет!

– А что говорит Арсавир? – спросил Марин.

– Ничего не говорит... Ничего особенного. Смеется даже.

– Смеется?

– Да, как начну спрашивать, что да к чему, так он улыбается: «Не квохчи, – говорит, – моя курочка, в нашем гнездышке всё спокойно!»

Каломария улыбнулась и, подойдя к окну, выглянула на улицу. Конечно, через знакомых до нее доходило много тревожных слухов; но раз Арсавир говорит, что всё спокойно, значит, беспокоиться не о чем. За время замужества она привыкла ощущать себя за ним, как за каменной стеной, он словно излучал надежность и ясность...

– А вот и дети бегут! – Она кивнула в сторону окна. – В дом! Не к нам ли?

Вскоре за дверью раздался шум и в комнату влетели мальчик лет одиннадцати, крепкий на вид, загорелый, с темными вьющимися волосами, и девочка помладше, невысокая, круглолицая, пухленькая. Ее коса совершенно расплелась, и густые волнистые волосы глубокого черного цвета, даже темнее, чем у отца, словно плащ, покрывали ее почти до пояса.

– Ну что, сорванцы, всё носите? – весело спросил Марин.

– Голову не сверните! – сказала Флорина. – Ты, Варда, постарше, так хоть думай, где и как бегать!

– Да, мама! – ответил мальчик и лукаво поглядел на сестру. – Но больше всего приходится думать, как от нее убежать. Бегают она, как ветер, хоть и толстая!

– Я не толстая! – возмутилась девочка. – Я тебе дам, «толстая»! – Она ткнула брата в бок кулаком.

– Ой-ой! А-а! – Варда картинно схватился за бок и скривился, как от боли. – Она дерется!

– А ты не дразнись! – рассмеялась Каломария.

– Ладно, хватит шалить! – строго сказала Флорина. – Посидите вот, отдохните лучше! Феодора, иди сюда, я тебя заплету!

Девочка подошла к матери, а Варда уселся на скамью под окном и сложил руки на коленях, сделав постное лицо. Марин улыбнулся и погрозил сыну пальцем.

– Вот, Варда, – сказала Каломария. – Вы ведь еще не знаете... София скоро поедет ко мне в гости, я ей жениха нашла.

– Жениха? – вскричал Варда. – Да она еще маленькая! Тогда и мне невесту найдите, а то нечестно!

– Рано тебе еще думать о невестах, – строго сказала Флорина. – Придет время, и тебе найдем.

– Рано? – негодуяще воскликнул Варда. – Софии не рано жениха, а мне невесту рано? Вот, так всегда...

– София умница и послушная, а на тебя никакой управы нет. Поумней сначала чуток, а там посмотрим, – сказала Флорина всё так же строго, однако, пряча улыбку.

– А-а, всегда вы так, – обиженно пробурчал мальчик. – Чуть что, так сразу: «непослушный», «поумнеть надо»... Да я еще умнее всех вас буду! Еще других буду учить!

– Вот хвастун! – воскликнула Феодора. Она возмущенно всплеснула руками и тут же ойкнула от боли.

– Ну, не дергайся! – сказала Флорина. – Я еще не доплела.

Девочка вздохнула, опустила руки и спросила:

– И как его зовут, этого жениха?

– Константин.

– А сколько ему лет? – поинтересовался Варда.

– Четырнадцать, – сказала Каломария. – Они с Софией только обручатся, ну, а свадьба будет, когда подрастут. Года через три.

– Ой, как долго еще им ждать придется! – вздохнула Феодора. – А что, если... за это время Софии кто-нибудь другой попадетсЯ?

– Что значит – «попадетсЯ»? – нахмурилась Флорина.

– Ну... встретит какого-нибудь другого мальчика, и он ей больше понравится... чем этот Константин.

– Феодора! Что это за мысли у тебя в голове? – Флорина даже перестала плести дочери косу и, взяв ее за плечи, развернула к себе. Феодора стояла, опустив глаза.

– Ага, ага! – Варда расхохотался. – Каких житий святых ты начиталась, сестрица? Э, да ты ведь и читать еще не умеешь толком! Уж не наслушалась ли ты тайком захожих сказочников, а?

– Прекрати, Варда! – Флорина метнула на него грозный взгляд и обратилась к дочери: – Не смей и думать о таких вещах, слышишь? Вот еще притча!

– Ну да, – снова не удержался Варда, – святые все выходили замуж только по воле родителей!

– Варда!

– А Феодоре хочется, чтобы мальчик нравился, а не просто!

– Варда, пойдИ вон! – вскричала Флорина.

– Варда, ты и правда разошелся, – сказал Марин. – Пойдем, сынок, пусть женщины тут сами разбираются!

Взяв подскочившего мальчика за руку, Марин покинул комнату, улыбаясь в усы: в младшей дочери он узнавал себя. Когда отец с сыном ушли, Каломария упала в кресло и расхохоталась. Флорина строго взглянула на нее, но не выдержала и рассмеялась тоже. Феодора исподлобья поглядывала то на сестру, то на мать.

– Вот, вы смеетесь надо мной, – тихо сказала она. – Ну, и смейтесь, и смейтесь... А вот я так выйду замуж, что вы все завидовать мне будете, вот!







## 17. Версиникийский разгром

*Если кто-то допустил промах в других делах, он через короткое время сможет его исправить; ошибки же, допущенные на войне, оборачиваются великим злом.*

*(Св. император Маврикий)*

Вечером 20 июня, когда уже стемнело и стража заперла врата в лагерь, в палатке стратига Анатолика при тусклом свете небольшого светильника шел невеселый разговор.

– Подохнуть можно! – воскликнул Иоанн Аплаки, вытирая пот со лба. – Погода такая, что скоро из нас тут выйдет жаркое! Надо было идти в бой сразу, как пришли, а мы уже столько времени торчим здесь без пользы! Еще немного, и стратиоты свалятся с ног... Где у государя глаза?! Я уже вообще перестал понимать, зачем мы отправились в этот поход.

– И не говори, – мрачно ответил Лев. – Мы давно могли бы отбить Месемврию и задать болгарам перцу! Но разве с этой бабой в штанах чего-нибудь добьешься!..

Лев по вызову императора прибыл в Константинополь из Анатолика с большей частью фемного войска; оставшаяся треть должна была оставаться на месте, поскольку с весны могли начаться набеги арабов на приграничные области. Собрались также ополчения из других фем и расквартировались в Городе и окрестностях. Император встретил Льва очень хорошо, при дворе смотрели на него как на героя: он прославился с тех пор, как в августе минувшего года одержал знаменитую победу над вторгшимся в Империю Фефифом, побив две тысячи арабов и забрав множество оружия и коней.

С первых дней пребывания Льва в Царствующем Городе особенное расположение к нему выказывал родственник императора Феодот Мелиссин. Патрикий всячески обхаживал стратига Анатолика, чему Лев про себя дивился, однако вопросов не задавал. Правда, он попытался узнать у жены, которая вместе с детьми продолжала после его назначения стратигом жить в Константинополе, в чем тут может быть дело, но Феодосия тоже понятия не имела о причинах этой внезапной симпатии.

От Феодота Лев узнал все подробности относительно положения в Городе и хода войны с болгарями. Император явно не хотел и боялся вести военные действия. Еще в начале ноября, когда Крум осадил Месемврию и требовал заключения мира на его условиях, Михаил был согласен на всё – и установить границу с Болгарией там, где она проходила при императоре Феодосии и патриархе Германе столетие назад, и платить болгарам дань дорогими платьями и красными кожами, и выдать перебежчиков. Болгары, со своей стороны, тоже обещали выслать ромейских перебежчиков в Империю. Но именно вопрос о перебежчиках стал камнем преткновения: многие синклитики, в первую очередь магистр Феоктист, а также позванный на совет игумен Студийский были категорически против их выдачи, хотя за нее были и патриарх, и присутствовавшие на совете митрополиты Никейский и Кизический. Последние были так раздражены на Студита еще с того времени, как его мнение взяло верх в вопросе о казни павликиан, что даже не хотели, чтобы ему давали слово. Но император позволил, и игумен произнес речь, доказывая необходимость военных действий, причем как можно более решительных.

– Нам ли не знать, – говорил Феодор, – насколько болгары вероломны, и как они не усердны к соблюдению договоренностей, когда видят слабость или нерешительность противника? Сейчас Крум делает вид, что стремится к согласию и дружбе, но, я уверен, это лишь льстивые слова, которыми он хочет усыпить нас. Если мы уступим, это не даст уверенности в желаемом мире, а скорее всего, не даст и самого мира. Предложение выдать перебежчиков мне кажется особенно неприемлемым. Подумайте, кого выдадут нам болгары? Трусов и безбожников, кинувших нашу христианнейшую державу и переметнувшихся к этим нечестивым

варварам, где многие из них без зазрения совести, забыв Бога и заповеди, предались тем же беззакониям, завели по несколько жен, принимали участие в скверных жертвоприношениях! И теперь они вернуться к нам не потому, что захотели покаяться в грехах, но вынужденно, высланные болгарами. Принять их – только множить число нечестивцев в нашей державе и полнить государственные темницы. Взамен же болгары требуют выдать их перебежчиков. И кого же это? Людей, которые от скифской жестокости, от языческого нечестия и бедствий прибегли к Ромейской державе и приняли здесь святую Христову веру! Не предадим ли мы Самого Господа, отдав малых сих на растерзание жестоким варварам? Ведь небызвестно, что их может ждать: пытки, поругание, жертвенные костры! Можем ли мы быть столь бесчеловечны, обрекая их на верную смерть?

– Господин Феодор говорит дело! – поднялся с места логофет дрома. – Эти люди, которых мы обязаны выдать, если заключим мир с болгарами, из-за превратностей жизни отказались от родины – а как говорят, ничего нет ее слаще, – многие же оставили и родных, потому что не вынесли скифскую жестокость и дикость и бежали к нашей кротости и порядку. Болгарские начальники, как хорошо известно, очень обеспокоены таким бегством, ведь оно приобретает всё больший размах. Потому-то они издавна ведут с нами переговоры об этом. Но мое скромное мнение таково, что мы не должны уступать этим варварам наших – теперь уже наших – благочестивых граждан!

Синклитики одобрительно зашумели. По лицу императора было видно, что он колеблется, но страх перед военными действиями всё еще брал верх.

– Люди хотят мира, господи! – сказал он. – И условия мира нам известны. Исход же войны всегда неясен. Что, если нам не удастся сразу одолеть врагов? Ведь это опять приведет к разорению наших земель, а оно, в свою очередь, чревато народным возмущением. А в Городе и так неспокойно... Но что скажет господин эпарх?

– Августейший государь и всё боголюбивое собрание! – сказал эпарх столицы, выступив вперед. – Тут много говорилось о том, приемлемы или неприемлемы условия мира, выдвинутые болгарами, а я хочу сказать о другом. Ничто так не поднимает дух граждан, как военные победы. Наши поражения последних лет привели к тому, что в народе растет не только недовольство государем, но, что еще опаснее, непочтение к православной вере. Все вы знаете, что иконоборцы вновь поднимают голову. Если сейчас мы примем мир, то придется установить границы с Болгарией там, где они пролегали до воцарения государей Исаврийского дома. А это означает полный отказ от всех завоеваний, сделанных в царствование Константина. При нынешнем состоянии умов и брожении в войсках это чрезвычайно опасно! С другой стороны, всего одна, пусть даже не решающая, но достаточно внушительная победа над врагами не только прославит государя, но и успокоит умы простого народа, уймет ропот против иконопочитания. За это, думается, не жаль заплатить любую цену. А чтобы нам быть более уверенными в своих силах пред лицом этих варваров, нужно собрать войско не только из Фракии, но и из восточных фем, обеспечить хорошее вооружение и обучение, и тогда победа будет за нами!

Речь эпарха пришлась по душе синклитикам, раздались аплодисменты.

– Верно говоришь!

– Не позволим иконоборцам издеваться над нашей святой верой!

– Да дарует нам победу Господь Вседержитель!

Император еще сомневался и взял время на размышление. Решающую роль сыграло полученное спустя несколько дней известие о том, что Крум, не дожидаясь ответа на свое мирное предложение, взял Месемврию. Студийский игумен оказался прав: болгары только говорили о мире, а делали противоположное. Вновь собрался совет в Магнавре, и уже почти единогласно было решено готовиться к войне.

Поначалу события как будто развивались благоприятно для ромеев. В первых числах февраля двое сбежавших из Болгарии христиан сообщили, что Крум готовит новое вторжение

во Фракию. Император быстро собрал войско, в середине месяца выступил к Адрианополю и в сражении победил Крума; болгары воротились в свои пределы ни с чем, потеряв немало воинов. Победа ободрила императора и, наведя в Адрианополе порядок и вернувшись в столицу, он вместе с супругой посетил обитель святейшего Тарасия и после торжественной литии возложил на гроб почившего патриарха великолепный серебряный покров.

С наступлением весны были организованы широкие приготовления и собрано большое войско. Правда, новонабранные стратиоты с востока Империи были недовольны тем, что их повели в столь дальний поход. Особенно роптали армяне и каппадокийцы, многие из которых к тому же оказались плохо обученными новобранцами. Но это было бы еще не так страшно, если бы не амбиции императрицы. Когда в мае войско выступило в поход к Месемврии, Прокопия с огромной свитой сопровождала императора почти до самой Ираклии. Это вызвало сильное негодование в войсках: и простые стратиоты, и многие архонты стали поносить Михаила.

– Он шагу не может ступить без своей бабы!

– И этот неженка поведет нас в поход!

– Позор!

4 мая случилось небольшое солнечное затмение, и войско пришло в страх; император тоже пал духом и, если бы не ободрения со стороны стратигов, пожалуй, повернул бы назад. Но от продолжения похода толку не было: войска целый месяц делали переходы по Фракии без видимой цели, не подходя к Месемврии и не предпринимая никаких действий против врагов. Архонты недоумевали, а простые воины начали грабить окрестные села и обижать жителей, для которых поэтому пришествие своих мало чем отличалось от варварских нападений. Императорские тагмы и вовсе проводили время в праздности: Михаил не был любителем военных учений.

– Августейший, – как-то сказал ему стратиг Македонии, – осмелюсь тебе напомнить, что блаженный государь Маврикий учил не оставлять стратиотов без дела, ведь праздность в войсках – источник мятежей и смятения. А у нас, да не прогневается на меня твое величество, происходит ровно противоположное. Я боюсь, как бы, выйдя против врагов, мы не оказались бессильными.

– Мне кажется, Иоанн, ты зря беспокоишься, – ответил император с улыбкой. – Войско в хорошей форме, мы упражняемся во время переходов, и этого, по-моему, достаточно. Тем более, что я надеюсь обойтись без сражения.

– Как тебе будет угодно, государь, – холодно ответил Аплаки, откланиваясь.

В конце концов ромеи встали лагерем в тридцати милях от Версиникии. Крум выступил со своим войском в начале июня, но донесения разведчиков о многочисленности противников и их хорошем вооружении привели его в нерешительность, и болгары расположились у города. Две недели оба войска стояли наготове друг против друга, но ни одна сторона не решалась напасть. Это томительное бездействие день ото дня становилось всё невыносимее: стояла жара, люди и животные страдали от жажды и к концу второй недели пришли почти в полное изнеможение; в таком же бедственном положении были и болгары. Лев и Иоанн Аплаки неоднократно приступали к императору, призывая дать болгарам решительное сражение; их поддерживали и другие архонты, но Михаил больше слушался почти не отходившего от него магистра Феоктиста и нескольких его единомышленников.

– Крум не решится вступить с нами в бой, государь, – говорил Феоктист. – Ведь разведка доносит, что болгары в смущении. Если мы еще немного продержим их так, они снимутся и уйдут, и так мы без боя одержим победу, усмирим врагов и сами избежим потерь, – а что может быть лучше этого? Ведь исход боя всегда неясен...

Император согласно кивал, и стояние на жаре продолжалось.

– Нет, это невыносимо, невыносимо! – воскликнул Аплаки. – Собрать такое войско, провести в походе два месяца, две недели прожариться на этом пекле – и вернуться, не дав ни

одного маломальского сражения! Позор! Да нас собственные жены и дети засмеют! А что скажут граждане? Нет, видно, конец приходит всему миру, если ромейской державой правят зайцы вместо львов!

Лев хмуро разглядывал узор на рукояти кинжала, который вертел в руках.

– Завтра я попытаюсь еще раз поговорить с государем, – сказал он.

На следующее утро после обычного смотра Лев, заметив, что Феоктист почему-то отсутствует, решил немедленно воспользоваться случаем и попросил императора принять его.

– Государь, – сказал он, когда они вошли в шатер василевса, – мои и не только мои воины ропщут от нашего бездействия, они горят желанием сразиться с врагом. Ждать дальше нельзя! Если мы еще простои́м несколько дней на этой жаре, мы вообще не сможем сразиться, у нас не будет сил даже для возвращения домой, и враги, чего доброго, перережут нас, как ягнят. Да избавит нас Бог от такой беды! Но если ничего дурного и не случится, хорошо ли это, августейший, если при таком войске и численном перевесе над врагом мы вернемся в столицу, не дав ни одного сражения? Это позорным пятном ляжет на Ромейскую державу, унижит наше войско, вызовет ропот в народе – ведь в столице ждут, что мы возвратимся с победными трофеями. Недостойно для ромейского императора обращать спину врагу!

– Что ты предлагаешь, Лев? – спросил император; слова стратига, сказанные с глубокой убежденностью, казалось, подействовали на него.

– Двинемся на врагов, государь! Если завтра с утра мы вступим в сражение, то еще до полудня ты увидишь, как мы одолеем проклятых варваров и завоюем победу. Ведь мы надеемся твоими молитвами обрести мужество и, уповая на Божию помощь, пойдем в бой!

Император неожиданно был увлечен горячностью стратига, на его щеках показался румянец, глаза заблестели. Он хлопнул Льва по плечу и сказал:

– Хорошо, будь по-твоему! И да поможет нам Бог и Пречистая Богоматерь!

Михаил тут же вышел из шатра, окинул взглядом собравшихся у входа военачальников – видя, что стратиг Анатолика пошел разговаривать с императором, они догадались, какова могла быть тема разговора, и решили подождать результатов – и возгласил:

– Завтра утром мы выходим на врага! Всем готовиться к бою!

– Ур-ра! – раздались крики. – Да вознаградит Бог твое мужество, августейший!

Феоктист, явившийся к императору только после обеда, бледный и угрюмый, – он что-то не то съел накануне и всю ночь и утро промаялся животом, – тщетно пытался отговорить Михаила от сражения. Император упрямо повторял фразу, сказанную ему Львом:

– Недостойно для ромейского императора обращать спину врагу!

...Комит стен Иоанн Эксавулий, стоя на башне, из-под руки вглядывался вдаль. На дороге, ведущей к Адрианополу, виднелось облако пыли, постепенно превращавшееся в темную массу, растянутую по дороге.

– Кажется, войско возвращается! – воскликнул он. – Но что-то их слишком мало...

Когда император со своими полками приблизился, к Адрианопольским воротам, Эксавулий с топотиритами и хартулариями вышел встречать его. По мере приближения возвращавшихся стало ясно, что это не триумфальное шествие, а позорное и беспорядочное бегство: полки шли почти без всякого строя, никто никем не командовал, никто никого не слушал, все были заняты лишь одной мыслью: скорее оказаться под защитой городских стен. Многие из покинувших Город верхом теперь были пешими, половина воинов шла вообще без оружия и без доспехов. Все были пыльными, грязными, почти при последнем издыхании. Император, зеленовато-бледный от усталости и расстройств, едва держался на коне.

Зазвучали привычные славословия, но василевс отчаянно махнул рукой, и всё стихло. Михаил окинул взором встречавших его и сказал только одно слово:

– Разгром!

Опустив голову, император проехал через ворота, за ним в Город вошли тагмы, точнее, то, что от них осталось, и процессия направилась ко дворцу в полном молчании. Народ на улицах сбегался приветствовать императора, но славословия сменялись ропотом, улюлюканьем и криками возмущения, по мере того как распространялась весть о позорном бегстве императорских отрядов с поля боя. Ко дворцу Михаил подъехал уже под свист и ругань огромной толпы, бежавшей за ним.

– Трусы! – кричал народ, и мальчишки кидали грязью в стратиотов.

На следующее утро император отправился к патриарху; с ним вместе пришли сын и соправитель Михаила Феофилакт, императрица, магистр, domestik схол и прочие синклитики. Василевс прерывающимся голосом кратко рассказал о бывшем при Версиникии, чуть помолчал и произнес:

– Полагаю, при таких обстоятельствах я более не могу царствовать над вами. Видно, за грехи мои Господь не благоволит к моему царствованию, как не благоволил Он и к царствованию тестя моего... Ведь нас было больше, чем врагов, и ни один не проявил усердия, но все побежали! – Тут император не выдержал, закрыл лицо руками и глухо зарыдал. Все молчали, потрясенные. Патриарх встал и сказал:

– Державнейший, прошу тебя, не убивайся так! Дело еще можно поправить...

– Нет, нет! – вскричал Михаил, отнимая руки от лица. – Не говорите мне льстивых слов! Ничего нельзя поправить! Войско разгромлено! Пока я ехал по Городу, меня освистали, как преступника! Могу ли я после этого царствовать?! Это невозможно, нет! Сядь, святейший! Я почитаю за лучшее, если вы выберете себе другого императора, способного защитить нашу державу от варваров и править справедливо и достойно. Мне же позвольте покинуть дворец и предаться молитвенной жизни под сенью монастырской. – Он умолк и откинулся на спинку трона, бессильно уронив руки на колени.

Шепот пробежал по залу. Многие растерянно переглядывались, кто-то кивал, другие качали головой, но никто не решался первым выступить с порицанием или одобрением. Тогда с места поднялась императрица и с гневом воскликнула:

– Что же это?! Что я слышу, мой августейший супруг? Ты отказываешься от царства, когда никто не гонит тебя? И кого ты предлагаешь провозгласить взамен? Ты подумал, что сейчас начнется, какая грызня? Ты сбежал с поля боя, а теперь и с престола хочешь бежать! Ты забыл, что не люди, но Бог поставил тебя василевсом, и ты в ответе пред Ним за державу и твоих подданных? Как же ты хочешь бросить всё на произвол судьбы? Нет, я не могу одобрить это!

– Бог свидетель, государыня говорит разумные речи! – согласился Мануил, императорский протостратор. – Мы не желаем другого государя, о трижды августейший! Что же, что наше войско потерпело поражение? Судьба переменчива, и завтра она улыбнется нам вновь!

– Благослови тебя Бог, господин Мануил! – сказала Прокопия. – Полагаю, что на государя нашло временное затмение ума по причине охватившей его скорби. Сейчас он успокоится, поразмыслит и поймет, что раз облекшемся в пурпур подобает в нем и умереть, а не менять его на черные тряпки!

– Сядь, августейшая! – устало промолвил император. – Ты не блаженная Феодора, а я не великий Юстиниан, и не подобает нам произносить речи подобно трагическим актерам! Судьба улыбнется, говорит господин Мануил? – Император поднялся, подошел к центральному окну и распахнул его настежь. – Послушайте, как она смеется!

С улицы донесся шум и крики толпы, собравшейся перед Святой Софией:

– Долой с престола эту трость, ветром колеблемую!

– Позор! Он отдал державу на растерзание врагам!

– Бежал с поля боя в постель к жене! Трус!

Император прикрыл окно и, пройдя мимо притихших синклитиков, снова уселся на трон. Прокопия тоже села, красная от гнева и стыда.

– Отец, – сказал Феофилакт, сидевший на другом троне рядом с Михаилом, – положение в Городе угрожающее. Уличный сброд грозит «сокрушить кости икон». Если мы сложим с себя власть, то как знать, не возведет ли эта толпа на престол иконоборца?

Тут взоры всех обратились к патриарху.

– Что скажешь ты, святейший? – спросил император. Никифор поднялся и обвел взглядом собрание.

– Государь, – сказал он, – если ты настаиваешь на своем желании сойти с престола, то мы, конечно, не можем удерживать тебя силой... Но в таком случае следует обдумать заранее, как избежать того, о чем сейчас сказал твой августейший сын. Я, со своей стороны, возглашаю в уши здесь собравшихся, что новый император, кто бы он ни был, будет венчан мною на царство не прежде, чем даст клятву не колебать священных устоев нашей Церкви. Что до твоей царственности, то в случае передачи тобою власти достойному мужу я ручаюсь головой за сохранность жизни и твоей, и твоих детей. И пусть Бог и это боголюбивое собрание будут свидетелями моего обещания!

Собравшиеся одобрительно зашумели, лишь Прокопия сидела молча, мрачнее тучи.

– Твои слова хороши, святейший, и нам любезны, – сказал император. – Но я, право, затрудняюсь предложить взамен себя определенного мужа... – Император умолк в раздумье.

– Осмелюсь сказать, государь, – подал голос Иоанн Эксавулий, – мне кажется, положение всё-таки еще можно исправить. Если бы мы могли одержать над врагами хотя бы и не решающую, но всё же победу... Ведь значительная часть войска всё еще во Фракии. Кто сейчас начальствует над ним?

– Я оставил командующим стратига Анатолика Льва, – ответил Михаил.

– Это разумный выбор, государь! – воскликнул эпарх. – Лев – храбрый воин и искусный полководец.

– Да, – горько вздохнул император. – Если бы не бегство тагм и увлеченных ими, мы, возможно, победили бы болгар...

Эксавулий покачал головой:

– Не приведет к добру его начальство над войском...

Император вопросительно взглянул на него, но не успел ничего сказать. Дверь в залу с шумом распахнулась, и вошел спафарий Феофан, один из турмархов фемы Македония. Он был весь в пыли – очевидно, только что проделал, большой путь верхом. Поклонившись императору, он сделал несколько шагов вперед, остановился, оглядел собравшихся и произнес:

– Государь, я прибыл из лагеря. Вчера в полдень войско и архонты провозгласили императором Льва, стратига Анатолика!

## 18. Неволею василевс

*Хотелось верить бы в удачный ход  
событий. Как бы ни было, не пропадет  
и без Атридов Аргос. Всё течет:  
глядишь – и царским станет новый род.  
(Константин Кавафис)*

Бегство ромеев было столь же быстрым, сколь и беспорядочным. Лишь к вечеру основная часть бежавших собралась в лагерь. Император так пал духом, что повелел Льву распоряжаться за главнокомандующего, а сам, не желая никого видеть, забился в свой шатер и всю ночь провел без сна, оплакивая позорное бегство войска и трепеща от страха за будущность. Хуже положение было разве что после злополучного болгарского похода императора Никифора, – и это вместо триумфа, на который надеялся Михаил и которого, самое главное, так ждали в столице! Но войско Никифора было окружено и заперто в горах, и потому разбито, а нынешний разгром не шел ни в какое сравнение с тем: ромеи имели все возможности для победы, а вместо этого...

Да, такого позора давно не видело ромейское оружие. Войско еще не успело сойтись с врагом, и едва были пущены первые дротики и стрелы, как вдруг императорские тагмы повернулись и обратились в бегство, увлекая за собой самого императора и арьбергара. Болгары сначала даже не поняли, что происходит, и подумали, что ромеи нарочно отступают, чтобы завлечь их в ловушку, а потому не решились преследовать их. Воспользовавшись смущением противника, Аплаки, чьи турмы стояли в первой линии на левом фланге, вступил в бой с врагом. Задние ряды анатолийских турм, заметив, что императорские тагмы бегут, начала было поворачивать коней, но Лев, увидев это, в бешенстве крикнул: «Всех перевешаю, негодяи!» – и бежавшие остановились и вместе со своим стратигом устремились на противника. Болгары отступили под напором анатолийцев, и Лев ободрился, но тут увидел, что враги собираются зайти с тыла, – а тыл совершенно не защищен: всё остальное войско, кроме македонян, сбежало! Стратиг выругался и дал приказ отступать, сохраняя строй.

– Если кто побежит, прибью на месте!

Они отступили в горы. К счастью, болгары не стали долго преследовать их, а устремились вслед за бежавшими ромеями, которые не только удирали, сломя голову – причем всадники давили своих же пехотинцев, и каждый думал только о спасении собственной шкуры, – но к тому же бросали по дороге оружие и доспехи, на поживу противнику. Иоанну с его воинами пришлось совсем туго. С самого начала на него устремился сильнейший из вражеских отрядов, потом и другие, а помощи от ромеев не было никакой. Льву со своим войском приходилось обороняться, и он не имел возможности помочь македонянам. В конце концов Аплаки, раненный, упал с коня, а стратиоты, решив, что стратиг убит, обратились в бегство. Часть ромеев укрылась в одной горной крепости, но болгары, дойдя туда, взяли ее и всех забрали в плен, после чего, уже утомленные, с богатой добычей отправились в Версиникию, не только собрав множество ромейского оружия, но еще и захватив почти весь обоз противника.

До поздней ночи стратиг Анатолика ходил по лагерю, отдавая распоряжения архонтам и солдатам, проверяя надежность охраны и ободряя воинов. Многие боялись, что болгары нападут ночью и добьют оставшихся в живых... Лев вошел в свой шатер, когда в лагере уже почти все спали, кроме стражи, ополоснул водой лицо и руки, упал на постель и, смертельно уставший, тут же заснул.

На рассвете устроили смотр. Оказалось, что убитых очень много. Иоанн Аплаки, которого сумели унести с поля боя, умер ночью, и его с честью похоронили. Лев, с комом в горле,

смотрел, как стратиоты засыпают могилу, и у него сжимались кулаки, но в присутствии императора приходилось сдерживаться. Впрочем, Михаил торопился в столицу и вместе со своими тагмами оставил лагерь еще до полудня, приказав Льву подождать, пока соберутся прочие бежавшие, и тоже возвращаться в Город, если же болгары нападут – попытаться отразить их...

– Я надеюсь на тебя, Лев! – сказал император, положив стратигу руку на плечо.

Лев какое-то время смотрел вслед уходившим тагмам, потом сплюнул и пошел к своему шатру. Весь день ромеи приводили себя в порядок: залечивали раны, готовили для копий новые древки взамен сломанных, чистили лошадей, чинили одежду. Лошадей, оружия и имущества осталось мало, только анатолийские воины были в лучшем положении. Лев повелел всем, у кого было запасное оружие, делиться с другими. Посланные Львом разведчики доложили, что болгары ушли в Версиникию и, судя по всему, нападать пока не собираются. Тогда Лев выслал на поле сражения – побоища, как он его в мыслях называл, – два отряда, чтобы по возможности похоронить убитых ромеев и доставить в лагерь оружие, которое не успели забрать болгары. Оружия удалось собрать не так уж мало, и все приободрились. Вечером Лев велел войску собраться и произнес краткую речь; ее основную часть составляли выдержки из книги, которую стратиг возил с собой во все военные походы: это был «Стратегикон» императора Маврикия, где повелевалось карать отсечением головы воинов, покинувших строй во время сражения, казнить каждого десятого из тагмы, обратившейся в бегство «без серьезной и очевидной причины», и наказывать побоями стратиотов, во время сражения бросивших оружие, «как обнаживших самих себя и вооруживших врагов».

– Как видно, – сказал Лев, закрыв книгу, – наше войско подзабыло эти наставления блаженной памяти государя Маврикия. Так вот, – он медленно оглядел всех предстоящих, – пока я остаюсь командующим, не советую никому их забывать. Здесь отсутствуют те, кто побежал первым, однако, согласно последнему прочитанному указанию, следовало бы покарать и очень многих из присутствующих. Но, принимая во внимание нынешнее положение, да будут виновные на этот раз прощены. Мы останемся здесь еще на день, а послезавтра утром снимаемся и правильным строем, – он сделал упор на эти слова, – идем к Городу. Приказываю господам архонтам напомнить воинам правила поведения во время похода. Все нарушители, если о таковых станет известно, будут наказаны без снисхождения.

Наутро стража доложила, что из отставших и бежавших больше никто не приходил, зато ночная разведка донесла, что болгары как будто бы готовятся к новому выступлению – быть может, узнав, что ромеи не ушли далеко, и надеясь сокрушить их окончательно. Разведчики не были до конца уверены, что правильно поняли намерения врагов, но, по крайней мере, надо было быть готовыми к такому обороту дел. Новость стала известна после утреннего смотра, когда Лев с несколькими архонтами находился у себя в шатре.

– Что будем делать, господин Лев? – спросил Феодот Мелиссин. – Дух войска упал, и если враги вздумают нанести удар, нам, боюсь, несдобровать. К тому же, император увел с собой свои полки...

– И хорошо, что увел, – мрачно проговорил Лев. – Будь моя воля, я бы обезглавил его стратиотов на месте! – Он вышел из шатра, раздраженный; остальные последовали за ним. Выйдя, Лев глубоко вздохнул, окинул взглядом лагерь. Стратиоты копошились у палаток. К счастью, небо было затянуто облаками, и солнце не так палило. – Да, – сквозь зубы повторил Лев, – таких «воинов» надо карать без снисхождения...

– Главная вина, по правде говоря, не на них, – сказал Максим, один из двух оставшихся в живых турмархов фемы Македония. – Думаю, если б их упражняли побольше, а не оставляли в праздности, этой беды не случилось бы.

– Ну да, как же, – усмехнулся Лев. – Упражняли! Чтоб учить других, надо самому уметь держать оружие в руках. Но император, видно, знает только одно оружие – которым не вражеские твердыни берут, а баб по ночам!

Вокруг захихикали. Феодот с усмешкой переглянулся с шепелявым Михаилом. Леонид, стратиг Каппадокии, смущенно крикнул.

– Что, разве не так? – взглянул на него Лев. – Пословица гласит, что не подобает лани начальствовать надо львами! А что у нас? Император бросил нас, свое войско, на растерзание врагу, а сам бежал на грудь к жене!

– Хорошо сказано! – воскликнул Мелиссин.

– Сказано справедливо! – громко сказал Михаил.

Окружающие одобрительно закивали; слова Льва стали передаваться дальше, от архонтов к солдатам, и вскоре весь лагерь загудел. Внезапно у одной из палаток стратиотов фемы Анатолик раздался крик:

– Так пусть лань не начальствует над львами! Пусть правит нами Лев! Льва – императором ромеев!

Крик подхватили другие стратиоты, и по всему лагерю послышались возгласы:

– Да живет император Лев! Льва ждет Римское царство!

Все устремились к центру лагеря, где, окруженный архонтами, стоял бледный, как полотно, стратиг Анатолика.

– Глас народа – глас Божий! – взволнованно произнес Феодот.

– Воистину! – прошептал турмарх Максим.

– Но я... Как я могу? – еле выговорил Лев. – Ведь это мятеж!

И тут же у него под ухом раздался шепот его комита шатра:

– Не бойся, друг! – Михаил от возбуждения шепелявил сильнее обычного. – Поотказывайся сначала для вида, а уж мы всё устроим!

Но Лев и не думал притворяться только «для вида».

– Нет, нет! Я не могу! – воскликнул он и почти в ужасе скрылся в шатре.

Архонты переглядывались. Всем в этот момент показалось, что случившееся – прямо-таки подсказка неба, единственный возможный выход. Действительно, трудно было представить более разительную противоположность Михаилу Рангаве, чем Лев, – и по характеру, и по отношению к военному делу, и вообще по жизни.

– Нужно уговорить его во что бы то ни стало! – сказал Мелиссин. – Если за кем сейчас и пойдет войско, то за ним!

– Да, только он и несчастный Аплаки не побежали от болгар, – сказал Леонид. – Позор на наши головы! А я ведь видел, что и у Льва кое-кто повернул коней, но он сумел остановить их!

– А какую он речь произнес вчера! – воскликнул Максим. – Ничего лишнего, всё по делу.

– Да, господин Лев не любит пустых слов!

– Идем, попробуем уговорить его!

Лев сидел в шатре, обхватив руками голову.

– Лев, послушай, – начал Михаил, – это не мятеж, нет! Это провидение! Подумай, разве сможет Рангаве теперь царствовать? Можно представить, как встретят его в столице! А как войско смотрит на тебя, ты только что видел!

– Нет, нет! – повторил Лев, сидя всё в той же позе.

– Господин Лев, – Феодот сел рядом и положил ему руку на плечо, – Михаил говорит правду. Ведь за тебя сейчас не одна какая-нибудь фема и не две, а всё войско! Это редкостное везение... Нет, что я говорю – везение? Тут воистину не случай, а божественный знак! И как знать, когда мы вернемся в Город, не провозгласят ли к тому времени другого императора? Но войско сейчас единогласно призывает на царство тебя и не примет другого так скоро. Отсюда может произойти великий раздор, а в нынешнем положении для государства это равносильно самоубийству. Ты не можешь, не имеешь права отказаться!

– Думаю, Феодот прав, – сказал стратиг Каппадокии. – Такое быстрое и единогласное провозглашение может быть только свидетельством воли Господней!

– Да как же иначе! – сказал Михаил и, наклонившись ко Льву, прошептал ему на ухо: – Вспомни филомилийского монаха!

Лев вздрогнул и, подняв голову, оглядел стоявших перед ним архонтов.

– Но... если даже я приму власть... как мы войдем в Город? Ведь они наверняка будут сопротивляться...

– Вот это уже другой разговор! – Мелиссин одобрительно хлопнул Льва по плечу и встал. – Не беспокойся, господин Лев! Твое дело – принять скипетр, а уж наше – ввести тебя в Царствующий Город!

– Мы всё устроим, всё устроим, – закивал Михаил. – А если ты боишься, что тебя назовут узурпатором, то и этого можно избежать.

– Каким образом? – Теперь, когда вера Михаила в филомилийское пророчество так неожиданно стала получать подтверждение, Лев больше стал прислушиваться к его словам.

– Проще простого! – воскликнул Шепелявый. – Мы разыграем небольшое представление.

Через четверть часа Лев снова вышел из шатра вместе с архонтами. Собравшиеся вокруг стратиоты бурно приветствовали своего главнокомандующего, опять раздались славословия, но Лев поднял руку, и шум быстро утих.

– Я благодарен вам, о воины, за оказанное мне доверие и честь, но я не вправе принимать власть. Ведь я, как и все вы, давал присягу государю Михаилу и не могу нарушить ее. Прошу всех разойтись и сохранять порядок, пока мы не вернемся в Город!

Войско и младшие архонты зашумели.

– Нет, мы не хотим больше служить этому трусу! Он сам освободил нас от присяги, бросив нас тут на растерзание врагу! Не хотим никого на царство, кроме Льва!

Мелиссин подошел ко Льву и, прижав руку к груди, громко воскликнул:

– О, господин Лев, не отказывайся от предложенной тебе чести! Видишь, как всё войско просит на царство тебя одного!

– Мы не хотим более служить Рангаве, господин Лев! – возгласил подошедший с другого бока стратиг Леонид. – Мы просим на царство тебя!

Но Лев упрямо затряс головой:

– Нет, не могу! Не имею права! Я не нарушу данной присяги!

Тогда к нему подскочил Михаил и, как бы в гневе, закричал:

– Ты должен принять царство, Лев! Мы все хотим этого! Если ты не примешь царства, погибнет держава Ромейская! Но да не будет так! – Михаил молниеносно обнажил меч и приставил его к груди стратига. – Иначе не быть тебе в живых, как изменнику, не восхотевшему спасти гибнущее отечество!

Лев отступил на шаг, и тут его крепко схватили под руки Феодот и Леонид. Михаил по-прежнему держал перед ним обнаженный меч. Архонты кричали:

– Не дай, Лев, погибнуть державе Ромейской! Бог не простит тебе этого!

– Хорошо, – сказал Лев с обреченным видом, – идемте обсудим всё еще раз.

Они снова скрылись в шатре стратига. Перед тем, как последовать за ними, Леонид сделал знак турмархам, чтобы те построили стратиотов, как положено.

– Всё прошло отлично! – Михаил, войдя в шатер вслед за Львом, довольно потер руки. – Вот, друг мой, теперь никто не скажет, что ты наглый узурпатор!

Лев ничего не ответил.

– Итак, приступим! – сказал Феодот Мелиссин. – Я сейчас! – Он ненадолго покинул шатер и вернулся с небольшим холщовым мешком, откуда вынул пурпурные сапоги, расшитые жемчугом, и с поклоном поставил их на землю перед Львом. Тот побледнел.

– Откуда они у тебя? – спросил он очень тихо.

– Припас на случай, – так же тихо ответил Мелиссин. – Позволь, государь, я расскажу тебе.

При слове «государь» Лев вздрогнул.

– Да, говори.

Феодот приблизился и зашептал ему на ухо. Тут-то Лев и узнал о причинах столь внезапной симпатии к нему со стороны Мелиссина.



В апреле при дворе стало известно, что начиная с Благовещения некая служанка каждые два или три дня, не то спяну, не то действительно охваченная каким-то духом, выходила на берег моря к Вукелеону и, глядя на Священный дворец, громко взывала:

– Сойди оттуда, Михаил, сойди, удались от чужих!

Это возбудило недобрые разговоры среди придворных, а вскоре весть дошла и до императора. Тот обеспокоился и, поделившись своей печалью с Феодотом, велел ему подстеречь ту служанку, когда она начнет прорицать, подойти и расспросить подробно об имени и роде того, кто должен стать императором вместо Михаила. Мелиссин так и сделал, это случилось одним утром в середине апреля. Девушка, взглянув на Феодота черными глазами, так и горевшими на ее бледном осунувшемся лице, сказала, очень медленно выговаривая каждое слово:

– Когда сегодня ты придешь на Акрополь, господин, подожди там до полудня, и ты увидишь... – Она внезапно умолкла, как бы ушла в себя.

– Что же я увижу там? – спросил Мелиссин, которому невольно стало жутковато. Девушка молчала, закрыв глаза и не шевелясь. Феодот потряс ее за плечо. – Эй, почтеннейшая!

Она устремила ему в лицо отсутствующий взгляд и так же медленно проговорила:

– В полдень придут туда два человека. Того, что будет на муле, зовут Лев, спутника его – Михаил. Первый и сподобится царства. – И, резко повернувшись, девушка пошла прочь, бормоча: – Уйди, уйди, Михаил, сойди, сойди оттуда!

Вряд ли она была пьяна, вином от нее не пахло. Мелиссин постоял в раздумье, поглядел на солнце и, прикинув, далеко ли до полудня, медленным шагом направился к Акрополю. Там, в тени портика, недалеко от солнечных часов, он принялся ждать, рассеянно оглядывая прохожих. Не очень-то поверив словам девушки, он уже представлял, как вместе с императором посмеется над ее баснями. Но в тот самый миг, когда часы показали полдень, на Акрополь действительно въехал высокий армянин на пегом муле, которого вел под уздцы коренастый мужчина, что-то оживленно говоря всаднику и жестикулируя свободной рукой. Их лица показались Феодоту знакомыми, но он не мог вспомнить, где встречал этих людей. Он немедленно подошел к ним и, поклонившись, сказал:

– Господа, приветствую вас! Не могу ли я чем-нибудь помочь? Вы, я вижу, прибыли издалека?

– Да, – ответил всадник, встряхивая копной черных жестких волос, – только вчера из Амория.

– Позвольте представить! – вмешался коренастый, слегка шепелявя, и, встав в картинную позу, возгласил: – Этот муж не кто иной, как господин Лев, стратиг славной фемы Анатолик и великий победитель нечестивого Фефифа и всескверного его воинства!

– И любитель же ты всяких представлений, Михаил! – усмехнулся Лев, слезая с мула. – Э, господин Феодот, а я тебя узнаю! Мы ведь встречались во дворце года полтора назад, забыл?

Они вместе пошли к храму святого Павла. Лев вошел в церковь и усердно помолился. Мелиссин сопровождал его, но от волнения молиться не мог, а Михаил остался на улице сторожить мула. Потом Лев с Михаилом отправились во Влахерны, а Феодот – во дворец. Императору Мелиссин сказал, что допросил девушку, но та плела какой-то пьяный вздор, и все эти ее «пророчества» – чушь, недостойная внимания...

Когда патрикий окончил рассказ и отошел, Лев несколько мгновений стоял, сквозь щель в пологе палатки глядя в небо. Перед ним всплыло давно забытое лицо – худое, желтоватое лицо монаха и темные, чуть навывкате глаза, так странно, странно глянувшие тогда на него, гарцевавшего на вороном коне у покосившегося плетня...

– Что ж, – прошептал стратиг, – значит, судьба! – И, наклонившись, он решительными движениями расшнуровал свои сапоги и отбросил их в сторону.

– Позволь, государь! – подскочивший Михаил склонился перед ним.

Лев сел, и Михаил быстро надел на его ноги пурпурные сапоги. В руках Феодота оказался красный плащ с золотой каймой, расшитый орлами, – тоже «припас»?.. Лев поднялся, Мелиссин и Леонид накинули на него плащ, и Максим застегнул его золотой фибулой.

– Да живет Лев, император ромеев! – воскликнул Мелиссин, и все бывшие в шатре упали ниц.

Лев опять побледнел, в голове у него зашумело. Поднявшиеся патрикии подхватили его под руки.

– Выйди к войску, государь, – сказал Феодот. – Оно ждет тебя!

Лев взял поданное Леонидом копье и шагнул вперед. Михаил и Максим распахнули перед ним полог шатра, и он вышел наружу. Всё войско было построено вокруг, наконечники копий, шлемы и щиты блестели на солнце. При виде Льва раздался общий крик:

– Да живет Лев, император ромеев!

Лев оперся на копье. Головокружение прошло, хотя он по-прежнему был очень бледен. Глядя на тысячи склонившихся перед ним людей, он прошептал:

– Господи! Да будет воля Твоя!

...Марфа сидела в гостинной, уронив руки на колени, неподвижная, застывшая, будто полумертвая; казалось, в ней жили только глаза – обрамленные темными кругами, они словно занимали пол-лица. Ей вспоминалось, как еще недавно в этой комнате было так уютно и радостно: Марфа сидела за прялкой, и льняная нитка бежала в ее тонких пальцах, а Кассия, забравшись в кресло рядом с жаровней, обхватив руками колени и опустив на них подбородок, слушала отца, который сидел за столом и, положив перед собою книгу в кожаном переплете, читал вслух описание Святой Софии, сделанное Прокопием Кесарийским. «И всякий раз, как кто-нибудь входит в этот храм, чтобы молиться, – звучал в комнате низкий спокойный голос, – он сразу понимает, что не человеческим могуществом или искусством, но Божиим соизволением завершено такое дело; его разум, устремляясь к Богу, витает в небесах, полагая, что Он находится недалеко и пребывает особенно там, где Он Сам выбрал...» Потом приходила нянька с маленькой Ефрасией, и начиналась веселая возня...

В сущности, вся их семейная жизнь текла, словно один такой бесконечный уютный вечер, в тепле и тишине, явственной и сквозь льющееся чтение, и сквозь звуки прялки, и сквозь лopotание младшей дочери: мягкая, убаюкивающая тишина, покой, мир... Но вечер оказался не бесконечным. Закончилась книжка, оборвалась нить, и наставшая тишина – иная, звенящая и неожиданно жесткая – оглушила Марфу. Василия больше не было: сорокалетний кандидат был убит в битве с болгарами при Версиникии.

## 19. Шипы

*Темнота впереди – подожди!  
Там – стеною закаты багровые,  
Встречный ветер, косые дожди  
И дороги неровные.  
(Владимир Высоцкий)*

До возвращения турмарха Феофана, посланного вестником в столицу, Лев решил не двигаться из лагеря. Тревога по поводу болгар оказалась ложной: они пока не собирались нападать, но устроили в Версиникии пышное празднество по случаю победы. Феофан возвратился в лагерь днем 27 июня и доложил обстановку в Константинополе: Рангаве отказывается от царства, сторонников у него немного, а патриарх не против нового императора – однако при условии, что Михаила и его семью не тронут и позволят им уйти в монахи, а новый василевс даст обещание ни в чем не колебать устоев Церкви. Вечером в шатре Льва собрался совет.

– Всё складывается как нельзя лучше, государь, – сказал Феофан Мелиссин. – Теперь надо написать патриарху.

Письмо было составлено в тот же вечер. Лев просил у святейшего благословения на царство и молитв, обещая, что сохранит жизнь всему семейству Рангаве и, воцарившись, будет хранить православную веру и церковные установления. Феофан хорошо владел витиевато-высокопарным стилем придворных посланий, и письмо получилось «что надо», как выразился Михаил. Шепелявый вообще был очень весел и возбужден, шутил, подбадривал нового императора и уверял, что в Город они войдут с триумфом. Лев в этом не был уверен, волновался и плохо спал. Прочие архонты старались сохранять спокойный вид, но внутреннее напряжение ощущалось. Простые стратиоты с воодушевлением говорили, что у Рангаве всё равно нет войска, потому что его тагмы это «не войско, а бабы», и кричали, что если им не захотят открыть ворота, они возьмут Город штурмом.

Утром двадцать восьмого числа Феофан с двумя другими архонтами повезли письмо Льва в Константинополь, а на следующий день новый василевс с войском двинулся к столице. Продвигались довольно медленно: не хватало лошадей, и часть поклажи воинам пришлось нести на себе. 1 июля, в пятницу, войско встало лагерем у стен царствующего Города. Все ворота были закрыты. Множество людей смотрело со стен, но не слышалось ни проклятий, ни приветствий: все выжидали, как обернется дело. Поначалу, когда только распространилась весть, что во Фракии провозглашен новый император, константинопольцы пришли в ужас: в придачу к болгарскому разорению, перед ними вставала еще и угроза гражданской войны. Но патриарх, по просьбе императора Михаила, успокоил народ, сказав, что никто не хочет видеть государства, истекающего братской кровью, и что как только будут обговорены определенные условия, нового василевса немедленно впустят в Город.

Сам Михаил не хотел даже выходить к народу и проводил почти всё время у себя в покоях, в молитвах и посте. Императрица неистовствовала:

– Ты всегда был тряпкой, всегда! Другие государи на твоём месте использовали малейшую возможность, чтобы сохранить царство, а ты готов собственными руками открыть ворота этому мерзавцу! Да ведь ты еще и ноги ему будешь целовать! Ничтожество! Зачем только я вышла за тебя?!

Михаил слушал жену с олимпийским спокойствием. В прежние годы ее претензии немало его утомляли, но он не любил препираться и предпочитал уступать ее неумной энергии. Однако сейчас, сделав самый важный за свою жизнь выбор, он внезапно обрел ту твер-

дость и непреклонность, которых ему так не хватало раньше. Он даже – неслыханное дело! – осмелился язвить в адрес супруги:

– А что, дорогая, ты вышла за меня ввиду того, что я когда-нибудь буду повелевать Империей? Странно. Мне так долго казалось, что ты искала такого мужа, чтобы повелевать самой. Тебе это неплохо удавалось целых двадцать лет. А теперь пора тебе вкусить и иной жизни – в самоотвержении и послушании.

– Негодяй!

– Вот так-так. Я негодяй? Да, я стал негоден к тому, чтобы помыкать мною, это правда. В этом смысле я – негодяй. Но утешься: я и сам уже никем не смогу повелевать, мы в расчете, дорогая!

– Как будто ты раньше мог повелевать! Всегда тобой вертели другие!

– Ты, например.

– Если б только я! Этот твой Феоктист, чтоб его вороны склевали! И эти монахи...

– Да, и они. Не всё же одной тебе должно достаться. Надо и с другими делиться, при таком-то богатстве – шутка ли, владеть целым императором!

– Урод!

– Когда-то ты находила меня красивым... Но я старею, конечно.

– У! – Прокопия стиснула кулаки.

– Дорогая, – сказал Михаил, всё с тем же спокойствием и ясностью во взгляде, которые странным образом обезоруживали императрицу, – если б ты могла видеть себя со стороны, ты должна была бы понять, что случившееся было необходимо – прежде всего для тебя... И для меня, конечно, тоже. Святой Давид говорит: «Благо мне, что Ты смирил меня, Господи!» Пришла пора и нам смириться. Это я совершенно серьезно. Возьми себя в руки. Пройдет время, и ты поймешь, что так было нужно. А сейчас просто возьми себя в руки.

Прокопия закусила губу, помолчала и опять взвилась:

– Нет! Нет, я не могу! Отдать корону Барке! Дочери этого негодяя Арсавира! Пять лет назад он хвалился, что костей не оставит от нашего рода, и вот – так оно и выходит! И по твоей милости, болван! Что за ужас! Что за позор! Позор!!

Михаил встал, подошел к ней, взял за плечи и встряхнул:

– Прекратишь ты или нет? Ты совсем обезумела! Будет Феодосия носить корону или не будет и кто вообще будет ее носить, нас уже не касается, понимаешь ты это или нет? Надо думать о будущей жизни. О будущей – не той, что начнется через несколько дней, когда Лев войдет в Город, а о той, которая будет после этой, временной. Ты о ней думала хоть когда-нибудь, а? Так подумай, пока не поздно! – Он слегка оттолкнул от себя жену, повернулся и вышел из комнаты. Прокопия постояла, глядя ему вслед невидящим взором, а потом упала в кресло и зарыдала.

Между тем патриарх отправил нескольких епископов в лагерь ко Льву со свитком, который новому императору предлагалось подписать. Текст этот был зачитан на совете архонтов в шатре Льва. Помимо исповедания веры, император должен был не просто дать обещание не отступать от православия, но поклясться вообще никак не затрагивать церковные установления и «не потрясать прекрасно установленные в Церкви святыми отцами священные догматы», – при этих условиях Льва обещали впустить в Город и короновать.

– Святейший боится, как бы я не привнес новшества в нашу святую веру, а сам первый новшествует, – съязвил Лев. – Не припомню, чтобы прежние государи приносили подобные клятвы в качестве условия венчания на царство.

– Никто не приносил, – подтвердил Мелиссин, – кроме Михаила Рангаве. Эта та самая присяга, которую патриарх составил к его коронации.

– И он поклялся?

– Да, весьма охотно.

– Но это не привлекло на него благоволения Божия, как мы видим, – усмехнулся Лев. – Ну, а я-то не Рангаве. Против веры я ничего не имею, разумеется, но и ставить себе условия тоже не позволю.

От Феофана и его спутников, отвозивших его письмо патриарху, Лев уже знал, что симпатии константинопольцев и Синклита склоняются на его сторону и это придавало ему решительности. К тому же он менее всего желал хоть в чем-то подражать Михаилу и не собирался «быть тряпкой и ублажать черноризцев».

– Ставить условия Рангаве патриарх, может, и имел некоторое право, – сказал комит шатра Александр. – Ведь святейший сам дал добро на переворот против Ставракия, я знаю это из первых рук – от Стефана, доместика схол. Но сейчас совсем другое положение.

– Вот именно, – кивнул Михаил. – Сейчас налицо Божественная воля, и не патриарху противиться ей!

Ответ Льва посланцам патриарха был таков: довольно и тех обещаний, которые он уже изложил в письме к святейшему; более никаких присяг до коронации он приносить не намерен, ибо «Богом цари царствуют», а Бог уже явил Свою волю через поражение одного императора и всенародное провозглашение другого.

– Ведь и в столице, как нам известно, народ держится того же мнения, – добавил Лев, и епископы не нашлись, что ему возразить.

– А если они не откроют нам ворота? – спросил стратиг Леонид, глядя на удалявшихся патриарших послов.

– Можно подумать, что открытие ворот зависит от патриарха! – пожал плечами Феодот Мелиссин.

Ворота, однако, оставались закрытыми еще несколько дней, пока, наконец, из Фракии не пришла весть, что болгарское войско, получив значительное подкрепление в виде свежих отрядов, готовится идти на Константинополь. Когда император узнал об этом, он немедленно собрал совет, куда пришли патриарх с несколькими епископами, синклитики и начальники дворцовой и городской стражи.

– Завтра утром, – сказал Михаил, – вы откроете ворота и впустите Льва с войском в Город. Вы, господа, – обратился он к синклитикам, – встретите его подобающими славословиями. Всё дальнейшее, – он повернулся к патриарху, – пусть совершится своим чином и порядком.

– Государь... – начал было патриарх, но император жестом остановил его.

– Я знаю, что ты хочешь сказать. Сейчас уже не время. Через несколько дней болгары будут у стен Города. Довольно уже переговоров, посланий... В конце концов, господин Лев дал тебе обещание, а теперь да будет воля Божия. Я пока еще император, не так ли? – Патриарх склонил голову. – А раз так, мои приказы должны быть исполнены. Завтра в полдень вы откроете ворота, а пока сообщите обо всем Льву и войску. Надеюсь, новый император окажется способнее меня к управлению вами и сподобится милости Божией. Простите же меня и не поминайте лихом!

С раннего утра 10 июля в лагере готовились ко входу в Город. К полудню палатки были свернуты, войска выстроены. Из Константинополя доставили лошадей и доспехи, так что все стратиоты и архонты были при полном параде.

Льву казалось, что всё это происходит с кем-то другим, а он как будто наблюдает со стороны: как открылись Золотые ворота и оттуда вышли императорские тагмы и выстроились, чтобы сопровождать нового василевса во дворец; как войско вновь, уже официально, провозгласило его законным императором; как он в сопровождении тагм и остальных отрядов въехал в Город на великолепном белом коне, приведенном из дворцовых конюшен; как со стен раздались крики: «Да живет Лев, император ромеев! Льву жизнь, услыши Боже! Льва ждет римское царство! Христианское царство Бог да хранит!»; как синклитики, облаченные в парадные

скарамангии и хламида, встретили его у Студийского монастыря и запели по обычаю славословия; как, поклонившись в Студийской базилике мощам Иоанна Предтечи, он проследовал по Городу в сопровождении толпы народа, приветствовавших его восторженными криками, и вошел в Священный дворец. Время до ночи пролетело быстро – в приемах, славословиях, знакомстве с придворными чиновниками и осмотре дворцовых помещений. К вечеру жена и дети Льва прибыли на новое место жительства. Феодосия, с тех пор как узнала, что войско во Фракии провозгласило ее мужа императором, пребывала в постоянном страхе, почти не могла спать, и только теперь, когда она очутилась во дворце и все вокруг приветствовали ее как будущую августу, ужас отпустил ее. Вечером Лев зашел проведать супругу. Она кинулась ему на грудь и заплакала:

– Боже мой! Лев, я так боялась!

– Ну, ну, – ласково сказал Лев, обнимая ее. – Как видишь, всё хорошо, слава Богу!

Бояться больше нечего!

Она подняла на него глаза:

– Неужели всё это действительно происходит с нами?..

Коронация нового императора была назначена на следующее утро, перед литургией. После утрени, отслуженной в дворцовом храме Святого Стефана, Лев, одетый в скарамангий и легкий пурпурный плащ, с торжественной процессией проследовал в Великую церковь. Войдя в храм через южные двери, процессия остановилась. Здесь Льва торжественно переоблачили в шелковый дивитисий и расшитый золотом цицакий, после чего у центральных дверей в нарфике состоялась встреча императора с патриархом. Никифор был спокоен, хотя Льву показалось, что он несколько бледен и, быть может, устал. Взявшись за руки, они прошли по храму до царских врат, где после молитвы Лев принял от препозита зажженную свечу, а затем вместе с патриархом поднялся на амвон. Там на переносном престоле уже лежали стемма, хламида и фибула. Патриарх подал возглас, и началась литания.

– Паки и паки миром Господу помолимся! – высоким сильным голосом выводил ектению молодой архидиакон.

– Господи, помилуй! – привычно отзывались певчие.

Лев с высоты амвона оглядел Святую Софию. Море народа, все нарядно одеты. Синклитики, венеты и прасины выстроились полукругом справа от амвона.

– Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью!

Патриарх чуть наклонился к императору и шепнул:

– После следующего прошения, государь, приклони голову.

Лев кивнул, и сердце – уже в который раз за эти дни – птицей затрепетало в груди.

– Пресвятую, Пречистую, Препоблагословенную Владычицу нашу Богородицу и Приснодеву Марию со всеми святыми помянувши, сами себя и друг друга и всю жизнь нашу Христу Богу предадим!

«Всё!» – сказалось у Льва внутри, сердце стукнуло и провалилось куда-то. Наступало ожидаемое и неотвратимое – теперь уже точно и неизбежно. Он наклонил голову и, почти не дыша, слушал молитву патриарха:

– Господи Боже наш, Царь царствующих и Господи господствующих, чрез Самуила пророка избравший раба Своего Давида и помазавший того в царя над людьми Твоими Израиля, Сам и ныне услыши моления нас, недостойных, и призри от святого жилища Твоего, и верного раба Твоего Льва, его же благоволил воздвигнуть царем в народе Твоем святом, его же Ты стяжал честною кровию Единородного Сына Твоего, помазать сподобь елеем радования, облакая того силою свыше. Положи на главе его венец от камени честна, даруй ему долготу дней, подай же в десницу его скипетр спасения. Посади его на престоле правды, огради его всеоружием Святого Твоего Духа, утверди его мышцу, покори же ему все варварские народы, всади в сердце его страх Твой, к послушным же ему милость. Соблуди его в непорочной вере,

покажи его строга хранителя Святой Твоей Соборной Церкви догматов. Да судит людям Твоим в правде и нищим Твоим в суде, да спасет сынов убогих, и да наследник явится небесного Твоего Царствия. Ибо Твоя есть держава, и Твое есть царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков!

– Аминь! – пропел хор. Патриарх взял с престола тяжелую, расшитую золотом пурпурную хламиду и подал ее двум веститорам, а те накинули ее на Льва и застегнули на правом плече поданной им патриархом золотой фибулой.

– Мир всем, – возгласил патриарх, благословляя императора и предстоящих.

– И духови твоему, – ответили за всех певчие.

– Господу помо-олимся! – торжественно протянул архидиакон. Патриарх, обратившись к престолу, на котором осталась только стемма, начал читать другую молитву:

– Тебе, единому Царю веков, земное царство от Тебе приемлющий подклонил вью, и молимся Тебе, Владыка всех: сохрани его под кровом Твоим, царствие его утверди и творить волю Твою во всем того сподобь, воссияй во днях его правду и множество мира, да в тишине его тихое и безмолвное житие проживем во всяком благочестии и чистоте. Ибо Ты – Царь мира и Спас душ наших, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков!

Когда певчие пропели «Аминь», патриарх взял с престола царский венец и возложил его на голову Льва со словами:

– Во имя Отца и Сына и Святого Духа!

В тот миг, когда прохладный золотой обруч коснулся его головы, Лев ощутил, как внезапно дрогнули руки патриарха и быстро опустились... слишком быстро... или ему почудилось? И тут он почти оглох от крика тысяч людей.

– Свят, Свят, Свят! – кричал весь собравшийся в храме народ. – Слава в вышних и мир на земле!

Лев выпрямился и взглянул в лицо Никифору. Губы патриарха чуть дрогнули, и император понял, что тот чем-то взволнован. Но в следующий миг патриарх уже справился с собой и спокойно и торжественно произнес:

– Слава в вышних Богу, и на земле мир!

Певчие повторили то же самое, и то же трижды прокричал народ.

– Се день Господень великий! – пели певчие. – День сей день радости и славы мира, когда венец царствия возложен достойно на главу твою!

Народ трижды повторял за певчими каждое славословие.

– Слава Богу, Господу всякой твари! Слава Богу, венчавшему главу твою!

Лев и слушал, и не слушал, у него слегка кружилась голова.

– Слава Богу, соделавшему тебя императором! Слава Богу, так тебя прославльшему! Да хранит Он тебя в пурпуре на многая лета!

Дальше всё было впервые: императорская молельня рядом с алтарем, каждение, ношение свечи на Великом входе и, наконец, причастие в алтаре... Иногда Льву хотелось потрогать самого себя за руку: «Может быть, я сплю?..» Потом были поздравления, подношения, праздничный обед... Коронация Феодосии августой была назначена на следующий день. К вечеру Лев так устал от суеты и волнения, что еле передвигал ноги. Зато детям не сиделось на месте: Константин, Василий и Григорий носились по дворцу, совали нос везде, и понять, где они будут через четверть часа, было совершенно невозможно. Младшего сына Феодосия оставила на попечение кувикуларий, а сама готовилась к завтрашней коронации. В этот вечер императорское семейство уснуло далеко за полночь.

...Патриарх вернулся к себе в покои довольно поздно, молча просмотрел принесенные письма, после вечернего правила благословил келейника, пожелав ему доброй ночи, и затво-

рился у себя в келье. Но, засыпая, Николай сквозь дрему слышал, как святейший всё ходит и ходит по келье туда-сюда, время от времени останавливается – молится? размышляет? – и опять ходит и ходит... Утром Николай принес патриарху воды умыться и несмело спросил:

– Ты плохо спал, владыка?

– Вообще не спал.

– Что-то случилось?

Никифор помолчал, опустив голову, взглянул на келейника и сказал:

– Вчера, когда я возложил корону на голову императора, я ощутил боль, как от уколов. Словно стемма была усеяна не драгоценными камнями, а невидимыми шипами.

## 20. Болгарское нашествие

*Кто сказал: «Всё сгорело дотла,  
Больше в землю не бросите семя!»?  
Кто сказал, что земля умерла?  
Нет, она затаилась на время.  
(Владимир Высоцкий)*

Правление нового императора началось с подготовки к вражеской осаде. Лев приказал днем и ночью охранять городские стены, причем лично проверял, как бодрствует стража и хорошо ли укреплены ворота, ободрял войско и народ, призывал не падать духом, но надеяться на Бога и призывать Его на помощь. Во всех храмах столицы служились литии с сугубыми прошениями о победе над варварами и о мире.

Константинопольцы, видя, что император везде сам присутствует и заботится об общем благе, проникались к нему доверием и благодарили Бога, надеясь на скорое посрамление врагов. Уже никто не вспоминал о Михаиле Рангаве, который, вместе с женой и детьми постригшись в монахи в самый день провозглашения Льва императором, удалился в обитель на острове Плати, с сыновьями Феофилактом и Никитой, оскопленными перед отправкой в монастырь, чтобы обезопасить новую династию от каких-либо заговоров со стороны прежней. Лев повелел бывшему императору «жить тихо» и положил выдавать ему с семейством ежегодное денежное пособие. Прокопия вместе с дочерьми была отправлена в построенный некогда в Городе на ее же средства монастырь святого великомученика Прокопия. Постригшись, бывшая императрица всё время молчала, хмуро глядя себе под ноги, и даже не подняла глаз на нового императора, хотя и поклонилась ему вместе с мужем и детьми, когда тот вечером в день провозглашения пришел в Фарский храм Богоматери, где после пострига укрылось семейство Рангаве. Один Бог и, может быть, муж знали, чего стоил Прокопии этот поклон.

Патриарх на другой день после коронации приступил ко Льву с просьбой всё же подписать обещание хранить веру непоколеблемой. К удивлению Никифора, император тотчас с радостью согласился и действительно подписал составленное патриархом исповедание. Лев был искренен: молитвы, прочитанные над ним при венчании на царство, так впечатлили его, что он действительно всей душой желал быть «строгим хранителем святой соборной Церкви догматов» и получить помощь Божию в предстоящей борьбе с язычниками. Патриарх несколько успокоился, хотя тревога всё-таки затаилась глубоко внутри...

Через шесть дней после коронации Льва болгарское войско под предводительством Крума подошло к Городу, и хан устроил перед стенами смотр своих военных сил, а потом на равнине у Золотых ворот совершил огромное жертвоприношение, зажав не только тельцов и овец, но и людей из числа пленных фракийцев, к ужасу наблюдавших за ним со стен горожан. Потом последовала странная церемония: Крум вышел на берег моря, омочил ноги и умылся, а затем окропил своих воинов, воздавших ему громкие славословия, после чего предводитель болгар прошел посреди своих жен и наложниц, которые, пышно разодетые, выстроились с обеих сторон его пути, кланялись хану и прославляли его. Ромеи смотрели на всё это со стен Города, но никто не решился ни помешать болгарам, ни пустить стрелу в Крума.

– Что делает, а?! – прошептал Феодот Мелиссин, стоя рядом с императором на башне.

– Ничего, еще запоет по-другому, проклятый варвар! – сквозь зубы процедил Лев.

Действительно, Крум, обзрев стены Константинополя, был сильно впечатлен их высотой, толщиной и крепостью и, поняв, что взять Город штурмом не сможет, слегка пограбил окрестности и обратился к переговорам, требуя выдачи золота, драгоценных шелковых одежд

и некоторого числа отборных девиц. Император собрал совет, чтобы обсудить вражеские предложения.

– Никаких девиц этот негодяй не получит! – сказал он сразу же. – И вообще, неплохо бы вместо выкупа проучить его, а то он слишком зазнаётся.

– Государь, у меня есть одна мысль, – подал голос Иоанн Эксавулий. Лев взглянул на него чуть насмешливо и спросил:

– Не приведет к добру мое начальство над войском?

– Помилуй, августейший! – Побледневший Иоанн упал к ногам василевса.

– Помилую, но при условии, – император улыбнулся, – если будешь служить мне не только из страха, но и по совести. А давать советы, я знаю, ты премудр. Так что скажешь?

Эксавулий поднялся, лицо его просветлело.

– Можно вызвать Крума как бы для переговоров, и на условленном месте устроить засаду.

Наутро хану было отправлено письмо, где император приглашал его выйти у Влахерн к берегу моря безоружным, с несколькими своими людьми, обещая прислать туда послов, также без оружия, чтобы обговорить условия мира и «исполнить всё по желанию» Крума. Рядом с условленным местом была некая усадьба, где накануне ночью спрятались вооруженные воины. На следующий день Крум прибыл на берег Золотого Рога с тремя спутниками. Императорское посольство во главе с Иоанном Эксавулием, приплыло из города на ладье. Когда ромейские послы вышли на сушу, Крум сошел с коня, поручив одному из сопровождавших держать его наготове, и уселся на землю. Когда начались переговоры, Иоанн, сказав вводное слово, предложил говорить логофету, а сам через короткое время, как бы невзначай, обнажил голову; это был условный знак для сидевших в засаде. Но Крум, оскорбленный жестом Эксавулия, вскочил на коня и поскакал к своему лагерю. Вослед хану понеслись стрелы, одна засела в его плече, заставив покачнуться в седле. Константинопольцы, смотревшие со стен, подняли крик:

– Крест победил!

Двоих спутников Крума захватили в плен императорские послы, а третий был убит ими на месте. Воины из засады преследовали хана, стреляя из луков, однако не смогли ни убить, ни догнать. Логофет выругался:

– Вот дьявол!

– По грехам нашим! – простонал комит схол.

– Иди к воронам со своими грехами! – огрызнулся логофет.

Эксавулий только вздохнул, но ничего не сказал.

Взбешенный Крум на другой же день стал беспощадно опустошать окрестности Константинополя и берег Босфора, разграбил предместье святого Маманта и вывез из тамошнего дворца драгоценные мраморы и статуи, огнем и мечом прошел по побережью Пропонтиды и, наконец, взял Адрианополь, уведя в Болгарию множество пленных. Лев не сразу выступил против болгар: надо было привести в порядок войска и укрепить свое положение в Городе. Старшего сына Лев короновал соправителем, переименовав из Симватия в Константина, по совету Феодота Мелиссина: «Так будет благозвучней и благородней». В начале октября император выступил против болгар, разбил вражеские силы, отбил Месемврию и немало варваров захватил в плен. После этого военные действия были приостановлены: приближалась зима, и ромейские послы начали переговоры с болгарами по поводу обмена пленными.

К Рождеству Михаил перевез из Анатолика в столицу свое семейство – теперь уже навсегда: особняк в Амории он решил продать. На третий день Святки Лев пригласил старых друзей на ужин в узком кругу. Впервые попав в Священный дворец, Феофил смотрел вокруг во все глаза. Великолепные мозаики, разноцветные мраморы, золото, шелковые занавеси, парадные доспехи стражников, мозаичные полы – всё сверкало невиданной красотой.

– Пойдем, пойдем, милый, – торопила сына Фекла, – не останавливайся! Даст Бог, еще успеем всё это рассмотреть...

Императрица уже ждала их в небольшой комнате, смежной со столовой; император задерживался в Консistorии, его детей тоже еще не было. Кроме царственной четы и трех их старших сыновей, к обеду ожидалось только препозит священной спальни, логофет дрома, друнгарий виглы, протоасикрит и несколько кувикуларий. Все они уже собрались и ждали у парадного входа в столовую, когда государь пригласит их войти, но Михаила с семьей было велено привести с другой стороны: Феодосия хотела немного поговорить со старыми друзьями без церемоний и свидетелей. Оглядев Феофила, которого она не видела уже довольно давно, августа сказала:

– У вас очень красивый сын!

– Ты находишь, августейшая? – спросил Михаил, окинув мальчика критическим взглядом. Он как-то никогда не задумывался о внешности сына. Фекла улыбнулась с тайной гордостью:

– Он еще и умный у нас! Учителя прямо удивляются!

Феофил с отсутствующим видом рассматривал мозаики на стене, как будто разговор шел вовсе не о нем.

– Ты любишь учиться, Феофил? – спросила императрица. Мальчик взглянул на нее серьезно.

– Люблю. Я хочу изучить все науки!

– О! – улыбнулась Феодосия. – Похвально!

– Он очень любит читать, – сказала Фекла. – Причем читает какую-нибудь книгу и целыми кусками рассказывает оттуда наизусть. Я поражаюсь его памяти!

– Да, видно, у него прекрасные способности, – императрица внимательно поглядела на Феофила. – Вот что я думаю... Лев тут пригласил учителя для наших мальчиков, иеромонаха Иоанна. Он великолепно образован – говорят, в столице нет ему равных, особенно в философии и риторике. Феодот Мелиссин посоветовал нам взять его учителем, и Лев очень им доволен. Феофил мог бы учиться у него тоже, вместе с Симва... с Константином и Василием.

– О, это была бы для нас величайшая честь, государыня! – сказал Михаил.

– Ах! – Фекла подошла к императрице и поцеловала ей руку. – Благодарю тебя, Феодосия!

Мы не смели и мечтать о таком!

– Ты хочешь учиться здесь, Феофил? – улыбаясь, спросила императрица.

– Здесь? Во дворце? – Мальчик во все глаза смотрел на нее.

– Ну, конечно.

– Хочу!



Тут дверь открылась, и в комнату вошел император, а за ним трое сыновей. Все радостно, хотя немного церемонно приветствовали друг друга. Император потрепал Феофила по голове:

– Ну, здравствуй, крестник!

Когда все, в том числе и приглашенные придворные уже прошли в столовую и сели за стол, императрица, переглянувшись с Феклой, сказала мужу:

– Лев, пока тебя не было, мы говорили о Феофиле. Он очень способный ребенок и хочет учиться. Я подумала: хорошо бы, если бы он учился с нашими мальчиками. Как ты на это смотришь?

– Прекрасная мысль! – Император улыбнулся. – Феофил, ты хочешь учиться вместе с Константином и Василием?

– Очень хочу, крестный!

– Что ж, так тому и быть. Выпьем за молодое поколение!

– Ура! – воскликнул Василий. – Мы будем учиться вместе!

– Да, – сказал Лев. – Во сколько у вас завтра занятия? В полдень?

– Ага, – кивнул Константин.

– Хорошо. Значит, Феофил, тебе надо быть здесь в полдень, познакомишься с твоим учителем, сразу и учиться начнешь.

– Государь! – Михаил встал, благодарно прижав руку к груди.

– Без церемоний, Бога ради! – воскликнул Лев. – Ведь мы друзья!

В этот миг Фекла, поймав завистливый взгляд логофета, исподтишка брошенный на Михаила, впервые подумала, что дружба с императором имеет не только хорошие стороны... А Феофил не замечал ничего и даже почти никого вокруг: он восторженно смотрел на василевса. Учиться во дворце! Как ему повезло! Как здорово, что крестный стал императором!

– Ты ешь, ешь, – шепнула ему мать. – Не надо так глазеть на государя. – Она улыбнулась. – Еще успеешь наглядеться.

Феофил почти машинально принялся за еду. Он уже считал часы до завтрашнего полудня.

...Марфа приехала после осмотра своих поместий почти без сил. Ее утомила не столько поездка, сколько то, что она увидела. Фракия была опустошена: почти везде разорение, плач и вопли из-за убитых или уведенных в плен родственников. При виде чужого горя Марфа почти забыла о собственном. Она старалась, как могла, помочь и утешить, раздавала земледельцам деньги, пожертвовала большую сумму на восстановление двух разграбленных храмов. Служивший в одном из них отец Нил поразил ее своим видом: бывший веселый и разговорчивый священник поседел и словно высох. Болгары изнасиловали и убили его жену, а сына и дочь, еще девушку, увели в плен, и теперь он подумывал о принятии пострига.

– Вот весна придет – уйду в Вифинию, на Олимп. Там святой старец живет, Иоанникий, ты, может, слышала, госпожа?

– Да, о нем много говорят...

– Вот. Пойду, спрошу, что мне делать, куда податься... Детей-то теперь... увижу ли? Да и когда? Скорее всего, только на том свете...

– Может, наши еще выкупят пленных?

– Может... Но всех не выкупишь. Господи! Что было тут! Не рассказать, не сказать... Ужас, кара Господня, видно, грехи наши до неба взошли... Пойду к святому старцу! Если скажет, что надо тут сидеть, ждать, что дети вернуться, буду ждать, а нет – там и останусь.

– А почему ты именно на Олимп хочешь идти, отче? Может, лучше, например, в Студийскую обитель?

– Думал я об этом, думал... Но видишь ли, госпожа... Времена беспокойные грядут, говорят, не пришлось бы «бежать в горы». Так я и думаю, что лучше сразу туда и идти, где потише будет.

– «Бежать в горы»? Кто это говорит такое?

– Приезжал ко мне знакомый дьякон, и рассказал, что святейший, когда венчал нового государя на царство, ощутил как бы шипы, вместо царского венца – терновый. И святейший, говорит, нехорошее предчувствует, не то смуту церковную, не то гонения...

– Ох!.. Но может, еще смилуется Господь, не попустит? В Городе вроде спокойнее стало, против икон не слышно, чтобы возмущались... Да ведь и император, говорят, обещание подписал, что не будет догматы колебать!

– Подписал, да... Ну, Бог ведает. Может, еще и обойдется, устроится... Вот у нас тут, как варвары прошли, так я думал – всё, конец настал, плач и запустение, пепелище и поминки... Ан, нет, гляжу – народ копошится, отстраивается, поля опять распахивают... Урожай, что не пожжено, собрали... Тут у одного селянина мало того, что весь сад разорили, погреба разграбили и скот угнали, так еще и дочь одну в плен увели, а другую... страшно и сказать... Принесли в жертву! Как барана какого, кровопийцы нехристи!

– Боже! – Марфа смотрела на отца Нила с ужасом. – Да, говорили, что они, когда Город окружили, там людей в жертвы приносили вместе со скотом... Господи!..

– Да, так оно и было... Взяли, еще когда туда шли. Один малец пленный потом сбежал от них, пришел сюда, голодный, драный... ну, и рассказал... Вот ты плачешь, госпожа, а Панкратий... Панкратием его звать, отца-то... знаешь, что сказал? Поплакал, конечно, а потом и говорит: «Вот, поделом нам, маловерам, мы ее в монастырь-то не хотели отдать, Богу в жертву, так ее теперь эта нечисть своим бесам в жертву принесла...» Ну, я ему сказал, что всё-таки она жертва Богу вышла, мученица, если христианкой умерла. А он спрашивает: «Так это она молиться за нас будет Богу там?» Я говорю: «Будет». Тут он и вовсе обрадовался: «Чего тогда и плакать!» – говорит. А тут на днях встретил я его и спрашиваю, как житье-бытье. А он говорит: «Да что – житье? Виноград вот сажать надо!»

Через два дня Марфа возвращалась в Константинополь. Когда повозка уже выехала на главную дорогу, Марфа обернулась, посмотрела на особняк, возвышавшийся на холме, – к счастью болгары не тронули его: управляющий умолил их обойти имение стороной, выдав им взамен лучших лошадей из конюшни, много пшеницы и вина, – окинула взглядом окрестность, белевшие там и сям домики земледельцев, перекрестилась и прошептала:

– Да, надо жить дальше... Сажать виноград!

## 21. Грамматик

*Чтение книг – полезная вещь,  
Но опасная, как динамит.  
(Виктор Цой)*

Прошло два месяца посла начала учебы Феофила в Священном дворце. Мальчик был в восторге от учителя: Иоанн, казалось, знал всё, мог ответить на любой вопрос, но при этом не подавлял учеников своим превосходством. Часто Феофил оставался после занятий задать вопросы, не имевшие отношения к текущим урокам, или просто поговорить с Грамматиком. Очень скоро Иоанн уже знал почти всё про семью своего нового воспитанника, про отношения родителей, про то, что Михаил не любитель «излишней» образованности, а Фекла очень хочет, чтобы сын был ученым... Феофил и не замечал, как рассказывал Иоанну то одно, то другое, хотя по натуре был вовсе не болтлив. Настал день, когда Грамматик узнал и о филомилийском отшельнике.

– Отец часто вспоминал одно пророчество, а мама всегда сердилась и говорила, что ей так надоели эти разговоры... А теперь, выходит, пророчество сбывается!

– И что оно гласило? – спросил Иоанн.

– Один монах когда-то, много лет назад, предрек моим крестному и отцу, что они станут императорами. Один за другим, представляешь?

– Вот как! То есть пророчество уже наполовину сбылось.

– Да! – Феофил испуганно зажал рукой рот. – Ой! Ведь мама мне запретила рассказывать об этом... о том, что и моему отцу тот монах предрек царство...

– Не бойся, я никому не скажу. Даю слово!

Вечером Иоанн закрылся в своей «библиотечной» келье, где хранил книги, зажег светильники, открыл стоявший в углу шкаф, достал оттуда несколько рукописей, разложил их на большом столе и долго перелистывал, а потом еще дольше сидел в задумчивости, облокотившись на стол и подперев рукой подбородок. Наконец, он поднялся и пробормотал, складывая пергаменты обратно в шкаф и запирая его на ключ:

– Что ж... «Пророчества не унижайте!» Я ждал такого знака. Теперь можно начинать!

На другой день Грамматик отправился навестить своего брата Арсавира. Тот был старше Иоанна на два года и жил в их родовом имении на берегу Босфора. Оно походило на дворец в миниатюре: здесь были и большие здания с портиками, и сады с прудами, и баня, и хранилища для воды, а кроме того – об этом знали многие, но мало кто видел своими глазами – под особняком были вырыты подземные помещения с особенной вентиляционной системой, так что даже в комнатах, находившихся на два этажа вглубь, воздух был свежий и приятный; там хранились пифосы с вином, оливковым маслом и зерном, а также разные соленья. Однако при жизни отца брата жили очень скромно: Панкрат Морохорзамий был скуп, слуг держал всего несколько человек, пища к столу подавалась самая простая, гостей в доме почти не бывало, и атмосфера была не из веселых. Глава семьи чаще всего либо сидел в своем кабинете, куда всем остальным домочадцам входить запрещалось, и изучал астрологические трактаты и астрономические таблицы, либо пропадал в Городе: человек ученый и сведущий в математике и астрономии, он много лет служил придворным астрологом у императоров Исаврийского дома. Пока была жива супруга Панкрата, ее родные иногда заходили по праздникам, но после ее смерти хозяин дома сделался совсем нелюдим и хмур, родственников принимать перестал, а свояченицу выгнал с руганью, после того как она, зайдя в гости, стала жалеть племянников – «бедных сироток», оставшихся «без матери, без ухода». Впрочем, денег на учебу сыновей Панкрат не жалел, однако у него были некоторые особенные понятия – например, он считал, что маль-

чикам нельзя надеяться только на отцовские сбережения и имущество, но они должны уметь зарабатывать себе на жизнь собственными руками и для этого, помимо грамматики и прочих наук, непременно выучиться какому-нибудь ремеслу. Старшего сына он решил обучить каллиграфии, а младшего – иконописи. Арсавир, несмотря на ежедневные занятия, спустя полгода продолжал писать как кура лапой, но всё-таки послушно «осваивал ремесло». Иоанн, напротив, наотрез отказался учиться иконописи. Отец бил его и запирали в подземных помещениях, оставляя по два-три дня на хлебе и воде, но мальчик не сдавался: смотрел угрюмо, молча портил доски, предназначенные для уроков художества, и смешивал краски в серо-бурую массу. Наконец, после очередной порции увесистых подзатыльников, на вопрос отца, почему он не хочет заниматься, Иоанн ответил:

– Я хочу заниматься, но не этим. А если ты так хочешь чтобы я умел зарабатывать себе на жизнь этим, то дай мне заработать уже сейчас. Плати мне каждый месяц по золотому, тогда буду учиться, а нет – лучше в подземелье умру!

Панкрат ошалел от такой наглости. Где это видано, чтобы ученику платили за то, чтобы он учился?! Да еще по номисме в месяц!.. Тем не менее через некоторое время отец сдался и после этого даже как-то зауважал младшего сына. Мальчик, однако, смотрел холодно, почти всегда молчал, в конце месяца получал свою номисму и через год уже превосходно рисовал. Учитель говорил, что у него замечательные способности, и Панкрат мечтал о том, как пожертвует работы сына в какой-нибудь монастырь и тем обеспечит себе вечное поминовение. Но вышло иначе: закончив первую в своей жизни настоящую большую икону, Иоанн вместе с ней и со скопленными за время учебы золотыми исчез из дома, и Панкрат больше никогда не видел младшего сына. В имении с видом на Босфор Иоанн появился лишь через полгода после смерти отца. Как он провел вне дома семь лет, никто не знал, даже Арсавир, – Иоанн предпочитал не распространяться об этом. Старший брат лишь узнал, что Иоанн действительно употребил в дело освоенное ремесло, на заработанные деньги ходил учиться астрономии, геометрии и философии, а потом бросил иконопись и занялся преподаванием.

– А отец скучал по тебе, – сказал Арсавир, – так хотел повидать перед смертью...

По отцовскому завещанию Иоанн получил право на половину имения и доходов с него, а кроме того, кругленькую сумму в золотых и серебряных монетах. Брат рассказал, что отец, умирая, плакал и каялся, что дурно обращался с «младшеньким»: «Где-то теперь он мыкается по Божиему свету?..» Иоанн побывал на отцовской могиле, постоял там с полчаса в молчании, положил земной поклон и, возвратившись, объявил брату, что предпочитает оставить всё это хозяйство на его попечение, а сам только время от времени будет навещать сюда отдохнуть от столичной суеты и получить очередную сумму золотом «на текущие расходы».

– Это что же у тебя там за расходы такие? – поинтересовался Арсавир.

– Книги.

Через два года имя Иоанна было уже известно в Городе, всё чаще к нему прибавляли уважительное «Грамматик», и в конце концов это прозвище закрепилось за ним. Обучив наукам, входящим в так называемую «математическую четверицу», сыновей нескольких синклитиков и клириков Великой церкви, он стяжал себе некоторую известность, в том числе у патриарха. Тогда Иоанн поступил в монастырь святых мучеников Сергия и Вакха, где постригались в основном лица из знатных семейств, и выпросил себе там для жительства небольшую пристройку, разделенную на две смежных кельи: в одной он жил сам, а в другой разместил свою библиотеку, к тому времени уже немаленькую. Никто не помнил, как долго он пробыл послушником и когда именно постригся в монахи, – это случилось как-то само собой и незаметно. В монастырской жизни он участия не принимал: жил анахоретом и «занимался наукою», как уважительно отзывались о нем братия, – однако на богослужения и в общую трапезную ходил исправно. Игумен дал ему послушание переписывать книги, но Грамматик занимался этим не в монастырском скриптории, а у себя в келье. Иные из монахов перешептывались у него за спи-

ной, что Иоанн «от многого чтения пришел в гордыню и прелесть бесовскую», а кое-кто насмеялся, будто Грамматик «ищет философский камень». Иоанн и к похвалам, и к порицаниям относился с презрением и дружбы ни с кем не заводил, но если к нему приходили с вопросами, отвечать не отказывался. А с вопросами приходили всё больше, и клирики, и миряне, часто люди далеко не безвестные; однажды сам император Никифор вызвал Грамматика во дворец, чтобы выяснить некий вопрос, после чего Иоанна стали даже и побаиваться. Так он и жил при монастыре ученым отшельником. Патриарх рукоположил его в чтеца, но Иоанн как будто не стремился сделать карьеру, его интересовали почти исключительно книги. Мало кто знал, что он был состоятельным человеком, и что знаменитое Морохорзамиево имение с «Трофониевыми пещерами» наполовину принадлежало этому худому молчаливому монаху.

Однако Иоанн при случае посещал «Арсавириновое хозяйство» и любил поделиться с братом теми или иными мыслями. Старший брат, хотя не обладал такими познаниями и развитым умом, как младший, науками интересовался и был достаточно начитан.

– Ну, что скажешь, философ? – улыбаясь, спросил Арсавир, когда братья вдвоем расположились на террасе, откуда открывался прекрасный вид на море. – Долго ты что-то не приходил... А у нас тут пыль столбом: к жене приехали сразу две племянницы, замуж собралась, и вот, целыми днями обсуждают наряды, зовут то портных, то аргиропратов, слуги уже сбились с ног... да и меня несколько раз чуть не сбили, так что я уж почти поселился в этом углу дома, только здесь меня и не достают. – Он рассмеялся. – А ты, верно, раз появился, так уж что-то надумал?

– Да. «Се ныне время благоприятное»!

– «День спасения»?

– Он самый. Пора сокрушить кости икон.

– Ого! – Арсавир встал, прошелся по террасе раз, другой. Иоанн наблюдал за ним из глубокого плетеного кресла. Наконец, старший брат остановился перед младшим, пристально посмотрел на него и сказал: – А я ведь никак не думал, что ты это всерьез.

– Как будто я не знаю! – Иоанн небрежно пожал плечами. – Вот беда большинства людей: они всю жизнь находятся в постоянном рабстве чужой воле и чужим идеям, причем воле тех, у кого власть, и идеям общепринятым. И всё почему? Потому что не просто не умеют, а даже и представить себе не могут, как можно свободно мыслить и самому выбирать свой путь. Это ведь нелегко и, в каком-то смысле, довольно-таки неудобно. А потому, даже если перед ними появится какой-нибудь... скажем так, проповедник, изложит некое учение, заинтересует их, в конце концов убедительно докажет свои взгляды, они только покивают, может быть, восторженно похлопают, покричат о том, какая прекрасная мысль и прочее, но с места не сдвинутся, чтобы воплотить это в собственной жизни. Накатанные дороги привлекательнее, стоптанная обувь удобнее, а старое вино кажется всегда лучше нового... Уже только этого достаточно, чтобы поверить, что христианское учение – не от мира сего!

– Эх ты повернул! – Арсавир подвинул кресло и сел напротив брата. – При чем тут христианство?

– При том, что христианство – учение чрезвычайно сложное. Неудобовразумительное даже местами, как еще апостол Петр сказал. Чтобы за таким учением пошли толпы народа, и не просто пошли, но принимали лишения, муки, смерть, – это, «по-человечески глаголю», несбыточно. И если оно так распространилось, завоевало почти целый мир, то тут явно видно действие силы не человеческой. Заметь, что, например, агарянская вера, которая появилась значительно позже и уже завладела множеством умов, гораздо проще... Подумай, какой насмешкой наша вера является над обычным человеком, желающим покоя телу и уму: малейшая тонкость, небольшое отклонение – и ты в ереси, погиб душой! Можно ли предположить, чтобы подобное учение было изобретено людьми с целью овладеть чужими умами? Чтобы покорить умы, нужны такие учения, которые могут быть понятны и младенцам, а не такие, которые и не вся-

кий ученый поймет. Ты никогда не думал о том, что все ереси, сколько их ни было от Рождества Христова, всегда стремились упростить православие? И это потому, что в нем есть нечто запредельное, непонятное уму, и обессиливший земной ум начинает властно требовать своего – того, что он мог бы понять!

– Молока, а не твердой пищи... Но, послушай, эту твою блистательную речь иконопочитатель мог бы повернуть как раз против тебя. Не потому ли ты восстаешь против икон, что не понимаешь какой-то богословской тонкости?

– Я так и думал, что ты возразишь именно это, – с усмешкой ответил Грамматик. – Нет, Арсавир. Иконы – это не «тонкость», а грубость. Упрощение, введенное для того, чтобы покорить толпы... Нет, не покорить даже, а дать им учение, понятное их недалекому уму, чтобы их разум питался хотя бы такой пищей. Умная молитва – дело тяжкое, требует внутренней работы, подвига, постоянства... Скажешь ты какому-нибудь торговцу: «Вот путь соединения с Богом: молись в уме своем, да воссияет тебе божественный свет!» – и что? Сколько надо потратить лет и сил, пока он воссияет? А может, он и до самой смерти не воссияет? Так и жить, не соединившись с Богом, так и умереть? Это ведь нелегко – жить с такой мыслью. А тут тебе – икона: «честь образа на первообразное восходит», взирая на образ материальный, умом мы восходим к нематериальному Богу и освящаемся Его благодатью. Взирая и лобызая, ибо эта благодать истекает от самого образа, как ему присущая. Как просто! Любому глупцу понятно, не правда ли? Некоторые даже вместо причастия краску с икон скоблят и потребляют – наглядная картинка к сказанному! А что до богословия, так ведь с «тонкостей» как раз наш с тобой разговор об иконах и начался во время оно.

– Да, помню. – Арсавир помолчал. – Но я всё-таки не понимаю! Ты решил восстановить чистоту веры? Явиться, так сказать, спасителем народа от еретического пленения? Мессией? – он усмехнулся. – Народ, как ты говоришь, ищет простоты и неохотно идет за новыми учениями... допустим даже, что оно не новое, а подзабытое старое. Но в таком случае твоя затея почти наверняка провальна. Конечно, сейчас явилось немало противников икон... Это может облегчить тебе задачу, но... Полагаю, сторонников-то больше. И император вроде бы ничего против икон не высказывал до сих пор... Он, вон, даже клятву дал не колебать догматы Церкви! Среди придворных, как я знаю, большинство чтит иконы. Конечно, далеко не все, так сказать, сознательно и убежденно, но... Нет, не понимаю, на что ты рассчитываешь! Почему тебя так влечет эта затея? Сдались тебе эти толпы бездумных иконопочитателей! Не лучше ли оставить их веровать, как они привыкли, а не пытаться направить широкий поток в узкое русло?

Огонь полыхнул в глазах Грамматика.

– Да это ведь и есть самое интересное – развернуть вспять всю эту толпу и заставить ее последовать за собой!

Несколько мгновений братья смотрели друг другу в глаза, потом Арсавир отвел взгляд и проговорил:

– Ну ты, брат... – Он запнулся, помолчал, встал и прошелся по террасе, опять сел и сказал, усмехнувшись: – И странные же шутки выкидывают мойры! Бывший иконописец собирается возглавить борьбу против икон!

Иоанн рассмеялся.

– Я тоже об этом думал. Но кому же и возглавить ее, как не тому, кто изучил предмет, так сказать, вблизи и осязаемо? Да и потом, как будто я стал иконописцем по собственному желанию и влечению! – Он чуть нахмурился. – Сколько глупостей и нелепостей, иногда погибельных, делают люди только потому, что их принуждают к тому родители!

– Ну, уж тебе-то грех жаловаться на родительский гнет! – возразил Арсавир. – Тебя никогда никто не мог ни к чему принудить... Всё сам, всё только своим умом! Мать – та вообще тебя чуть ли не боялась, хотя ты еще малявкой был. Отец, помню, дивился, в кого это ты таким

«упрямым своенравником» пошел... Вот, разве что с иконописью только и вышло по его воле, да и то не совсем.

– У меня да, а у других бывает далеко не так! – отрезал Иоанн и встал, чтобы идти в другую половину дома, где находились его комнаты. – Ладно, я пойду к себе. Так что, – он посмотрел на брата в упор, – ты предрекаешь мне провал?

– Ничего я не предрекаю! – буркнул тот. – Пророк я, что ли? Делай, как знаешь. Будто я мог бы тебя остановить, если б и хотел! Возможно, ты и прав... Но большой помощи на идейном фронте я тебе не обещаю, проповедник из меня никакой.

– Ха, так я на это и не рассчитывал. Довольно и без тебя людей, которые, если их убедить, смогут воздействовать на других – не риторикой, так авторитетом... или силой. Ты в этом деле был мне нужен для того, чтобы испытать на тебе действие некоторых идей – и только, Арсавир, и только.

Брат действительно был первым, перед кем Иоанн высказал вслух свои мысли насчет иконопочитания. Это случилось незадолго до начала злополучного похода Михаила Рангаве во Фракию. Братья встретились на праздничном богослужении в Великой церкви и после окончания службы разговорились, стоя в нарфике. Иоанн сказал, что за последнее время прочел кое-какие рукописи и обдумывает некоторые богословские положения. Арсавир заинтересовался:

– Слушай, приезжай сегодня к вечеру, расскажешь, что ты там надумал! И поужинаем вместе.

В тот вечер, развалившись в кресле и скрестив на груди руки, Грамматик, наблюдая, как брат поправляет фитиль в светильнике, спросил:

– Ты помнишь, что говорит святой Григорий Богослов о том, как соединяются во Христе две природы – божество и человечество?

– Иоанн! – с шутливым упреком воскликнул Арсавир. – Я, конечно, читал не так и мало, но всё помнить наизусть мне не по силам. Из Богослова я помню хорошо то, что человек настолько же становится в обожении Богом, насколько Бог во Христе стал человеком... Еще помню насчет женских приукрашиваний... Недавно вот шпынял жену... Она всё норовит ресницы подкрашивать и румяниться, а я ей говорю: нечего ставить под подозрение естественную красоту! Обижается, – улыбнулся он. – А насчет соединения... Нет, уволь, не помню. Соборное помню, конечно: неслиянно и нераздельно. Не довольно ли и этого для мирского человека вроде меня?

– Неслиянно и нераздельно – это да, кто ж не помнит. Но вот что иной раз удивляет меня: казалось бы, известнейшее Слово на Рождество Христово, все его слышали много раз в храме или сами читали... И никто не обращает внимания там на одно место... чрезвычайно интересное!

– Какое?

– «Источник жизни и бессмертия, отпечаток первообразной красоты, печать непереносимая, образ неизменяемый, определение и Слово Отца, приходит к Своему образу, носит плоть ради плоти, соединяется с разумной душой ради моей души, очищая подобное подобным, делается человеком по всему, кроме греха... О, новое смешение! О, чудное растворение! Сущий – начинает бытие, Несозданный – создается, Необъемлемый – объемлется через разумную душу, посредствующую между Божеством и грубой плотью, Богатящий нищает – нищает до плоти моей, чтобы мне обогатиться Его Божеством».

– И что же?

– Заметь, как соединяются божество и плоть: «через разумную душу, посредствующую». Именно через это посредство объемлется Необъемлемый. Или, что то же самое, описывается Неопикуемый. Не просто через плоть, а через одушевленную плоть. Понимаешь?

– Да, выходит, что так. Но что тут такого особенного? Понятно, что всякий живой человек – одушевленная плоть. Не мог же Бог воплотиться в неодушевленную материю!

– Совершенно верно. Но что изображается на иконе Христа, например?

– Его плоть, конечно.

– А не божество?

– Нет, ведь оно неизобразимо. Но второй Никейский собор...

– Так-так, этот собор. Вспомним, что там говорилось: Церковь «не отделяет плоти Его от соединившегося с ней божества; напротив, она верует, что плоть обоготворена и исповедует ее единою с божеством, согласно с учением великого Григория Богослова и с истиной», а потому «мы, делая икону Господа, плоть Господа исповедуем обоготворенной и икону признаём не за что-либо другое, как за икону, представляющую подобие первообраза». Вот это следствие второго из первого совсем не очевидно.

– Как?

– А так. Да, плоть обоготворена, по учению великого Григория, всё верно. Но, по его учению, она обоготворена через посредствующую душу. Можно ли на иконе изобразить душу, как по-твоему?

– Душу? Конечно, нет. Она же бестелесна и невидима.

– Значит, на иконе мы изображаем одну плоть, без души, не так ли?

– Вроде бы так...

– Значит, получается, что на иконе невозможно изобразить обоженную плоть?

– Хм... Пожалуй, действительно так получается.

– Ты признаёшь, что пока рассуждение было логичным?

– Вполне.

– Прекрасно! Тогда ответь мне на вопрос: что в таком случае святого может быть в изображении такой не обоженной плоти и на каком основании можно называть иконы «священными» и поклоняться им?

...Настала шестая седмица Великого поста. Студийский монастырь уже вторую неделю был местом стечения самых разнообразных посетителей: стало слышно, что старец Платон при смерти, и люди спешили проститься с ним, попросить молитв и благословения. После возвращения из ссылки Платону не пришлось продолжать затворническую жизнь: он больше не мог ходить и нуждался в прислужнике. Он то лежал, то сидел, читая на память псалмы или совершая умную молитву, и принимал братьев монастыря, приходивших к нему за советами и наставлениями. Старец был уже совершенно не способен ни работать, ни даже читать; к нему приставили послушника, который при необходимости читал ему ту или иную книгу или церковное последование. Конечно, не могло быть более речи и о прежнем строгом посте и воздержании от омовений в бане, и старец скорбел об этом вынужденном ослаблении подвига, несмотря на уверения игумена Феодора, что Платон, которому шел восьмидесятый год, вполне заслужил этот незначительный и вынужденный отдых после сорока восьми лет непрерывного подвижничества и четырехлетних гонений за истину Христову.

Сам Феодор ходил по монастырю, как потерянный. Он понимал, что все когда-то должны отдать общий долг природе, что старец прожил святую жизнь и скоро присоединится ко всем от века угодившим Богу, и потому скорбеть о том, что Платон переходит в гораздо лучший мир, нежели здешний, не только неразумно, но и грешно, но... «Отче, отче, на кого ты меня покидаешь?» – этот горький помысел то и дело пронзал сердце игумена.

– Да не покидаю я тебя, Феодор! Хватит уже мучить себя, – прошептал старец, когда в цветоносный понедельник около полудня они остались в келье умиравшего вдвоем, что в последние дни случалось редко. – Всегда с вами духом буду! Перестань, чадо, не надо, не скорби.

Глаза Феодора наполнились слезами.

– Прости меня, отче, – тихо проговорил он. – Я стал таким же глупым юношей, как тогда... когда ты приехал к нам с Олимпа... Помнишь?

– Как не помнить! – Глаза старца улыбались. – Только тогда ты как раз и перестал быть глупым... Видишь, как долго мы были вместе? Теперь мне пора, а у тебя есть еще тут делá, Феодор. Еще много дел тебе предстоит!

Тут в дверь постучали, Феодор встал и отворил. На пороге стоял патриарх.

– Святейший! – Игумен поклонился и взял благословение.

– Здравствуй, Феодор! – Патриарх шагнул к ложу Платона. – Здравствуй, отче!

Платон силился приподняться, но патриарх остановил его знаком руки, подошел и благословил.

– Слава милости Божией! Посетил ты нас, смиренных! – прошептал Платон, целуя руку патриарха.

– Боялся я, что уж и не застаю в живых тебя, Платон, – сказал Никифор. – Но милостив Господь! Не простил бы я себе, если б опоздал!

– Желал и я видеть тебя перед исходом, владыка, – ответил старец, – но не смел просить об этом твою святость. И вот, исполнилось желание убогой души моей. Теперь можно и умереть! Уж и часы мои сочтены... А отец игумен, – старец взглянул на Феодора, – сокрушается, вот, да и меня сокрушает. На кого, мол, я его покидаю!

Патриарх обернулся к игумену. Тот виновато улыбнулся.

– Не покинет он тебя, Феодор, – тихо сказал Никифор. – Тебе ли не знать этого? Но верую, что он будет предстательствовать за нас пред Богом. Вот и я пришел попросить молитв святых отца вашего... нашего общего отца!

– О, владыка! – только и сказал игумен.

Патриарх вновь повернулся к старцу, губы его дрогнули.

– Прости меня, отче! – сказал Никифор и опустил перед ложем на колени. – И помолись за меня.

– Владыка! – слабо вскрикнул старец. – Господь да простит тебя! Ты же прости мое окаянство и помолись, да неосужденно предстану пред престолом Божиим!

– Верю, что предстанешь Господу и сподобишься благодати молиться за нас! Поминай тогда нас, грешных... Непокойно у меня на душе, отче! – вырвалось вдруг у Никифора. – Томит предчувствие, что нас ждут испытания...

– Благословен Бог, очищающий святых Своих в горниле искушений, да возблистают злата светлее! – проговорил старец, и лицо его просияло. – Не смущайся, владыка! Испытания ждут вас, и великая слава ожидает вас, и не бойся, ничего не бойся. Храни веру, как зеницу ока, и Господь сохранит тебя. Благословен ты от Господа, и да будут благословенны пути твои!

Платон скончался на другой день, в цветonoсный вторник. В самый день смерти он часто шепотом повторял: «Воскреснут мертвые, и восстанут сущие во гробах, и возвеселятся сущие на земле», – говоря и находившимся при нем в келье:

– Пойте, братия, пойте! «Воскреснут мертвые, и восстанут сущие во гробах, и возвеселятся сущие на земле»!

Старец умер в час захода солнца. Шепотом сказав краткое прощальное слово братии, он склонил голову набок и, закрыв глаза, глубоко вздохнул. Это был его последний вздох. Все стояли вокруг притихшие, а игумен опустился на колени перед ложем с телом своего духовного отца и прошептал беззвучно:

– Поминай нас, отче, у престола Божия!

## 22. Антикенсоры

*Единственный недостаток в том, чтобы быть темной лошадкой – это невозможность поделиться. Масштабом сделанного, изящностью интриги.*

*(Мария Попова)*

Возвращаясь из Священного дворца в Сергие-Вакхов монастырь, Грамматик иногда смотрел вокруг со странным ощущением: вот, жизнь идет, люди занимаются своими делами, и никто не знает, что уже скоро, скоро... Впрочем, кое-кто всё же знал – это был не кто иной как Феодот Мелиссин. Иоанн сблизился с ним вскоре после восшествия Льва на престол; это произошло как бы случайно, но на самом деле Грамматик действовал по плану. Еще за три месяца до того он узнал от монаха Симеона сплетню, будто сын патрикия Михаила Мелиссина, пришедшегося шурином императору Константину Исаврийскому по его третьей жене, хранит у себя дома некие иконоборческие трактаты, которые его родные после второго Никейского собора припрятали и сберегли от сожжения. Сплетня эта чрезвычайно заинтересовала Иоанна, хотя вида он не подал. Грамматик понял, что, кажется, напал на след.

Незадолго до этого Иоанн наткнулся в патриаршей библиотеке на список «Размышлений» Марка Аврелия, где между девятой и десятой книгами нашел несколько вшитых листов из другой рукописи, написанных крупным четким почерком на очень хорошем пергаменте с широкими полями; видна была рука первоклассного писца; по верху и низу каждого листа шел орнамент из виноградных лоз, красиво выписанный киноварью, от времени слегка выцветшей.

«Вышепоименованный творец зла, – с таких слов начиналась эта рукопись, – не перенося благолепия Церкви, не переставал в разные времена и разными способами обмана подчинять своей власти род человеческий. Под личиною христианства он ввел идолопоклонство, убедив своими лжемудрованиями склонявшихся к христианству не отпадать от твари, но поклоняться ей, чтить ее и почитать Богом тварь, под именем Христа...» На следующем листе текст как будто бы продолжал предыдущий, но этого нельзя было сказать наверняка, поскольку, просматривая рукопись дальше, Иоанн обнаружил, что это просто несколько разрозненных листов, сшитых вместе; между ними явно был пропуск: на одном листе текст вообще обрывался на середине фразы, а на другом продолжался уже с иного места.

«Они созвали весь священный сонм боголюбезных епископов, – читалось дальше, – чтобы, собравшись вместе, исследовать Писание относительно соблазнительного обычая делать изображения, отвлекающие ум человеческий от высокого и удобного Богу служения к земному и вещественному почитанию твари...» Следующий лист начинался с описания Вселенского собора, бывшего в Халкидоне; далее, по-видимому снова после обрыва, шел лист, где излагалось учение о соединении в ипостаси Христа божества и человечества, а затем говорилось: «Однако всякий образ обыкновенно представляется происшедшим от какого-либо первообраза, и если изображение хорошо, то оно является единосущным изображаемому, чтобы оно удерживало все его черты, а иначе это и не образ. Итак, мы вопрошаем вас: как возможно, чтобы Господь наш Иисус Христос, будучи одним лицом при неслитном единении двух естеств – материального и нематериального, – писался, то есть изображался?»

Здесь вставка из неизвестной рукописи обрывалась. Полистав Деяния второго Никейского собора, Грамматик обнаружил там два первых отрывка: это были выдержки из соборного определения, принятого в Иерии при Константине Исаврийском; третьего отрывка Иоанн там не нашел, но это, очевидно, тоже была часть какого-то иконоборческого документа или трактата. «Любопытно, очень любопытно!» – подумал Грамматик и целую неделю не вылезал из библиотеки, роясь в ящиках, где хранились еретические рукописи, но ничего похожего

не обнаружил. Тогда он стал внимательно перечитывать Деяния Никейского собора, изучая приведенные там иконоборческие положения и соборные ответы на них, а узнав сплетню про «еретический тайник» Феодота Мелиссина, стал выжидать удобного времени, чтобы вывести подробности. И вот, однажды Мелиссин по некоему делу зашел к игумену монастыря Сергия и Вакха. Уже уходя, он столкнулся на монастырском дворе с Иоанном. Грамматик как раз возвращался после очередного визита к Арсавиру в приподнятом настроении: доводы против иконопочитания, которые он развивал перед братом, действовали на того неотразимо.

– О, господин Иоанн, добрый день! – сказал Феодот, раскланиваясь с Грамматиком. – Я как раз сейчас думал о тебе, давно хочу зайти, поглядеть, как живут ученые мужи. Если ты, конечно, ничего не имеешь против.

– Всегда буду рад, господин Феодот! Если ты не торопишься, то я мог бы прямо сейчас принять тебя в моем скромном обиталище.

– О нет, я не спешу.

Библиотека Грамматика очень заинтересовала Мелиссина.

– Какое богатое собрание! – воскликнул он. – Даже не ожидал увидеть у тебя столько книг... – Он с любопытством покосился на шкаф в углу, который один из всех Грамматик не открыл, когда показывал гостю книги, но ничего не спросил. Иоанн следил за патрикием взглядом. Феодот полистал несколько рукописей и повернулся к хозяину. – И что ты исследуешь сейчас?

– У меня несколько направлений интересов, – Иоанн улыбнулся, – но преимущественно я занимаюсь философией. Вот, кстати, я бы хотел задать тебе один вопрос, господин Феодот.

– Да, разумеется.

– Недавно в патриаршей библиотеке я обнаружил любопытную книгу. Точнее, сама она ничего любопытного не представляет, это Марк Аврелий, но я нашел вpletенную туда вставку из другой рукописи – несколько разрозненных листов с отрывками из богословских трактатов. Мне удалось установить, что два отрывка взяты из определений Иерийского собора, опровергнутых затем на соборе в Никее. Но вот третий отрывок оказался из другого произведения. Я даже выписал... – Иоанн подошел к шкафу в углу, открыл его, достал с верхней полки лист пергамента и, прикрыв дверцы шкафа, протянул лист Феодоту. Тот стал читать, а Грамматик продолжал, не спуская с него глаз: – Листы эти, видимо, из какой-то парадной рукописи: пергамент отменной выделки, причем места не жалели – поля огромные, прекрасный почерк, да еще сверху и внизу красивый узор из лоз...

На лице Феодота отразилось явное волнение, но он быстро справился с собой и, взглянув на Иоанна, сказал:

– Очень любопытный текст. По всей видимости, из иконоборческого сочинения. Ты говоришь, он вpletен в другую рукопись? Да, еретики так иногда прятали свои писания, спасая от уничтожения, – Он снова стал перечитывать скопированный отрывок.

– Я так и понял, – сказал Грамматик. – Вот теперь думаю: верно, надо сообщить об этом святейшему, чтобы он приказал вырвать эти вставленные листы и уничтожить? А то, неровен час, кто-нибудь еще прочтет и соблазнится... Время сейчас беспокойное.

– Любопытный текст! – повторил патрикий, не отвечая на вопрос. – Быть может, это даже отрывок из трактата самого Константина Исаврийского... Господин Иоанн, а ты знаком с преосвященным Антонием, епископом Силейским? – вдруг спросил он.

– Нет. – Иоанна несколько удивил такой поворот разговора.

– Я тут получил письмо от него. Его интересуют некоторые богословские тонкости, и я подумал, что ты лучше смог бы разъяснить их. Могу ли я перенаправить его к тебе?

– Конечно, что за вопрос.

– Прекрасно, прекрасно! – Мелиссин вдруг как бы заторопился. – Прости, господин, сейчас мне пора идти. Думаю, мы еще поговорим с тобой...

– Надеюсь, господин Феодот.

Они вышли из «библиотечной» в первую келью, и тут Мелиссин, уже взявшись за ручку двери, повернулся и сказал, глядя в лицо Грамматику и в то же время как бы мимо него:

– А святейшему, думаю, про эту рукописную вставку говорить не стоит. Он и так весь в тревогах и заботах... Да и насчет соблазна для «малых сих» не стоит беспокоиться. Ну, кто в наши дни читает Марка Аврелия? – Он усмехнулся. – Странно, что эта книга вообще оказалась в патриаршей библиотеке!

«Отлично! – подумал Иоанн, когда за Мелиссином закрылась дверь. – Феодот осторожен, но дал мне понять всё, что нужно! А у него, похоже, свои виды на эти листы из рукописи...» На следующий день Иоанн, отправившись в патриаршую библиотеку, захватил с собою ножницы и, поскольку за ним там уже давно никто не следил, спокойно вырезал из книги Аврелия листы, украшенные лозами, и спрятал под одежду; в тот же вечер они были заперты в «библиотечной» келье Грамматика.

После этого около месяца продолжалось затишье. Феодот при встречах с Иоанном раскланивался самым любезным образом, но не делал никаких попыток возобновить общение. Зато в сентябре Грамматик получил письмо от епископа Силейского Антония. Преосвященный спрашивал, каким образом при поклонении иконе изображенному на ней Христу воздается богопочитание, а самой иконе богопочитание не воздается. «Если же поклонение едино, – писал он, – то не выходит ли, что мы воздаем иконе богопочитание и, таким образом, являемся идолопоклонниками?» Пока Иоанн раздумывал над ответом, подоспел очередной «знак»: на следующий день, в праздник Воздвижения Креста Господня, император венчал соправителем своего старшего сына, и Грамматик узнал, что предложение переименовать Симватия в Константина исходило от синклитиков, главным образом от Феодота Мелиссина. На другое утро, слушая в монастырском храме, как за богослужением поминали «благодетелей императоров Льва и Константина», Иоанн несколько раз усмехнулся про себя и после обеда сел писать ответ Силейскому владыке – в духе теорий, которые с весны развивал перед Арсавиром.

За неделю до начала Рождественского поста Грамматик получил короткую записку от Мелиссина. Патрикий писал, что Антоний Силейский очень доволен итогами своей переписки с Иоанном, и приглашал Грамматика к себе на ужин. За ужином присутствовала вся семья Феодота, и разговор шел на общие темы, но после сладкого Мелиссин увел Иоанна к себе и, плотно прикрыв дверь, пригласил гостя сесть. Иоанн опустился в кресло возле стола, а Феодот скрылся за тяжелой шелковой ширмой в углу комнаты. Грамматик услышал звяканье ключей, скрип отворяемой и вновь запираемой дверцы, и патрикий появился с рукописью в руках. Он положил ее на стол – довольно толстую книгу в тяжелом украшенном серебром окладе – и открыл. Первое, что бросилось в глаза Иоанну, это крупный почерк, широкие поля и красноватый узор из лоз сверху и снизу страниц. Грамматик почти вскочил с кресла. Мелиссин улыбнулся и сказал тихо:

– Это полный текст определений Иерийского собора и «Вопросы» императора Константина. Здесь не хватает всего нескольких листов. Отец говорил мне, что книга стала разваливаться, и ее заново переплели; быть может, тогда листы и потерялись.

Грамматик тоже улыбнулся и молча вынул из-за пазухи страницы, которые он вырезал из книги «Размышлений» Марка Аврелия.

После этого Иоанн стал нередким гостем у Мелиссина. От него он скоро в подробностях узнал, как веруют синклитики и двор, что на уме у императора и множество других ценных сведений. Иконоборческая партия в Синклите была довольно сильна, но пока не выражала открыто своих взглядов; очень многие выжидали решения императора. Что до самого Льва, то он пока не думал о низложении икон: его сдерживали обещание, данное патриарху, и надежда, что можно будет добиться равновесия, не примыкая ни к одной из партий, а кроме того, Лев не был уверен в правоте иконоборцев.

– А к чему он вообще стремится? – спросил Иоанн. – Чего больше всего опасается?

– Хм... Ну, как и все государи, – ответил Феодот, – он хотел бы править долго и безмятежно, умереть своею смертью и передать власть детям. А опасается, понятно, противоположного. Впрочем, мне кажется, у него есть и какой-то особенный страх, но перед чем, я так до сих пор и не смог узнать. Но скажу сразу: только из страха потерять престол он вряд ли пойдет на церковный переворот – с одной стороны, по-военному горд и не захочет прослыть трусом, а с другой, благочестив и не станет предпринимать такой серьезный шаг, если не будет убежден в том, что это угодно Богу.

– Значит, надо убедить его, что ниспровержение иконопоклонства угодно Богу, поскольку восстановит истинный догмат веры, и что, если он пойдет на это, Господь продлит его царствование и будет благоволить к его детям.

– Да, но в окружении государя нет достаточно богословски образованного человека, чтобы разрешить все могущие возникнуть сомнения. Ведь он, конечно, будет вопрошать и противную сторону, прежде всего патриарха.

– Думаю, – сказал Грамматик после краткого молчания, – я смог бы убедить государя. Но я к нему не вхож.

– Не беспокойся, господин Иоанн, – улыбнулся Феодот, – уж это я устрою.

В конце ноября игумен Сергие-Вакхова монастыря неожиданно сказал Иоанну, что ходатайствовал перед патриархом о рукоположении Грамматика и хиротония состоится на днях, а когда Грамматик вопросительно приподнял бровь, пояснил, что соответствующие указания исходят из дворца, и потому Иоанну больше не удастся сопротивляться, как он это делал в прошедшие годы. Действительно, побыв один день иподиаконом и три дня диаконом, Иоанн был рукоположен в священника. А спустя еще неделю император вызвал Грамматика к себе и сказал, что слышит о его уме и познаниях, а потому хотел бы видеть его учителем своих сыновей. Через два дня Иоанн, уже причисленный к дворцовому клиру, давал Константину и Василию первый урок.

Получив свободный вход в Священный дворец, Иоанн, однако, вел себя скромно и сдержанно. Несмотря на то, что император иногда обращался к нему с вопросами, в основном относительно риторики – Льву хотелось уметь произносить речи по всем правилам ораторского искусства, – Грамматик всегда держался строго в рамках затрагиваемых тем, не говоря лишнего. Мелиссин иногда журил его, говоря, что дал Иоанну такую характеристику перед императором, что он мог бы действовать и посмелее.

– Не спеши, господин Феодот, не спеши, – улыбался Грамматик. Он выжидал случая, чтобы узнать об «особом страхе» императора. И вот, как-то раз, когда занятия в «школьной» только что окончились, зашел кувикуларий и сообщил, что василевс просит Иоанна прийти в императорскую библиотеку. Когда Грамматик пришел, Лев стоял у большого стола из черного дерева, на котором были разложены какие-то рукописи и астрологические таблицы Птолемея.

– Господин Иоанн, – сказал император, собственноручно закрыв дверь изнутри на засов, – ты ведь, с одной стороны, человек ученый, а с другой – монах, человек Божий... Веришь ли ты в пророчества? Точнее, я не так сказал... Не вообще в пророчества, а в то, что они, раз будучи изречены, так по предначертанному и сбываются, непременно и неотменно.

– Государь, твоему благочестию, думаю, известно, что даже истинные предсказания не безусловны. Ведь бывало, что дурные пророчества судом Божиим отменялись, если люди каялись и вели себя благочестиво. Думается, для твоего величества главное – хранить церковное благочестие и заботиться о благе державы и подданных. Ни в том, ни в другом никто из разумных, думаю, не сможет упрекнуть тебя. Но, – добавил Иоанн как бы простоудушно, – разве государя беспокоит какое-то дурное пророчество?

Император, неспешно ходивший взад и вперед по зале, внезапно остановился и сказал как человек, долгое время желавший о чем-то поговорить, но до сих пор сдерживавшийся:

– Да, Иоанн, да! Видишь ли... В моей молодости, больше десяти лет назад, один монах предрек царство мне и еще одному человеку. Я тогда счел это пророчество пустой болтовней, но, как видишь, наполовину оно уже сбылось. И теперь я думаю о том, что если оно должно сбыться и во второй части...

– Относительно того другого человека?

– Именно! Так вот, это меня беспокоит, потому что, во-первых, мы почти одного возраста, я лишь на несколько лет старше его, и потому, если ему суждено царствовать после меня, то есть вероятность, что мое царствование прекратится... как-то внезапно и... Ты понимаешь?

– Да, государь.

– А кроме того, это в любом случае означает, что моим детям не суждено царствовать. Это тревожит меня больше всего!

– Августейший, как я уже сказал, тут всё зависит от мудрости и благочестия царствующего. Не изрек ли Господь через пророка Самуила, что Саул будет великим царем в Израиле и спасет народ от филистимлян? Не сказал ли пророк Саулу, что он изменится действием Духа Божия и будет творить всё, что сможет рука его, ибо с ним будет Бог? И это сбылось, но когда Саул отступил от Бога и стал грешить, тогда и пророчество потеряло силу, и Господь предал царство Давиду. С другой стороны, жители Ниневии, обратившись от грехов к покаянию и благочестию, отвратили гнев Божий, и дурное пророчество не сбылось. Как знать, быть может, пророчество, о котором ты говоришь, государь, имело в виду вовсе не то, что тот человек, получит царство, а то, что он будет тебе как бы «жалом в плоть», по выражению апостола, как бы напоминанием о том, что если ты вознерадишь, то станешь в очах Божиих недостойн царства, и тогда уже есть, кому передать престол вместо тебя...

– Ты хорошо сказал, Иоанн! – воскликнул император. – Наверное, ты прав... Мудрость и благочестие!

Император вдруг взглянул на Грамматика так, словно хотел что-то сказать, но, видимо, передумал; это, однако, не укрылось от Иоанна. «Интересно было бы узнать, – подумал он, отправляясь к себе, – кто же был второй герой пророчества...»

Получив ответ на этот вопрос благодаря Феофилу, Иоанн понял, что «всё сходится»... и даже как-то «слишком» сходится. «Как после этого не верить в провидение!» – подумал он. На другой вечер, зайдя к Феодоту Мелиссину, к которому мог приходиться уже запросто, даже и без приглашения, он нашел его в дурном расположении духа.

– Не понимаю, Иоанн, чего ты тянешь? – раздраженно сказал патрикий. – Более удобный момент вряд ли представится. Если сейчас мы не убедим государя, его возьмут в оборот другие!

– Не сердись, господин Феодот, – спокойно и даже весело ответил Грамматик. – Осталось ждать совсем недолго. Я, кстати, как раз пришел просить тебя посодействовать ускорению дела.

– Да ну? – Мелиссин тут же переменял тон и выжидательно смотрел на Иоанна.

– Нужно, чтобы некто – ни в коем случае не я и лучше бы не ты, довел до государя такую мысль: все императоры, ниспровергавшие иконы, не только вели победоносные войны с варварами и вообще правили довольно счастливо и, что касается государей Льва и Константина, долго, но и умерли своею смертью и передали царство своим сыновьям. А все государи, царствовавшие после восстановления иконопочитания, кончили довольно-таки плохо: Константин ослеплен, Ирина свержена, Никифор убит варварами, Михаил низложен. И, кроме того, военных побед на их счету почти не значится...

– Да это известно и так! – перебил Мелиссин. – Об этом давно говорят и в войске, и в народе, эта мысль уже доведена до государя и без нас! Но иконопочитатели имеют на это свои возражения...

– погоди, это еще не вся мысль. Главное, что надо довести вслед за этой мыслью: восстановление иконопочитания было сделано без должных богословских изысканий, грубо и необдуманно – и потому, кстати, в обществе до сих пор сильно сопротивление иконам, – а значит,

нужно, если не сразу отменить решения Никейского собора, то, по крайней мере, пересмотреть вопрос заново. Кроме того, надо представить ему и политическое соображение, которое государю, думаю, будет небезынтересно.

– А именно?

– Иконопочитатели не имеют единства между собой, они еще со времен восстановления икон разделены на сторонников строгого соблюдения правил и любителей снисхождения к немощным. Студиты очень усилили первый лагерь, но их противники, хотя слабее духом, зато многочисленнее. Многие были недовольны студитами до такой степени, что не хотели признавать примирения патриарха с ними и до сих пор втайне считают их схизматиками и гордецами. С другой стороны, в лагере студитов тоже есть недовольные тем, что игумен Феодор примирился с патриархом на слишком мягких для Никифора условиях. Настоящего единства среди них нет: пожар лишь утих, но угли тлеют... Не удивлюсь, если когда-нибудь этот огонь вспыхнет снова. Для нас это может обернуться выгодно: отсутствие единства ослабляет противника. Разумеется, Феодор и ему подобные будут рьяно бороться за свои догматы, но зато сторонники политики снисхождения, думаю, в большинстве своем будут нашими, сразу или со временем, – особенно если увидят, что появился некий третий лагерь, с хорошо обоснованной догматикой и не слишком склонный к канонической строгости. А если на стороне этого третьего лагеря будет император, то...

– О, премудрый Иоанн! – воскликнул Мелиссин. – Теперь-то я понял! Всё будет сделано!

Дело было поручено протопсалту Евфимию, чьи симпатии к иконоборчеству давно были известны Феодоту. Успеху разговора способствовало и то, что на другой день после него, когда император был весь в раздумьях, из Болгарии пришла весть о смерти Крума: хан, готовившийся весной вновь пойти на Константинополь и уже собравший с этой целью множество осадных машин и прочих приспособлений и орудий, в Страстную пятницу умер жуткой смертью: внезапно стал задыхаться, а через его рот, ноздри и уши потекли струйки крови, он упал навзничь, и когда подоспели врачи, хан был уже мертв. Среди болгар поднялось смятение, в результате чего некоторым пленным ромеям удалось сбежать, они и доставили на родину отрадную весть о «победе Креста». Новость облетела столицу, говорили, что Господь «невидимо поразил нового Сеннахирима». Иоанн, узнав о подробностях смерти Крума, задумчиво сказал:

– Любопытно... Похоже на отравление!

– Всё-то ты стремишься объяснить научно! – Мелиссин усмехнулся. – А все говорят, что это чудо Божьего вмешательства.

– Одно другому не мешает, – тонко улыбнулся Грамматик.

Когда император, взбудораженный тем, что услышал от Евфимия, обратился с вопросами к Иоанну, представить василевсу убедительные для него богословские доводы против иконопочитания не составило для Грамматика труда. Кроме того, Иоанн, как бы невзначай, упомянул и о том, что после второго Никейского собора все императоры, чтившие иконы, были несчастливы на войне и плохо закончили свое царствование, и это тоже впечатлило Льва – ведь одно дело, когда что-то говорит необразованный и суеверный народ, а совсем другое, когда это же слышишь из уст ученого мужа! Император, в свою очередь, изложил как собственную мысль, соображение о том, что иконоборческий лагерь может стать очень привлекательным для значительной части церковного народа, разделенного сейчас на ревнителей канонов и на более уступчивых, и таким образом церковная жизнь, возможно, станет внутренне более уравновешенной, чем это было в последние пятнадцать лет. Грамматик, конечно, горячо поддержал эту мысль василевса.

– Послушай, господин Иоанн, – сказал под конец Лев, – ты всё говоришь хорошо, но у меня есть еще одно сомнение... Ведь не на пустом же месте строилось обоснование иконопочитания в Никее. Они опирались на предания, обычаи...

– Конечно, только эти обычаи и предания имели совсем иной смысл, нежели им теперь придают. Изображения, как предметы, о чем-то напоминающие нам, – совсем не то, что изображения как предметы поклонения. Но сейчас, когда в угоду невежественной толпе их сделали предметом для нездорового почитания, настало время бороться с этим, иначе мы совсем потопим дух веры в бездушной материи.

...Император стоял у одного из окон в своих покоях, облокотившись на подоконник, и смотрел на сад, пораженный красотой. Несмотря на внешнюю суровость и почти страсть к военным походам и сражениям, Лев любил цветы, более всего лилии, и потому еще осенью приказал посадить их побольше прямо под окнами. Теперь они уже зацвели, и император, обдумывая только что состоявшийся с Иоанном разговор, любовался на огромную круглую клумбу, где на белом фоне цветы образовывали пурпурный крест, обрамленный алым, а от креста по белому расходились во все стороны желтые лучи; желтым, но более темного оттенка, был и обод, обрамлявший клумбу, – и всё это из лилий. «Надо будет наградить садовников, – подумал Лев. – Постарались на славу!» Он повернулся к Грамматика, который стоял у соседнего окна, но смотрел не на сад, а вдаль, на лениво поблескивавшее за стенами море.

– Думаю, твой план хорош, Иоанн. Но сколько времени, по-твоему, вам понадобится, чтобы собрать материал?

– Вероятно, несколько месяцев, государь. Думаю, не меньше трех, но быть может, и больше, если придется ездить и по отдаленным монастырям. Все зависит от того, как скоро мы найдем нужные книги.

– Это понятно. Но, с другой стороны, нужно изъять и те книги, которые слишком явно проповедают ложное учение.

– Безусловно, это было бы весьма полезно, августейший.

– В таком случае без объезда дальних обителей не обойтись... Итак, вероятно, месяца четыре-пять?

– Пожалуй.

– Возьмем шесть для полной уверенности. Да еще время для окончательной подготовки... Итак, к Рождеству Христову?

– Да, государь.

– Евфимий и господин Иоанн Спекта будут помогать тебе. И Феодот, само собой. А что с преосвященным Антонием?

– Он одобряет план и в середине лета сможет присоединиться к нам.

– Прекрасно!

– Господин протоасикрит также выразил желание участвовать в работе.

– О, и Евтихиан? Хорошо, очень хорошо! Итак, Иоанн, – император улыбнулся, – у тебя будет свой боевой отряд... Точнее, не боевой, ведь вы пока высылаетесь вперед, чтобы разведать и изучить удобные пути для войска. Значит – антикенсоры веры!

Возглавляемая Иоанном группа лиц, которым император поручил собрать богословский материал для будущего собора, начала работу после Пятидесятницы; всем членам группы было разрешено жить во дворце и питаться от императорского стола. Никто и не подозревал, что у Грамматика уже давно был не только собран и заперт в шкафу в его келье необходимый материал, но и в главных чертах разработана та богословская система, которую он надеялся преподнести для принятия на будущем соборе. «Вопросы» Константина Исаврийского, хранившиеся у Мелиссина, не привнесли много нового в построения Иоанна, а скорее подтвердили обоснованные им положения; впрочем, у Грамматика были и некоторые собственные идеи. Шесть месяцев, данные императором, он надеялся употребить на сбор не столько дополнительных доводов – хотя, конечно, не исключал возможности, что найдет еще что-то ценное по вопросу

об иконах, – сколько разных редких рукописей, особенно эллинских авторов, которые могли обнаружиться в пыли монастырских и храмовых библиотек.

## 23. Предвестия

*Вы же, братия, не во тьме, чтобы день постиг вас, как тать; ибо все вы – сыны света и сыны дня ... посему не будем спать, как прочие, но будем бодрствовать и трезвиться.*

*(I Послание апостола Павла к Солунянам)*

– Отцы мои и братия! Бог привел людей в мир для того, чтобы они, служа Ему добрыми делами, соделались наследниками небесного царствия. Но нам, монахам, Он даровал, помимо этого, еще особую, великую благодать. Ибо избрав нас из всего мира, Он поставил нас пред лицом Своим, чтобы мы служили державе Его без развлечения и суеты. Но почему я напоминаю об этом? Потому, братия, что каков дар, таков будет и спрос...

В храме Студийского монастыря после вечерни игумен говорил очередное огласительное поучение. Глуховатый голос, уже много лет звучавший в стенах этой древней базилики, увещевая, обличая, хваля, ободряя и вдохновляя многочисленное братство, сегодня был суровее обычного.

– Не слышали ли мы многократно во святом Евангелии, – говорил Феодор, – что кому много дано от Бога, с того много и спросится? Не должен ли каждый из нас смотреть и наблюдать за тем, живет ли он сообразно с тем небесным званием, которого мы сподобились быть причастниками? И что же? Вы видите, что происходит у нас, несмотря на столь многие поучения, которые вы слышите от меня, несчастного, несмотря на чтение божественных Писаний и отеческих наставлений, несмотря на постоянную молитву и исповедь! Разве у нас не бывают часто волнение и малодушие, шумные разговоры, преслушание, надменность и тщеславие, праздность и дерзость, небрежение и холодность к порученным делам, нетерпение и ропот на старших?

Монахи стояли, кто глядя на игумена, кто косясь на соседей, кто низко опустив голову, а некоторым хотелось провалиться сквозь мозаичный пол или как-нибудь скрыться внутри одной из темно-зеленых мраморных колонн. Лучи вечернего солнца, вливаясь в храм через два ряда окон на южной стене, не достигали, однако, середины широкого центрального нефа, который в любое время дня был несколько затенен. И сегодня кое-кому из братьев, стоявших справа, эта полутьма казалась еще более тенистой и желанной – так хотелось им избежать острого игуменского взгляда...

– Но спрошу вас, братия: как мы сможем оказаться вместе с отцами, если не будем, насколько возможно, подражать их жизни? Мы не хотим нести ига послушания, не желаем явить хоть немного смирения, не хотим вооружить души терпением, но даже малая противность способна вывести нас из себя! Что же мы будем делать, когда посетит Господь? Вы помните, что мы пережили гонения, и кому-то они показались невыносимыми, так что некоторые отпали, хотя почти все и возвратились после с покаянием. Но теперь никто не гонит нас, у нас изобилие всего, а если иногда и бывает в чем недостаток, то и тогда – разве мы голодаем? Разве хоть однажды мы оказались без дневного пропитания? А ведь в миру не все имеют даже и его! И мы смеем роптать, а некоторые даже дерзнули, как вы знаете, самовольно оставить обитель! Как не страшимся мы суда Божия? И что я говорю о последнем и страшном суде, когда суд может постигнуть нас еще раньше? Не отберет ли у нас Господь во гневе то, что даровал столь милостиво? Что сделаем мы, если начнется новое гонение? Разве нам кто-то обещал, что мы до скончания жизни пробудем здесь в покое? Не говоря о том, что никому из нас не обещано, что он доживет даже и до завтрашнего утра: «не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий!»! Как же можно столь беспечно предаваться нерадению, чада?

После вечерни, по дороге в трапезную на ужин, брат Ефрем тихонько спросил у шедшего рядом Агафона:

– Что это отец наш про гонения заговорил? Вроде бы ничто не предвещает...

– Не знаю, брат. Может, и предвещает что-то, да мы не знаем...

Игумен же, сидя за трапезой, вспоминал последний разговор с патриархом, состоявшийся накануне.

– Тебе не кажется, отче, – спросил Никифор, – что Иоанн Грамматик что-то замышляет против икон?

Слухи о деятельности «антикensors веры» начали бродить по Константинополю спустя два месяца после начала работы группы, когда к ней присоединился прибывший в Город епископ Силейский Антоний. Говорили разное, но более всего держались два мнения: одни рассказывали, что некие лица под руководством Антония изучают древние рукописи, чтобы проверить, нет ли там каких указаний на будущность новой династии; другие утверждали, что на самом деле группу возглавляет Иоанн Грамматик и готовится «крушение веры». Сам епископ Антоний на вопрос патриарха сказал, что вероучительных вопросов они не исследуют, а занимаются в основном эллинскими сочинениями и астрологическими выкладками, поскольку император хочет узнать о продолжительности своего царствия и особенно о том, дарует ли ему Бог передать престол сыну, а кроме того, отчасти интересуется рекомендациями христианских отцов и древних философов относительно управления подданными.

– Повелел нам искать сочинения об этом не только в Городе, но и в отдаленных местах, хочет всё собрать в дворцовой библиотеке.

Действительно, вскоре все «антикensors», кроме протоасикрита, протопсалта Евфимия и Феодота, оставили столицу и отсутствовали до середины октября. Между тем в конце августа император вызвал к себе патриарха и сказал:

– Святейший, я тут читал книгу божественного пророка Исаии, и у меня возникли некоторые вопросы, которые я решил задать твоей честности.

– Я постараюсь ответить по мере моего разумения, государь.

– Очень надеюсь на это, святейший, ведь высота твоего ума и благочестия известны всем. В сороковой главе, – император раскрыл перед патриархом заранее приготовленную книгу и указал место, о котором говорил, – пророк вопрошает: «Кому уподобили вы Господа, и коему подобию уподобили вы Его? Не икону ли сотворил древоделатель, или золотарь, расплавив золото, не позлатил ли Его, подобием сотворил Его? Ибо древо негниющее избирает древоделатель и мудро ищет, как поставить икону Его, и да не поколеблется она». Я бы, наверное, не обратил на это внимания, если бы не вспомнил, как, еще в бытность мою стратигом Анатолика, один из господ архонтов не обмолвился однажды, что у пророка Исаии есть «пророчества против икон». И вот я вспомнил об этом, вчитался и смутился. Неужели тут действительно сказано о святых иконах?

– Нет, государь, – спокойно ответил патриарх, хотя сердце его тревожно забилось. – Ты и сам можешь увидеть, даже из этого малого отрывка, что речь тут об образах не в том смысле, в каком употребляем их мы. Видишь, пророк говорит, что иудеи, которых он обличает, уподобили Бога некоему «подобию», какой-то «иконе», как бы Самого Его сотворили из золота. Ведь язычники поклонялись и поклоняются своим идолам как самым богам или воображают, что Бог такой, как они его выдумали и изобразили. На самом же деле они никогда не видели Бога и не знают, каков Он, а потому их идолы суть плоды нечестия, образы несуществующих богов. Против этого зла и боролись святые пророки. Но мы, после того как Господь Иисус Христос истинно воплотился, изображаем Его по плоти и через Его образ возводим ум к Первообразному, а вовсе не самые иконы чтим, как богов. Этим и различаются иконопочитание и идолопоклонство.

– Ты говоришь хорошо, владыка, – ответил император. – Я и сам думал примерно так же, но хотел услышать твое мнение. Благодарю, святейший!

– Государь, – патриарх пристально взглянул на него, – осмелюсь обратиться к тебе с просьбой.

– Разумеется, я слушаю.

– Если кто-то... будь то господа архонты или люди простые, или из клира... Если кто-нибудь из них еще будет смущать тебя подобными доводами или просто излагать их как нечто достойное внимания или любопытное, прошу тебя, августейший, посылай их ко мне для беседы. Мне думается, так будет лучше для мира Церкви и твоей державы.

– Конечно, святейший, конечно! Но пока у тебя не должно быть поводов для подобного беспокойства. Все подданные нашей державы держатся правой веры, а если не так, то отступники скоро обнаружатся, молитвами Заступницы нашей Богородицы!

«А если не так...» Чем дольше патриарх размышлял над разговором с императором, тем двусмысленнее ему казались последние слова василевса. Кроме того, Лев ведь так и не назвал имя архонта, который завел с ним разговор про «иконоборчество» пророка Исаии. Да был ли он, этот «архонт»? Или, может, это был кто-то другой?

Поделившись своими сомнениями со Студийским игуменом, Никифор узнал от Феодора кое-что, подтверждавшее его опасения.

– Замышляет? – переспросил Студит. – Гм... Я не задумывался об этом, владыка, но... Возможно, это действительно так. Ведь у меня была с господином Иоанном небольшая переписка.

– Вот как!

– Да. Он первый написал мне, это было... где-то в январе, насколько я помню. Спрашивал, как я понимаю термин «подлежащее». Он сомневался, что это понятие включает в себя сущность вместе с лицом...

После того как состоялось примирение студитов с патриархом и братия вновь вернулись в свой монастырь, Феодор встретился с Грамматиком в Великой церкви в день Преполовения Пятидесятницы. Они раскланялись, и приветствовали друг друга праздничным «Христос воскрес!»

– Приятно видеть тебя вновь в этом храме, отец игумен, – сказал Иоанн, и его губы тронула улыбка настолько тонкая, что ее можно было бы принять за насмешку, если бы не дружеский тон Грамматика.

– Да и мне приятно вновь находиться здесь, господин Иоанн! – ответил Феодор.

– Ты не сердись на меня? – Иоанн смотрел ему прямо в глаза.

– За тот собор? О, нет! Я с самого начала знал, что его решения не проживут долго. А что ты тогда повлиял на итог заседания... Да не особенно, в общем-то, и повлиял. Им хотелось нас осудить во что бы то ни стало, и они бы это сделали так или иначе, а большая или меньшая строгость приговора – вещь не такая уж важная. Ведь мы всё равно прервали бы общение с теми, кто так явно пошел против заповедей!

– Можно ли ожидать иных речей от знаменитого предстоятеля Студия! – Грамматик улыбнулся, опять так же тонко. – Я рад нашей встрече, господин Феодор. И рад, что между нами отныне ничего не стоит. Не так ли?

– Конечно!

Однако некий осадок у игумена внутри после этого разговора остался. Впрочем, Феодор немедленно укорил себя в подозрительности, рассудив, что Грамматик просто очень сдержан, видимо, от природы, и на людей более открытых и пылких может иной раз производить не слишком приятное впечатление, хотя на деле за этим ровно ничего не стоит. «Кроме нашей неспособности соблюдать заповеди, как должно!» – вздохнул игумен.

Феодор мало общался с Грамматиком и был немного удивлен, когда тот написал ему. Оказалось, Иоанн прочел одно из сочинений Феодора относительно иконопочитания, и решил прислать автору некоторые свои соображения. Они показались игумену дельными, и он поспешил ответить Грамматику, вкратце обрисовав свое понимание вопроса, полагая, что такому умному человеку, как Иоанн, этого будет достаточно. Вскоре он получил от Грамматика ответ. Иоанн, похвалив «мудрость и глубокий ум» Студийского игумена, странным образом обошел молчанием собственно содержание письма Феодора, но зато задал новый вопрос – о том, как понимает Студит различие между богопочитанием, воздаваемом Христу, и почитанием иконы Христа. Феодор послал Иоанну ответное письмо, и вопрос был как будто исчерпан. Однако через некоторое время, в разговоре об иконах с несколькими братьями в келье у старца Платона, выяснилось обстоятельство, обеспокоившее игумена.

– Кстати, отче, – обратился к нему тогда старец, – разве ты переписываешься с Иоанном Грамматиком?

– Хм, вряд ли это можно назвать перепиской. Он написал мне отзыв на мое сочинение об иконах, я ответил ему кратко, и после этого он попросил меня объяснить различие между поклонением образам и богопочитанием. Я исполнил просьбу и с тех пор не имею от него вестей.

– Вот как? А ведь господин Иоанн, похоже, не удовлетворился твоим ответом.

– То есть?

– Да вот, вчера ко мне приходили, как ты знаешь, два брата из Далматской обители и сказали, что Иоанн в состоявшемся при них разговоре с господином экзархом раскритиковал твое письмо. Говорил, что ты излагаешь неясное учение, с богословской точки зрения сомнительное...

Феодор встревожился: значит, Грамматик не просто порицал его защиту иконопочитания, но еще и соблазнял других. Игумен немедленно написал Иоанну. «Если бы высказавший порицание был из необразованных простолюдинов, – говорил Студит, – то меня бы это не так тронуло: я привык переносить и стрелы зависти, и порицания невежд. Но так как упрек сделан другом, и другом мудрейшим, то я счел необходимым восстановить то письмо в памяти и послать твоей благосклонности как можно более подробное объяснение...» Приведя вновь свое письмо, прежде посланное Грамматику, Феодор прибавил к нему и некоторые пояснения насчет относительного поклонения иконам в связи с единством образа и первообраза. Ответ пришел очень скоро, но касался больше не икон – о них Иоанн писал только, что всякий образ отображает нечто иное по сравнению с ним самим, – а поклонения Христу: Грамматик обосновывал, что Христу подобает богопочитание и поклонение и до воплощения, и после него. На это рассуждение Феодору было нечего возразить, но, однако, вставал вопрос: что же хотел, собственно, сказать автор письма? Уж не то ли, что раз икона есть нечто иное по сравнению с Христом, то поклоняться ей не подобает?

Обсудив с патриархом обстоятельства этой переписки, Феодор стал склоняться к мысли, что Грамматик действительно «что-то замышляет».

– Эта группа Антония Силейского, – сказал Никифор, – собрана императором вовсе не для исследования пророчеств о его царствовании, я уверен в этом! Они и в самом деле ищут по храмам и монастырям книги, по большей части действительно эллинские. Но на днях у меня был игумен Хорской обители и сказал, что их библиотекарь обнаружил пропажу списка «Защитительных слов против порицающих святые иконы». Монахи все были допрошены и отрицают свою причастность к пропаже. Игумен подозревает, что это дело рук протопсалта. Евфимий по приказу императора три недели назад просматривал книги в их монастырской библиотеке и изъял оттуда древний список нескольких Платоновых диалогов и «Послания» Аполлония Тианского. Но это то, что Евфимий изъял открыто, а вот Дамаскина он, видно,

унес тайно. Хотя, казалось бы, зачем им понадобились эти «Слова»? Вряд ли для того, чтобы выискивать там пророчества о царствовании государя...

В октябре, когда все «антикенсоры», исключая епископа Антония, который поехал в Силей, возвратились в столицу, патриарх вызвал к себе Иоанна Грамматика.

– Отче, я бы хотел получить от тебя некоторые объяснения, – сказал Никифор. – Во-первых, относительно того, чем же всё-таки вы занимаетесь по поручению императора вот уже пятый месяц. Преосвященный Антоний сказал мне, что вы ищете пророчества о царствовании августейшего Льва и собираете книги эллинских мудрецов. Но со временем до меня стали доходить и другие известия о вашей деятельности. Если они верны, то это дает повод обвинить вас, прежде всего тебя и владыку Антония, в том, что вы нечестуете против догматов веры.

– Святейший, – ответил Грамматик спокойно и несколько холодно, – у нас и в мыслях не было нечестовать против священных догматов. Владыка Антоний сказал тебе правду о нашей деятельности. Впрочем, могу добавить, что лично у меня есть тут и свой интерес: попутно я разыскиваю редкие научные и философские рукописи, которые хотел бы собрать в нашем богоспасаемом Городе. Тем более, что в тех местах, где иной раз мы их находим, они совершенно не у дел и часто хранятся в таких условиях, что еще немного, и они бы погибли навеки. Ты ведь знаешь, владыка, – Иоанн чуть улыбнулся, – что книги это моя слабость.

– Хорошо, – сказал патриарх. – Но вот, например, знаешь ли ты библиотеку Хорского монастыря?

– Как не знать! Я там бывал несколько раз в прошлые годы. Неплохое собрание.

– Я тоже бывал там и знаю, что книги там читаются постоянно и хранятся в достойных условиях. Так зачем же понадобилось господину протопсалту уносить оттуда творения божественного Иоанна из Дамаска, да к тому же еще и тайно?

Патриарх не спускал глаз с лица Грамматика, но тот остался совершенно бесстрастен, только чуть приподнял одну бровь и сказал:

– Он унес оттуда Дамаскина? Откуда у тебя такие сведения, владыка?

– От Хорского игумена. Он сказал, что книга пропала после посещения библиотеки господином Евфимием.

– Хм... Не знаю, владыка, в чем тут дело. Вполне возможно, что ее потеряли сами монахи.

– Они утверждают, что ничего не знают о судьбе книги.

– Утверждать можно всё, что угодно, но ведь это не обязательно должно быть правдой. Вероятно, господину игумену стоит поискать нечестующих против догматов веры среди собственной братии. – Иоанн усмехнулся. – Тем более, что у них там живут и чужаки – пришельцы из Палестины. Кроме того, книгу могли просто потерять. Не знаю, сообщил ли тебе отец игумен, что он даже не подозревал о наличии у них в библиотеке таких авторов как Платон и Аполлоний Тианский. Поэтому я не стал бы слишком поспешно утверждать, будто в Хорской обители все книги «читаются постоянно и хранятся в достойных условиях». Список Аполлония, обгрызенный мышами, был найден завалившимся за шкаф.

Вновь чуть заметная усмешка пробежала по губам Грамматика. «Ловко вывернулся! – подумал патриарх. – А как ты вывернешься сейчас?»

– Что ж, возможно, ты и прав, Иоанн. Но у меня к тебе есть и другой вопрос. Каким образом ты, состоя в клире, покинул Город не только без моего на то благословения, но даже и не сообщив мне ничего о своем отъезде? Разве ты не знаешь, что это каноническое нарушение, которое может повлечь за собой епитимию?

Иоанн, однако, не только нимало не смутился, но вновь усмехнулся и сказал, глядя в глаза патриарху:

– Да, безусловно, я проявил непослушание и самовольство, святейший. И конечно, если ты мог бы доказать, что я «нечестую против догматов веры», можно было бы извергнуть меня из сана. Но не знаю, извергали ли когда-нибудь в истории Церкви из сана за простое отлучение

с места служения, тем более с поручением от государя... Однако в борьбе за веру всегда есть место подвигу, владыка!

Находившийся в соседней комнате келейник, услышав через чуть приоткрытую дверь эти слова, не поверил своим ушам. «Какая дерзость! – ужаснулся он. – Что же скажет святейший?!...»

– Не стоит тратить силы на подвиги столь незначительные, – в тон Грамматику ответил патриарх. – Трехмесячного отлучения от священнослужения, полагаю, будет довольно для твоего почтенства.

– Твоей святости виднее, владыка. – Иоанн даже головы не склонил.

Когда Грамматик в тот же день после ужина пересказал Мелиссину этот разговор, Феодот рассмеялся, покачал головой и воскликнул:

– Блестящая перестрелка, господин Иоанн! Но, однако же, такое неуважение к сану, столь явно выказанное... Тебе не кажется, что это несколько неосторожно?

– Пустое! Уважение к сану – вещь непостоянная, господин Феодот, как и сам сан. Сегодня у тебя нет сана, завтра есть... а послезавтра, глядишь, и опять нет!

– А ведь правда твоя! – Мелиссин от души расхохотался.

– Поэтому уважение должно иметь совсем другие основания, нежели наличие сана. Таких оснований три.

– А именно?

– Ум, власть и способность внушить страх.

– Хм... Второе и третье – не две ли стороны одного и того же?

– Не совсем. Можно иметь власть, но не внушать страха... по крайней мере, большого страха. Скажем, из-за мягкотелости или глупости. И можно внушать страх, не имея власти. Например, я хочу добиться от кого-нибудь согласия на то или иное дело. Он противится мне, а власти над ним, чтобы его принудить, я не имею или имею недостаточно. Но у меня есть друг или покровитель, который такую власть имеет. И вот, он говорит: «Если не согласишься с ним, – то есть со мной, – я сделаю с тобой то и то...»

– Да, ты прав, – Феодот помолчал. – Ну, а для тебя самого что тут привлекательнее как основа для уважения – ум, власть или способность внушить страх? Ум, вероятно?

– Ум, внушающий страх, – улыбнулся Иоанн, – и власть над умами.

...Сразу после разговора с Грамматиком Никифор послал записку Студийскому игумену, и на другой день Феодор был у патриарха. Тот в подробностях рассказал ему о встрече с Иоанном и заключил:

– Очевидно, они чувствуют за собой поддержку императора и потому не боятся. Антоний Силейский говорил мне, что государь дал им срок для сбора книг до Рождества Христова. Значит, на Рождество или вскоре после него они намерены публично обнаружить свои замыслы. И тогда мы должны дать им достойный отпор. Итак, у нас в запасе два месяца. Не так и много, но мы должны успеть подготовиться.

– Да, владыка, – ответил игумен. – Времени не много, но не так и мало. Сейчас самое важное, как мне кажется, – не показывать вида, будто мы что-то предпринимаем. Они так уверены в своем будущем успехе, что даже перестали бояться осуждения. Пусть же думают, что мы ничего не предпринимаем... и даже не подозреваем.

– Это правильная мысль, но Иоанн уже понял из нашего разговора, что я о многом догадался.

– Это ничего, святейший. Если они увидят, что ты ничего не предпринимаешь, то решат, будто у тебя нет ни сил, ни средств организовать отпор. А это придаст им самоуверенности, и тем больше будет им получить ответный удар.

– Пожалуй... Отче, я бы просил тебя сделать для меня копии всех писем, которые ты когда-либо писал в защиту святых икон.

– Да, владыка.

Никифор помолчал и сказал:

– Наш ответный удар должен быть не только неожиданным для них, но и таким, чтобы привести их в замешательство.

– Собор?

– Да. Нужно подтвердить свою верность решениям Никейского собора и подготовиться к беседе с императором. Я уверен, что он захочет надавить на нас. С Иоанном и его сборищем никаких разговоров, конечно, не может быть, но императора надо попытаться переубедить... или, по крайней мере, показать ему, что мы намерены отстаивать православие до конца.

– Такой собор был бы прекрасным ходом! Хорошо бы прямо на Рождество Спасителя.

– Пожалуй. Надо, чтобы к этому времени сюда съехались преосвященные и игумены. Но так, чтобы император и его сообщники об этом ничего не знали. Приезжающим надо будет останавливаться не в Городе, а где-нибудь в предместьях, и не появляться здесь до времени собора... Ладно, это я еще обдумаю позже. Приглашения я разошлю сам. А ты, отче, пиши всем, кому только можно, и утверждай в православии. Нас ждут испытания, и один Бог знает, кто выстоит до конца... Пиши, Феодор, не умолкай!

– «Время говорить», владыка, и можно ли ныне молчать?!

## 24. Свидетели истины

*Но узнаю тебя, начало  
Высоких и мятежных дней!  
(Александр Блок)*

Императора разбудили в середине ночи и сообщили, что вечером в патриархии состоялся собор, где было почти три сотни епископов, игуменов, клириков и монахов.

– Председательствовал святейший, – докладывал комит схол. – Они дали обещание стоять за иконы до смерти, предали анафеме владыку Антония Силейского и его сторонников и постановили не допускать пересмотра Никейского собора, бывшего при Ирине. А сейчас они совершают бдение в Великой церкви, и вместе с ними толпа народа. Похоже, всё это готовилось уже давно, августейший. Не было бы бунта...

Работа «антикensorsов» была завершена в середине декабря, и Иоанн представил императору выписки со свидетельствами из Писания, где слово «икона» употреблялось для обозначения идола, и из отеческих творений, которые можно было истолковать в иконоборческом духе. При этом он посоветовал императору сначала показать патриарху собранные отрывки из Писания, а из отеческих свидетельств не все, но только часть. Лев так и сделал: 17 декабря он пригласил к себе патриарха и сказал, что некоторые из его людей нашли свидетельства Писаний, которые ясно показывают, что если там и говорится об иконах, то только в отрицательном смысле, а поклонение образам запрещается как идолопоклонство.

– Я понимаю, – сказал император, – что там речь идет не об иконах воплощенного Бога, как у нас, а о ложных языческих образах, но далеко не все наши подданные достаточно образованы и начитаны, чтобы понимать это. Многие соблазняются, тем более что отрывки из Писания, где говорится: «Чему уподобили вы Господа?» и прочее, читаются в Церкви во всеуслышание. В народе говорят, что язычники побеждают ромеев потому, что мы впали в идолопоклонство. Поэтому мне думается, что для спокойствия нашей державы необходимо в виде снисхождения снять в храмах низко висящие иконы, чтобы им не поклонялись, поскольку мы не обретаем свидетельств об этом в Писаниях.

Патриарх возразил, что снисхождение в области догматов веры невозможно, а иконопочитание – догмат; что далеко не все обычаи, принятые в Церкви, имеют прямые свидетельства в Писании, но многие из них – устное церковное предание, например, обычай поклоняться Кресту; что вопрос об иконах уже достаточно был разобран на Никейском соборе и не следует заново начинать споры о том, что давно решено почтенным собранием отцов, в присутствии представителей от всех патриархатов. Тогда император сказал, что в таком случае Никифору надо встретиться с людьми отыскавшими в книгах свидетельства против икон, подробнее ознакомиться с их доводами и убедить их, что они ошибаются. Патриарх и от этого предложения отказался, заявив, что эти люди, кто бы они ни были, уже отлучили себя от Церкви тем, что пошли против установленных догматов, а потому ни в какие споры с ними он вступать не намерен, и единственное, что он может сказать об этих людях: «Если кто благовестит нам нечто сверх того, что мы приняли, “анафема да будет”», по слову апостола.

– Может быть, – добавил патриарх, – кому-то не нравлюсь я, смиренный, и это из-за меня происходит такой соблазн против правой веры? Тогда изгоните меня и делайте со мной, что хотите, только веру не потрясите!

– Да кто же дерзнет, святейший, изгнать патриарха и отца нашего или потрясти Церковь? Мы только провели небольшое исследование, поскольку противники икон много болтают и народ смущается из-за болтунов... А я верую так, как верит Церковь.

– Государь, если так, то это прекрасно! Но чтобы ты мог убедиться, августейший, что об иконах я излагаю тебе не свое личное мнение, но общецерковное, я пришлю к тебе избранных отцов, чтобы и от них ты услышал истину.

Лев согласился и через день принял посланную патриархом группу епископов и игуменов, надеясь, что сумеет убедить их вступить с Грамматиком и епископом Антонием в прения об иконах. Но его ждало разочарование: все пришедшие, как по писанному, говорили заодно с патриархом и от диспутов с противниками икон твердо отказались. Более того, в ту же ночь патриарх, собрав клир, монахов и мирян, совершил бдение в Великой церкви, моля Бога «разрушить злой совет, совещаемый против святой веры». Когда император потребовал от Никифора отчета, что это он сделал, патриарх ответил:

– Ничего плохого мы не сделали, государь. Мы лишь молили Бога, чтобы Он сохранил Церковь невозмущаемой, если это угодно Ему.

В пятницу утром произошло событие, воспринятое в столице как знак грядущей новой схватки за иконы. Несколько воинов с криками и руганью в адрес «идолопоклонников» забросали грязью и камнями образ Христа над Медными воротами – главным входом в Священный дворец. В тот же день после полудня император приказал снять икону с ворот и объявить народу, что это сделано для того, чтобы злонамеренные люди «более не оскверняли святыню». Иоанн Грамматик и Феодот Мелиссин наблюдали за происходящим на Августеоне из восточного портика. Народу собралось немало, но криков возмущения не было слышно, даже напротив – некоторые выражали одобрение.

– Да, – насмешливо заметил Мелиссин, – что-то сейчас не обрелось таких ревнителей икон, которые бы помешали «кошунству», как при Льве Исаврийце.

– А ты уверен, что они вообще были, те ревнители? – Грамматик усмехнулся. – Я не нашел в книгах свидетельств современников о тех «мучениках». Сдается мне, это сказки, выдуманные иконопоклонниками после Никейского собора.

Патриарх с архидиаконом и келейником тоже наблюдали из окна, как сняли и унесли икону Спасителя. Никто из них не проронил ни слова, а когда толпа зевак почти разошлась с Августеона, Никифор сказал:

– Пора созывать собор.

На соборе патриарх зачитал свидетельства против иконопочитания, предъявленные ему императором, истолковывая каждое по-православному, а затем спросил собравшихся:

– Не имеете ли вы что-то сказать на это, братия?

– Мы знаем и совершенно уверены, что наша вера истинна, и все умрем за это! – воскликнул Евфимий, архиепископ Сардский. Собравшиеся единогласно подтвердили это. Тогда патриарх сказал:

– Итак, братия, отныне да пребудем в единомыслии, нераздельно связанные, как одна душа, в этом исповедании, да не обретут противники случая отделить кого-нибудь из нас, – и тогда они не возобладают нами, ибо, благодатию Божией, нас больше, чем их.

Узнав о состоявшемся соборе, император в первый момент был поражен. Патриарх, кажется, оказался гораздо хитрее, чем он думал! И всё это действительно походило на подготовку мятежа... Но какова дерзость, как ловко они всё обернули: сумели созвать и провести такой большой собор, а во дворце об этом узнали только теперь!

Через четверть часа император уже диктовал сонному асикриту краткое письмо к патриарху, призывая его с наступлением утра явиться во дворец для объяснений. Эту записку принесли и вручили Никифору в алтаре, в самом конце богослужения. Патриарх зачитал ее с амвона. Все взволновались, слышались крики:

– Мы пойдем с тобой, владыка! Постоим за веру!

Весь собравшийся народ единодушно последовал с патриархом и членами собора во дворец, однако их задержала стража, впустив только Никифора. Лев обрушился на него с упреками:

– Не ожидал я от тебя, святейший, такой скрытности и лукавства! Ты проводишь собрания и принимаешь решения, не ставя нас в известность! Ты возмущаешь народ против власти, нарушаешь мир Церкви! Разве ты не знаешь, какое наказание налагают законы подстрекателям к мятежу? Впрочем, – продолжал Лев уже мягче, – я знаю, что твое святейшество не желает зла нашей державе. Со своей стороны, мы тоже не желаем зла Церкви, а только хотим рассмотреть всесторонне вопрос, смущающий людей. Я уже говорил тебе, что многие смущаются и готовы отойти от Церкви из-за почитания в ней икон. Они ссылаются на Писание и отцов, и если их недоумения не разрешить, у нас никогда не будет единства веры! Думаю, вам не следует упираться, нужно встретиться с сомневающимися относительно икон и разрешить вопрос в открытом споре.

– Государь, – ответил патриарх спокойно и твердо, – у меня и в мыслях не было производить смуту и чем-либо навредить твоей державе. Да не прогневается на меня твое величество, но я вынужден заметить, что ты первый нарушил церковный мир. Ты дал обещание не посягать на священные догматы, но сейчас открыто поддержал сторонников ереси, уже много лет соборно осужденной гласом вселенской Церкви. Молю тебя, государь, именем Христа Бога, откажись от поддержки этих нечестивцев, не переходи пределов, положенных святыми отцами! Кто теперь не чтит священные образа? Разве Рим, Александрия, Антиохия или Иерусалим не почитают их? Ты опасаясь, что мы не достигнем единства веры, если не согласимся на беседу с противомыслящими, а я говорю, что именно через беседу с ними мы встанем на путь разрушения веры. Что мешает этим людям послушно принять определения святого Никейского собора? Полагаю, только их развращенная воля. Но так и во все века отпадали еретики от Церкви, она же пребыла неколебимой. Нам не о чем разговаривать с этими отступниками. А если твое величество лично смущается относительно почитания священных изображений, то я готов представить доказательства православности их почитания.

– Твои доказательства мне известны, святейший. Мы ведь уже говорили об этом.

– Да, и в тот раз твое величество, как мне казалось, сочло мои доводы убедительными. Разве ты изменил мнение, государь, и теперь мои слова тебе представляются ложными?

– Не то, чтобы ложными, – ответил император, хмурясь, – но ко мне приступают со своими обоснованиями и люди противных мнений, чуть ли не обвиняя в ереси меня самого. Не могу же я ссылаться всё время только на твои доказательства, высказанные мне в частной беседе! Ты, конечно, говоришь складно... Но я хочу знать, что скажут остальные. – И Лев повелел позвать во дворец всех участников прошедшего накануне собора, а также синклитиков и прочих вельмож, были позваны и «антикенсоры».

Уже совсем рассвело, когда все приглашенные собрались в Золотом триклине. Но Грамматика, Антония Силейского и их помощников Лев не решился сразу показывать публике, повелел им стоять за завесой в одной из ниш, откуда всё было хорошо слышно. Антоний вместе с протопсалтом даже подглядывали в щель между занавесями. Иоанн стоял у стены, скрестив руки, с равнодушным видом; хотя внутренне он испытывал волнение, по его лицу догадаться об этом было невозможно.

Воссев на трон, Лев пригласил патриарха сесть в кресло рядом; с одной стороны от них выстроились придворные в парадных одеяниях и с мечами, с другой встали епископы, клирики и монахи.

– Почтенные отцы! – начал речь император. – Я знаю, что вы вчера собрались все вместе, намереваясь защищать почитание икон, как будто бы им грозит какая-то опасность. Но я должен сказать, что здесь имеет место недоразумение, точнее, недоумение со стороны некоторых лиц, а вовсе не злой умысел с моей стороны!

– Государь, – ответил патриарх, – мы будем несказанно рады, если все недоумения разрешатся по воле Божией. Позволь же мне ради скорейшего их разрешения задать присутствующим один вопрос.

– Бога ради, святейший! – Император сделал рукой пригласительный жест. Он уже успел переговорить с Иоанном, и тот успокоил его, сказав, что, если даже диспут не состоится, иконопоклонникам всё равно не торжествовать долго:

– Собранные все вместе они будут геройствовать друг перед другом, и это прибавит им спеси, но зато потом, государь, воздействуя на них поодиночке, можно будет переиграть многое. Может быть, почти всё.

Патриарх, обведя глазами синклитиков и придворных, спросил:

– Скажите мне, господа, может ли исчезнуть несуществующее?

Те не поняли вопроса и недоуменно переглядывались, многие обращали взгляд к императору, но тот тоже ничего не понимал. Тогда патриарх задал новый вопрос:

– Пали ли при императорах Исаврийских Льве и Константине иконы или нет?

Синклитики закивали:

– Да, да, пали! – послышались голоса.

– Стало быть, – спокойно сказал патриарх, – они, конечно, стояли. Ведь не стоявшее как может упасть?

В рядах придворных воцарилось молчание. Православные украдкой переглядывались, пряча улыбки. Чтобы не затягивать тишину, император сказал:

– Знайте, отцы, что я думаю так же, как вы. – С этими словами Лев вынул из-под одежды большой золотой крест с вделанными в него эмалевыми иконками, приложил к нему, и продолжал: – Как видите, я ни в чем не расхожусь с вами. Но появились люди, которые учат иначе и приводят доводы от Писаний. Итак, пусть они выйдут к вам, и вы обсудите между собой этот вопрос. Если они убедят вас в своей правоте, то надеюсь, вы не будете препятствовать благому делу утверждения истины. Если же вы убедите их, что их учение является нововведением, то они будут принуждены немедленно прекратить учить худому, и да господствует та вера, что и прежде. Ведь если бы меня обвиняли и по менее важному поводу, мне не следовало бы молчать, а здесь вопрос церковный.

– Нет, не дело это! – раздался голоса. – Мы не хотим ничего обсуждать с этими отступниками! Мы и видеть их не желаем!

– Если это церковный вопрос, как ты истинно говоришь, государь, – выступил чуть вперед епископ Кизический Емилиан, – то пусть он и обсуждается в церкви, а не во дворце. Здесь ли место для церковных собраний? Разве ты не знаешь, что догматические вопросы всецело подлежат ведению церковной власти, и не дело придворных или мирских людей разбирать их и выносить суждения?

– Но я чадо Церкви, – возразил Лев. – Я выслушаю вас как посредник и, сравнив то и другое учение, узнаю, где истина.

– Если ты посредник, государь, – сказал Михаил, митрополит Синадский, – то почему не исполняешь дело посредника? Да не прогневаешь на нас твое величество, но ты не можешь быть судьей в этом споре. Судья и посредник между противными сторонами должен быть беспристрастен. Но ты явно покровительствуешь противникам священных образов: они уже полгода живут во дворце и питаются от твоего стола, как всем давно известно. Где тут беспристрастие?

– Нет, это не так, – сказал император. – Я же сказал, что я – как вы. Но раз меня обвиняют, я не могу отмалчиваться. И по какой причине вы не желаете говорить с ними? Из вашего упорства очевидно, что вы в затруднении, у вас нет свидетельств, подтверждающих ваши слова! Ведь я только хочу устранить смущение...

«Притворство!» – перешептывались собравшиеся православные, покачивая головами.

– Нет, государь, увы, ты только больше разжигаешь смуту своими действиями, – возразил Петр, митрополит Никейский. – Как ты предлагаешь нам беседовать с ними, когда вот, ты сам их союзник? Разве не ясно, что если ты и манихеев привел бы сюда и повелел бы нам спорить с ними, им была бы присуждена победа, потому что ты помогал бы им!

– Да, государь, – сказал епископ Никомидийский Феофилакт, – это не послужит к пользе. Приведет ли к установлению истины наш спор с противниками икон, когда твое величество на их стороне? Ведь уже одно это будет уздой для свободы рассуждений. Ты говоришь, что у нас нет свидетельств, но Свидетель нам, во-первых, Сам Христос, чье изображение тут перед глазами твоими, – и он указал на большую икону Спасителя, висевшую прямо над троним императора, – а во-вторых, есть тысячи свидетельств, подтверждающих это, и у нас нет недостатка в том, о чем ты заботишься. Но увы! – тут нет ушей, которые бы выслушали нас, ведь мы воюем против власти.

Пока император обдумывал, что возразить, патриарх глазами нашел среди предстоявших архиепископа Сардского Евфимия и чуть заметно кивнул ему. Тот вышел вперед и заговорил более дерзновенно, чем выступавшие до него:

– О, государь! С тех пор, как Христос сошел на землю, и донныне Он изображается и почитается на иконах повсюду в церквях. Так какой же наглец осмелится поколебать и упразднить предание, которому столько лет, предание апостолов, мучеников и преподобных отцов? Великий собор, бывший в Никее, уже раз и навсегда принял решение относительно икон, и всякий, дерзающий отменить его, ставит себя вне Церкви, поэтому нет нужды вступать в новые прения с иконоборцами. Мы имеем заповедь богоносного Павла: «Итак, братие, стойте и держите предания, которым вы научились или словом, или посланием нашим». И он же изрек еще: «Если мы или ангел с неба стал бы возвещать вам нечто вопреки тому, что мы благовестили вам, анафема да будет»!

Император уже начал раздражаться, однако пока еще изображал великодушие. Синклитики украдкой переглядывались: становилось очевидно, что задуманное василевсом мероприятие шло не так, как он предполагал. А Лев переводил глаза с одного епископа на другого, от одного монаха к другому... Все, все они были согласны и готовы были сказать одно и то же! Патриарх между тем нашел глазами игумена Феодора. Тот, поймав его взгляд, чуть заметно склонил голову и выступил вперед:

– Позволь, государь, и мне сказать несколько слов от лица предстоятелей монастырей.

Император окинул взором высокую сухощавую фигуру Студийского игумена. Лев знал, что не было среди собравшихся никого, кроме разве что самого патриарха, кто обладал бы большим авторитетом, чем этот худой монах с пронзительным взглядом, не ставший восемь лет назад главой Константинопольской Церкви только из-за нежелания императора Никифора. Что скажет этот? Вряд ли что-нибудь хорошее, но не дать ему слова нельзя, чтобы не подтвердить обвинение в пристрастности... Император кивнул, и Феодор заговорил:

– Зачем, государь, ты вздумал производить смятение и бурю в Церкви, которая наслаждается миром? Зачем ты хочешь вновь сеять среди верующих уже исторгнутые плевелы нечестия, а если и не так, – прибавил он, заметив, как император сделал нетерпеливое движение рукой, – то возбуждать надежды у давно осужденных еретиков? Зачем твое величество настаивает на словопрении с ними? Апостол Павел заповедал не спорить о вере с нечестивыми, не вести «скверных и суетных бесед на расстройство слышащих». Вспомни его слова: «Если кто учит иначе и не приступает к здоровым словам и учению, согласному с благой верой, тот возгордился, ничего не зная, но заражен страстью к состязаниям и словопрениям, от коих бывает зависть, рвение, хулы, лукавые подозрения, страстные споры людей, растленных умом и чуждых истины, полагающих, будто благочестие служит для прибитка: отступай от таковых».

Хотя император и не надеялся, что «этот смутьян» скажет нечто отличное от слов остальных, но речь игумена показалась Льву слишком дерзкой, и он уже не мог скрыть своего недо-

вольства – тем более сильного, что еще не так давно он надеялся с помощью Феодора расколоть патриарший лагерь: императору думалось, что игумен не устоит перед соблазном вступить в открытое прение о вере с Иоанном Грамматиком, а тогда можно будет вызвать на спор и других и внести какую-нибудь смуту в ряды иконопочитателей.

– Это я, значит, «растлен умом и чужд истине»? – сказал император гневно. – Ты, Феодор, как всегда, говоришь безумно и думаешь о себе слишком много! Если кто и возгордился, так это ты! Да и все вы тут порядочные гордецы! Вы даже не хотите видеть тех, кого я прошу вас выслушать, а ведь они, надо заметить, ничем не оскорбили вас даже до сего часа. Вы, не узнав еще в точности мнения другой стороны, уже бранитесь и поносите ваших ближних вместо того, чтобы разрешить их недоумения! И особенно ты, всегда любивший распри на пустом месте! Мало того, ты смеешь называть меня неразумным и чуждым истине и дерзко поносишь хулами... Ты забыл, что разговариваешь с императором, а не с простолюдином!

– Не свои слова я говорю пред тобой, государь, – возразил Феодор, нисколько не испугавшись, – но апостольские. Это учение святых отцов наших, это вера нашей Церкви. Вот и святой Игнатий Богоносец говорил: «Предостерегаю вас от зверей в человеческом образе, то есть еретиков, которых нам не следует не только принимать, но, если возможно, и не встречаться с ними». Если запрещено беседовать с еретиками, то кто сможет заставить нас вступать в рассуждение с иконоборцами, которые отвергли древнюю веру и противятся истине?

Император стиснул в кулак руку.

– Итак, Феодор, тебе кажется, что я делаю лишнее? Этим ты едва не вынуждаешь меня сказать тебе действительно лишнее, чтобы ты уже не смог вернуться в свой монастырь!

Взгляды императора и игумена встретились. Засиявшие глаза Феодора говорили: «Я всегда готов пострадать за веру Христову!» Однако император не дал ему заговорить.

– Но ты не заставишь меня поступить неосмотрительно по твоему желанию, – продолжал Лев, с трудом сдерживая гнев, – и не сделаешься от меня «мучеником», хоть ты уже и готов! Нет, я стерплю великодушно ваше презрение, лишь бы вы не отказались от беседы с теми, кто уверяет, что ваше мнение противно общей вере. Если же вы не захотите этого, то тем сами явно признаете свое поражение... и тогда вам уже поневоле придется последовать их учению!

Последние слова император произнес угрожающим тоном, но это не поколебало православных.

– Нет, нет! – раздался голоса. – Никаких споров с еретиками! Да не будет! Наша вера правая и согласна с верой всей Церкви!

Среди придворных нарастало ожидание чего-то уж вовсе скандального и провального для императорского замысла. Феодор воодушевился еще более.

– Внемли, государь, – произнес игумен с прежней смелостью и столь вдохновенно, что многим из смотревших на него, пришли на ум древние пророки, чьи речи начинались словами: «Так глаголет Господь», – тому, что чрез нас говорит тебе божественный Павел о церковном благочинии, и убедись, что не должно императору делаться судьей в таких делах. Последуй апостольским правилам, если считаешь себя православным! Апостол говорит: «Положил Бог в Церкви, во-первых, апостолов, во-вторых – пророков, в-третьих – учителей». Вот те, кто устраивает и исследует дела веры по воле Божией, а не император! Ибо апостол не упомянул о том, что императоры могут распоряжаться делами Церкви.

Лев сверкнул глазами, но и на этот раз сумел взять себя в руки и сдержать негодование. Усмехнувшись, он с иронией произнес:

– Итак, ты, Феодор, извергаешь меня из Церкви?

– Не я, – отвечал игумен, – но божественный апостол. Если же хочешь быть верным сыном Церкви, то ничто не мешает этому, только следуй во всем духовному своему отцу. – И Феодор простер руку в сторону патриарха.

«Отлично! – подумал Никифор. – Я знал, что Феодор не подведет!» Остальные православные тоже не могли скрыть своего торжества по поводу того, как умело Студийский игумен подвел свою речь к последнему удару. Император не хуже них понимал, что игра проиграна. Он поднялся с трона, гнев засверкал в его глазах.

– Вон отсюда! – крикнул он, не в силах более сдерживаться.

Покинув дворец, православные вновь отправились в патриаршие палаты, где стали делиться друг с другом впечатлениями от визита к императору, хваля тех, кто мужественно говорил перед ним. Более всего расточалось похвал Студийскому игумену. Патриарх даже обнял Феодора, расцеловал и не отпускал от себя: в тот день Никифор, наконец, совершенно оценил этот непреклонный характер, который когда-то столько порицал. Теперь, в преддверии бури, когда уже сгустились тучи и раскаты грома возвещали о том, что молнии не замедлят засверкать прямо над головой, патриарх, оглядываясь вокруг, раздумывал, на кого он сможет безбоязненно опереться в грядущей борьбе, кто из обещавших стоять за православие действительно останется верен, если дело дойдет до ссылок, тюрем и бичей. И первым, о ком патриарх без тени сомнения мог сказать: «Будет верен до смерти!» – был игумен Студийский. Да, на Феодора можно опереться, он не подведет!

Спустя час или полтора в патриархию явились люди от епарха и огласили собравшимся императорский приказ: немедленно разойтись по своим местам, монахам не выходить из монастырей, епископам не выезжать из своих епархий, впредь не делать подобных собраний, не учить и не вступать в беседы об иконопочитании. Так император хотел обеспечить спокойствие в обществе, но православные смотрели на этот приказ иначе, и опять, по знаку патриарха, вышел вперед Феодор Студит.

– «Праведно ли повиноваться вам более, нежели Богу, судите», – начал он знаменитыми словами из Деяний Апостольских. – Нет, скорее нас лишат языка, чем мы откажемся хотя бы и на малое время от защиты веры, ведь это послужит во вред Церкви! Что до собраний, то если святейший наш владыка не пригласит нас, мы и без запрещения императора собираться не станем; в противном же случае не послушаем вас, но пойдем по зову нашего архипастыря и будем говорить, что следует, ради защиты веры!

Взгляд Феодора выражал такую бесстрашную решимость, что посланные опустили глаза и, не находя, что возразить, ретировались. Часам к четырем пополудни почти все православные разошлись, но Феодора патриарх попросил остаться и пройти с ним в его покои.

Император, узнав об ответе Студийского игумена от лица всех православных, в гнев воскликнул:

– Они еще увидят, чья возьмет! Упрямые идолопоклонники! Уж не думают ли они, что народ не удастся убедить, что клир и монахи пойдут за патриархом в огонь и воду? Какая самонадеянность! Но напрасно они думают, что никого не найдется противостать их нечестию!

...Отпустив келейника, патриарх тяжело опустился в кресло. Откровение, полученное им при коронации Льва, сбывалось на глазах, и худшие опасения оправдались: всё-таки опять иконоборчество! Ересь, казалось бы окончательно низверженная восемнадцать лет назад, воскресла. И во главе нечестия оказался Иоанн, этот сильный, но холодный и надменный ум... Недаром патриарх никогда не любил этого монаха, несмотря на все его познания, аскетизм и молчаливость! Никифору вспомнилось, как на злополучном соборе, получившем от противников прозвище «прелюбодейного», Иоанн сумел всего парой фраз решить исход дела в сторону наиболее резкого решения. Да, этот человек умеет играть людьми, а император попал под его влияние... Теперь схватка неизбежна.

Патриарх опять вспомнил, как Халкитский игумен рассказывал, что заключенный в его монастыре Феодор часто говорил о грядущей буре. Не эту ли бурю он провидел еще тогда?

Никифор взглянул на Феодора, задумчиво стоявшего у стола. Игумен поднял голову и посмотрел на патриарха ясным взором.

– Не унывай, владыка! – сказал он. – Буря прогремит и пройдет... и святые просияют светлее золота, как предрек отец Платон, а беззаконики посрамятся и «падут при аде», как сказано. Бог милосерд, не допустит нам искушаться выше сил и не предаст наследия Своего врагам!

Патриарх встал, несколько мгновений смотрел на игумена, сказал тихо:

– Прости меня, отче! – и опустился перед ним в земном поклоне.

– О, владыка! Господь с тобой! Прости и ты меня, грешного! – Феодор тоже бросился патриарху в ноги.

Они обнялись и расцеловались со слезами, и эти слезы вымыли последние занозы недоумений и обид, еще цеплявшиеся где-то в глубине души. Они смотрели друг на друга и молчали, им не нужно было ничего говорить: невечерний Свет сиял в них и соединял воедино – отныне и навсегда. С этого часа они трудились, не покладая рук, и письменно, и устно призывая всех верных быть мужественными, восставляя упавших духом и увещевая немощных в вере. Игумен часто встречался с патриархом, чтобы обсудить планы дальнейших действий, и, кроме того, чувствуя, что святейший нуждался теперь в его особенной поддержке.

Константинопольская Церковь готовилась к новой схватке с ересью.

## ЧАСТЬ II. БОРЬБА ЗА ОБРАЗ

*Им для того ниспослали и смерть, и погибельный жребий  
Боги, чтоб славною песнию были они для потомков.*  
(Гомер)

## 1. Порттик Мавриана

*Не слушайте слов пророков, которые пророчествуют вам и прельщают вас: видение от сердца своего говорят они, а не от уст Господних.*

*(Книга пророка Иеремии)*

Император только вернулся к себе после вечерни, как доложили о приходе патрикия Фомы. Лев посмотрел на вошедшего выжидательно. В последнее время ожидание царствовало и в сердце василевса, и при дворе. Все ждали, чем окончится поединок «между Священным дворцом и Великой церковью», как выразился Феодот Мелиссин. Как ни старался патриарх удержать неумолимый ход событий, все усилия были тщетны. На праздник Богоявления император, войдя по обычаю в алтарь Святой Софии, не воздал поклонения священным изображением на алтарном покрове, тем самым ясно показав, какое решение принял. Тогда патриарх написал нескольким влиятельным синклитикам и даже императрице, моля их убедить императора не потрясать Церковь. Но всё было напрасно: синклитики только посмеивались и пожимали плечами, а кое-кто даже поносил Никифора за «баранье упрямство». Августа тоже не решилась открыто противостать мужу, тем более что ничего не понимала в богословии. Она лишь спросила, точно ли он уверен, что задуманное им «ниспровержение ложного догмата» угодно Богу.

– Более, чем уверен! – ответил Лев. – А если я и ошибаюсь, то Бог укажет на это. Ты что, думаешь, я безбожник и не молюсь Ему о вразумлении? Да ведь и патриарх молился на коронации о том, чтоб Господь руководил мною... Притом, прежде чем делать то, что я делаю, я совещался с людьми достойными и мудрыми. Успокойся, ради Бога, и не докучай мне больше своими страхами! Вот ведь, женщины!

Феодосия вздохнула и решила, что она сделала, что могла, а прочее уже не ее ума дело, – «и да будет воля Божия!» Между тем император взялся за тех епископов, которые не успели разъехаться из столицы после проведенного патриархом собора. Сам Лев, впрочем, увещаниями не занимался, памятуя рождественский провал, а поручил это дело протопсалту, протоасикриту и Феодоту Мелиссину. Они воздействовали на собеседников, пуская в ход те святоотеческие цитаты, которые в свое время, по совету Иоанна, не были показаны патриарху и поэтому не разбирались на собрании православных после встречи с императором; иерархов, известных склонностью к тщеславию и корыстолюбию, соблазняли обещаниями почестей и даров; более образованных и неуступчивых отправляли для увещания к Грамматику. Здесь поражение патриарха тоже оказалось весьма чувствительным: уже к концу января многие из епископов, подписавшихся под определением собора и обещавших стоять за веру до смерти, обратились против икон. Когда таких епископов набралось достаточно, Лев отправил нескольких к патриарху с призывом «внять голосу верных» и «применить божественное и богоугодное снисхождение». Это было 28 января, за две недели до начала Великого поста.

– Святейший, согласись с нами немного в том, чтобы снять низко висящие иконы, – сказали посланные. – Если же ты не хочешь, то знай, что мы не позволим тебе здесь пребывать. Церковь не нуждается в тех, кто противится ей!

– Это вы-то Церковь? – насмешливо ответил патриарх. – Нет, господа, вы не Церковь, вы лжецы и крестопопиратели. Так-то коротка у вас память, что вы забыли и свое обещание стоять за веру до смерти, и подписи и кресты, которые поставили под ним?! Пойдите вон и избавьте меня от слушания ваших безумных речей. А государю передайте вот что: просто так с кафедры я не уйду, потому что на мне нет вины для низложения. Если же меня насильем

принудят к этому из-за моей православной веры, то пусть он прикажет своим слугам меня вывести, и тогда уйду.

Посланные удалились в гнев, едва удержавшись от проклятий в адрес Никифора. Но и святейшему это посещение обошлось дорого: вечером он слег в постель с сердечным приступом, к ночи у него вступило в печень и сделался жар, а наутро патриарх был уже в таком состоянии, что келейник с испугу вызвал не одного врача, а целых трех. Наследники Асклепия прописали больному сандаловый сироп, розовый мед и полный покой. Поэтому, когда на другой день в патриаршие палаты опять явились двое епископов вместе с Феодотом Мелиссином, келейник попросту захлопнул дверь у них перед носом со словами:

– Владыка болен, ему нужен покой!

– Лучше б он на вечный покой поскорей отправлялся, – пробормотал Феодот. Оба епископа дипломатично промолчали, но в душе были согласны с патрикием: патриарх становился лишним звеном в цепи.

После этого в течение нескольких дней ничего определенного о состоянии здоровья патриарха узнать было нельзя. Император воспользовался болезнью Никифора, чтобы временно передать церковное управление в руки патрикия Фомы, однако недуг патриарха обеспокоил василевса. «Теперь еще начнут говорить, что я уморил его!» – думал Лев, а в глубине сердца зашевелилось сомнение: «Точно ли я иду правым путем?» Колебания императора не укрылись от Мелиссина, и Феодот, никому ничего не говоря, даже Иоанну, отправился к знакомому монаху, который жил в портике Мавриана и слыл у народа постником и молитвенником. К этому черноризцу однажды ходила и супруга Феодота: ее стали сильно донимать головные боли, и одна подруга посоветовала ей попросить молитв у «маврианского подвижника».

– Чудеса! – сказала Мелиссину жена, вернувшись от монаха. – У меня сегодня опять так голова болела, а вот только этот отец помолился и перекрестил меня, так и снял всё! И до сих пор не болит, ты подумай! Видно, он и впрямь святой, правду люди говорят! Вот только мне странным показалось... В углу-то этом, где он живет, ни одной иконы у него нет!

– Вот как? – Феодот приподнял брови. – Ну, верно, он взошел на такую духовную высоту, что беседует с Богом, так сказать, лицом к лицу...

Через несколько дней Феодот навестил этого монаха и разговорился с ним, с того времени они и подружились, если только это можно было назвать дружбой. Патрикий посещал монаха примерно раз в месяц, просил молитв, благочестиво ужасался его «нищей и постной» жизни и рассказывал те или иные придворные сплетни, до коих подвижник, несмотря на носимые им вериги, оказался весьма охоч: он мог порассказать Мелиссину ничуть не меньше слухов – не придворных, но уличных, а они-то как раз, в свою очередь, интересовали Феодота. И вот, отправившись к нему на сей раз, патрикий после обычной болтовни сказал:

– Видно, отче, грядут у нас в Церкви перемены. Святейший заболел, того и гляди отдаст Богу душу.

– Помилуй, Господи! – Монах набожно перекрестился.

– Господь да помилует всех нас! – не менее набожно отозвался Феодот и продолжал: – Значит, будет новый патриарх... А новому патриарху понадобятся помощники, свежие силы... в том числе в клире. – Патрикий значительно взглянул на собеседника.

– Господь да поможет восстановить чистоту веры! – Монах вновь сотворил крестное знамение.

– Аминь! – ответил Феодот. – Но вот какое дело, отче... Трижды августейший государь немного поколебался в своем уповании... Надо его утвердить, по мере наших сил!

– Всенепременно надо, – кивнул монах. – Тебе требуется моя помощь, господин?

– Да. Слушай, отче, и запоминай. Завтра, как стемнеет, я приведу сюда государя. Он будет в простом одеянии, без всяких отличий. Он начнет с тобой советоваться о вере и других важных вещах. Ты же – слушай внимательно! – обещаю ему, что он будет царствовать семьдесят

два года, – Феодот подмигнул монаху, – назови тринадцатым апостолом и всячески уверяй, что он увидит на престоле детей от детей своих, если только примет веру, которой держался августейший Лев Исавриец. А если он не захочет последовать этому совету, скажи с клятвой, что грозит ему тогда от Бога погибель, стремнины и пропасти. В общем... э... подойди к делу с душой, отче!

О походе в портик Мавриана с императором было условлено заранее.

– Монах этот, августейший, – сказал Мелиссин, – жизни высокой и святой, живет почти на улице, спит на каменном полу, вериги носит, молится день и ночь, удостоился дара исцелений и от Бога имеет разум и рассуждение. Если у тебя есть какие-то сомнения относительно наших церковных дел, думаю, будет полезно у него спросить, он в народе и за прозорливца почитается!

Когда император вместе с Феодотом уже в сумерках вошли в портик и пробрались в угол, где жил «прозорливец», первое, что услышал император, были слова:

– Негоже тебе, государь, менять пурпурное одеяние на простое и морочить умы людей!

После встречи с монахом Лев оставил всякие сомнения. И теперь, когда в ответ на его выжидательный взгляд патрикий Фома сообщил, что, по словам врачей, патриарх при смерти, император сказал только:

– Что ж, тем лучше! Это избавит нас от необходимости выгонять его силой.

... В сыропустный вторник около трех часов пополудни Грамматик сидел в столовой у Мелиссина и обсуждал с хозяином дома положение церковных дел.

– Что ты думаешь насчет определений будущего собора? Повторить сказанное в Иерии? – спросил Феодот, собственноручно разрезая большого зажаренного судака. Слуги были высланы: столь важный разговор не должен был иметь лишних свидетелей.

– Не только, – лениво ответил Иоанн, отпивая глоток ароматного золотистого вина. – Иерийским богословам не хватало последовательности или, скорее, свободы для маневров. Следует определиться по поводу того, когда именно тело Христа стало неопишваемым. Ответ, данный на этот вопрос в Иерии, на мой взгляд, не совсем точен. – Грамматик умолк и отправил в рот ломтик сыра. – А впрочем, разве для тебя это так уж важно, господин Феодот? Правда, – он задумчиво посмотрел на патрикия, – при определенном положении это может стать для тебя важным, хотя... Даже и при таком положении главное – иметь хороших советников, самому во все тонкости вникать не обязательно.

– Ты что-то говоришь загадками, Иоанн! – сказал Мелиссин, ставя перед гостем тарелку с двумя аппетитными кусками рыбы. В голосе патрикия послышалось легкое раздражение.

Феодот слыл в Синклите и среди знакомых человеком не только набожным и начитанным, но и неплохо разбиравшимся в богословии. Последнее удавалось ему за счет того, что он вовремя и к месту умел блеснуть изречением из божественного Дионисия, великого Василия или его не менее великого друга из Назианза. Мало кто мог подметить, что набор этих изречений у Мелиссина был довольно ограничен, и что на самом деле патрикий вовсе не так много значения придавал «священнейшим догматам богопреданной веры», как это могло показаться неискушенному наблюдателю. Вопрос Грамматика, в котором слышалась легкая насмешка, уязвил Феодота: Иоанн слишком прямо дал понять, что видит, насколько Мелиссину на самом деле интересно богословие. Но дальнейшее рассуждение Иоанна об «определенном положении» и вовсе обеспокоило патрикия. «Как он мог догадаться? Невероятно! Нет, скорее, это он так, рассуждает... так сказать, вообще... Он ведь, наверное, сам туда метит, и если б догадался, не принял бы так философски!» – успокаивал себя Феодот, подливая вина в кубки. Но рука его чуть дрогнула, и вино пролилось на скатерть.

– Тьфу! – сердито пробормотал Мелиссин. Грамматик наблюдал за ним.

– Я вот что думаю, господин Феодот, – сказал Иоанн, вынимая из судака длинные реберные кости и аккуратно складывая их на край тарелки, – главное – всё делать без лишней спешки. Спешить вредно даже в таком деле, как разлив чувственного вина, а тем более – когда речь идет о вине духовном.

– К чему ты это? – нетерпеливо спросил Феодот.

– Да так, рассуждаю... У меня сегодня, – улыбнулся Грамматик, – созерцательное настроение.

– Ну, а мне не до созерцаний! Государь считает, что мы уже обратили довольно епископов, чтобы провести собор. И на него пригласят патриарха для прений об иконах... Хотя врачи и предсказали скорую смерть, но что-то святейший, видишь, умирать не торопится! Говорят, вчера он даже вставал с постели... Ты говоришь: не спешить? Нет, надо именно спешить! Ведь Никифор сочиняет какое-то церковное воззвание!

– И что же?

– Говорят, он там грозитя, что всех «присоединившихся к еретической части» постигнут прещения. В общем, я боюсь, как бы наши преосвященные отцы не пошли на попятный.

– Не бойся, господин Феодот. Наши отцы, раз отступив от того, что обещали Никифору, теперь пойдут до конца, не останавливаясь, и сделают всё, что надо, если не более. Им ведь нужно доказать самим себе, что они на верном пути. Вот увидишь, они еще потребуют у государя более крутых мер к противникам, чем те, о которых думает он сам!

Мелиссин искоса взглянул на Иоанна. Этот человек начинал иногда пугать его. Временами патрикий задавался вопросом: а во что, собственно, верит сам Грамматик? И вера ли вообще движет им? Если относительно себя самого Феодот мог честно признаться, что, несмотря на симпатии, которые он с юности питал к иконоборчеству и лично к императору Константину Исаврийцу, догматы как таковые были для него делом десятым, то Иоанна он поначалу считал «человеком убеждений». Однако теперь он начинал ощущать какую-то иную движущую силу в поступках этого иеромонаха. Ради чего Грамматик затеял это «крушение веры», что тут привлекло его? Близость ко двору, почет, богатство? Желание стать епископом или даже патриархом? Может, и так, но тут угадывалось также нечто другое – и это было не желание «торжества истины» само по себе. «Ум, внушающий страх, и власть над умами», – эти слова, некогда сказанные Грамматиком, Мелиссин счел просто шуткой, но сейчас начал понимать, что они действительно выражали устремления ученого аскета, чей холодный внимательный взгляд иной раз заставлял внутренне съеживаться, вонзаясь в собеседника словно острый клинок. Казалось, Иоанн насквозь видит всё, что происходит внутри других людей, и понимает то, чего они сами еще не понимают, а может, и никогда не поймут. От этой мысли становилось неприятно; еще неприятней было думать, что Грамматик, возможно, и самим Феодотом просто пользовался для осуществления каких-то своих планов, вовсе не считая его сотрудником в собственном смысле слова...

«Ладно, господин философ, – подумал Мелиссин, пережевывая кусок рыбы, – у тебя свои цели, у меня свои. Время покажет, кто быстрее добьется желаемого!»

## 2. «Я оставляю вас христианами»

*...все люди пойдут каждый в путь свой, а мы пойдем во имя  
Господа Бога нашего во век и далее.  
(Книга пророка Михея)*

Был первый день Великого поста. Келейник уже третий раз входил с докладом к патриарху: пришедшие с утра епископы настойчиво требовали встречи с Никифором, говоря, что посланы «объявить ему решение собора». Собор начал заседать в Магнавре в четверг Сыропустной седмицы; на нем присутствовало несколько десятков епископов и игуменов из числа тех, кого патриарх называл «крестопопирателями». Император в заседаниях не участвовал, послав туда наблюдателями Феодота и Евтихиана. Председательствовал на соборе Антоний Силейский, которого Иоанн снабдил кипой выписок из Писания и отцов со своими толкованиями. Сам Грамматик держался в тени и наблюдал за ходом собора, сидя позади всех в углу; по его губам то и дело пробегала чуть заметная усмешка. Соборяне, как он и предсказывал, взялись за дело ретиво: уже по окончании первого заседания они обратились к императору с прошением призвать патриарха на собор «для отчета перед Церковью за допущенное им пренебрежение пастырскими обязанностями и для оправдания от возводимых на него обвинений, а также для открытого прения по поводу сомнительных положений вероучения». Лев послал к патриарху оруженосца Феофана, чтобы тот привел Никифора на собор. Никифор передал через келейника, что ничего не знает о заседающем в Магнавре соборе, поскольку он никого не созывал, и не намерен идти на сборище самочинников и тем более давать ему отчет. Когда в пятницу ответ патриарха был объявлен, соборяне разразились криками возмущения, кое-кто тут же предложил судить Никифора и лишить сана. Но Антоний Силейский урезонил возмущенных, сказав, что епископа надо по канонам призывать на суд трижды. Патриарх ответил вторично посланному к нему Феофану:

– Как видишь, господин, я не могу придти туда из-за болезни. Но если б и мог, на такой собор я все равно не пошел бы. Если есть желание обсудить вопросы веры, то надо предоставить каждому свободу мнения. Пусть все будут допущены на собор, а не одни те, кого созвал туда государь. Затем с собора должны быть удалены те, кто присоединился к осужденной ереси, поскольку они через это уже лишились священства и не могут решать церковные вопросы. Если пославшие тебя, господин, согласятся на такие условия, то мы назначим время для собора и для прений, когда Богу угодно будет облегчить мою болезнь. И местом церковных собраний должен быть храм, а не дворцовые залы.

Та же участь постигла и сделанную в субботу третью попытку призвать патриарха «на суд собора». В Сыропустное воскресенье, вновь обсудив положение, соборяне согласились, что принять условия Никифора невозможно.

– Имею сказать честному собранию, – заявил Антоний Силейский, – что мы довольно делали приглашений господину Никифору. Вот уже в третий раз мы призвали его, а он коснеет в своеволии и не является. Итак, если вам угодно, досточтимые отцы, пользуясь соборной властью, объявим ему письменно то, что принято сообщать упорствующим в заблуждении.

Собору это было весьма угодно, и на следующий день несколько епископов отправились вручить патриарху составленную грамоту. Узнав о том, куда и зачем они идут, к ним с криками присоединились многие из толпы, ежедневно после начала собора заполнявшей двор Великой церкви и настроенной воинственно, чтобы не сказать угрожающе: у некоторых в руках были палки, и даже первый день Великого поста мало кого остановил. Народ вместе с посланцами собора вломился в патриаршие палаты и, когда епископы попросили патрикия Фому доложить Никифору об их приходе, разразился криками:

– Пусть выйдет! Довольно уже прятаться от своей паствы! Пусть объявит всем свою веру!

– Да он вовсе и не болен! Это притворство!

– Нечестивый идолопоклонник! Пусть убирается отсюда!

Фома грозно поглядел на толпу и прикрикнул, обнажая меч:

– А ну, хватит! Вон отсюда, варвары! А не то попробуете палок или чего поострей!

Чернь попритихла, кое-кто ретировался, но многие остались. Фома поставил вооруженных стратиотов у дверей в покои патриарха, а сам отправился к нему с докладом. Никифор поначалу отказался принять посланцев собора, но епископы не ушли, продолжая настаивать на встрече и говоря, что такова воля императора. Настаивал на этом и Фома, уверяя, что не допустит никакого бесчинства.

– Хорошо, проси их войти, – со вздохом сказал патриарх келейнику.

Никифор сидел в глубоком кресле с книгой на коленях, закутав ноги в шерстяное одеяло; рядом стояла жаровня с углями. Лоб патриарха перерезала глубокая морщина – еще две недели назад ее не было, она появилась за последние дни. Епископы вошли с дерзким выражением на лицах и остановились посреди комнаты. Один из них, державший в руках свернутую в трубку соборную грамоту, сделал шаг вперед, развернул определение и стал читать трагическим голосом, подобно актеру в театре. «Святой собор, – говорилось в грамоте, – приняв жалобы на тебя, в последний раз обращается к тебе и повелевает явиться для их рассмотрения без всякого отлагательства, чтобы дать ясный ответ». Патриарха призывали «согласиться со всей Церковью относительно устранения икон из святых храмов», а в случае упорства угрожали соборным судом и низложением. Выслушав, Никифор несколько мгновений молча смотрел на епископов, а потом сделал знак келейнику и, когда Николай подошел, отдал ему книгу, сбросил с колен одеяло и, хотя не без труда, поднялся на ноги.

– Кто это такой угрожает нам жалобами и принимает против нас обвинения? – произнес он, в упор глядя на пришедших. – Какой патриаршей кафедры хвалится он быть предстоятелем? Водимый какими пастырскими заботами, подвергает он меня каноническому наказанию? Может быть, меня зовет предстоятель Ветхого Рима? Или Александрийской Церкви? Антиохийской или, может быть, Иерусалимской? Да, если кто-нибудь из них пригласит меня, я явлюсь без промедлений! Но если лютые волки, скрывшись под овечьей шкурой, поносят пастыря, то кто согласится пойти даже взглянуть на таковых? «Отступите от меня, делающие беззаконие!» Вы никогда не поборете тех, кто утверден на камне православия, но сами потонете в волнах своей ереси, а Церковь пребудет непотопляемой!

Епископы в первый момент растерялись и не нашлись, что ответить, но тот, что читал грамоту, быстрее других оправился от смущения и уже открыл было рот, однако Никифор знаком руки остановил его, и он замолк, против воли повинувшись спокойному и властному жесту патриарха.

– Выслушайте еще вот что, – сказал Никифор. – Если бы даже Константинопольский престол оказался без первопастыря, то и тогда никому не позволялось бы проповедовать лжеучения и составлять незаконные собрания. Но как сейчас избежите канонического прещения вы, бесчинно и самовольно составляющие ваши злочестивые синагогы? Вы, учащие всенародно в этом Городе без воли правящего архиерея и к унижению его, попирая каноны! Не меня, но вас справедливо объявить нарушителями правил! Не мне, но вам я объявляю приговор низложения! А теперь ступайте отсюда и прекратите докучать мне вашим нечестием. Суд ваш, по апостолу, давно готов, и погибель ваша не дремлет! – С этими словами патриарх вновь опустился в кресло, закрыл ноги одеялом и, взяв у келейника назад книгу, погрузился в чтение, словно в комнате не было никаких посетителей. Это уверенное спокойствие окончательно вывело их из себя.

– Возносливый идолопоклонник! – завопил один из них. – Чья погибель не дремлет, так это твоя, и ты скоро убедишься в этом!

Когда они покинули покои патриарха, Фома приказал стратиотам немедленно закрыть двери и крепко стеречь их – и недаром: толпа, узнав от вышедших о том, к чему привел их визит, пришла в настоящее неистовство, и только призвав еще воинов, Фома смог изгнать всех вон; кое-кого из самых буйных пришлось угостить палицами. Оказавшись на улице, они вместе с ходившими к патриарху епископами разошлись вовсю.

– Идолопоклонникам анафема! Да будут прокляты! Да вовек не видят света Святой Троицы! Герман и Тарасий, начальники нечестия и лжепатриархи, да будут прокляты! Никифору, лжепатриарху и отступнику, анафема!

Услышав эти вопли, доносившиеся через окно, патриарх сказал келейнику:

– Николай, помоги мне встать. – Опираясь на руку монаха, он прошел в молельню, упал на колени перед образами и прошептал: – Благодарю Тебя, Господи! Благодарю, что меня, недостойного и нечистого, Ты сподобил принять поношение вместе со святыми отцами!

В тот же вечер Фома доложил императору о бесчинствах толпы. Лев вознегодовал:

– Вот нечестивцы! Передай святейшему, что я очень сожалею о бывшем. Я не знал об этом. Если их с собой привели те епископы, они будут наказаны. Впрочем, – добавил он, – надо и снизить к людскому невежеству. Народ страждет и отягощен трудами, потому они и сотворили такое, ведь бедный люд так легко возмущается...

На следующий день император приказал соборянам разойтись.

– Еще не время, – сказал он Антонию. – Надо подождать, пока успокоится народ. Если мы низложим Никифора сейчас, то скажут, что епископы пошли на поводу у толпы. Уже ходят слухи, будто эти бесчинники были посланы собором, чтобы убить патриарха. Это никуда не годится! Не будем спешить.

Лев велел схватить нескольких зачинщиков народного буйства перед патриаршими палатами, бичевать и бросить в заключение на две недели. В то же время он приказал усилить надзор за патриархом: к Никифору больше никого не пускали, при нем оставались только келейник, двое прислужников и секретарь, также ежедневно приходил врач. У патриарха забрали часть книг, не только взятых им из библиотеки, но и его собственных. Фома пригрозил забрать и письменные принадлежности, если Никифор еще вздумает «докучать господам синклитикам или иному кому» призывами защитить иконопочитание. Однако на второй седмице поста патриарх всё же сумел переслать игумену Феодору, с просьбой распространить как можно шире, «Защитительное слово к кафолической Церкви относительно нового раздора по поводу честных икон», где вкратце перечислял основания для почитания икон и призывал верных не спорить с еретиками, но держаться принятых всей Церковью решений последнего Вселенского собора. Студийский игумен посадил за работу всех монахов, способных более или менее хорошо писать, и вскоре патриаршее воззвание разошлось по Городу и далеко за его пределы, воодушевив православных и возмутив иконоборцев.

В ночь на пятницу четвертой седмицы поста, по наущению примкнувших к ереси епископов, толпа черни, вооруженная кольями и даже ножами, стала опять ломиться в патриархию, понося Никифора; стража едва смогла отогнать бесчинников. На другой день лечивший патриарха врач, придя с обычным визитом, шепотом сообщил Никифору, что ходят слухи, будто на патриарха готовится покушение.

– Так, – сказал патриарх келейнику, – пора нам готовиться в странствие. Начинай собирать вещи. Надеюсь, государь позволит мне забрать с собой хотя бы мои книги.

Между тем император сурово отчитал Фому за то, что послание Никифора не было перехвачено. Патрикий оправдывался, говоря, что открыто никто ничего не выносил от святейшего, а обыскивать его келейника и прислужников всё же представляется не слишком удобным, да и приказа такого не было...

– Довольно! – прервал его Лев. – Полагаю, дальнейшее ожидание, что патриарх передумает, бессмысленно.

– Августейший, – ответил Фома, – если ты хочешь изгнать его, дело за немногим: пошли к нему людей с носилками, а то он еще слаб из-за болезни, и мы отправим его, куда будет угодно приказать твоему величеству.

12 марта Фома объявил патриарху приказ императора: приготовиться к отбытию из столицы. Никифор вышел к патрикию, тяжело опираясь на посох, и вручил ему письмо к василевсу. В послании говорилось, что патриарх, сколько мог «боролся за истину и благочестие и ничего не упустил из своих обязанностей, не замедлив ни беседовать с просившими о том, ни наставлять внимающих», но за это перенес всякие притеснения и оскорбления, да еще нападки черни; теперь же, в связи с известием о том, что враги веры готовят засаду, чтобы убить его, Никифор оставляет престол «против воли и желания, гонимый злоумышленниками». Прочтя письмо, император в гневе скомкал лист: патриарх, даже уходя с кафедры, сумел превратить свое согласие на уход в обвинение против власти. Той же ночью в патриархию был послан воинский отряд, чтобы вывести Никифора, доставить на корабль и отправить в ссылку – пока в Агафский монастырь, основанный самим же патриархом на побережье Босфора, к северу от Хрисополя. Когда Фома сообщил патриарху о приказе василевса, Никифор сказал только:

– Хорошо, господин, у меня уже почти всё готово к отбытию. Но у меня есть одна просьба: не позволишь ли ты мне проститься с Великой церковью?

Патрикий заколебался: император строго приказал ему как можно быстрее посадить патриарха на носилки и вынести из палат; но эта смиренная просьба человека, под чье благословение еще так недавно преклонялись все подданные Империи и сам василевс, потрясла его. Отказать даже в этом?..

– Да, разумеется, – сказал он, наконец. – Но только, прошу тебя, святейший, не задерживайся.

Пока келейник разжигал кадило, патриарх вновь обратился к Фоме:

– Могу ли я взять с собой свои книги и облачения, или государь велит мне оставить всё здесь?

– Твои личные книги и вещи, святейший, ты можешь забрать. Да, августейший велел передать, что вернет тебе и те из твоих книг, что были взяты недавно, но попозже, когда просмотрит. Его что-то заинтересовало там. Ты ведь не будешь в обиде на эту задержку?

– О, несколько, – ответил Никифор, взял поданное кадило и, опершись на руку келейника, медленно вышел из покоев в переход, соединявший патриархию с южными галереями Святой Софии.

Светильники во многих паникадилах Великой церкви горели круглосуточно, их мерцающие огни отражались в мраморе стен и колонн, золотили своды, поблескивали на серебряных столпах кивория в алтаре и тонких колонках амвона, играли на драгоценных раках с мощами... Патриарх покадил в сторону алтаря, потом вошел в свою молельню, отдал кадило Николаю, зажег две свечи перед Распятием и, положив земной поклон, стал молиться:

– Боже великий и дивный, Господи всяческих, Тебе ныне вручаю храм сей, Твоим промыслом воздвигнутый! Ты вверил его моему недостоинству, и я, сколько мог, соблюдал его непоколебимым на камне истинной философии, и нескверным передаю Тебе залог сей... Ты видишь, как рыкает лев на Церковь Твою, как волки тщатся расхитить стадо Твое, спаси же призывающих Тебя во истине от этого нечестия! Я же, грешный, предаю себя суду Твоему, руководи меня и путеводствуй, куда угодно Тебе! – Патриарх поднялся, задул свечи и, по-прежнему поддерживаемый келейником, по лицу которого текли слезы, вышел из молельни. Он некоторое время молча смотрел на храм с высоты галерей, а потом прошептал: – Прощай, София, Божественного Слова непоколебимый храм! Возлагаю на тебя замо́к православия, никак не сокрушаемый ломом еретичествующих. Тебе вверены отеческие догматы, и никогда не нарушат их никакие извращения еретиков! Прощай, кафедра, взошел я на тебя не по своему желанию, но без насилия, оставляю же ныне по насилию... Прощай и ты, великий Град Божий,

православными я обрел обитателей твоих, когда возложен был на меня омофор, и старался сохранить их в православии; ныне же предаю всех деснице Божией!

Когда он вернулся в свои покои, всё уже было готово к отъезду. Служители патриарха и асикрит с плачем подошли под благословение; император разрешил Никифору взять с собой только келейника.

– Чада, – сказал патриарх, – некогда я нашел вас христианами, христианами и оставляю!

...Из книг, изъятых у патриарха, более всего императора заинтересовала объемистая летопись, занимавшая несколько пухлых тетрадей. В предисловии к ней говорилось, что Георгий, синкелл патриарха Тарасия, изучил многих хронистов и историков и написал «краткую хронографию от Адама до царя Диоклетиана», а перед смертью попросил своего друга довершить начатое. «Сознаваясь в своем неведении и в скудости слова, – писал хронист, – мы отказывались от исполнения сего поручения, как превышающего наши силы, но он усиленно просил нас не полениться и не оставить его труда недоконченным, и принудил приступить к работе...» О том, что покойный синкелл взялся писать хронографию, Лев слышал, но о его просьбе к другу довершить работу узнал только теперь. Читать всю летопись было недосуг, поэтому василевс прочел только про царствования «нечестивого императора Льва» и сына его «сквернейшего» Константина, «предтечи антихриста», «гонителя отеческих преданий», и пришел в сильное раздражение. Пригласив к себе Иоанна, он показал ему летопись и сказал гневно:

– Посмотри, что читает патриарх! Какие хулы на императоров!

Грамматик полистал рукопись и очень заинтересовался. Целую неделю всё свободное время он просиживал над тетрадями, исписанными довольно крупным красивым почерком, который к концу, правда, стал местами неровным. «Такое впечатление, что писавший к концу или устал, или заболел, – подумал Иоанн. – Э, да я, кажется, знаю, чья это работа!»

– Ну, что скажешь? – спросил его император, когда Грамматик вернул ему хронографию.

– Огромный труд, трижды августейший! И достойный всякого внимания. Конечно, некоторые места не могут не возмущать... Впрочем, наш летописец, похоже, еще больше, чем Исаврийских государей, или, по крайней мере, не меньше, не любил августейшего Никифора, что меня несколько удивило. Но, как бы то ни было, полагаю, что конец всё искупает. – Иоанн улыбнулся.

– А что там в конце? Я, признаться, не посмотрел.

– Там рассказывается о походе государя Михаила Рангаве на болгар, – Грамматик открыл конец последней тетради и прочел: – «Император бродил по Фракии со стратигами и войсками, не приближаясь к Месемврии и не делая чего-либо другого, необходимого для уничтожения врагов, но только полагался на суетные речи своих неопытных в военном деле советников...»

– Да-да, так оно и было! – воскликнул император. – И что там дальше?

– Дальше, государь, еще интереснее! Про то, что у Версиникии стратиг Анатолика Лев и стратиг Македонии Иоанн стремились сразиться с болгарями, «но император воспрепятствовал им из-за своих дурных советников».

– Именно так! – Лев хлопнул рукой по колену. – Продолжай!

– Дальше рассказывается о том, как в храме Апостолов бывшие стратиоты открыли гробницу государя Константина, и, конечно, летописец всячески поносит «еретиков». Но зато потом он повествует о поражении от болгар, о бегстве войска и о том, что император решил сложить с себя власть, и патриарх поддержал это намерение. «Стратиги же и войска, узнав, что император сбежал в Город, отказались от того, чтобы он царствовал над ними, и, посоветовавшись между собой, убеждали Льва, патрикия и стратига Анатолика, придти на помощь государству и взять в свои руки государственные дела христиан. Он же какое-то время упорно медлил, размышляя о трудности времени и непереносимости варварского нападения и незлокозненно храня верность царствовавшим. Когда же он увидел, что враг устремляется на Город,

то пишет патриарху Никифору, решительно утверждая свое православие, прося его молитвы и согласия на взятие власти», после чего провозглашается «законнейшим императором ромеев».

– Надо же, похоже, я поторопился обругать летописца! Это уже конец?

– Нет, там еще немного. Кончается на том, что Крум разорил Фракию и взял Адрианополь. Но перед этим есть чудесная фраза: «Лев, венчанный патриархом Никифором на амвоне Великой церкви, приказывает находящимся в Городе быть настороже, самолично днем и ночью обходя стены и всех возбуждая и увещевая быть благонадежными, ибо Бог очень скоро сотворит преславное, по молитвам Всечистой Богородицы и всех святых, и не попустит совершенно посрамиться за множество прегрешений наших». – Иоанн закрыл рукопись. – Эти последние страницы, государь, являют историю в чистом виде, еще не испорченную и не искаленную в угоду тем или иным человеческим интересам, страстям и заблуждениям... Редкий случай! Интересно и то, кто написал всё это.

– Ты знаешь?

– Да, я вспомнил, государь. Мне говорили год назад, что Феофан, игумен монастыря Великого Поля в Сигриане, дописывает за покойным синкеллом некую хронику, начатую от Адамовых времен. Этот Феофан – один из верных сторонников патриарха и, кстати, восприемник по постригу Студийского игумена. Видимо, он прислал Никифору список для прочтения. Возможно, он предполагал добавить сюда потом что-то еще. Впрочем, я слышал, что он очень болен теперь, может быть, и писать уже не в силах.

– Ну, в любом случае поблагодарим его и за это. Эта летопись нам действительно может пригодиться, – Лев улыбнулся, – по крайней мере, ее концовка.

– Именно так, августейший!

– Правда, я пообещал, что верну Никифору изъятые у него книги, в том числе и эту. Но прежде я велю переписать ее. Никифор всё равно не сможет заниматься ее распространением там, куда вскоре отправится. Хороших писцов у него там в любом случае не будет. – Император ухмыльнулся. – Зато в своем списке мы сможем сделать некоторые уточнения и поправки. Думаю, прошлое не будет на нас за это в обиде, Иоанн?

По губам Грамматика пробежала усмешка.

– Прошлое, августейший государь, на то и прошлое, что его можно в любой момент переписать.

### 3. «Победы знамение»

*...Тут оборвалась  
Былая жизнь. Льют новое вино  
Не в старые мехи. Когда усталость  
Кого-нибудь среди борьбы скует,  
То у врага лишь торжество, не жалость,  
В его победных песнях запоем.  
Ни уставать, ни падать не дано нам.  
(Монахиня Мария Скобцова)*

Рассвет еще только занимался над Городом, и братия, расходясь по кельям после утрени, зябко поеживались и поплотнее кутались в мантии. Студийский игумен, отправляясь к себе, сделал знак эконому следовать за ним. Когда они оказались вдвоем в игуменской келье, Феодор указал Навкратию на табурет в углу, а сам вынул из-за пазухи записку, еще во время службы принесенную патриаршим асикритом, подошел к окну и перечитал. Навкратий смотрел на игумена с некоторой растерянностью. Пока они только вдвоем из всего братства знали о том, что патриарх ночью был увезен в ссылку, – Феодор решил огласить полученную новость позже, после литургии.

– Отче, что же теперь будет? – тихо спросил эконом. – Остались мы без патриарха...

– Что ты, брат! – сказал Феодор с укором. – Как ты мог сказать такое? Владыка никуда от нас не делся, он жив, он был и останется главой Церкви. А то, что еретики сослали его, служит только к его славе! Он пошел путем, в который скоро пойдут все «хотящие благочестиво жить». Настала пора узнать верных!

Во дворце тоже отошла утренняя, великий папья с этериархом открыли залы на пути к Золотому триклину, и одетые в скарамангии придворные, пришедшие на утренний прием императора, чинно проходили через Скилы в триклин Юстиниана, где на скамьях усаживались протоспафарии, спафарии, кандидаты и низшие чины. Магистры, препозиты и другие высшие чины Синклита, приняв приветствия от низших, проходили дальше, в Лавсиак, и тоже садились на скамьи по рангам. Наконец, из Трипетона вышел папья, приказал привести логофета дрома и, пока ходили за логофетом в Асикритий, уселся на скамье рядом с оруженосцами. Утренний прием начался.

После того как логофет сделал обычный доклад императору, Лев велел препозиту пригласить синклитиков и прочих пришедших. Когда все, войдя по чинам в Золотой триклин, поклонились императору, восседавшему в золоченом кресле справа от трона, на котором стояло большое Евангелие в золотом окладе со вставками из драгоценных камней, и встали на свои места, Лев оглядел это внушительное собрание и сказал:

– Я созвал сегодня всех вас по делу, касающемуся нашей Церкви. Святейший Никифор, как ни прискорбно мне об этом сообщать, пренебрег ею и покинул нас. Мы говорили ему об иконах, что нехорошо поклоняться им, поскольку о том нет свидетельств в божественном Писании, и что из-за этого нечестивого обычая язычники побеждают нас. Но патриарх, не желая слушать и в то же время не имея каких-либо разумных доводов для опровержения, разгневался и, презрев нас, нынешней ночью удалился в один из своих монастырей. Очевидно, что больше он не вернется на кафедру, и теперь нам нужно сделать патриархом другого вместо него.

Утро уже вступило в свои права, и белый свет струился из шестнадцати полукруглых окон под высоким вызолоченным куполом залы, играя на великолепной мраморной отделке стен; светильники огромного серебряного паникадила в центре зала зажигали огоньки на мраморе колонн, матово поблескивали на позолоченных столах и спинках скамей, на украшенных

золотыми нашивками одеяниях чинов, на жезлах силенциариев, на золотых цепочках у кандидатов и спафарокандидатов, на драгоценных камнях в ожерельях протоспафариев, – и всё это великолепие как будто бы не располагало слушать печальные вести. Но сообщенная василевсом новость большинству собравшихся и не показалась прискорбной – они уже давно и с нетерпением ждали, когда противостояние между императором и патриархом подойдет к закономерному концу; если им и было жаль Никифора, то только слегка. Почти все одобрительно зашумели, выражая так или иначе свою поддержку намерению василевса избрать нового церковного предстоятеля. Глаза Льва довольно заблестели.

– Итак, – вновь заговорил он, – я вижу, ваше боголюбивое собрание вполне понимает настоящую нужду и согласно со мной. Я, со своей стороны, уже поразмыслил о том, кого могла бы принять первопастырем осиротевшая священная кафедра нашего Города. Мне думается, что ее мог бы достойно занять человек, известный как своей величайшей ученостью и богословскими познаниями, так и подвижнической монашеской жизнью. Я говорю о господине Иоанне, который ныне подвизается в святой обители божественных Сергия и Вакха. Его то возведение на патриарший престол я и возымел мысль предложить на одобрение вашему собранию.

И тут случилось неожиданное: после краткого молчания большинство синклитиков глухо зароптало. Патрикии, особенно те, кому было уже за пятьдесят, стали переглядываться, шептаться, и, наконец, вперед выступил логофет дрома.

– Державнейший государь, – сказал он слегка откашлявшись, – мы согласны, что великие познания господина Иоанна заслуживают всяческих похвал и восхищения, равно как и его аскетизм... Но нам кажется, что пока неблагоприятно ставить его на столь высокое служение. Да не прогневаешься на нас, смиренных, твое величество! Отец Иоанн всё же слишком молод... а кроме того, недостаточно известен при дворе. Конечно, кто-то знает его как богослова и учителя, но... кхм... далеко не все. Некоторые из господ синклитиков почти ничего не знают ни о нем самом, ни о его роде... Нам представляется, августейший, что не подобает членам Синклита, людям почтенным и нередко в преклонном возрасте, кланяться и припадать пред столь, можно сказать, юным человеком. Тридцать пять лет – если я не ошибаюсь, господин Иоанн сейчас именно в таком возрасте, – это хоть и не юность, говоря вообще, но всё равно что юность для людей, уже убеленных сединами. Мы желали бы, государь, чтобы патриархом был человек из благородной семьи, известный и почтенный летами. Ибо, как говорит божественный апостол, «всё благообразно и по чину да бывает».

Почти все синклитики кивками выражали одобрение говорившему. Император нахмурился. Такой оборот событий не входил в его планы, хотя Иоанн, когда Лев сообщил ему на днях о своем намерении сделать его преемником Никифора, поклонился и сказал:

– Благодарю за столь высокое доверие, трижды августейший! Но, думаю, в настоящее время твое намерение, государь, вряд ли возможно осуществить. Господа синклитики, подзреваю, не будут рады твоему предложению, – и Грамматик чуть заметно усмехнулся.

И вот, они действительно были совсем не рады... Впрочем, безусловно, их недовольство имело причины, хотя, как догадывался император, не только те, что были высказаны логофетом. Иоанн никогда особенно не старался скрыть своего пренебрежения к людям недалекого ума, так же как и равнодушия к высоким чинам и должностям, на большинство людей смотрел свысока и ничуть не заботился о том, какое мнение у них сложится о нем, – и вот, пренебрегаемые нашли способ отомстить.

– Ваши возражения небезосновательны, – сказал Лев после краткого молчания. – Но кого в таком случае вы хотели бы видеть на патриаршем престоле?

– Мы думали об этом, трижды августейший, – ответил логофет дрома. – Нам представляется, что любезным Господу и нам, грешным, предстоятелем Церкви мог бы стать человек, известный и благородством рода, и умом, и образованностью, и познаниями в богословии, и,

что немаловажно, смирением и богоподражательной кротостью. Я имею в виду, государь, господин Феодота Мелиссина.

Все устремили взоры на патрикия, который стоял на своем обычном месте, среди спафарокандидатов. Лев успел заметить, что Мелиссин не принимал участия в обсуждении кандидатуры Иоанна Грамматика, а стоял смиренно и тихо, имея вид человека, углубленного в собственные мысли или в молитву. Теперь Феодот, казалось, был ужасно поражен: прижав руки к груди, он испуганно посмотрел на императора, потом огляделся вокруг и тихо проговорил:

– Господа, вы, должно быть, шутите? Какой из меня, недостойного, патриарх? Да я ведь даже не монах, я женат, у меня дети... Что вы это?!

– Ну и что, женат? – раздался голоса. – Сегодня женат, завтра монах! Дети твои выросли, и ты сам, почтеннейший, уже не в том возрасте, чтобы думать о женах! Мы тебе лучшую и прекраснейшую невесту предлагаем – святую Церковь! И обручение высшее и прекраснейшее – ангельского образа!

Император, хотя предложение его несколько удивило, был рад: патриархом станет если не один из его помощников, так другой, и коль скоро этот последний любезен всем придворным, так чего же лучше!

– Что ж, – промолвил Лев, – это предложение мне по сердцу. Полагаю, господин Феодот не должен отказываться. Если все согласны, то это воля Божия!

Император и не подозревал, что мнение, которое он счел волей Божией, Феодот уже два месяца исподволь, очень осторожно и ловко подготавливал, так что никто и не догадывался об этом. Мелиссин никогда ни с кем не заговаривал первый о будущем Константинопольской кафедры, а если кто-нибудь из придворных спрашивал у него о том, кого думает государь сделать патриархом вместо «упрямого Никифора», Феодот отделялся туманными общими фразами и ни к чему не обязывающими рассуждениями. Однако в каждое из таких рассуждений он по капле вливал ту или иную «нужную» мысль: что патриарх, конечно, должен быть из знатного рода; что он должен быть почтенным и известным при дворе; что достоинством патриарха, безусловно, является кроткий нрав и сговорчивость, то есть как раз те качества, которыми был известен сам Феодот; что он должен неплохо разбираться в богословии и быть начитанным в отцах Церкви... Спустя несколько дней патрикий уже слышал, что те же самые мысли синклитики выражали как свои собственные, Мелиссин же как будто тут был вовсе не при чем. Притвориться, будто предложение Синклита явилось для него полной неожиданностью, патрикию ничего не стоило. Император дал ему около двух недель, чтобы «подготовиться внутренне и внешне» к предстоящей перемене жизни, и вечером накануне Лазаревой субботы Мелиссин был пострижен в монашество, сохранив при постриге свое прежнее имя Феодот.

День Входа Господня в Иерусалим, однако, принес императору и его единомышленникам сильную неприятность. Студийские монахи после праздничной литургии совершили, по обычаю, крестный ход вокруг всего монастыря, выйдя за его стены и обойдя прилежащий к обители виноградник. Процессия эта сама по себе выглядела очень внушительно – сотни монахов, несших множество крестов и икон, сопровождало немало народа, пришедшего в Студий на праздник; но когда певчие, по команде игумена, громко запели тропарь: «Общее воскресение прежде Твоей страсти уверяя, из мертвых Ты воздвиг Лазаря, Христе Боже...» – а прочие братья и народ подхватили, пение разнеслось за несколько кварталов, так что стали сбегаться окрестные жители. На словах: «Тем же и мы, словно отроки, победы знамение носяще, Тебе, Победителю смерти, вопием: осанна в вышних!» – монахи, несшие иконы, высоко подняли их над головой, и продолжали их так нести до конца крестного хода. Весть о «наглой выходке студитов» быстро дошла до Священного дворца. Разгневанный император послал в Студий спафария, который сказал Феодору:

– Ты, отче, всё никак не можешь успокоиться, не сидишь молча, но выдумываешь то одно, то другое к оскорблению государя! Знай, что если ты не прекратишь свои выходки, то в скором времени отправишься к жителям ада!

– А что, – спокойно спросил игумен, – ключи от ада уже находятся у государя?

На лице спафария появилось выражение, похожее на то, какое Феодор когда-то видел у Халкитского игумена Иоанна, едва не ударившего своего узника за ехидный вопрос. Однако императорский посланец сдержался, поджал губы, смерил игумена взглядом и ответил:

– Недолго тебе осталось так вольно шутить, господин Феодор! Но я всё тебе сказал, а ты, думаю, всё понял. Считай, что это было последним предупреждением тебе от державного!

1 апреля, на Пасху, Феодот Мелиссин, в течение седмицы прошедший все степени священства, стал патриархом Константинопольским, и на грядущее воскресенье был назначен собор, куда пригласили, помимо епископов, всех настоятелей монастырей столицы и ее окрестностей. Большинство игуменов стали лично или письменно обращаться к Феодору за советом, идти ли им на этот собор, и Студит предложил всем сойтись вместе, чтобы обсудить дальнейший образ действий. И вот, в четверг Светлой седмицы почти все игумены городских обителей собрались в Студийской обители.

– Лучше всего, отцы мои, – сказал Феодор, – всем нам оставаться у себя, не ходить туда и не вступать в беседу с еретиками. Никакой пользы от этого не будет, да и каноны запрещают творить собрания помимо воли архиерея, а святейший Никифор собора не созывал. Не можем же мы считать патриархом этого самозванца Феодота!

Большинство игуменов поступило по совету Студита, но некоторые, получив вторичное приглашение прибыть на собор, решили всё же пойти и посмотреть, что там будет происходить. Уже первый день заседаний принес печальные вести: иконопочитание объявили «пагубным заблуждением».

На другой день Феодор, вновь созвав к себе городских игуменов и посовещавшись с ними, составил от лица всех письмо к собору, где утверждал, что все они считают законным патриархом Никифора, а решений собора против икон признать не могут как не согласных с православием. Послание взяли доставить на собор игумены Хорский и Диева монастыря. Когда его зачитали вслух на заседании, соборяне разразились возмущенными криками и прогнали принесших письмо, осыпав их пощечинами и оскорблениями, пригрозив заключением и ссылкой. Феодор, узнав об этом, ничуть не удивился:

– Что ж, этого следовало ожидать... Стадо взбесившихся свиней понеслось с крутизны в море, и их уже не остановить. Но надо позаботиться о том, чтобы они увлекли за собой как можно меньше народа.

С этого дня брат Николай почти поселился в игуменских кельях. Это был еще молодой монах, двадцати двух лет, родом с Крита. В Студий, где много лет подвизался его дядя, Николай поступил в десятилетнем возрасте. Сначала он жил в особом здании вместе с другими детьми, учившимися при обители, а когда подрос, не захотел возвращаться домой, но остался в монастыре и постригся. Юноша оказался очень способным, а особенно преуспел в каллиграфии: он хорошо изучил грамматику и научился писать четко и красиво и в то же время очень быстро, превзойдя всех скорописцев монастырского скриптория. Теперь игумен посадил его за работу: диктовал письма, воодушевлявшие ближних и дальних на мужественное противостояние ереси. Нужно было торопиться, ведь никто не знал, как долго еще император будет терпеть Феодора в Городе, и найдется ли возможность вести переписку там, куда его сошлют, – а что ссылка неминуема, игумен не сомневался.

Между тем собор в Святой Софии продолжал заседания. Некоторые из приглашенных туда епископов не согласились на ниспровержение икон, пытаясь обличить еретиков, но были вытолканы вон с бесчестьем. Было постановлено, что Церковь принимает «всякий собор, утвердивший и укрепивший божественные догматы святых отцов и последовавший непороч-

нейшим канонам святых Вселенских шести соборов», но отвергает собор, состоявшийся при императрице Ирине. Седьмым Вселенским собором провозглашался тот, что состоялся при императоре Константине Исаврийце и упразднил иконы, после чего «немалое время не волнующей пребыла Божия Церковь, сохраняя подвластных в мире, пока не перешла царская власть от мужчин к женщине, и из-за женской простоты Церкви Божией был нанесен вред»: августа Ирина, «созвав безрассудное собрание, последовав невежественнейшим епископам, постановила изображать непостижимого Сына и Слово Божие по плоти с помощью бесчестной материи» и «утвердила мнение о том, чтобы подобающее Богу приносить бездушной материи икон», которые «дерзнула безумно называть исполненными божественной благодати». Собор восхвалил новых Льва и Константина, «восстановивших чистоту веры», подтвердил прежние постановления против икон и объявил их изготовление «бесполезным», однако «воздерживаясь от именованья их идолами, ибо есть отличие одного зла от другого».

Определение собора, вместе с сообщением об избрании нового патриарха, немедленно разослали по всем городам, селениям и монастырям. От клириков и монахов, под угрозой лишения мест служения или изгнания из обителей, стали требовать подписаться под определением. Студийский игумен не только отказался подписывать что-либо, но и других убеждал не делать этого, а потому вскоре был вызван во дворец. Император сурово спросил Феодора, почему он не признаёт соборных постановлений и не поминает патриарха Феодота, и потребовал дать письменное обещание о том, что он не будет учить об иконопочитании и собираться ради этого вместе с другими верующими. Игумен ответил, что не может признать постановления, противные учению святых отцов и соборов, а патриарха поминает законного – святейшего Никифора, который, хотя и удален с насилия от своей кафедры и паствы, остается предстоятелем Церкви. Какую-либо подписку о молчании игумен тоже отказался дать.

– Это твое последнее слово, господин Феодор? – спросил Лев.

– Да, августейший.

– В таком случае завтра же ты будешь выслан из нашего богоспасаемого Города, ибо нам не нужны еретики и смутьяны. И больше, по крайней мере в мое царствование, ты сюда не вернешься.

Придя в Студий из дворца, игумен созвал всех братьев и разделил их на семьдесят две группы, поставив над каждой старшего, который отныне должен был заботиться о том, чтобы братия и в рассеянии по возможности продолжали вести жизнь по прежним правилам: студиты не могли оставаться в монастыре при настоящем положении дел, поскольку от всех столичных монахов «иудействующее лжесоборище», как называл Феодор недавно состоявшийся собор, требовало если не подписки под своим определением и поминовения Феодота как патриарха, то, по крайней мере, обещания хранить полное молчания относительно веры.

– Чада, – сказал Феодор, – ныне я, грешный, благословляю вас на подвиг и страдания за Христа, ибо страдающий за Его икону, конечно, страдает за Него Самого, оскорбляемого еретиками в Его святом образе. Равно как и отрекающийся от Его иконы отрекается от Него Самого. Да избавит нас всех Господь от такого падения! Ничего не бойтесь, не страшитесь проповедовать истину. Пусть никто не думает, будто если он не предстоятель монастыря, не клирик, не имеет больших богословских познаний, то ему нужно молчать. Нет! Сейчас, когда вокруг бушует ересь, не только тот, кто имеет преимущество по званию и познаниям, должен подвизаться, беседуя с теми, с кем приведет Господь ему встретиться, и наставляя в православном учении, но и занимающий место ученика обязан смело говорить истину. Вы уже знаете, что некоторые игумены, вызванные во дворец, не только смолчали пред лицом еретиков, хотя и это немалое падение, но еще и собственноручно дали подписку, что не будут ни собираться вместе, ни учить. Это – измена истине, отречение от пастырства и гибель подчиненных им братьев. Господь говорит: «Кто исповедает Меня пред людьми, того и Я исповедаю пред Отцом Моим небесным», и если господа игумены подписали обещание не собираться и не учить о

вере, то и это тоже отречение. Да не случится этого ни с кем из нас, братия! Спасая, спасайте свои души, и молитесь обо мне, смиренном!

...Патриарх Никифор провожал в путь своего архидиакона. Мефодий был еще довольно молод – ему минуло двадцать семь лет. Родом из Сиракуз, сын знатных и богатых родителей, он в юности постригся в Хинолаккской обители и быстро стал известен подвижничеством. Едва достигнув двадцатипятилетнего возраста, Мефодий, по желанию патриарха, был рукоположен в диаконы и стал одним из приближенных к Никифору лиц, а через месяц по воле Льюва стал игуменом в Хинолакке, после внезапной смерти прежнего настоятеля, по выбору братии. Патриарх ценил его ум и твердый характер, предчувствуя, что люди, подобные Мефодию, могут пригодиться в недалеком будущем, – и вот, настало время дать ему ответственное поручение.

Мефодий прибыл к патриарху в Агафскую обитель, чтобы подробно рассказать о прошедшем в столице иконоборческом соборе и начавшихся гонениях и испросить дальнейших указаний. Он уже побывал в Хинолаккском монастыре и, призвав братию стоять за православие даже до смерти, благословил всех покинуть обитель и жить по двое-трое, где придется, хотя бы в лесах и горах, лишь бы не вступать в общение с еретиками. Патриарх, выслушав новости, сказал, что иного вряд ли можно было ожидать, и поручил Мефодию, взяв с собой епископа Монеувасийского Иоанна, ехать в Рим и сообщить папе о том, что происходит в Константинополе. Никифор написал несколько писем и дал игумену подробные указания о том, как действовать в Риме. Те два дня, что архидиакон провел у патриарха, они разговаривали шепотом, из опасения быть подслушанными: к келье Никифора император приставил стражу.

– Меня, похоже, скоро переведут отсюда, – сказал патриарх. – Вчера приезжал куратор и сказал, что, поскольку я «упрямлюсь» и не желаю «покориться соборным решениям», то нечего мне и делать вблизи Города.

– Куда же тебе увезут, владыка?

– Говорят, хотят отправить в монастырь мученика Феодора, тот, что я построил. Впрочем, куда бы ни отправили, на всё Божья воля! Меня, грешного, хотя и сослали, но не слишком притесняют. Положение других отцов гораздо хуже...

– Господин экзарх, как говорят, заключен в Претории. Кажется, там и еще некоторые отцы, но я не смог узнать на верное.

– А студиты?

– Неделю назад Феодора отправили в ссылку, и все монахи покинули обитель.

– Куда он сослан?

– Не знаю точно. Говорят, куда-то в Вифинию... Святейший, прости меня, но мы расстаемся, на верное, надолго, и даже Бог знает, свидимся ли вообще... И я хочу всё же сказать... Мне кажется, господину Феодору оказывается слишком много почета. Точнее, я имею в виду, что ты так явно стал отличать его пред всеми в последнее время, советовался с ним более, чем с епископами... И теперь с ним советуются все: и игумены, и священники, и монахи, и миряне... как будто он выше архиереев! А ведь он со своими монахами только и делал в прошлые годы, что восставал на святейших владык! На святейшего Тарасия, потом против тебя... Даже на поношения осмелился! Боюсь, ему неполезен теперешний почет...

– Боишься, что возгордится? – Никифор улыбнулся.

«Да он уже и так...» – хотел ответить архидиакон, но промолчал.

– Прошлые дела остались в прошлом, Мефодий, – сказал патриарх. – Кто был правее тогда, решит Божий суд, а не наш. Сейчас пришла пора сообща стоять за веру, и я ни теперь, ни впредь не хочу ворошить прошлое. Мало того, что это не по-христиански, но и для церковных дел совершенно бесполезно, а теперь даже вредно. В свое время мы так много говорили о снисхождении и послаблении, что сейчас, как ты видишь, сторонников у них более чем

достаточно. – Никифор горько усмехнулся. – Не они ли устроили на Пасху свое соборище и осквернили великий храм? Дай Бог, чтобы у нас было в Церкви побольше таких людей, как Феодор и его братия... Ты понял меня, отче?

– Да, владыка, – ответил Мефодий.

Никифор пристально взглянул на него. Архидиакон, сидя на корточках боком к патриарху, складывал в суму письма и кое-какие тетради с записями, и трудно было понять, насколько его мысли соответствовали сказанным словам. Но если бы патриарх мог в этот момент заглянуть в лицо Хинолакскому игумену, он бы заметил, что губы Мефодия были сжаты в упрямую жесткую линию.

## 4. Рабы Божии

*И отвечал Маттафия...: если и все народы в области царства царева слушают его, чтобы отступить каждому от служения отцов своих, и согласились на заповеданное им, – но я и сыновья мои и братия мои повинемся закону отцов наших.*

*(I Книга Маккавейская)*

Когда Студийский игумен был сослан в крепость Метопу у Аполлониадского озера, в глухом месте на границе Вифинии и Фригии, император с новым патриархом вздохнули свободнее. Настоятелей монастырей и епископов продолжали вызывать в патриаршие палаты и во дворец, увещевая «вступить в общение с Церковью» или, по крайней мере, письменно дать обещание «не учить иконопоклонству»; в противном случае угрожали ссылками и заточениями. Многие отказались и были изгнаны или заключены в тюрьмы. Простых монахов, отвергавших общение с иконоборцами, выгоняли из обителей, часто с побоями и поруганием. Но самое пристальное внимание было обращено на студийскую братию.

– За этими надо следить в оба! – сказал Мелиссин. – Попытаемся склонить хоть кого-то на нашу сторону... Хорошо бы ограничить их сношения с другими, иначе они не перестанут смущать народ. Они ведь так же упрямы, как Феодор!

Навкратий с группой монахов покинул Студий сразу после того, как игумен был взят под стражу, и пришедшие в монастырь два дня спустя императорские посланцы уже не нашли его, равно как и большинство других братий. Немногих оставшихся собрали в обширной монастырской трапезной и тут же на месте стали вопрошать, поклоняются ли они иконам. Все отвечали утвердительно.

– Вы хорошо подумали, прежде чем дать такой ответ, отцы? Разве вам неизвестно, что благочестивый государь повелел изгнать из Города всех иконопоклонников?

– То есть всех православных? – спросил монах Картерий.

– Не православных, – возразил, хмурясь, протоспафарий Мариан, – а еретиков, воздающих поклонение мертвой материи.

– Мы воздаем поклонение не материи, а первообразу через образ, – сказал брат Орест.

– Глупости! – Мариан сделал пренебрежительный жест рукой. – Поклоняются тому, что свято, а вы бездушным картинкам кланяетесь!

– Вы же поклоняетесь Кресту, а это тоже, говоря по-вашему, «мертвая материя», – сказал монах Афрат.

– Крест – он всегда крест. А ваши эти картинки... Один хорошо нарисует, другой намалюет, неведь что, а для вас равно и то, и это – «святая икона»! Да мало того – «Христос»! Значит, для вас Бог не Христос, а эти самые рисуночки! И много же их у вас, таких богов!.. Но довольно! Спрашиваю в последний раз: никто из вас не желает отказаться от богомерзкого иконопоклонства?

– Не желаем и не возжелаем отказываться от почитания святых икон! – воскликнул брат Леонтий. – И ересь вашу богохульную анафематствуем и проклинаем!

– Вот как? – насмешливо протянул чиновник, хотя глаза его гневно сверкнули. – А если, скажем, игумен-то ваш возьмет да и присоединится к нам, а? Что вы тогда будете делать? Анафематствуете его?

– Мы даже и ангела анафематствуем, если он примкнет к нечестию, – заявил Картерий. – Но наш отец такого никогда не сделает!

– Он скорее сто раз примет смерть, чем перейдет к вам! – крикнул Агапий.

– Сто раз умирать ему не обязательно. – Протоспафарий усмехнулся. – Двести-триста ударов бича, и тот свет ему обеспечен... вместе с геенной огненной, где мучаются идолопоклонники!

Поскольку никто из братьев не пожелал перейти под омофор Феодота, Мариан приказал всех найденных в Студии монахов заключить тут же по кельям и приставить стражу. Игуменские кельи, скрипторий, монастырский архив и библиотеку перевернули вверх дном, но ничего важного не нашли: к счастью, ушедшие ранее братья унесли с собой главное – большинство книг и запасы пергамента, папируса и перьев.

Среди заключенных в столичные тюрьмы православных был и игумен Мидикийского монастыря. Никиту бросили в душную и зловонную темницу в подвале Претория, где по стенам ползали насекомые и слизняки, свет еле проникал через маленькое окошко под потолком, а из щели в стене то и дело вылезали крысы и нагло наблюдали за узником, выжидая, не обронит ли он что-нибудь из скудного пайка, приносившегося ему раз в день; крошки, упавшие на пол, немедленно исчезали, причем иногда хвостатые твари пробегали прямо по ногам. Из темницы узника никуда не выпускали; отхожее место было тут же в углу – вонючая дыра, от одного приближения к которой игумена начинало тошнить. В первые дни его выворачивало постоянно – от природы Никита был брезглив и любил чистоту, поэтому пребывание в таком месте уже само по себе было для него пыткой. Но мучения этим не ограничились: каждый день к нему приходили разные люди, подсылавшиеся начальником Претория, насмехались, хулили иконы, обвиняли в непокорстве церковной власти и императору, в расколе и идолопоклонстве. Никита ничего не отвечал и старался молиться про себя, но по ночам иногда не выдерживал и плакал, лежа в темноте на ложе из сучковатых, плохо обструганных досок.

Более всего выводил его из равновесия один чиновник по имени Николай. Он приходил раз в три или четыре дня и отличался от других тем, что был вежлив, но зато приставал к узнику с каверзными вопросами.

– Что, господин Никита, всё сидишь? – говорил он с притворным участием. – И за что сидишь ты в этой жуткой дыре? Думаешь, за веру страдаешь? Нет, отец честной, ты страдаешь только из-за собственного неразумия. И почему ты так непоследователен? Ну, такие упрямы, как студиты, они, понятное дело, неисправимы, но они и всегда шли наперекор всему разумному... А ты-то, отче? Ты же всегда был благоразумен!

– Никогда я не был «благоразумен» вашим благоразумием! – сердито отвечал ему игумен. – Перестань врать, господин Николай!

– Уж сразу и «врать», отец Никита? – смеиваясь, отвечал тот. – Да разве я выдумываю? Разве ты не одобрил восстановление эконома Иосифа в сане во время оно? Разве не согласился, что это было в духе святого снисхождения? Почему же теперь не хочешь снизойти, как предлагают вам император и святейший патриарх?

– То, что вы предлагаете – не снисхождение! В области догматов ему нет места, да будет тебе известно.

– Да мне-то это известно, отец игумен. Не глупец же я, в самом деле. Но, отче, разве заставляем мы вас топтать иконы и уничтожать их? Ни в коем случае! Мы лишь предлагаем перевесить их повыше, чтобы не соблазнять невежественную толпу. Что же? Это ведь не догматическое отступление, а только снисхождение. А ведь ваш Никифор, за которого вы так держитесь, даже анафемы налагал за непризнание снисхождения святых!

– Это вы-то святые? Вот уж, воистину, беспредельная наглость! Впрочем, если бог у вас не Христос, а чрево, то и ваш Феодот будет для вас святым, конечно...

– Э, господин Никита, не надо преувеличивать! Бог у нас с вами один – Христос Господь. А что до снисхождения, то ты прекрасно понимаешь, что я имею в виду. Святые применяли его, и мы применяем. Вспомни, ведь великий Василий некогда даже умалчивал о божественности Святого Духа! Разве то, что мы предлагаем вам, сравнимо с этим? Ведь и святейший Феодот

служит в храмах, расписанных образами, и никто их не замазывает! Сколь же неразумным надо быть, чтобы отвергать такое малое снисхождение, как предложенное вам! Эх, отче, жаль мне тебя и твоих друзей! Погибаете вы не за Христа, а за свое дурное упрямство!

После визитов Николая игумена каждый раз одолевали смутные помыслы. Вспоминалось прошлое, история с экономом Иосифом, протест студитов, который Никита тогда решительно осуждал, поддерживая патриарха... Прав ли он был тогда? А если прав, то прав ли сейчас? Эти мысли угнетали его более всего остального, что приходилось терпеть. Каждый раз он про себя решал, что не будет больше ни слова отвечать Николаю, но когда тот приходил и начинал вкрадчивым голосом развивать свои теории о пределах снисхождения, Никита опять не выдерживал, начинал спорить, – и снова всё оканчивалось тем, что чиновник уходил, покачивая головой и выражая сожаление, что «преподобнейший отец попусту терпит такие лишения»...

Но вдруг Николай пропал и не приходил целых три недели. Никита уже было подумал, что Господь, наконец, избавил его хотя бы от этого искушения, и когда однажды ближе к вечеру дверь в темницу отворилась и на пороге возникла знакомая фигура, на лице игумена невольно отразилось что-то вроде отчаяния. Николай затворил за собой дверь и молча стоял, не глядя на узника. Никита, удивленный таким странным поведением, наконец, заговорил первым:

– Здравствуй, господин Николай! Что это стряслось с тобой? Ты долго не приходил, и я уже решил, что ты оставил в покое мое смирение.

Николай поднял на игумена глаза и вдруг упал к его ногам прямо на грязный пол.

– Прости меня, отче, что я так долго мучил тебя безумными речами!

Пораженный Никита узнал от своего досадителя, что Николаю явился во сне собственный отец, умерший несколько лет тому назад, строго глянул на сына и сказал: «Долго еще ты будешь распускать свой язык? Хочешь на том свете отведать вот этого? – Он потряс увесистой палицей, утыканной железными шипами. – Отстань от рабов Божиих!» Сон этот так напугал Николая, что он даже заболел и почти две недели сидел дома, принимая успокоительные настойки, а когда оправился, сначала вообще не хотел больше идти ни к кому другому из узников, – он посещал ради «увещаний» не только Мидикийского игумена, – но совесть стала мучить его, и он явился испросить прощения.

– Слава Богу, дивному в чудесах и во всех делах Своих! – воскликнул Никита, вставая. – Я рад за тебя, господин Николай! Бог да простит тебе те досаждения, которые ты причинил мне и другим! Только смотри, не возвращайся более на прежнее.

– Как можно, отче! – ответил Николай и с того дня не только больше не приставал к игумену с нечестивыми речами, но старался унять и других, приходивших досажать узникам.

Между тем студийский эконом Навкратий, поселившийся с некоторыми братьями в Саккудионе, пока оставался на свободе и немедленно наладил переписку с игуменом, постоянно сообщая Феодору письменно и устно через посланников все новости, которые удавалось узнать. Сам Феодор, зная, что император сильно гневается на него, поначалу писал редко и с осторожностью – не из опасений за себя, но чтобы не подставить под удар своих адресатов. В переписке со студитами опять пошел в ход шифр, изобретенный игуменом еще во время ссылки по делу о прелюбодейном браке императора Константина: первенствующие из братий и архиепископ Иосиф обозначались определенными буквами алфавита. Феодор старался не называть адресатов по имени и вообще упоминать поменьше имен, на тот случай, если письма попадут в руки противников: после иконоборческого собора повсеместно началась слежка за православными, и все опасались соглядатаев и доносов. Хотя в столице в нескольких незначительных храмах император нарочно оставил иконы, чтобы при случае показать обвинителям, что «никто не ниспровергает образа», в остальных местах в Константинополе и за его пределами гонение распространялось: иконы выбрасывали из храмов, а иногда публично сжигали, как и писания об их почитании. За открытое выступление против ереси грозило бичевание, и

многие православные, хотя не примкнули к нечестию, всё же боялись писать письма, ссылаясь на то, что переписка запрещена василевсом.

– Люди нынешнего века сильны на ухищрения, – сказал по этому поводу Феодор. – Если мы должны молчать о вере, потому что так велит император, то почему бы нам и не еретичествовать? Если все замолчат, что станет с православием?

Чем больше доходило до Феодора слухов о гонениях на православных, тем больше посланий уносили письмоноscopy с берега Аполлониадского озера. Игумен ободрял, увещевал стоять за веру и не вступать в общение с еретиками, приводил доводы в защиту иконопочитания и обличал иконоборцев. Вместе с Феодором в ссылке жили монахи Николай, Ипатий и Лукиан. Обычно писал под диктовку игумена Николай и часто, запечатывая очередное послание, думал о том, что может ждать Феодора, если эти письма попадут в руки властей, мысленно моля Бога «защитить отца от неистовства христорборцев».

Архиепископ Солунский Иосиф некоторое время находился под стражей, а потом был изгнан со своей кафедры и отправился в Саккудион. Доброжелатели тайно помогали саккудионцам и нашедшим у них приют студитам, снабжая всем необходимым, однако монахи постоянно ожидали притеснений от властей. Но пока Навкратий оставался на свободе, Феодор поручил ему вместо себя заботу о рассеявшихся братиях. Иосифу не пришлось долго оставаться в Саккудионе: вскоре император вызвал его в столицу, попытался склонить к общению и, не преуспев, сослал на один из островов Пропонтиды. «Как я и предвидел, архиепископ схвачен, – писал Феодор, узнав от эконома новости, – Да будет с ним Христос. Усиленно молитесь о нем. Я думаю, что теперь вы уже не сможете удерживать за собою монастырь, а архиепископ – выйти. Благодарение Богу и за то, что вы на свободе. У нас остался один истинный монастырь – Горний Иерусалим».

...Студийский иеромонах Дорофей, отслужив в домовая часовне Марфиного особняка литургию и причастив всех домочадцев и слуг, уже спрятал антиминос и принялся укладывать в сумку священные сосуды. Марфа вышла из часовни и слышно было, как она торопит прислугу поскорее подать завтрак. Кассия стояла у двери и наблюдала за священником.

– Отец Дорофей, – проговорила она грустно, – а что, теперь так больше и нельзя будет ходить в Великую церковь?

Иеромонах выпрямился и ответил:

– Нет, чадо, нельзя, пока там служат еретики. Они хулят Христову икону, а через это бесчестят и Самого Христа, хотя бы и утверждали на словах противоположное. И всякий, кто с ними молится, становится причастным к их хулениям.

– Почему же Господь отдал им Великую церковь, если они хулят Его?

– Видишь ли... это не совсем правильно – говорить, что Он отдал храм еретикам. Правильнее сказать, что Он отобрал его у православных, и думать, почему это произошло. А отдать его Он мог совершенно кому угодно... Так сказать, кто первый подвернулся, тому и отдал.

– И почему Он отобрал его у православных?

– За грехи христианам посылаются подобные бедствия. Наш отец Феодор говорит, что это попущено за прежние неправды.

– Это за то, что вас всех тогда выгнали из монастыря?

– Да, и не только нас. Тогда было допущено беззаконие, которое соборно пытались оправдать. К чему это привело, все видели. Но, увы, не все уразумели.

– Значит, теперь гонение уже на всех, чтобы уразумели те, кто еще не понял?

– Да, вероятно... Хотя мы, конечно, не можем постигнуть всей глубины судов Божиих. Но отец Феодор говорит, что если прежние язвы еще не зажили, то они непременно обнаружатся сейчас. И кто захочет покаяться, того Господь исцелит через страдания и подвиги, а кто не захочет, тот пожнет плоды своей неправды с лихвой.

Кассия помолчала в задумчивости и сказала:

– Всё равно непонятно! Одни раньше согрешили, другие до сих пор не поняли, что это было плохо, и вот, теперь наказаны все – и те, кто не грешил и понимает всё правильно! Вот вы, например. Получается, вы тогда страдали ради правды, а сейчас опять будете страдать вместе с теми, кто наказан за тогдашние неправды?

Дорофей внимательно посмотрел на девочку. Еще только десять лет, а какие вопросы задает!

– Почти у всех есть грехи, которые нужно очищать страданиями. А кто праведен, тому страдания плетут великие венцы на небесах. В любом случае мы должны радоваться, что Господь сподобил нас страдать за Него, а не роптать.

– Я не ропшу, – возразила Кассия, тряхнув головой, – я хочу понять... Разве это грех – хотеть понять?

– Нет. – Дорофей улыбнулся. – Но иногда пытливость бесполезна, если мы как бы силой пытаемся уразуметь то, что Господь пока не благоволил открыть... Всему своя пора, а мы должны покориться воле Божией.

«Покориться! – подумала Кассия, чуть закусив губу. – Пока мы будем покоряться, отец Феодор и другие будут сидеть в тюрьме... а иконоборцы будут радоваться и служить в Великой церкви! Ну ладно, вот я, например, не подвижница и, наверное, многое делаю не так, как нужно, молюсь мало... Или те, кто что-то там недопонял, – они могут это понять теперь, когда пострадают... Но отец Феодор разве заслужил изгнание и всё остальное?! Венцы? Да разве он и так мало стяжал венцов за свою жизнь: столько подвизался, терпел гонения... Он, конечно, наверное, радуется, что опять страдает за Христа, а нам что теперь – радоваться тому, что его гонят, что мы теперь неизвестно вообще, увидимся или нет когда-нибудь? Нет, непонятно, всё равно непонятно!»

## 5. «Новый Ианний»

*Нет, тайное сознание могущества нестерпимо приятнее явного господства.*

*(Феодор Достоевский)*

На следующий день после возведения Феодота Мелиссина на патриарший престол Иоанн Грамматик, по указанию императора, был поставлен игуменом в Сергие-Вакховом монастыре; прежнего настоятеля за отказ дать подписку иконоборцам заточили в тюрьму. Некоторые монахи покинули обитель, но большинство осталось. Когда патриарх, придя к службе шестого часа, сообщил собравшимся в храме братьям о решении сделать игуменом Иоанна, братья не осмелились возражать, однако были смущены, если не напуганы: Грамматик был так умен и в то же время оставался настолько закрыт от всех, пока жил рядом с ними, что они совершенно не знали, чего от него ждать в новом качестве. Не знал этого и Мелиссин, а потому, раздраемый любопытством, стал иногда посещать обитель и расспрашивать братьев об их житье-бытье при новом настоятеле. К некоторому удивлению Феодота, монахи остались в целом довольны и не жаловались на Иоанна, хотя кое-что в его поведении и казалось им непривычным.

Новый игумен расширил монастырский скрипторий и вознамерился пополнить библиотеку обители, для чего стал выдавать переписчикам копировать книги из собственного собрания. Переехав в новые кельи, прежнее свое жилище в пристройке Иоанн превратил в химическую мастерскую: он приказал сделать там небольшую печь с горном; на столе, на полках и прямо на полу стояли кувшины с водой, разные котелки, ступки с пестиками, колбы, коробочки, мерные стаканы, весы и гири разной величины; бывшая библиотечная комната теперь вместо книг наполнилась емкостями с различными веществами, сушеными растениями, обломками горных пород и засушенными насекомыми; книги оставались только в одном шкафу – это были рукописи с рецептами по изготовлению различных веществ, красок и сплавов, а также писания египтянина Гермеса, Демокрита из Абдеры, Зосимы Панополитанского, Африкана, Синесия, Олимпиодора, Стефана Александрийского, приписывавшийся Клеопатре трактат о весах и мерах и еще некоторые книги и выписки подобного рода, труды Гиппократ и Галена, два трактата об изготовлении лекарственных снадобий и книга Феофраста «О растениях».

Устройство мастерской вызвало разговоры среди братии, чье любопытство подогревалось особенно тем, что Грамматик никого туда не пускал, кроме троих: старшего монастырского больничника, еkkлесиарха, который до пострига был мироваром и знал толк в изготовлении различных смесей, и еще одного монаха, в молодости интересовавшегося химическими опытами и даже собиравшего книги на эту тему, – строго запретив им, под угрозой изгнания из обители, болтать о том, чем они занимались. На все расспросы «химики» отвечали, что готовят краски. Действительно, вскоре в скриптории появились изготовленные в мастерской золотые и серебряные чернила и различные краски, а также листы пергамента пурпурными краями – они были нужны для переписки некоторых ценных рукописей, причем Иоанн сам давал писцам указания по оформлению и иногда показывал, как нужно рисовать орнаменты и буквицы, поражая монахов своим художественным талантом. Кроме того, в мастерской изготовляли и некоторые лекарства для монастырской лечебницы. Больничник до того увлекся этим делом, что свободное время, если игумен разрешал, всегда проводил в мастерской: что-то смешивал, варил, переливал; иногда его можно было видеть бегущего через двор в лечебницу со стеклянным кувшинчиком или глиняным горшочком, очень довольного... Братия, однако, всё равно подозревали, что мастерская служит не только нуждам скриптория и лечебницы: им было известно, что игумен, тративший на сон куда меньше времени, чем его монахи, иногда

что-то делал там по ночам, по временам подключая к делу епископа. Опять пошли разговоры о том, что Грамматик «ищет философский камень», но теперь это предположение не вполне походило на шутку. Было ясно, что игумен занимается опытами, но о том, какого они рода и какова их цель, никто не мог сказать ничего достоверного.

Однажды по осени патриарх при очередном посещении монастыря спросил Иоанна, когда они уединились в так называемой гостевой келье, где игумен принимал посетителей и братьев для бесед:

– Говорят, ты тут какие-то опыты проводишь?

– Я всю жизнь провожу опыты самого разного рода. Какие именно ты имеешь в виду, святейший?

– Хм... Те, которыми ты занимаешься в своих бывших кельях. Говорят, ищешь способ изготовить золото?

– К лицу ли тебе, владыка, повторять эти басни? Я никогда не верил в то, что такое превращение возможно. Думаю, многочисленные последователи Тривеличайшего Гермеса просто неверно истолковали его знаменитую Скрижаль. На самом деле речь там идет совсем не о золоте.

– Уж не нашел ли ты верное истолкование? – насмешливо спросил Феодот.

– Пока нет. Но думаю, что написанное одним человеком может быть в конце концов понято другим.

– Ну-ну. Только смотри, поосторожнее! А то могут и в магии обвинить... Разве не знаешь, как у нас это быстро делается?

– Мало ли тупиц на свете, – равнодушно ответил Грамматик.

– Пусть тупиц, но мы должны всё-таки хоть немного заботиться и о том, чтобы иметь «доброе свидетельство от внешних». А ты даже о свидетельстве от внутренних не очень заботишься!

– Это правда. – Иоанн улыбнулся. – Меня вообще мало волнуют людские мнения. Но утешься, святейший, ведь и в плохих отзывах есть хорошая сторона: ругают – значит, боятся. Мне даже иной раз бывает любопытно, что они еще сочинят про нас. Например, меня называют «новым Ианнием»... Не удивлюсь, если начнут рассказывать и о том, что я волхвую. Если какой род и не переведется до скончания мира, так это невежды.

– Про «Ианния» я слышал. – Патриарх поморщился. – Интересно, кто это такое придумал?

– Уверен, что Студит.

– Феодор?

– Он так называет меня в одном из перехваченных писем. По-видимому, эта кличка уже в ходу среди его монахов. Понятное дело, для Феодора я – главный «противник истины», «развращенный умом, невежда в вере». Нельзя не признать, что, с его точки зрения, так называть меня, пожалуй, остроумно.

– Ну, он вряд ли оценит то, что ты оценил его остроумие! – усмехнулся Мелиссин. – И потом... Остроумно он тебя обозвал или нет, но невежды, как ты сам говоришь, это остроумие истолкуют на свой лад... А потому с твоей стороны превращать монастырь в место для таких... гм... опытов... это всё же несколько неосторожно, согласишься!

– Не соглашусь, – немного резко ответил Иоанн. – Я не просил ставить меня игуменом, святейший, но коль скоро это случилось, я не противлюсь провидению, однако не собираюсь бросать интересные мне занятия. А на сегодняшний день меня интересуют превращения веществ. Я собрал по этой теме довольно много книг, которых у меня раньше не было, и изучаю написанное там на практике – как только и возможно подобные писания изучать. Будь я простым монахом, как прежде, я бы, вероятно, уезжал к брату, чтобы ставить опыты, но теперь я уже не имею такой свободы действий и не могу часто бросать обитель. Поэтому я

приспособился, как мог, и не вижу, кому какое может быть до этого дело. Тебя заботит мнение еретиков? Но они вообще считают государя «предтечей антихриста», а нас – его приспешниками. От того, что они обвинят меня еще и в магии, мало что изменится. Или тебя беспокоит мнение невежественной толпы?

– Нет, конечно!

– Тогда в чем дело? Уж не заботит ли тебя моя добрая слава сама по себе? – насмешливо спросил Грамматик. – Я удивился бы этому.

– Почему же?

– Почему? – Иоанн пристально взглянул на патриарха. – Еще совсем недавно она заботила твое будущее святейшество ровно противоположным образом.

Мелиссин смешался. После провала Иоанна в качестве кандидата на патриарший престол Грамматик никогда не подавал виду, будто уязвлен происшедшим, и отношения его с Феодотом внешне продолжали оставаться прекрасными; но внутренне патриарх испытывал неприятное беспокойство. Он пытался убедить себя, что Иоанн всё-таки не догадался, каким образом патрикий достиг церковного предстоятельства, но до конца увериться в этом не мог. И вот, теперь Грамматик недвусмысленно намекал, что всё прекрасно понял. Феодот криво усмехнулся.

– Я гляжу, ты и впрямь скоро стяжешь славу прозорливца!

– Меня кто-то уже считает таковым?

– Твои братия говорят, что ты видишь их насквозь.

Сергие-вакховы монахи в беседах с патриархом хвалили своего игумена, но было видно, что он вызывает у них не только уважение и восхищение, но и некоторый страх, причем не такой, какой мог бы происходить от боязни огорчить любимого человека, но иной – страх перед могуществом не слишком понятной природы. Святым Грамматика никто из монахов вроде бы не считал, но в то же время...

– Когда я прихожу к нему, я чувствую себя сделанным из прозрачного стекла, – так выразил один из братий общее ощущение. Это самое ощущение теперь охватило и Феодота. Иоанн еле заметно улыбнулся и сказал:

– Я прочел много книг, святейший, и встречал за свою жизнь немало разных людей. Но я не просто читал и встречал, а запоминал, наблюдал и оценивал. А поскольку человеческая природа во всех одинакова, то и грехи, и помыслы, и желания у всех тоже примерно одинаковы. Это только кажется, что люди сильно разнятся между собой, и что трудно понять их устремления и скрытые намерения. Труднее всего понять людей умных и сильных, но такие встречаются редко. Разгадать остальных довольно легко, и никакая сверхъестественная прозорливость здесь не нужна. Например, даже манера сидеть многое может сказать о человеке. – Мелиссин невольно выпрямился в кресле, и Грамматик снова улыбнулся. – Впрочем, оставим это,ладыка. Не думай, будто я сержусь на тебя. Напротив, я весьма рад, что в настоящее время эта обуза меня миновала.

«В настоящее время»? – подумал Феодот. – Он говорит так, словно уверен, что всё равно когда-нибудь станет патриархом! “Труднее всего понять людей умных и сильных”... Значит, я глуп и слаб?! Впрочем, да, я слаб... Не притворяться же и перед самим собой!»

– Я, конечно, не мастер разгадывать людей, – сказал он. – Но мне казалось, что... при твоей любви заставляешь других творить твою волю, ты именно этого и добиваешься. А ты так легко ушел в тень! Да вот, и здесь... Я, признаться, думал, что братия будут жаловаться на твое своевластие. А ты, похоже, еще и распустил их, сравнительно с предшественником!

Прежний игумен Сергие-Вакхова монастыря, действительно, был довольно суров в том, что касалось внешних правил поведения и монастырского устава: малейшие нарушения карались весьма строго, однако не все происходившие в обители непорядки и проступки братий становились настоятелю известны. С Иоанном всё было наоборот: он не слишком вникал в подробности жизни монастыря, предоставив больше прав эконому и таксиархам, но монахи,

приходя к нему на исповедь, странным образом ощущали, что скрыть от него какой-нибудь проступок не удастся, и рассказывали всё, что бы ни случилось им сделать дурного, – епитимии же, следовавшие за признаниями, были часто далеко не столь строгими, как при прежнем игумене. Однако в подходе Грамматика была своя особенность: он снисходительно смотрел на проявления тех или иных страстей, но глупости и невежества не терпел и, по выражению перефразировавшего «Лествицу» трапезничего, «бил больше не того, кто сделал достойное ударов, а того, кто не старался узнать».

– Ты действительно ничего не понял, святейший, – сказал Грамматик с иронией. – Стремиться кем-то управлять внешним образом – вообще дело не философское. Но даже если оставить это соображение в стороне, скажи на милость, что может быть интересного в том, чтобы заставить исполнять свою волю того, кто по самому своему положению обязан покориться тебе? Они монахи, я игумен, они обязаны меня слушаться. По-твоему, я должен был немедленно начать безудержно самовластвовать только потому, что получил начальство? О, это было бы умно! Ты, владыка, верно, думал, что я, взойдя на патриаршество, только и буду знать, что всех вокруг гнуть и ломать?

Мелиссин действительно предполагал именно это, а теперь уже не знал, что и думать. Выходит, Иоанну нужна даже не власть сама по себе... Ему интересно подчинить своей воле тех, кто не склонен подчиняться... И что дальше? Просто любопытство ученого, знатока человеческой природы? «Он смотрит на нас... как на зверей в загоне!» – мелькнуло у Феодота в голове. Патриарх встал: внезапно ему захотелось немедленно уйти, скрыться от взгляда этого человека, словно тот и правда мог «заколдовать»... Однако уходить, оставляя его столь явным победителем, не хотелось, и Мелиссин сказал с ехидцей в голосе:

– Стал бы ты всех гнуть или не стал, умно это или не умно, но всё же у патриарха власти и возможностей побольше, чем у какого-то там игумена. И сколь ты тут ни умничай в своем углу, а припадают все передо мной, в том числе и ты сам!

– Святейший, у тебя слишком невежественные понятия о власти, – ответил Грамматик, насмешливо глядя на Феодота. – Ты отождествляешь власть действительную и возможную и думаешь, что тот, кто получил имя властителя, уже тем самым и властвует. На самом же деле властвует лишь тот, кто имеет власть на деле, а не по имени. Естественно, патриарх почитается своею паствой, с этим никто не спорит; но когда ему нужно определиться, как пасти эту паству – например, что постановить на соборе, или как опровергнуть ересь, или как убедить упорствующих еретиков, или как донести ту или иную мысль до государя императора, – он сходит со своего превознесенного престола и идет в угол к какому-то там игумену, поскольку сам решить возникающие вопросы не способен. И даже если облеченный высоким саном не приходит с вопросами довольно долгое время – например, потому, что все насущные вопросы успешно разрешены, а новых пока не возникло, – какой-то там игумен всё равно знает, что если такие вопросы возникнут, за их разрешением придут к нему, хоть перед ним никто и не припадает. Кто же здесь обладает настоящей властью и, следовательно, властвует?

Когда патриарх покинул обитель, привратник сказал игумену, провожавшему Феодота до выхода:

– Что-то, отче, я гляжу, святейший зачастил к нам...

– Некто от древних, – ответил Иоанн, – сказал, что «единому, поскольку оно не существует, необходимо быть причастным бытию, чтобы не существовать». Думаю, что это можно символически истолковать как прикровенный намек на глупцов, которые ничем так явно не обнаруживают своего небытия, как через касательство к жизни людей умных. Хотя небытие глупцов им, конечно, представляется бытием, но, как говорил великий трагик, «не смерть ли наша жизнь, не жизнь ли – смерть?» – С этими словами он пошел к себе, оставив привратника в задумчивости.

Грамматик вообще поначалу вызвал немалое удивление у братии, когда в поучениях, которые игумен, по обычаю, установившемуся несколько лет назад не без влияния Студийского монастыря, трижды в неделю говорил после утрени, начал приводить примеры и изречения не только из святых отцов, но также из исторических сочинений и из языческих философов.

– По словам Сократа, – так мог начать Иоанн свое слово, – добродетель «есть не что иное, как разум», и это справедливо, потому что любое, даже самое хорошее дело, если делается неразумно, приносит скорее вред, нежели пользу. Но что значит: разумное делание? – И далее он развивал обычное поучение о необходимости рассудительности в духовной жизни, цитируя подходящие места из отцов.

Со временем братия привыкли и полюбили эти «философские» поучения.

– А я и не знал, – сказал однажды монастырский таксиарх эконому, – что у языческих философов было так много правильных мыслей! Даже странно... Ведь они были еще не просвещены Духом, откуда же у них такое познание сущего, почти христианское?

– Я уже спрашивал отца игумена об этом. Он сказал, что правильные мысли у древних философов, стремившихся познать сущее, хотя и не достигавших совершенства знания, были им таинственным образом внушены Богом, как награда за стремление к истине. И еще – чтобы показать нам, что нужно всем стремиться к ее познанию: ведь если даже язычникам Господь даровал блага за жажду истины, то нам разве не дарует, если мы будем стремиться к Нему?

...Копье было самым обыкновенным: император носил оружие с драгоценной отделкой только во время церемоний. Посередине древка была приделана ременная петля.

– Зачем на нем петля? – спросил Феофил, разглядывая оружие.

– Чтобы дальше летело, – ответил Лев. – Это придумали авары, а наши взяли от них.

Феофил чуть приподнял копье.

– Для тебя такое пока слишком тяжело. – Император улыбнулся. – Вам с Константином дадут поменьше.

– И лук, и стрелы? – спросил Константин.

– Конечно. Не такие большие, как у меня, но самые настоящие. И лошади у вас будут, и военные одеяния.

– И шлем?

– И шлем. – Император потрепал крестника по плечу. – Будете учиться воевать!

Они находились на крытом ипподроме, где ноябрьская непогода не мешала упражняться. Лев самолично решил взяться за обучения старшего сына и крестника военному делу: Константину уже исполнилось тринадцать, а Феофилу шел двенадцатый год.

Церковный переворот почти не отразился на придворной жизни, если не считать того, что повсюду иконы были заменены крестами – золотыми, серебряными, украшенными драгоценными камнями, жемчугом, орнаментами. Константина, который присутствовал вместо отца на иконоборческом соборе в Святой Софии, всё происходившее только позабавило, и он потом со смехом рассказывал братьям и Феофилу, как с собора были задом наперед вытолкнуты епископы и игумены, не захотевшие подписаться под его определениями. Феофил отнесся к перемене в вере серьезнее и спросил у Грамматика, как же это вышло, что раньше иконы почитали, и никто ничего не возражал, а теперь вдруг говорят, что это ересь.

– Так это все раньше в ереси были?

– Не то, чтобы прямо в ереси, – ответил Иоанн. – Скорее, в заблуждении, грозившем перерасти в ересь. Апостол говорит, что «идол ничто есть в мире», но если немощные смущаются, не следует вкушать идоложертвенное. Так и тут. Иконы сами по себе – не более чем картины, их можно было бы даже и оставить в качестве благочестивого напоминания о евангельских событиях, как и сейчас мы кое-где оставили их. Но поскольку неразумные люди принялись почитать их чрезмерно и несогласно с преданием поклоняться им, пришлось принять

меры, некоторым показавшиеся резкими и неприятными. Что делать! Ведь и врач иной раз, чтобы вылечить болезнь, использует прижигание.

– То есть сначала иконам не поклонялись, а они просто были как украшения?

– Конечно. Отчасти и как напоминание о тех или иных событиях для людей неграмотных, некая замена книг. Но что было допущено как пособие для невежд, чтобы они просвещались, невежды обратили себе во зло.

– Значит, никогда не надо уступать невеждам, – пробормотал Феофил.

– Совершенно верно. Это почти всегда приносит больше вреда, чем пользы. Причем со временем вред усугубляется, а польза, даже если и была, тонет в море вреда. Простой народ груб и неразумен, и постепенно правильное понимание икон извратилось, а потому стали необходимы жесткие меры.

– При императоре Константине Исаврийце?

– Да. Это был великий государь и богослов. И если бы на ромейский престол не взошла неразумная женщина, наша Церковь и до сих пор пребывала бы в мире и порядке. Ты тогда еще не родился, а потому тебе кажется, что иконы существовали всегда. На самом деле попытка опять ввести у нас иконопочитание после того, как его с успехом упразднили, была сделана не так уж давно. Кстати, наглядный пример того, до чего может довести тщеславие. Августе Ирине захотелось прославиться и собрать «вселенский собор»... Впрочем, она довольно была наказана за свое неразумие!

## 6. Эконом Иосиф

*Всё это очень мило; только если захотел мошенничать, зачем бы еще, кажется, санкция истины? Но уж таков наш русский современный человек: без санкции и смошенничать не решится, до того уж истину возлюбил...*

*(Феодор Достоевский)*

– Обед, почтенные отцы! – послышалось из-за двери. Раздался скрежет ключа в замке, скрип несмазанных петель, и раздатчик тюремной пищи внес и поставил на низкий деревянный стол у окна еду для узников. Подозрительного цвета варево в глиняных мисках источало малоаппетитный запах, мутно зеленела вода в стаканах, только хлеб выглядел нормально.

– Приятного вкушения! – сказал тюремщик чуть насмешливо и вышел.

Когда в замке опять повернулся ключ, один из заключенных, среднего роста крепко сложенный светловолосый монах лет сорока, привстал с койки, взял миску к себе на колени, попробовал содержимое и поморщился.

– Ну и гадость! Как они умудряются готовить всё так тошнотворно? Если нас еще немного продержат на такой еде, я, пожалуй, отправлюсь к праотцам!

– Ну, что ты, отец Константин! – насмешливо сказал его союзник. – Ты просто не едал настоящей гадости. Плесневелого хлеба, например, и гнилой недоваренной свеклы. Но у нас еще, надо думать, всё впереди... А пока мы с тобой находимся не где-нибудь, а в тюрьме «священного Претория», и притом не в подвале каком-нибудь, а в весьма, можно сказать, прекрасном помещении. Посмотри, какое здесь большое окно! Хоть на нем и решетка, но зато сколько света, и воздух не такой спертый, как бывает в подобных местах. Любой тюремщик скажет тебе, что ты должен не роптать, а ежечасно благодарить Бога и императора за столь великие милости!

Второму заключенному было уже за шестьдесят, но выглядел он молодо. Правда, большие залысины несколько портили его внешность, но высокий рост, хорошее сложение и не лишённые приятности черты лица скрадывали это впечатление, а седина придавала монаху некоторое благородство. Он тоже водрузил на колени миску с желтоватой бурдой, взял кусок темного хлеба, и вдруг тот разломился надвое в его руках, и небольшой папирусный свиток едва не упал в миску.

– О, да тут письмо! – Узник отставил еду, поднялся, развернул тонкий листок и, подойдя к окну, принялся за чтение. Почти сразу же брови его поползли вверх, и, дочитав, он воскликнул: – Удивительный человек! Просто поразительный! Право, не ожидал... А я думал, меня в этой жизни уж ничем не удивишь...

– О ком ты? – спросил Константин, с брезгливым выражением лица собиравший куском хлеба остатки варева в миске.

– А вот, прочти!

Константин прожевал хлеб, вытер руки о хитон, взял письмо и стал читать. «Пришло время, – говорилось там, – когда я могу обратиться к твоей святине с дружеским письмом. А ведь раньше, когда по моим грехам державными были возбуждены в Церкви Божией к ее вреду печальные вопросы, мы так разошлись друг с другом, что этот горестный раздор стал известен и Востоку, и Западу. Горе тем дням!» Но теперь, «когда прежние замешательства по мановению Промысла устранены, возгорелось, по Его попущению, нечто, может быть, даже и худшее, будучи, понятное дело, последствием предыдущего». Однако поскольку Иосиф сейчас оказался «в согласии с истиной», решив пострадать за православие, то и пишущий возвращался «к прежней любви и близости», ведь «ничто не содействует единомыслию так сильно,

как согласное учение о Боге». «О, великое дарование Божие, – гласило далее письмо, – не попустившее твоим блестящим подвигам быть сокрытыми под прежним темным сосудом! Ныне почитаю тебя, как исповедника Христова, восхваляю, как стража православия...» Оканчивалось послание смиренной просьбой: «Если ответить на письмо для тебя невозможно, то даруй мне самое лучшее из того, что имеешь, – святые твои молитвы, ибо я исполнен грехов и жалок более всех людей». Внизу стояла подпись: «Грешный Феодор».

– Студит? – удивленно спросил Константин, возвращая письмо.

– Он самый.

– Ну и ну!

– Вот именно. А хорошо работает его разведка, гляди-ка! Не успели меня перевести сюда, как он узнал об этом!

– И что ты думаешь отвечать?

– Пока что я думаю, отвечать ли.

Эконом Иосиф пятую неделю сидел в тюрьме Претория вместе со скевофилаксом Великой церкви. Оба они после иконоборческого собора заявили, что не признают его решений, и не стали общаться с новым патриархом, в результате были изгнаны со службы в Святой Софии и поначалу оставлены в покое. Однако в конце августа их опять вызвали к Феодоту, который призывал их вступить в общение, обещая скевофилаксу вернуть его на должность, а эконома восстановить и в должности, и в священном сане, но оба монаха ответили отказом, и их сначала посадили под стражу в Хорский монастырь, а в конце ноября перевели в Преторий. Правда, условия их заключения были не такие суровые, как можно было опасаться, однако Иосифу не повезло с союзником: скевофилак постоянно ныл, жаловался то на пищу, то на вонь, то на клопов, то на холод. Родственники передавали заключенным пищу, чистую одежду и некоторые книги, но не так уж часто, поскольку из нескольких сменявшихся стражей только один благоволил к иконопочитателям. Если же передач извне не поступало больше двух недель, скевофилак начинал сетовать и плакаться. В конце концов Иосиф сказал ему:

– Послушай, отче, если уж ты решил страдать за веру, то помолчи, а не хочешь терпеть – вон, скажи тюремщику, что жаждешь покаяться и прибегнуть под омофор святейшего Феодота, и тебя немедленно выпустят! Надоел ты мне уже, право слово!

– Да ты, поди, и сам уже подумываешь, не прибегнуть ли под его омофор, нет? – съязвил обиженный Константин. – Или из чувства долга будешь поддерживать Никифора? Конечно, он тебя когда-то защищал, хоть и не удалось в итоге...

– Глупости! Патриарх не меня защищал, а радел о собственной славе и не хотел ссориться с императором. Но надо отдать ему должное: он, по крайней мере, действительно человек, преданный вере. Чего о Мелиссине не скажешь, это посмешище, а не патриарх!

– Что ты говоришь? Он благочестивый, начитанный, его в Синклите всегда уважали, как примерного христианина!

– Это смотря как определить, кто такой примерный христианин. – Иосиф усмехнулся. – Впрочем, будь по-твоему: допустим, он таков, как ты утверждаешь. Что же ты тогда тут сидишь до сих пор, а?

– Да я бы, может, и не сидел, если б они не запрещали иконам поклоняться! Мне, знаешь, всё равно, тот ли патриарх, этот ли... Можно подумать, в первый раз императоры заменяют одного другим! Но вот чего они на иконы напали? Ну, не хотят сами поклоняться, пускай бы не поклонялись... А кто хочет, тому разрешили бы! Что тут такого? Я, видишь ли, привык к священным сосудам, облачениям, книгам, всё это всегда было изображением украшено, так что ж мне теперь – в угоду императору всё это разбивать и сдирать?! Это всё-таки нечестиво. Тем более, что сами они на соборе отказались от прямого уравнения их с идолами... Но раз так, то зачем они их уничтожают? Нет, я так не согласен!

– Ну, тогда сиди тут, корми клопов и не ной! – отрезал Иосиф.

После этого разговора он был некоторое время задумчив и совсем перестал разговаривать с Константином. А через четыре дня эконома неожиданно под конвоем препроводили в Сергие-Вакхов монастырь. Шел не то дождь, не то снег, улица холодно поблескивала мокрым мрамором, торговцы и прохожие укрывались в портиках. Во избежание лишней толкотни, стражи повели узника прямо под дождем, и, хотя путь был недолог, Иосиф порядочно вымок и замерз. По прибытии в обитель его ввели в довольно просторную келью с большим окном и оставили там в одиночестве.

Иосиф огляделся. Келья, чьи каменные стены и потолок потемнели от времени, была почти пуста; на столе в правом переднем углу у окна лежала книга, кипа чистых листов и два пера; перед столом стоял стул с высокой спинкой, а слева от окна – низкое кресло, покрытое потертой овчиной; справа, ближе к входу – небольшой запертый шкаф, по-видимому, книжный; слева, вдоль стены и возле двери – две простые лавки. Выбивался из этой строгости только роскошный пол, выложенный темно-синим мрамором с белыми прожилками. За окном, через залитые дождем стекла, виднелись плохо различимые унылые силуэты голых деревьев на монастырском дворе и плоский купол Сергие-Вакхова храма. Почти всю левую стену между шкафом и столом занимала подробная карта Империи, что несколько удивило Иосифа. Но более всего поразила его висевшая в углу над столом под самым потолком довольно большая икона Богоматери с Младенцем, как будто не старая, чрезвычайно тонкого, даже изысканного письма. Очень красивая, она так и притягивала взор, однако была в ней какая-то холодность: легкость линий и мягкие переходы цвета создавали ощущение не просто воздушности и прозрачности, но почти призрачности изображения, это впечатление еще усиливалось благодаря сочетанию красок – почти всё холодные оттенки, даже полосы нимбов были выписаны не золотом, а серебром. «Какая необычная икона! Но что она здесь делает?!» – изумился Иосиф, перекрестившись на образ: он совсем не ожидал увидеть тут какие-либо иконы. Ему хотелось рассмотреть изображение поближе, но оно висело высоко, а стол мешал подойти. Иосиф, близоруко щурясь, некоторое время смотрел на икону, затем вздохнул, еще раз перекрестился с поклоном, подошел к карте и принялся ее разглядывать. За этим занятием и застал его, войдя, Иоанн Грамматик.

– Приветствую тебя, господин Иосиф!

– Здравствуй... Иоанн.

Оба монаха смерили друг друга взглядами. Игумен прошел вперед и уселся в кресло, а Иосифу указал на лавку у противоположной стены:

– Садись, отче.

Тот сел и снова оглядел Иоанна: он был всё в таком же несколько потертом хитоне, какой носил и раньше, но мантию, судя по виду, сшили недавно; кукуль был откинут на спину.

– Ты, я вижу, изучал карту, – сказал Грамматик. – И как, выбрал себе место ссылки?

Иосиф вздрогнул от неожиданности.

– А что... разве меня собираются сослать?

– Тебя это удивляет? Но почему бы и нет? Не всё ж тебе прозябать в Претории! В нашем богоспасаемом отечестве немало пустынных островов и уединенных крепостей. Подходящие места для истинных монахов, чья цель – пребывание наедине с Богом, не правда ли?

Иосиф не ответил.

– Видишь ли, господин Иосиф, – продолжал Грамматик, – вот уже более полугода в тюрьмах Царствующего Города содержатся упрямые еретики, не желающие примириться со святой Церковью. И поскольку надежда убедить их, по-видимому, должна быть признана тщетной, а пребывание их здесь – нецелесообразным, благочестивейший государь склоняется к тому, чтобы сослать их в отдаленные места под крепчайший надзор. Тем более, что некоторые из них даже и в заключении не оставляют своей пагубной деятельности по проповеди лжеучений... или, по крайней мере, слишком доступны для этой проповеди.

Иоанн остро глянул на эконома. «Знает о письме?» – промелькнуло в голове у Иосифа. Грамматик поднялся, взял со стола перо и подошел к карте.

– Вот, например, остров Афусия. – Он указал кончиком пера на напоминавший кляксу клочок земли к западу от Кизика. – Чем не место для монаха, желающего спасти свою грешную душу?

Афусия! Скалистый остров на противоположном краю Пропонтиды... Сердце Иосифа болезненно сжалось. Значит, его хотят сослать туда? Не то чтобы он испытывал страх перед новым заключением, к темничной жизни он уже привык за прошедшие месяцы... Но так далеко от столицы! Туда ему уж вряд ли будут часто делать передачи, даже письма-то пока дойдут, да и дойдут ли вообще?..

Грамматик пристально наблюдал за ним, и взгляд игумена, холодный и такой же понижающий, как ветер с дождем, четверть часа назад хлеставшие в лицо узнику, заставил Иосифа внутренне поёжиться. Однако он продолжал молчать. Иоанн небрежным жестом бросил перо на стол и снова сел, скрестив руки на груди.

– Итак, я вижу, этот остров по нраву твоему преподобию, господин Иосиф? Впрочем, я прекрасно понимаю тебя. Как желанно уединение после соседства такого докучливого и нетерпеливого мужа, как господин Константин!

«Он и об этом знает! Так значит, нас подслушивали!» На лице Иосифа отразилась усталость. Он поднял глаза на Грамматика.

– А ты любишь издеваться над людьми, Иоанн. Но я, право же, несколько разочарован. От человека, слывающего за ученого, можно было бы ожидать речей поумнее, а не насмешек, достойных простолюдина!

– Твоя правда! – Грамматик улыбнулся. – Но я, видишь ли, стараюсь «быть всем для всех» и приспосабливаюсь к собеседнику. Если же твое преподобие расположено к беседам философским, то изволь: я буду только рад, если ты окажешься более разумным, чем иные твои собратья. Ведь стоит завести с ними речь о богословии, как сразу слышишь одно: «В Никее всё решили, больше говорить не о чем!» Вот и приходится говорить не о небесных горах и морях, а о земных. Мне и самому, знаешь ли, так жаль бывает иногда!

– А ты считаешь, что в Никее решили не всё?

– Разве так считать нет никаких оснований?

– По-моему, никаких. Законность иконопочитания там была вполне обоснована.

Иоанн чуть приподнял бровь.

– Каково же его главное обоснование, по-твоему?

– Главное? – Иосиф на мгновение задумался. – Христос – Бог и человек, равно как и святые – друзья Божии и боги по благодати. И поскольку Христос воплотился истинно, а не призрачно, став совершенным человеком, то Он воспринял все свойства человеческого естества, в том числе и описуемость. Ведь неопикуемый человек – это нелепость.

– Ты чинно рассудил, как сказали бы древние, но давай продвинемся еще немного вперед. Итак, во Христе одновременно человеческая природа и божественная?

– Да.

– При этом Христос по божеству есть Слово Божие, одна из ипостасей Святой Троицы?

– Конечно.

– Но воспринявший и человеческую природу?

– Да.

– Никейский собор учил, что по человечеству Христос имеет характер. Ты с этим согласен?

– Согласен.

– Следовательно, во Христе наличествует человеческая природа и человеческий характер, то есть ипостасные особенности, которые можно изобразить, так же как тебя, меня и так далее?

– Да.

– Но тогда получается, что во Христе имеется человеческая ипостась. Ведь ипостась составляют именно природа и характер. Логично?

– Хм... Логично.

– Замечательно! Но в таком случае мы получаем во Христе две ипостаси – Бога-Слова и Человека Иисуса. И что это выходит?

– Несторианство! – прошептал потрясенный Иосиф. Грамматик улыбнулся.

– Вот видишь, господин Иосиф, к чему нас привело рассмотрение – причем, замечу, небольшое рассмотрение – того, к чему клонятся решения, принятые в Никее. Будешь ли ты по-прежнему настаивать на том, что эти решения вполне удовлетворительны?

– Я должен подумать, – ответил эконоом, помолчав. Он знал, что в искусстве диалектики Иоанн был мастером, и это возбуждало недоверие к рассуждениям игумена. «Что-то здесь не то... Что-то не то!» – стучало в голове. «Разберись тут!» – подумал Иосиф раздраженно. – На тюремном пайке голова совсем худо работать стала... О, Господи!»

– Что ж, в заключении у тебя еще будет время подумать. Недели две-три.

– А потом?

– Потом – богоспасаемая Афусия, отче! – Грамматик встал и бросил взгляд в окно. – Вот и дождь кончился, так что обратный твой путь будет более приятным.

– Послушай, господин философ, – сказал Иосиф, тоже поднявшись, – что в рассуждениях ты силен, это известно. Но хотел бы я знать, как в твое логическое построение, которое доходит до отождествления иконопочитания с несторианством, умещается вот это? – Он указал на икону над столом.

– Я ждал, что ты спросишь об этом. – Грамматик усмехнулся. – Скажи мне, господин Иосиф: если в некоем месте находится изображение, то бытие его как предмета поклонения или просто как предмета убранства и, если хочешь, роскоши, от чего зависит, по-твоему?

Иосиф не смог сразу сообразить, что ответить.

– А я думал, ты догадливей, почтенный отец. Хорошо, я сам отвечаю: это зависит исключительно от того, поклоняется ли владелец изображения ему или нет. Если я этой иконе не поклоняюсь, значит, она для меня и не является объектом почитания. Это всего лишь произведение художественного искусства. Впрочем, она здесь висит с определенной целью, но тебе об этом знать ни к чему. Кстати, нравится она тебе?

– Да, – тихо сказал эконоом. – Удивительно изящное письмо... Интересно, чье это произведение?

– Мое.

Иосиф снова опустил на лавку.

– Как... твое?!

– Эту икону я написал в семнадцать лет и продал за довольно хорошие деньги, хотя и гораздо дешевле, чем мог бы: не хотелось торговаться. Признаться, никак не ожидал, что мы с ней еще встретимся. Но Писание, как всегда, не лжет: «Отпускай хлеб твой по водам, ибо по прошествии многих дней снова обретешь его». Ее изъяли среди прочих образов у одной патрикии, которая, кстати, сейчас твоя соседка по Преторию. – Едва заметная усмешка пробежала по губам Иоанна. – Святейший распорядился все изъятые иконы сжечь, но эта его удивила, и он решил сначала показать ее мне. Так она и попала сюда. Пригодится.

Иосиф перевел взгляд с Грамматика на икону и обратно. Бывший иконописец – и ведь какой мастер! – теперь главный противник иконопочитания! Что за судьба!.. «Пригодится»?

Для чего? Что еще замышляет этот софист?.. Иосиф опять внутренне поежился. «Недели две-три, а потом – богоспасаемая Афусия»...

Вновь очутившись в Претории, экононом был атакован Константином:

– Ну, что, отче? Как? Где ты был? С кем говорил? Что слышно?

– Отстань, Христа ради! – Иосиф поморщился. – Потом расскажу.

Он отошел к зарешеченному окну. Из щелей тянуло холодом. На улице смеркалось. Иосиф вспоминал Иоанново доказательство того, как из почитания икон вытекает несторианство, и пытался опровергнуть рассуждения Грамматика, но получалось плохо. «Здесь нужно смотреть отцов, а разве дадут!» Из книг, которые пробовали передать узникам родственники, через стражу прошли только молитвенники, поучения Антония Великого и «Лествица». Конечно, было бы нелепо ожидать, что им тут разрешат читать какие-либо вероучительные произведения... «Да, молва о Грамматике не преувеличена... Скорее, даже не соответствует действительному размеру его ума. Но неужели он прав?! Если и не прав, убеждать он умеет... Иконоборцы нашли себе хорошего витию. А мы?..» Иосиф вынул из щели между кирпичами спрятанное туда письмо Студийского игумена, развернул и перечел. «Если ответить на письмо для тебя невозможно...» Эконом сложил письмо и опять засунул в щель, как можно дальше: доставать его оттуда он больше не собирался.

...Студийский игумен узнал о заключении эконома Иосифа от Навкратия, одновременно с новостью, что четверо палестинцев, прибывших с поручением от Иерусалимского патриарха и проживавших в Хорском монастыре, отказались вступить в общение с Феодотом и посажены в дворцовую тюрьму Фиалы. Хора был местом, выделенным императором Михаилом Рангаве и патриархом Никифором для монахов-беженцев, покинувших Палестину и искавших приюта в Империи. После смерти халифа Харуна ал-Рашида у арабов начались смуты, охватившие почти всю Сирию, Египет и Ливию. Везде происходили убийства, грабежи и всякие бесчинства; агаряне разорили многие монастыри и храмы, в том числе знаменитые лавры преподобных Харитона и Саввы, а в Иерусалиме разграбили храмы Воскресения, Голгофы и другие святые места. Христиане толпами бежали на Кипр, а оттуда многие переправлялись дальше, преимущественно в Константинополь. Оставшиеся в Иерусалиме и окрестностях чрезвычайно бедствовали, поскольку арабы заставляли платить большую дань. Наконец, отчаявшись, патриарх Фома решил просить помощи у императора ромеев и с этой целью снарядил посольство во главе со своим синкеллом Михаилом.

Уроженец Иерусалима, Михаил был сыном знатных родителей и получил хорошее образование – изучил грамматику, риторику, поэтику и философию. С юности отличаясь благочестием, он был поставлен в чтецы церкви Воскресения Христова, а в возрасте двадцати пяти лет ушел в лавру святого Саввы, где вскоре постригся и удивлял братьев своим чрезвычайно строгим пощением, выносливостью в ночных бдениях, послушанием и смирением. Спустя двенадцать лет Михаил был рукоположен в священника, а через два года с позволения игумена ушел на безмолвие, где проводил жизнь настолько строгую и нестяжательную, что ничего не имел, кроме книг, хитона на теле, подстилки для сна и глиняного сосуда, где размачивал хлеб, которым питался.

В тот самый год, когда ромейский император Никифор погиб от рук болгар, патриарх Фома решил сделать Михаила синкеллом и, повелев ему оставить прежнюю уединенную жизнь, поселил его в Спудейском монастыре близ храма Воскресения. Вместе с Михаилом переселились в Иерусалим и два его ученика, уже более десяти лет жившие при нем – братья Феодор и Феофан. Когда они пришли к Михаилу, прослышав о его добродетели и мудрости, Феодору только что исполнилось двадцать пять, Феофан был тремя годами младше. По благословению игумена лавры, Михаил постриг юношей в монашество, и они стали подвизаться вместе с ним. Михаил учил их не только иноческой жизни, но и внешней премудрости – всему, что знал сам.

Братья оказались способными учениками, особенно Феофан: каноны и стихиры, написанные им, из лавры стали распространяться и по другим монастырям и церквям. По переселении в Спудейскую обитель Феодор и Феофан были рукоположены в священный сан и продолжили подвижничать вместе с Михаилом до самого отправления в Константинополь: патриарх благословил синкелла взять их с собой.

Но материальные нужды Иерусалимской Церкви были не единственной причиной отбытия Михаила и его учеников из Святого Града. Через Константинополь путь их должен был лежать в Ветхий Рим, к папе, для разрешения возникшего в Святой Земле смущения из-за догматических новшеств. Смута началась более чем за два года до назначения Михаила синкеллом: в то время Иоанн, инок Саввской лавры, обвинил в ереси франкских монахов, живших по уставу святого Венедикта в обители на Масличной горе. Эти франки читали Символ веры не так, как было установлено на первом и втором Вселенских соборах, но с прибавкой, говоря о Святом Духе вместо «от Отца исходящего» – «от Отца и Сына исходящего». Иоанн открыто обвинил их в хуле на Духа, и по его внушению миряне в Иерусалиме возмутились против них и даже попытались на Рождество Христово выгнать из Вифлеемской базилики. Франки сопротивлялись, а когда в ближайшее после этого столкновения воскресенье народ собрался в храме Святого Гроба, чтобы спросить их, как они веруют, те отвечали, что если их обвиняют в ереси за прибавку к Символу, то пусть обвиняют и Римскую кафедру; в то же время они публично анафематствовали все лжеучения, осужденные в Римской и Иерусалимской Церквях. Это, однако, внесло только временное успокоение: народ продолжал бурлить, на франкских монахов смотрели с подозрением, а в Саввской лавре по-прежнему считали их еретиками, и Иоанн везде настраивал православных против Символа франков. Тогда и патриарх Фома, и франкские монахи почти одновременно написали папе в Рим с просьбой изложить свою веру, а также сообщить о происходящем в Иерусалиме королю франков Карломану, при дворе которого уже давно употреблялся Символ с прибавкой «и от Сына». Карломан созвал в Эксе собор, где было подтверждено учение об исхождении Духа от Отца и Сына, и соборные акты отправили папе. В Риме одобрили эти акты, но делать прибавку к константинопольскому Символу папа запретил, о чем и сообщил патриарху Фоме. Решение это не понравилось ни франкам, ни иерусалимской пастве, и патриарх поручил синкеллу после визита в Константинополь ехать в Рим и попытаться убедить папу заново пересмотреть вопрос об исхождении Духа. Вместе с Михаилом и его учениками отправился в путь и монах Спудейского монастыря Иов.

Четверо палестинцев достигли Константинополя в апреле шестого индикта и, тепло принятые императором Михаилом и патриархом, поселились в Хорской обители. Василевс обещал помочь страждущим братьям в Иерусалиме, но поскольку он как раз собирался в поход на болгар, нужно было ждать его возвращения. Однако дальнейшие события смешали все планы: переход царства ко Льву, болгарское нашествие, фракийское разорение, необходимость укреплять городские стены и приграничные крепости... Пожертвования для Иерусалимской Церкви никак не собирались, и поездка в Рим откладывалась. Когда после низложения патриарха Никифора был созван собор под председательством Феодота, туда пригласили Михаила и его спутников, в надежде, что они признают его решения: это послужило бы большим подспорьем для иконоборцев, ведь палестинцы были официальными представителями одного из патриархатов. Однако четверо монахов отказались изменить иконопочитанию, резко порицали «злочестие новшествующих», и в результате были немедленно посажены в тюрьму. Император поначалу пытался смягчить их и даже посылал им в заключение дары – финики, сушеный виноград и прочую пищу подвижников, – но они ничего не принимали, отвечая словами псалма: «Елей грешника да не намастит главу мою». Разгневанный Лев приказал ужесточить им условия заключения, а через некоторое время подослал к ним Грамматика.

## 7. Палестинцы

– Сними великий гнет – не будет доблести.  
– В чем мнишь ты доблесть? Грудь подставить чудищу?  
– Нет, одолеть того, кто страшен каждому.  
(Сенека)

– Сидите, почтенные отцы? – спросил Иоанн, оглядев темноватое и сырое помещение, где содержались иерусалимский синкелл Михаил и его спутники. – Неужели вам доставляет удовольствие пребывать в таком месте?

– И немалое! – ответил Михаил. – Мы сидим тут за Христа и весьма этому рады.

– Вы точно уверены, почтеннейшие, что сидите тут за Христа?

– Совершенно уверены! – сказал Иов.

– Как жаль! Я слышал, вы люди образованные и мудрые, но, видимо, эти слухи обманчивы. От Христа никто отречься вас не заставлял, да это было бы и странно в нашей христианнейшей державе, а сидите вы тут из-за вашего упрямого нежелания оставить иконопочтение. Отсюда легко сделать логический вывод, что доски и изображения для вас то же самое, что и Христос Бог, а значит вы – не более чем неразумные идолопоклонники.

– Изыди, проклятый еретик! – крикнул на него Иов.

Грамматик только усмехнулся и прислонился к стене, скрестив на груди руки.

– Полагаю, ты знаком с постановлениями святого Никейского собора, господин Иоанн, – сказал Михаил, – и знаешь его учение о том, что через имя изображенного образ вступает в общение с первообразом и причаствует божественной благодати. Знаешь, но устраиваешь тут такое недостойное представление. Вы сами поклоняетесь кресту или Евангелию, а иконам в поклонении отказываете, хотя и то, и это – церковные символы. Такова-то ваша хваленая разумность?

– Видишь ли, господин Михаил, – спокойно ответил Иоанн, – символы символами, это вопрос отдельный и важный, который, если у тебя будет желание, мы обсудим после. Но иконы являют собой случай несколько иной, по крайней мере, что касается вашего учения о них. Ты упомянул о кресте и Евангелии – и справедливо, ведь никто из имеющих ум не скажет, что крест, если только мы имеем в виду действительно предмет крестообразной формы, не есть крест. То же и с Евангелием: мы поклоняемся ему как изображению Христа и Его деяний, потому что оно действительно изображает Спасителя так, что нельзя сказать, будто это не Он, – изображает живым, ходящим, говорящим, делающим то или другое, родившимся по плоти от Девы Марии в Вифлееме, выросшим в Назарете и прочее. Этого живого движения на иконе изобразить невозможно. Вы рисуете лишь подобие плоти, и подобие несовершенное, ведь никто из иконописцев в точности не знает, как именно выглядел Господь. Между тем это изображение вы дерзаете называть «Христом»; я не вижу для этого достаточных оснований.

– Полагаю, ты сам не раз называл, например, изображение или статую того или иного императора или вообще животного – скажем, быка – именем этого императора или животного, не прибавляя слова «изображение»! – вмешался до сих пор молчавший Феодор.

– Разумеется. Но если живописец изображает императора или быка, то он старается передать сходство с первообразом. При отсутствии сходства император может справедливо сказать, что это не его портрет – даже если там будет написано, что это он, – и покарать живописца. И если на картине вместо быка будет изображен баран, то быком его никто не назовет. Не так ли?

– Так. И что из этого? – спросил Феодан.

– Господин Иоанн, верно, хочет сказать, что иконы портретного сходства не передают, а потому это и не суть иконы изображаемых на них, – сказал Михаил.

– Ты понял мою мысль, – кивнул Грамматик. – И ты, видно, с ней не согласен?

– Конечно. Икона – не портрет в собственном смысле слова, то есть такой, от которого требуется обязательное портретное сходство. Икона – символ, и потому изображение на ней может быть приблизительным по внешнему сходству. Но я уже сказал об общении с первообразом по имени.

– То есть, по-вашему, можно изобразить на иконе какого угодно человека – высокого роста или низкого, кудрявого или с прямыми волосами, с глазами черными или синими, худого или полного и тому подобное, – но как только ты на изображении напишешь «Христос», оно немедленно становится Его изображением? Этак у вас получается целый «народ богов»! Христос всё-таки имел какую-то определенную внешность? Или какую-то неопределенную, так сказать, внешность вообще?

Иов глядел на Грамматика, как на змею. Феодор смотрел в пол, а Феофан взглянул на Иоанна с некоторой растерянностью, и это не укрылось от игумена. Михаил ответил:

– Естественно, определенную. Но икона – не портрет, как я уже сказал, она – символ, указывающий на то, что Христос воплотился, что по плоти Он единосущен нам, и потому по плоти Его можно изобразить.

– Допустим. Но как из этого следует поклонение?

– Так ведь плоть Христа обожена! – сказал Феофан. – Или ты в ее обожение не веруешь?

– Верую. Но можно ли изобразить ее обожение на иконе?

– Почему же нельзя, антихрист ты этакий? – вскричал Иов, не выдержав.

– Я разве утверждаю, что нельзя? Я спрашиваю. Вы говорите: можно. Тогда я спрошу вас: как? – Феодор хотел ответить, как вдруг Грамматик отделился от стены и шагнул к двери. – Прошу прощения, почтенные отцы, сейчас я должен вас покинуть, но я не прощаюсь. Подумайте над вопросом, который я только что задал. Мы продолжим нашу поучительную беседу в другой раз.

Когда император с патриархом спросили Иоанна об итогах беседы с палестинцами, он сказал:

– Думаю, следует отделить синкелла от братьев и Иова тоже отсадить. Последний туп и упрям, говорить с ним бесполезно, но это невелика потеря, скажу честно. А вот с остальными еще было бы интересно побеседовать.

В следующий раз, когда Иоанн навестил двух братьев, они уже были заключены отдельно от Михаила и Иова.

– Я рад найти вас в добром здравии, почтенные отцы, – сказал Грамматик. – Есть ли у вас желание продолжить нашу беседу?

– Что ж, продолжим! – в голосе Феофана прозвучал вызов.

Палестинцы, хотя слышали о способностях Иоанна ставить в тупик собеседника, не принимали эти слухи всерьез. Они и сами были сведущи в логике с риторикой и за два с лишним года пребывания в Константинополе даже стали известны в столице как «грамматики», а Феофан – еще и как талантливый поэт. Иоанн, почти ровесник братьев, даже немного младше их, не внушал им больших опасений, поэтому их удивляли известия о том, что после бесед с Грамматиком многие отрекались от иконопочитания и переходили к еретикам. Однажды Феодор сказал, что было бы любопытно побеседовать хоть раз с этим «апологетом ереси»: неужели его доводы действительно так неотразимы? И вот, такая возможность им представилась. Когда Иоанн покинул палестинцев после первой беседы, они переглянулись, и Михаил сказал Иову с улыбкой:

– Сурово ты с ним обошелся, отче!

– А с ним только так и можно, – хмуро ответил Иов. – Вы вот ему возражать пытались, а не понимаете, что ему только того и надо! Любит он языком трепать, сразу видно, способности

богатые! Погодите, вы еще наплачетесь от его языка, братия мои! По мне, так лучше сразу вон его отсылать, чем разговоры эти... В Писании сказано: «С безумным не умножай словес»!

– Мне всё же хочется с ним поспорить, – сказал Феофан. – В конце концов, если он действительно уже многих переубедил, то должен же хоть кто-нибудь его посрамить!

– Вот именно! – воскликнул Феодор. – Зря мы, что ли, науки изучали?

– Так-то оно так, братия, – сказал Михаил, – но будьте осторожны и не слишком надейтесь на свои способности, каковы бы они ни были. Особенно ты, Феофан, будь рассудителен, пыла в тебе слишком много... А Иоанн, если вы заметили, владеет собой так, что позавидовать можно. Какое он получил образование, я не знаю, но говорят, очень хорошее. Может, вы и не уступите ему в этом, а всё же надеяться надо не на риторику, а на Бога.

– Истину говоришь, отче! – кивнул Иов. – На Бога, рекшего: «разум разумных отвергну»! Он обещал дать «уста и премудрость, которым не смогут противостоять противящиеся», и избрал апостолами не книжных рыбаков! Но лучше бы с нечестивцем вовсе не разговаривать. «Не обличай злых, да не возненавидят тебя», сказано.

– Нет! – сказал Феофан. – Если все будут молчать, то что получится? Кто не способен с ним бороться, тех он обращает к нечестию, а кто способен, те перед ним молчат, потому что считают это более разумным, – вот иконоборцы и будут хвалиться, что всех «привели в молчание»... Нет, мы должны ему возразить!

– Возразим, возразим, не беспокойся, брат. – Феодор улыбнулся. – Да только он, может, и не придет больше, кто знает?

Но Иоанн пришел, причем как раз тогда, когда заключенные уже перестали этого ожидать, принес с собой небольшой табурет, поставил у стены и сел напротив братьев.

– Итак, – сказал он, окинув узников внимательным взглядом, – мы в прошлый раз остановились, помнится, на вопросе, каким образом обожение плоти можно изобразить на иконе. Коль скоро вы поклоняетесь иконе, то, следовательно, признаёте ее святость. Но как, по-вашему, в изображении пребывает Божество? И если оно там пребывает, то не следует ли отсюда злоучение о его описуемости? А если оно там не пребывает, то поклоняться такому изображению – нечестиво, разве не так?

– Ты смешиваешь понятия, – ответил Феодор. – Божество неопишимо даже при соединении его с человечеством во Христе. Христос страдал плотью, но Божество Его не страдало. Тем более оно неопишимо, когда мы говорим не о плоти, а только о ее изображении. Но ведь Божество проникает всё и присутствует во всем, хотя не везде одинаково. Поэтому можно говорить, что Божество и в иконе.

– Что Бог вездесущ, я не спорю. Меня интересует, как из Его вездесущия может следовать поклонение именно иконе, коль скоро мы всё же не поклоняемся всему подряд. Вы, очевидно, считаете, что в иконе Божество присутствует некоторым особенным образом?

– Безусловно! – сказал Феофан.

– Как же именно?

– Так же, как в кресте, например! Через такие символы мы, не останавливаясь на веществе, как это было свойственно идолопоклонникам, возвышаем ум к Богу «в духе и истине».

– Это по-своему логично. Но я должен заметить, что было бы чрезмерным упрощением представлять, будто идолопоклонники «останавливались на веществе». Безусловно, были те, кто верил, что богом является собственно то изваяние, которому они поклоняются. Но ведь многие, кланяясь статуе, скажем, Зевса, вовсе не думали, что это он сам и есть. Зевс для них обитал на небесах, а статуя была неким его образом, через который они возводили ум собственно к этому богу.

– Но их боги были ложными! – возразил Феофан. – Они не существуют и не боги вовсе!

– Правильно. Но в таком случае, вам следовало бы уточнить свое определение идолопоклонства: это не просто «остановка на веществе», но и «возведение ума чрез вещество» к ложным богам. Не так ли?

– Так, – сказал Феодор. – Но мы возводим свой ум к Богу истинному. А язычники через свои статуи поклонялись, по сути, демонам.

– Значит, главное – не вещество, но тот, кто через него действует?

– Конечно, – кивнул Феодор.

– Тогда вернемся к нашему вопросу: на чем основана ваша вера в то, что Божество присутствует в иконе и действует через нее таким образом, что икона оказывается поклоняемой? Оставим на время изображение Самого Христа и поговорим об изображениях святых...

– И поговорим! – прервал его Феофан с некоторым нетерпением в голосе. – Разве ты не знаешь, что писал святой Василий об изображениях святых? Или о том, что святая Мария Египетская молилась пред иконой Богоматери и получила чрез нее откровение? Вот свидетельства того, что святые издревле изображались на иконах. Уж не скажешь ли ты, что святые неопишуты?!

– Святые, конечно, описуемы и изобразимы, – сказал Иоанн. – И здесь я первый могу заявить вам, отцы, что живопись – дело полезное, и что изображения деяний святых могут быть поучительны для неграмотных, не умеющих прочесть о них в книгах, каковой была та же святая Мария. Но при чем тут поклонение?

– Мы почитаем святых как одушевленные образы Бога, которые соединились с Ним по благодати, – ответил Феофан. – Ведь мы даже и простым людям в жизни оказываем уважение и приветствуем поклонами, не говоря об императоре. Как же могли бы мы не поклоняться святым?

– Это понятно. Но мы говорим сейчас не о святых, а об их иконах. Святые суть образы Бога, иконы святых, следовательно, суть образы образов. Какое-то тут у вас странное построение получается, ты не находишь, господин Феофан? Конечно, мы кланяемся и друг другу, и государю, и начальникам, но мы кланяемся, а не поклоняемся. Или ты эти две вещи не различаешь?

Феофан внезапно ощутил, что голова у него пошла кругом. Он ждал, что Грамматик, если придет к ним, будет говорить о ветхозаветных запретах на любые изображения, о том, что следует изображать в самих себе добродетели святых, а не иконы их писать; но Иоанн даже не упомянул о ветхозаветной заповеди «не творить себе всякого подобия» и легко признал, что сами по себе изображения святых допустимы... В то же время его уверенный тон и чуть насмешливый взгляд сбивали с толку, но показать этого было нельзя, нельзя! «Господи! – мысленно взмолился Феофан. – Помогите нам, грешным!» Тем временем Феодор сказал:

– Господин Иоанн, мне представляется неправомерным отделение икон святых от иконы Христа. Коль скоро мы признаём, что, благодаря воплощению Бога-Слова, ставшего единосущным нам, святые, по слову божественного Григория, становятся «единобожными» с Богом, то вопрос упирается именно в изображение Христа. Если Его изображение возможно и достойно почитания, то тем самым возможны и достойны почитания изображения святых.

– Согласен, – ответил Грамматик. – В таком случае, мы вновь вернулись к вопросу о возможности изобразить Христа на иконе и о том, достойно ли поклонения такое изображение. Итак, я – уже второй раз, заметьте! – предлагаю вам подумать над ответом на этот вопрос и обсудить это при нашей следующей встрече. На сегодня, думаю, достаточно.

Когда Иоанн ушел, братья переглянулись.

– Кажется, мы его недооценивали, – сказал Феодор.

– Не то слово! – ответил Феофан. – Хорошо, что он ушел, а то со мной что-то такое стало делаться странное...

– Вроде есть, что сказать, а сказать уже боишься, потому что кажется, что скажешь что-нибудь не то?

– Да-да! И у тебя так?!

– Немного... Интересно, что бы сказал отец Михаил? Эх, увидимся ли мы теперь с ним?

– Да... – Феофан пригорюнился. – Может, нас нарочно разделили, чтобы он не мог поддержать нас...

Поддержка, однако, вскоре пришла с неожиданной стороны. Иоанн не приходил, а спустя две недели страж тайком передал братьям письмо. Это было послание Студийского игумена, который стремился «утешить огорченные души» братьев. Как явствовало из письма, игумена уже известили, что Грамматик пытается воздействовать на палестинцев: «Я знаю, отцы мои, вы терпите горькие и невыносимые страдания – как же нет? – ведь у вас страшный мучитель и настолько страшный, насколько он превосходит всех своим нечестием, а у вас нет, как у большинства подвизающихся, соотечественников и знакомых, что обычно много утешает страждущих. Что же сказать на это? – Ясно возвещаемое вам апостольскими устами: “Не стоят страдания нынешнего времени той славы, которая откроется в нас”».

– Господь да вознаградит его за эту духовную милостыню! – воскликнул Феодор. – Подумай, ведь у него столько своих братий, но и нас, дальних, он не забыл!

– Значит, он знает, где мы, и что с нами происходит... Слава Богу! Раз такой подвижник молится за нас, то не будем унывать!

– Не будем! А Иоанн что-то не идет...

– Он, наверное, придет, когда мы совсем перестанем его ждать. Как в прошлый раз.

Грамматик пришел на следующий день.

– Итак, досточтимые отцы, вам, по-видимому, уже давно не терпится привести мне свои доводы? – спросил он с чуть заметной улыбкой. – Я очень внимательно вас слушаю.

Братья переглянулись, и Феодор сказал:

– Если ты спрашиваешь нас о том, почему мы поклоняемся начертанному образу Христову, а не просто созерцаем его как обычную картину, то я отвечу, что икона изображает ипостась Сына Божия, которую возможно изобразить по одному из нераздельно и неслиянно соединенных в ней естеств, а именно – человеческому. И поскольку воспринятая Словом плоть является плотью Бога, святой и обожженной, то, изображая плотской образ Христа мы, тем не менее, изображаем Бога. И об этом свидетельствует надписание имени на иконе, через него образ состоит в общении с первообразом. В сущности, характер, то есть те человеческие черты, которые мы изображаем, является тем же именем, но облеченным не в буквы, а в краски. Надеюсь, ты не будешь спорить с тем, что имя Божие свято?

– Не буду, – ответил Иоанн. – Но у меня другой вопрос: ты говоришь, что изображаешь Бога, потому что изображаешь плоть, воспринятую Словом, а эта плоть обожена, и потому правомерно на изображении Христа начертать имя «Христос». Так?

– Да.

– Я рад, что понял тебя правильно. Но вот что остается мне неясным: почему ты утверждаешь, что обоженную плоть, будь то плоть Христа или святых, можно изобразить на иконе?

– Как же нельзя, если она и при обожении остается человеческой плотью и сохраняет ее свойства? – вмешался Феофан.

– Очень хорошо, что ты, отче, задал этот вопрос. «Сохраняет ее свойства», говоришь ты. Но ведь ты согласишься, надеюсь, что плоть человека в обычном своем состоянии ограничена некими контурами в пространстве?

– Как же иначе?

– Не потому ли она и изображима, что ограничена?

– Потому, – сказал Феодор.

– Итак, вы оба с этим согласны?

– Да, – ответил Феофан.

– Прекрасно! Но ведь мы знаем, что Христос после Своего воскресения спокойно проходил чрез запертые двери, мог являться то в одном месте, то в другом, становился видимым для учеников и опять исчезал, мог оставаться не узанным ими, даже находясь рядом. Всё это свидетельствует о том, что плоть Его перестала быть ограниченной и подчиняться тем законам, которым подчиняется обычная плоть. Возможно, вы помните канон Антипасхи: «Во гробе заключенный описанною плотию Твоею, Христе, Ты воскрес неописанный, при заключенных же дверях предстал Твоим ученикам, Всесильный». В том же каноне сказано, что Христос через крест сделал нас «вместо тленных нетленными»: конечно, имеются в виду те, кто достигает истинного нетления, то есть обожения. Итак, обоженная плоть есть плоть не только нетленная, но и неограниченная, – а значит, вы должны признать, что Христос, после того как Он воскрес, перестал быть изобразимым.

– Такое толкование равнозначно ереси о развоплощении! – воскликнул Феофан. – Если плоть совершенно теряет свойство описуемости, то она уже и не плоть. Что Христос мог являться и исчезать, это было свойством не человеческой природы, а божественного всемогущества, ведь Он не только человек, но и Бог. Однако Он не только Бог, но и человек, а потому ученики всё-таки могли Его и видеть, и осязать, и узнавали не только до воскресения, но и после, и об этом неложно говорит Евангелие. Не ел ли Он с апостолами? Не ходил ли вместе с ними? Как же можно в таком случае называть Его по плоти неограниченным и неопикуемым?

... В это время молодой стратиот, стоявший снаружи у двери, приложив ухо к щели, слушал и время от времени бормотал:

– Ну и ну!.. Дело!.. И то!.. А ведь и впрямь!.. Дьявол побери, а он прав!

Другой стратиот, стороживший дверь в камеру напротив, лысеющий, полноватый, с уже серебриющимися висками, насмешливо глядел на своего напарника и, наконец, сказал:

– Ну, и что ты там слушаешь? Можно подумать, ты понимаешь что!

– Понимаю, что умные люди ведут умные беседы, – отозвался молодой. – Может, я тоже хочу к знаниям приобщиться... хотя бы так!

– Не знаю, какие там у них беседы, а вот что люди они умные, это ты врешь, пожалуй.

– Да ты чего?! Они там так рассуждают! Я и слов таких не знаю, что они говорят!

– А я вот, дружище, так думаю, – лениво сказал полный, – что ежели человеку хочется порассуждать, то это никто не запрещает. Но зачем это делать в тюрьме? Ну, игумену император повелел сюда захаживать, понятно. А эти что сидят?

– Так ведь иконы! Иконы они чтут, а их не выпустят, пока не отрекутся.

– Глупости это всё, – ответил старший стратиот и, понизив голос, продолжал почти шепотом. – Моя жена, вон, как собор прошел, я ей говорю: давай, всё сдавай на сожжение, она какие-то и впрямь сдала, а кое-что в сундук попрятала, я-то не видел, но сын младшенький видел и сказал мне. Ну, я ей построжил, чтоб она ни-ни! Но кто ее знает, что она втайне делать может... И, главное, никто этого не узнаёт! Были б эти монахи умные, тоже бы так сделали, а потом и рассуждали бы, сколь душе угодно, но на свободе.

Молодой страж задумался.

– Может, – сказал он, наконец, – им так больше нравится. Бывают же люди, их хлебом не корми, а дай на рожон полезть! А иначе им скучно, что ли...

## 8. Новая мера

*Двоемыслие означает способность одновременно держаться двух противоположных убеждений. Партийный интеллигент ... сознаёт, что мошенничает с действительностью; однако при помощи двоемыслия он уверяет себя, что действительность осталось неприкосновенна.*

*(Джордж Оруэлл)*

Не все студийские узники вынесли тяготы заключения. Через месяц жизни в полуподвальном тесном и душном помещении Орест и Афрат сломались и, дав подписку иконоборцам, были отпущены «с миром». Но они нигде не смогли найти приюта: идти к рассеянным и гонимым братьям было стыдно да и не хотелось, а в столичных монастырях, чьи игумены вступили в общение с Феодотом, на просьбы принять их отвечали отказом, как только узнавали, что они из студитов. Иконоборцы были так раздражены против Феодоровых монахов, что сблизиться даже с падшими из их числа считалось опасным. Некоторые думали, будто эти студиты отделились от своих притворно, чтобы удобнее вести проповедь среди иконоборцев. Тогда Афрат уехал под Адрианополь к родственникам, а Орест отправился к Феодоту и попросил позволения вернуться в Студий и жить там, обещая уговорить других заключенных там братьев дать подписку. У патриарха он встретился с еще одним студитом, Нектарием, который был схвачен в окрестностях Константинополя и, испугавшись бичевания, отрекся от иконопочитания, а теперь даже вызвался собирать подписку у других монахов. Когда Нектарий и Орест явились в Студийский монастырь и попытались убедить братьев последовать их примеру, заключенные студиты вознегодовали и даже слушать их не захотели – все, кроме Леонтия. Просидев несколько недель в заточении на голодном пайке, он погрузился в жестокое уныние. Когда два отпавших брата, одетые в новые хитоны и мантии, вымытые и ухоженные, пришли к нему и рассказали, как любезно они были приняты новым патриархом, Леонтий сказал:

– Я тоже хочу быть с вами! Зря я проторчал здесь столько времени. Евфимий один раз пробрался сюда, передал еды всякой и записку, что отец игумен за нас молится и «призывает к подвигу терпения за Христа»... Но игумену хорошо призывать: он там живет припеваючи, все к нему ходят, все о нем заботятся! И книги ему, и письма, и братья там с ним... Да и Евфимию хорошо, он хоть и скитается, но на свободе и не голодает, а тут скоро подохнешь, как собака! Да и вообще, можно подумать, что-то изменится, если я дам подписку не учить об иконах! Пока я тут сижу, я ведь тоже не могу никого ничему учить, так не всё ли равно...

– Вот именно, брат! – воскликнул Орест. – Нас, как видишь, до сих пор молния не испепелила... Да и какие из нас, простых монахов, проповедники? Кто нас будет слушать? Смешно!

– Да, если уж епископы вступают в общение со святейшим Феодотом, то нам Сам Бог велел! – закивал Нектарий. – И никакого тут отречения от Христа нет, пустое это всё...

На другой день Леонтий был отведен к Феодоту и изъявил желание примкнуть к иконоборцам. Патриарх на радостях предложил монаху, который был самым старшим из троих, игуменство в Студийской обители, поручив ему надзор за заключенными там братьями и намекнув, что если Леонтию удастся добиться от них подписки, то он может вскоре получить и епископство. Новый игумен принялся за дело рьяно: приказал забить окна в кельях, где содержались братья и урезать им меру выдаваемой пищи, отобрать все книги и письменные принадлежности и усилить надзор. Студит Евфимий, снова по поручению Феодора прибывший проведать заключенных, был схвачен ночью при попытке отодрать одну из досок, которыми забили окно в келью, где заперли брата Аффония. Евфимия обыскали, изъяли письмо Студийского игумена и еду, принесенную для братьев, до утра держали на улице, привязав к дереву, а

сразу после восхода солнца отвели в Преторий, где он был допрошен самим епархом, ничего не сказал и был посажен в камеру.

Между тем император с патриархом, обсудив положение дел, решили, что дальнейшие попытки переубедить иконопочитателей бессмысленны.

– Я полагаю, святейший, – сказал Лев, – что наш философствующий игумен обратил уже всех, кого можно, а тех, кого он не убедил, лучше всего услать в дальние концы, чтобы они не могли общаться друг с другом даже и письменно... по крайней мере, чтобы это было для них затруднительно. Пока они все собраны в столице, они ухитряются поддерживать друг друга: пора с этим покончить! Как ты смотришь на это? Или ты думаешь, Иоанн обратит кого-нибудь еще?

– Совершенно с тобой согласен, государь! – ответил Феодот. – Думаю, ждать больше нечего. Насколько я знаю, беседа Иоанна с палестинцами зашла в тупик, потому что они смотрят на дело исходя из одной системы, а Иоанн – исходя из другой. Поэтому, хотя он рассуждает логично, они не убеждаются. Остальные же и вовсе не расположены к разговорам с ним. А ему что – ему ведь интересны философские беседы сами по себе, не важно, удастся ему переубедить или нет... Сократ, говорят, не пропускал ни одного мало-мальски интересного собеседника без того, чтобы не померяться с ним силой в рассуждениях. Вот и у нашего отца игумена, боюсь, та же самая «болезнь».

– А ты, кажется, верно подметил! – Василевс рассмеялся. – Я тоже это заподозрил, потому и решил посоветоваться с тобой о том, что делать дальше с теми еретиками, что упрутся.

– Сослать под крепкий надзор, августейший, да и дело с концом!

И вот, почти все содержавшиеся в городских темницах исповедники в середине января были высланы в разные крепости в большем или меньшем отдалении от столицы. К новым местам жительства узников переправляли очень поспешно, немилосердно гнали, заставляя идти пешком, несмотря на холод, снег с дождем и слякоть на дорогах.

Когда начальник Претория объявил Иосифу и Константину, что на следующее утро с рассветом они должны быть готовы к отбытию на Афусию, скевофилакс, к удивлению эконома, не произнес ни слова, а только кивнул и, когда дверь камеры закрылась, стал собираться: вынул из холщового мешка и надел чистый хитон, который ему как раз передали с утра родственники, а старый вытряс и аккуратно сложил в мешок, положил туда же молитвенник и «Лествицу», составлявшие его книжное богатство, вытряс кукуль и мантию, надел их и, стацив с койки на пол рогожу, опустился на колени лицом к востоку и принялся молиться про себя, – всё это не сказав Иосифу ни слова. Экономом, напротив, услышав новость, сел на свою койку и сначала молча наблюдал за Константином, а потом, когда тот встал на молитву, закрыл глаза и, откинувшись к стене, сидел, пока тюремщик не принес обед. Трапеза прошла в молчании, но, допив воду, чуть разбавленную кислым вином – на прощание узников, видимо, решили немного «побаловать», – Иосиф не выдержал и сказал:

– Ну что, Константин, на Афусию?

Скевофилакс взглянул на него как-то странно и ответил:

– Почему же нет? «Господня есть земля, вселенная и все живущие в ней».

– Как же ты там без передач будешь? – усмехнулся эконом.

– Да уж как-нибудь, с Божией помощью.

Они опять помолчали.

– А что если тебе действительно предложили бы просто вступить в общение с Феодотом, – сказал вдруг Иосиф, – а иконы чтить разрешили бы? Согласился бы ты?

Константин пристально посмотрел на союзника, опустил глаза и ответил:

– Нет, отче, лучше Афусия... Там воздух здоровее. – Внезапно он встал и поклонился Иосифу в пояс. – Прости меня, что я так надоедал тебе!

– Что ты, отче! – Изумленный Иосиф тоже поднялся. – Бог простит тебя! Прости и ты меня за насмешки... Но что это ты, прощаешься будто?!

– Так... – тихо проговорил скевофилакс. – Кто его знает...

Когда тюремщик унес посуду, Константин опять принялся молиться. Иосиф взялся было тоже за свои вещи, но, так ничего и не сложив, бросил всё в угол, подошел к окну и некоторое время всматривался в темноту: уже настал вечер. Наконец, экономом внезапно развернулся, подошел к двери и забарабанил в нее кулаками. Маленькое окошко на уровне глаз открылось, и стражник спросил:

– Чего надо?

– Я хочу говорить с патриархом.

Окошко захлопнулась, а немного спустя отворилась дверь, и страж, связав Иосифу руки, вывел его в тюремный коридор и передал другому стражиоту, который повел узника к начальнику Претория. Константин продолжал молиться, как будто ничего не происходило. Стражник подошел и ткнул его в спину носком сапога. Заключенный обернулся.

– Ну, а ты не хочешь поговорить со святейшим?

Константин только потряс головой и отвернулся.

Иосиф больше не вернулся в камеру. В тот же вечер он был отведен в патриархию, где дал требуемую иконоборцами подписку, был сразу отправлен в баню, затем облачился в новые одеяния, а на следующий день, восстановленный в должности эконома, занял прежние свои помещения при Великой церкви.

– Ну вот, Иоанн, – сказал Мелиссин Грамматика, когда тот спустя два дня зашел в патриархию, – как ты и предсказывал, экономом сдался, лишь только ему сказали про отправку на Афусию. Позавчера дал подписку.

– Немудрено. – Игумен презрительно усмехнулся. – Этот своего никогда не упустил.

И тут келейник доложил о приходе Иосифа. Эконом вошел уверенной походкой; он уже вновь обрел свой всегдашний важный вид и был весел, но, увидев в патриарших покоях Иоанна, заметно ступешался и чуть замешкался у двери, однако тут же оправился и подошел к патриарху под благословение.

– Здравствуй, святейший! – Он повернулся к Иоанну и слегка поклонился. – Здравствуй, отче.

Грамматик кивнул в ответ и сказал с еле приметной улыбкой:

– Здравствуй, почтенный отец. Я знал, что в последний момент благоразумие в тебе всё же возобладает, и ты окажешься здесь.

– Что скажешь, Иосиф? – спросил Феодот.

– Владыка, я хотел поделиться с тобой некоторыми соображениями о том, как воздействовать на иконопокклонников. – Эконом остановился и взглянул на Грамматика.

– Прекрасно, отче! – сказал патриарх и уселся в кресло. – Присаживайся. Очень кстати, что здесь Иоанн, сейчас мы вместе и обсудим твои соображения.

Мелиссин находился в приподнятом настроении после разговора с императором, итогом которого стало решение о ссылке всех непокорных, злорадно думая про себя, что всё-таки для василевса он, патриарх, остается более своим, чем «высокоумный философ». Иосиф сел в указанное ему кресло, почти напротив Грамматика, несколько мгновений молчал, собираясь с мыслями, и заговорил:

– Владыка, я думаю, что со ссылкой иконопокклонников немного поторопились. Конечно, государь пошел на это, видя, что беседы и уговоры ни к чему не приводят, и решение его величества было справедливым, с этой точки зрения. Но существует одна мера, с помощью которой можно было бы добиться почти полного крушения лагеря наших противников... Если, конечно, эта мера будет одобрена государем и твоим святейшеством.

Феодота охватило такое чувство, словно он вместо вина хлебнул уксуса. Иоанн насмешливо наблюдал за патриархом и экономом. Во взгляде Иосифа промелькнуло недоумение: он ожидал заинтересованно-радостных вопросов, но патриарх молчал, а Грамматик сидел с таким видом, словно ему всё давно известно, в том числе и то, почему молчит Мелиссин.

– Что же это за мера? – наконец, произнес патриарх.

– Очень простая! Нам ведь нужно, чтобы непокорные вступили в общение с Церковью. Не так ли?

– Да, конечно, – кивнул Феодот.

– Но до сих пор им внушалось, что при этом следует отказаться от почитания икон, потому что это ересь.

– Разве ты считаешь иначе?

– Ни в коем случае! Отец игумен, – Иосиф взглянул на Иоанна, – неопровержимо доказал мне, что из иконопочитания вытекает не что иное, как несторианская ересь. Но не все разбираются в богословских тонкостях, владыка. А кроме того, даже у тех, кто разбирается, умонастроение по сути такое же, как у простого народа: им трудно отказаться от сложившегося обычая держать у себя иконы и поклоняться им. Даже требование просто перевесить иконы повыше и перестать возжигать перед ними свечи кажется этим невежественным людям неприемлемым. Поэтому мне представляется, что для них можно допустить немного большее снисхождение, нежели предлагалось раньше.

– А именно? – Голос патриарха прозвучал заинтересованно.

– Можно предложить им вступить в полное общение с Церковью, но при этом разрешить в частном порядке – у себя дома или в отдельных монастырях – почитать иконы, как прежде. Уверяю тебя, владыка, что, например, из игуменов мало найдется таких, кто откажется от возможности возвратиться в свои обители при сохранении там икон. Они не замедлят вступить в общение с твоим святейшеством и с августейшим государем!

– Хм... Неплохая мысль! – Мелиссин взглянул на Грамматика. – Что ты думаешь об этом, Иоанн?

– Мысль недурна, – ответил тот. – Я, кстати, и сам об этом думал, но вы с государем лишили меня возможности проверить это предположение на деле. – Он слегка улыбнулся.

– Еще не поздно это сделать! – Патриарх определенно воодушевился. – Я сегодня же поговорю с августейшим.

И вот, не успели сосланные прожить на новых местах и нескольких дней, как последовал приказ императора вернуть всех в столицу. С той же поспешностью, по тому же холоду и слякоти, узников привели обратно и водворили в прежние места заключения. Однако теперь император, по совету Иоанна, значительно ослабил условия их содержания: им предоставили лучшие и более светлые помещения, их довольно хорошо кормили и не возбраняли общаться с посетителями, хотя и под наблюдением стражи; разрешалось передавать одежду и еду в любом количестве, также и книги, после просмотра их тюремщиками; только по-прежнему строго следили за перепиской.

– Думаю, государь, – сказал Грамматик, – что можно продержать их так до весны и весь пост. А после Пасхи начнем.

В это же время в Константинополь доставили и новых арестантов – в основном игуменов провинциальных монастырей, а также нескольких епископов, – и они содержались более строго. Император приказал привезти в столицу и Сигрианского игумена Феофана – об этом попросил Грамматик.

– Ты надеешься обратить его? – спросил Лев.

– Почему бы и нет? – ответил Иоанн. – В любом случае, я бы хотел пообщаться с автором такой прекрасной исторической хроники. – Он чуть заметно улыбнулся. – У меня есть к нему кое-какие вопросы.

Эконом Великой церкви с нетерпением ожидал, когда с Афусии привезут скевофилакса, надеясь поговорить с ним и обратиться к общению с иконоборцами сразу же, не дожидаясь Пасхи.

– Он должен согласиться! – сказал Иосиф патриарху. – Он сам говорил мне, что если бы иконы разрешили почитать, то он бы присоединился к твоему святейшеству.

Но вскоре с Афусии пришла весть от настоятеля обители, куда под надзор сослали Константина. Игумен писал, что доставить узника обратно в столицу никак невозможно: скевофилакс через несколько дней по прибытии на остров занемог и слег в сильной горячке, а на третий день скончался. «Мы похоронили этого нераскаянного еретика за монастырской оградой. Да избавит всемилостивый Господь всех нас от такой ужасной смерти!» – так оканчивалось письмо.

... Несколько новых заключенных были доставлены из многочисленных монастырей, располагавшихся в окрестностях Вифинского Олимпа. Среди них оказался и игумен Пеликитской обители Макарий – невысокий седовласый старец с морщинистым лицом, будто выточенным из желтой кости. Его посадили в одну из темниц Фиалы, и сначала император послал к нему асикрита с предложением вступить в общение с иконоборцами, при согласии обещая всяческие почести и дары, а в противном случае угрожая бичами и заключением. Макарий в ответ усмехнулся и сказал:

– Это для вас, может быть, почести и дары – приобретения, а для нас приобретение – страдать за благочестие. Я предпочту страдать и, если надо, умереть, но от почитания святых икон не откажусь. Передай государю, господин, что он напрасно надеется прельстить меня тленными почестями мира сего. Я отрекся от мира и сластей его еще в молодости, а сейчас уже, как видишь, старик и скоро сойду в могилу, – и вы пытаетесь соблазнить меня, словно я юноша, падкий до наслаждений? Вы, должно быть шутите, в противном случае я бы усомнился в здравости вашего ума.

Узнав об ответе Пеликитского игумена, Лев махнул рукой и велел «передать его философу». Макария поместили в Сергие-Вакхов монастырь, где почти месяц держали впроголодь в темном подвале, а затем привели в «приемную» келью, где его ждал Грамматик. Войдя и увидев икону Богородицы в углу над столом, Макарий неспешно, с поклоном, перекрестился на нее, не выказав никакого удивления, а затем спокойно взглянул на Иоанна и спросил:

– Господин Иоанн, здешний начальник, насколько я понимаю?

– Он самый, – ответил Грамматик. – Я рад приветствовать тебя здесь. Садись, отче.

Макарий сел, и по тому, как тяжело он опустился на скамью, Иоанн понял, что сил у узника осталось маловато. Лицо старца за дни пребывания в подвале приняло землисто-безжизненный оттенок, но темные глаза остро поблескивали из-под густых бровей. Грамматик, стоя у стола напротив, некоторое время молча оглядывал игумена, но Макария это, казалось, несколько не смущало: он сидел и спокойно ожидал, что будет дальше.

– Мне, право же, очень прискорбно, почтенный отец, что ты содержишься в таких нехороших условиях, – заговорил Иоанн. – И мне известно, что от предложения августейшего государя, следствием которого могло бы стать значительное улучшение этих условий, ты отказался. Так?

– Совершенно верно.

– Ты, насколько я знаю, заявил посланцу августейшего императора, что не желаешь отрекаться от почитания икон, презираешь тленные почести и предпочитаешь «страдать за благочестие»?

– Я и теперь готов повторить это. – Макарий отвечал негромко и неторопливо, в его манере говорить чувствовалась привычка к немногословию.

– Мне, признаюсь, не очень понятен твой ответ. Конечно, было бы странно, если бы столь почтенный отец, состарившийся в монашестве, действительно соблазнился чем-то преходя-

щим и недостойным внимания людей духовных. – Улыбка тронула губы Иоанна. – Но зачем устраняться от общения с императором и патриархом? Ты не хочешь вступать в общение с ересью, но разве августейший – еретик? Он благочестив и православен, как всем известно, и в этом легко увериться. Взгляни – даже здесь у нас висит икона, на самом видном и почетном месте, никто ее не осквернил и не сжег. Августейший тоже бывал здесь, но, как видишь, икона осталась на месте. Хотя перед ней тут не возжигают лампад, но если вспомнить, что некоторые святые отцы вообще порицали изготовление икон, то государь, снисходя к немощи тех, кто смущается почитанием образов, не сделал ничего нечестивого. Итак, по моему мнению, никакого препятствия к общению между нами и вами не существует, и мне непонятна причина твоего упорства, из-за которого – а вовсе не из-за благочестия – ты терпишь такие неудобства.

Макарий несколько мгновений пристально глядел на Грамматика, усмехнулся и сказал:

– Я слышал, что ты софист, Иоанн. Теперь вижу, что слух этот верен. Ведь некто от древних определил софиста как человека, наживающегося «при помощи искусств словопрения, прекословия, спора, сражения, борьбы и приобретения». Но я не любитель такого рода искусств, поэтому отвечу тебе просто. Что государь безумствует против благочестия, явно из тех зол, которые он уже соделал против исповедников веры. Ведь не частным образом и не на краю вселенной, но в государственном порядке и повсюду христиане терпят всякие ужасы за то, что не хотят признать ваш догмат, а потому твоя хитрость меня не убедит. Икона у тебя здесь висит, это правда, и я не удивлюсь, если в здешних помещениях найдутся и другие святые образа. Но что из этого? Вы не чтите их даже тайно! Вы собираете их, чтобы сжечь или чтобы прельщать своей лисьей хитростью простодушных. Ты можешь лгать тут, сколько угодно, но знай, что чем больше будешь ты восставать против моих убеждений, тем крепче они во мне будут. Так что подумай, стоит ли продолжать, и не лучше ли отвести меня снова туда, где я еще с утра находился.

– Замечательно! Я, право, слушал тебя с наслаждением, почтенный отец. Правда, я не совсем понял, чем именно я «наживаюсь» при помощи искусства словопрения, но оставим: самооправдание не к лицу монаху. Гораздо интереснее для меня вопрос об «ужасах», которые претерпевают, по твоим словам, «благочестивые христиане». Полагаю, ты согласишься, что правильное отношение к иконам – дело благочестия?

– Безусловно.

– Прекрасно. Мы сейчас не будем с тобой выяснять, какое именно отношение к иконам является правильным. Наше мнение вам известно, как и нам – ваше. Поэтому предлагаю тебе рассмотреть другой вопрос: как должен себя вести император, если он действительно желает быть защитником благочестия и противником злочестия, по отношению к людям, которые представляются ему нечестивыми? Начальник ведь «не напрасно носит меч»?

– Ты хочешь сказать, что для императора мы – злочестивы, а потому он правильно поступает, мучая иконопочитателей?

– Ты понял мою мысль. Но я должен заметить, что у тебя – как, впрочем, и у твоих собратий – налицо явная склонность к преувеличению. «Ужасы», «мучая»...

– Что же, разве не ужасы – все эти тюрьмы, ссылки и бичи, и это только потому, что люди верят иначе, чем вы! – сказал Макарий с некоторой горячностью.

– Как хорошо, что ты сказал это слово, почтенный отец! – Грамматик сел в кресло напротив узника и продолжал, в упор глядя на него. – Тюрьмы, ссылки и бичи, говоришь ты. А вот скажи-ка мне, отче, как по-твоему, прежний император, государь Михаил, был благочестив?

– Конечно.

– Очень благочестив или не очень?

– Думаю, всякому можно пожелать такого благочестия.

– Optime! – воскликнул Иоанн и улыбнулся. – Это я по-латыни. Я хотел сказать: прекрасно, что ты так недвусмысленно выразился. А теперь, почтенный отец, вспомни, как этот

благочестивый государь обошелся с теми, кто верили иначе, чем вы и мы, – злочестивыми павликианами и афинганами, – и подумай, можно ли, в сравнении с теми мерами, назвать «ужасами» то, что претерпевают ныне твои единоверцы.

– Это была ошибка государя Михаила, – сказал Макарий, помолчав. – Но он скоро исправил ее.

– Значит, ты все же считаешь, что те меры были приняты неправильно?

– Да, неправильно. Еретиков, как бы ни были они нечестивы, убивать нельзя.

– А изгонять или ссылать их можно?

– Думаю, что можно, если они соблазняют слишком много народа.

– Что ж, в таком случае, ты должен признать, что нынешний государь поступает вполне благочестиво, подвергая иконопоклонников тому, что ты зовешь «ужасами».

– Это было бы правильно, господин софист, – сказал Макарий с усмешкой, – если бы благочестие состояло только в благих намерениях. Но есть еще такая вещь, как истинные догматы. И по отношению к ним не могут быть правы одновременно и принимающие их, и отвергающие. В Писании сказано: «Горе тем, которые разумны сами пред собой». Боюсь, что это сказано именно про тебя. А государь... Государя жаль! Быть может, он выбирал себе советников из добрых побуждений, но этот выбор доведет его до гибели. – Старец поднялся. – Прощай, Иоанн. Полагаю, говорить нам больше не о чем.

## 9. Игумен Великого Поля

*Что всего мудрее? – Время, ибо иное оно уже открыло, а иное еще открывает.*

*(Фалес Милетский)*

Грамматик пристально оглядел стоявшего перед ним высокого монаха. Тот был почти совсем седой, слегка сторбленный, однако можно было понять, что в молодости он отличался красотой и статностью. Теперь он был изможден болезнью, и на его желтовато-бледном слегка припухшем лице читался отпечаток долговременного страдания. Хотя монах старался держаться прямо, Иоанн сразу заметил, что он с трудом стоит на ногах. Старец смотрел на Грамматика сумрачно.

– Привет тебе, господин Феофан, – сказал Иоанн.

– Привет и тебе, – ответил тот.

– Садись. – Иоанн указал ему на скамью, а сам сел на стул напротив. – Я знаю, ты недавно прибыл из своей обители. Как там у вас идет монастырская жизнь?

– Полагаю, господин Иоанн, – ответил Феофан, почти упав на скамью и невольно морщась от боли, – меня привели сюда не для того, чтобы ты расспрашивал меня о моем житии-бытии. Вряд ли тебе это может быть интересно.

– Вот как! – Грамматик усмехнулся. – Не слишком любезно. Впрочем, тебя, видимо, вывели из себя императорские посланцы.

– Скорее, это я их вывел из себя, – насмешливо сказал Феофан. – Трижды приходили и каждый раз удалялись недовольные и разгневанные. Да ведь ты это знаешь, чего комедию играть? Им не удалось переломить, так теперь тебя привлекли, не так ли?

– Не совсем, господин Феофан, не совсем. Я вовсе не собираюсь тебе предлагать обогатить твоё Великое Поле, построить там храм побольше и кельи попросторнее или соблазнять почестями. Мне не хуже тебя известно, что это суета, недостойная монаха. Но ты, видно, считаешь меня законченным злодеем, с которым уж и говорить не о чем?

– Законченным злодеем я тебе не считаю, но если ты мечтаешь убдить меня в вашей ереси, то лучше не трудись: в этом случае говорить нам действительно не о чем.

– Достойный ответ исповедника веры! Но, быть может, я вовсе не собираюсь переубеждать тебя, а, напротив, сам хочу убедиться, где же истина. Неужели и тогда ты не захочешь говорить, не протянешь мне, так сказать, руку помощи?

– Это всё старые ваши песни. Государь Лев под тем же предлогом хотел устроить наш диспут с еретиками... Не о чем тут говорить! Всё уже сказано на соборе, всем известно и пересмотру не подлежит.

– Решительно всё сказано?

– Всё.

– Ладно, будь по твоему, господин Феофан. Я не стану вступать с тобой в долгие диспуты, не буду оспаривать и деяния Никейского собора. Но позволь мне задать тебе один вопрос. Всего один! Мне бы хотелось его уяснить для себя, узнать вашу точку зрения. Мне действительно важно это знать.

Феофан нахмурился и, помолчав, сухо спросил:

– Что за вопрос?

– Где находилось божество Христа, когда плоть Его была во гробе?

Монах взглянул на Грамматика, глаза его гневно сверкнули.

– Божество повсюду, кроме твоего сердца, враг Божий!

– Ну-ну, – усмехнулся Иоанн. – Не надо риторики, мы не в театре. Божество, конечно, повсюду, но мы ведь не кланяемся всему подряд, не правда ли? И если я – «враг Божий», то не запишешь ли ты вместе со мной и святителя Григория Богослова?

– Господин Иоанн, – холодно ответил Феофан, – ты умен, да ведь и я не глуп. И скажу тебе без риторики: предоставь глупцам восторгаться твоими доводами. Из слов святителя о душе «посредствующей между божеством и грубой плотью» – ведь ты именно эти слова имел в виду, не так ли? – еще нельзя сделать вывод, что плоть Господня сама по себе не была соединена с божеством и обожена. И не «плоть была во гробе», а Христос Бог пребывал во гробе плотью. Или ты не видишь здесь разницы? Это было бы странно, коль скоро ты так умен, как о тебе говорят! Было ли божество распято на кресте?

– Конечно, нет.

– А Бог – распялся ли за нас Христос Бог или нет, скажи-ка мне, великий софист! Или, может, по-твоему, Христос не был Богом вовсе?

– Знаешь, отче, – сказал Иоанн спокойно и даже как бы несколько задумчиво, – чем больше я общаюсь с твоими единомышленниками, тем чаще мне приходит мысль, что высшей добродетелью многие из вас считают красноречие, причем красноречие такого рода, которое, по слову Платона, «прекрасным никак не назовешь». Ты говоришь, что божество вездесуще, но если я тебе предложу поклониться, скажем, вот этому столу, ты, конечно, откажешься. Таким образом, вы сами признаёте, что вездесущие Бога – еще не повод поклоняться всему подряд. Поэтому, чтобы решить занимающий нас вопрос, следовало бы разобраться, какое именно пребывание во гробе имеется в виду... Да и вообще, много разных вещей следовало бы разобраться. Впрочем, я понял тебя, великий упрямец, – Иоанн встал, – и скажу тебе без всякой софистики: к сожалению, отец игумен, ты более не увидишь своего Великого Поля.

– Испугал! – воскликнул Феофан насмешливо. – Не знаю, за какие и сколь великие поля ты, несчастный, продал православие и свое спасение, а я готов и с жизнью расстаться, только бы предстать на суд Божий с неповрежденным исповеданием веры.

– Любите же вы, иконопочклонники, ссылаться на суд Божий, говорить о смерти за веру! Можно подумать, будто вечное спасение у вас уже в сундуке под верхней замком. Гляди, отец игумен, как бы тебе не оказаться окраденным!

– Благодарю за дельный совет, – кротко ответил Феофан. – Позволь и мне отплатить тем же и напомнить тебе слова великого богослова, на которого ты так любишь ссылаться: «Переносите всякий ущерб, касающийся имущества или тела, одного только не потерпите – чтобы понесло ущерб учение о Божестве». И прощай... В этой жизни мы уже вряд ли увидимся. – Феофан с трудом поднялся со скамьи.

– Ты хочешь сказать, что в будущей мы всё же можем увидеться? – насмешливо спросил Иоанн. Старец поднял на него глаза.

– Этого я не могу сказать, я не всеведущ. Но ты сам знаешь, от чего это зависит.

– А ты хотел бы такой встречи?

– Я хочу того, чего хочет Бог. А Он хочет, чтобы все спаслись и пришли в познание истины.

– Всё это замечательно, – усмехнулся Грамматик, – но хотел бы я услышать, что сказали бы твои единовѣрцы, если бы попали в царство небесное и встретили бы там... скажем, государя Константина Исаврийского!

– Это невозможно, он умер в ереси.

– Допустим. Но – скажу, встав на вашу точку зрения и предположив, что вы православны, – вдруг бы узналось, что перед самой смертью он покаялся во всем... во всех своих, как вы говорите, нечестиях, пролил слезы раскаяния, как разбойник на кресте, – и спас его Бог! Разве такое невозможно? И что тогда? Подозреваю, многие из твоих друзей тогда бы завопили: «Не хотим в один рай с треклятым Навозником!» Да вы и между собой договориться не

в силах, куда уж вам прощать врагов. О том, чтобы учение о Божестве ущерба не потерпело, вы печетесь, но где вам победить, когда для вас собственные собратья – хуже неверных!

– О чем ты? – Феофан взглянул на Грамматика с недоумением.

– О чем? О том, что «патриарх и митрополиты вместе с императором стремились к миру, злые же советники с Феодором, игуменом Студийским, разорjali его». И о том, что «не пекущийся о домашних отрекся от веры, согласно Павлу, и судится хуже неверного».

Феофан побледнел и вновь опустился на скамью. Глаза Иоанна впились в его лицо, как два стальных лезвия.

– Не ожидал? – Грамматик рассмеялся. – Да, я прочел твое сочинение. Потрудился ты много, почтенный отец... О, мойры, мойры, злая Фемида, что за шутки играете вы с нами! Ты вот теперь согласен потерять свое Великое Поле, идти в ссылку, разлучиться с братьями. Но что же братия-то без тебя? Кто их пасти будет, наставлять на спасительные пажити? А ведь ты сам писал: «Богу угодно, чтобы спасались многие, а не немногие. Терпеть же большой ущерб ради малой выгоды – дело верховного безрассудства». Не это ли безрассудство овладело тобой, отче? Но ты, конечно, скажешь, что догматы веры надо предпочесть всему. Похвально, весьма похвально. Но как мойры коварны! «Лев, патрикий и стратиг Анатолика, благочестивый и мужественнейший и всеми признанный способным править царством», – не твои ли это слова, отец игумен? Как же теперь ты и твои собратья ни благочестия, ни способности править у государя не признают? Впрочем, прав был Эсхил:

«А народ – он сегодня хвалит одно,  
Завтра будет хвалить другое».

Иоанн замолк, пристально глядя на старца. Но Феофан молчал, опустив глаза в пол, всё такой же бледный.

– Да, господин Феофан, – продолжал Грамматик, – ты должен признать, что выстрелил не в того. В кого ты целил? Кого ты величал злым и «хуже неверного»? Да если бы не Феодор, в ваших рядах уже почти никого не осталось бы! Ты говоришь, что ты не глуп. Нет, ты глуп, как большинство людей. И глупость ваша заключается в том, что вы видите перед собой только текущие цели, текущее положение дел. Я знаю, ваш Никифор назвал государя «хамелеоном». Но вы и сами хамелеоны. Сейчас, когда власть повернулась против вас, вы вопите: император не должен вмешиваться в дела веры! Какая жестокость – преследовать и ссылать за то, что люди по-другому верят! Итак, это плохо – преследовать за веру?

– Плохо, – тихо ответил Феофан.

– Не по-христиански? Ведь как там, в Писании: «Сын Человеческий пришел не губить души человечески, а спасать». Не так ли?

– Так.

– Значит, государь, отправляющий, скажем, тебя в ссылку, «не знает, какого мы духа»? Но вы-то сами – знаете, какого вы духа? Или только сейчас узнали?

– Что ты имеешь в виду?

– Что? Вот: «Подвигаемый великою ревностью о Боге, благочестивейший император, по внушению святейшего патриарха Никифора и прочих благочестивых мужей, объявил смертную казнь манихеям, павликианам, афинганам во Фригии и Ликаонии, но был удержан от этого другими советниками под предлогом покаяния, но погрязшие в этом заблуждении никогда не могут раскаяться». Чьи это слова?

– Мои, – тихо ответил Феофан, снова побледнев.

– Именно! Твои. А теперь переиначим их слегка: «Подвигаемый великою ревностью о Боге, благочестивейший император, по внушению благочестивых мужей, объявил смертную казнь иконопоклонникам, но был удержан от этого другими советниками под предлогом пока-

яния, но погрязшие в этом заблуждении никогда не могут раскаяться». В чем отличие? Почему их можно было преследовать, а вас нельзя, коль скоро и то, и другое есть преследование за веру? А то, что «не могут раскаяться», ты и сам подтверждаешь собственным примером. При этом, как видишь, я тут время трачу, пытаюсь тебя переубедить... Если же действовать по-вашему, то к чему церемониться: смертная казнь – и делу конец! Так не выходите ли вы тут этими самыми «хамелеонами», вы и ваш Никифор? И мы ведь с тобой, господин Феофан, хорошо знаем, кто были эти «другие советники», которые тогда удержали августейшего Михаила. «Злые советники», не так ли?.. Молчишь? Что ж, думай, думай. Поразмышляй, например, о том, какое будущее вас ждет, вас и вашу эту «святую борьбу», коль скоро у вас в числе «злых советников» оказался человек, который как раз всегда был последователен и не хамелеонничал!

Феофан поднял глаза на Грамматика, и некая решимость засветилась в его взгляде. Он медленно встал, поклонился Иоанну в пояс и сказал тихо:

– Благодарю тебя, господин Иоанн, за обличение. Я действительно совсем не хороший человек, ты прав. Ты прав во многом, но не тебе судить меня. Суд Божий истинен не только потому, что Господь праведен и всеведущ, но также потому, что Он милостив.

– А я немилостив, значит? – Грамматик усмехнулся.

– Да, нет в тебе милости. Светильник без елея. Может быть, в этом твое главное несчастье... Ну, прощай!

Когда стражи со всяческими поношениями водворили Феофана в тесное сырое помещение в подвале Сергие-Вакхова монастыря, куда император приказал заточить исповедника, старец, казалось, даже не слышавший ругани в свой адрес и не чувствовавший злобных тычков в спину, упал на лавку и долго, долго сидел без движения, закрыв глаза. Его келейник, заключенный вместе с ним, с плачем стал целовать руки игумена и проклинать иконоборцев, но Феофан сказал:

– Помолчи, чадо. Молись лучше, чтобы Господь дал нам видеть свои грехи.

Всю ночь он молился лежа, стараясь не шевелиться – так меньше болели почки, – а на другой день попросил у принесшего еду монаха чернил и пергамента.

– Не велено! – ответил тот сухо. Губы Феофана дрогнули, и келейник, следивший за выражением его лица, вдруг бросился к ногам их тюремщика в рясе и воскликнул:

– Христа ради, отче! Принеси отцу то, что он просит!

Монах смутился и ответил, немного поколебавшись:

– Хорошо, завтра попробую.

Наступившую ночь игумен опять почти целиком провел в молитве и заснул уже на рассвете. На другой день страж вместе с едой принес пергамент и чернильницу с пером, строго сказав, что заберет всё обратно после того, как узник напишет то, что собирался. Феофан перекрестился и при светильнике, чей скудный огонь был единственным источником света в этом подвале, принялся за письмо.

...В день Пасхи император подписал указ, согласно которому все заключенные иконопочитатели, сколько их к тому времени было в столице, передавались в полную власть Сергие-Вакхову игумену: Иоанн получил право размещать их по тюрьмам так, как считает нужным, и тюремщикам предписывалось слушаться его указаний насчет обращения с этими узниками. Уже на следующий день арестантов перевели в подземные камеры тюрем Претория и Фиалы, а некоторых заключили в подвалах Сергие-Вакховой обители. Всё это были чрезвычайно мрачные сырые помещения, не только без лежанок и столов, но даже и без подстилок, так что спать приходилось прямо на земле или на каменных плитах; через узкое отверстие заключенным раз в день бросали по куску плесневелого хлеба и подавали немного воды в сосуде, и та была тухлая. Все книги и вещи у них отобрали, никаких встреч с посетителями и передач

не позволялось, а тюремщикам строго запретили разговаривать с заключенными. Так их продержали до начала мая, ничего не объясняя, а затем стали по одному вызывать к Грамматику. Игумен принимал их всё в той же гостевой келье, где каждому узнику предлагалось небольшое угощение – финики, сушеный виноград, орехи и немного вина, – от которого, впрочем, все заключенные отказались. Весна была в самом разгаре, и келью наполняло благоухание роз, а через окно на стол вползали ветки винограда, увивавшего стену здания. Грамматик не вел никаких бесед, никого ни в чем не убеждал и не предлагал никаких вопросов, но каждому узнику говорил только одно:

– Мне чрезвычайно жаль, почтенный отец, что ты, как и твои собратья, подвергаешь себя таким печалям и неудобствам. Да будет тебе известно, что мы ничего иного не требуем от вашей честности, как только вступить в общение со святейшим патриархом Феодотом, после чего каждый из вас сможет тут же отправиться в свой монастырь и жить там совершенно свободно – со своей верой и мнением. Итак, подумай, господин, так ли многого мы от вас требуем, и не гораздо ли больше мы вам уступаем.

После этого узника тут же уводили обратно в тюрьму. Некоторые игумены и монахи сломались на другой же день после визита к Иоанну и дали подписку, после чего действительно были отпущены. Но большинство продолжало «упорствовать».

## 10. «Это ничего не значит»

*И будут вежливы и ласковы настолько –  
Предложат жизнь счастливую на блюде.  
Но мы откажемся – и быют они жестоко...  
Люди, люди, люди!..  
(Владимир Высоцкий)*

Иоанн, хотя поддержал меру, предложенную экономом для завлечения иконопочитателей в общение с патриархом Феодотом, в целом отнесся к новому повороту церковной политики прохладно: ему было интереснее беседовать с противниками и привлекать их к своему образу мыслей, нежели просто предлагать «один раз вступить в общение, а потом идти, куда угодно, со своим мнением». Поэтому с середины мая беседы с заключенными, по поручению императора, стали чаще вести Антоний Силейский, эконом Иосиф, протопсалт Евфимий и кое-кто из образованных синклитиков. Особенно больших успехов добивался Иосиф: за две недели он склонил к общению не только некоторых прежде упорствовавших иконопочитателей из мирян, но также нескольких игуменов и десятка два влиятельных монахов. Император велел епископу Антонию встретиться со студитами, которых схватили Великим постом и держали в тюрьме Претория, и предложить им вновь наладить жизнь в Студии в обмен на причащение с Феодотом. Лев надеялся, что если затея удастся, в монастырь постепенно станут подтягиваться и другие братия, а это, в свою очередь, ослабит иконопочитательский лагерь в целом.

– Но если они запрямятся, дайте им бичей! – сказал император, завершая разговор с епископом, и нахмурился.

Антоний отправился в Преторий в сопровождении двух спафарокандидатов и одного из императорских асикритов, а также начальника тюрьмы патрикия Арсафия. Для встречи с ними десятерых студитов собрали в одно из тюремных помещений. Антоний сел в приготовленное ему кресло, его спутники разместились рядом на стульях, а Арсафий в углу.

– Здравствуйте, отцы! – сказал Антоний, оглядев приведенных узников; в ответ монахи молча слегка поклонились ему. – Кто из вас тут старший?

Среди братьев возникло шевеление, и вперед вышел худощавый монах лет сорока, среднего роста, с открытым круглым лицом.

– Это Евфимий, – пояснил начальник Претория, – тот самый, что был пойман при попытке пробраться в Студий.

– Вот оно что, – протянул Антоний. – Это у тебя, значит, было изъято письмо Феодора? Никак ваш игумен на может успокоиться! Дождется, что его исполосуют воловьими жилами!

Монахи молчали.

– Ладно, – сказал Антоний, – полагаю, у вас всё же своя голова на плечах, а потому оставим Феодора и поговорим о вас и вашей обители. Государь послал меня вот с каким предложением: если вы вступите в общение с патриархом, то сможете не только вернуться в свой монастырь и жить там, как прежде, но и верить, как вам угодно, то есть оставить в храме и в кельях иконы, если уж вы никак не можете с ними расстаться. Как видите, мы идем на самую крайнюю меру снисхождения, чтобы заблудшие могли примириться с Церковью! Итак, как вы смотрите на это предложение?

– Странное какое-то предложение, – сказал монах Дорофей. – Если мы – «зablудшие», то в чем, по-вашему, состоит наше заблуждение, как не в поклонении иконам? И вы разрешаете нам поклоняться им, при этом предлагая общение с вами? Это верх нелепости! Общение в таинствах предваряется единомысленным исповеданием, а у вас, получается, возможно общение и при разномыслии? Святые отцы никогда не учили такому! Или мы будем мыслить оди-

наково с вами – чего да не будет! – или вы должны вместе с нами воздать честь святым иконам, но этого ведь тоже не будет, не так ли?

– Нет, не будет! – ответил Антоний. – Вы извратили православное учение о почитании церковных символов, и мы ваше мнение отвергаем. Но, повторяю, мы идем на меру крайнего снисхождения к вам, надеясь, что постепенно благодать Божия исправит вашу немощь и вы придете к тому же мнению, что и мы.

– Вот как? – сказал монах Стефан. – Значит, всё же подразумевается, что впоследствии мы должны полностью принять вашу веру? Но в чем же мы «извратили» церковное учение?

– Вы считаете, что Бога можно изобразить, тогда как это невозможно! – сказал асикрит.

– Мы считаем, что можно изобразить Бога по плоти, – возразил брат Афродисий. – Христос стал подобным нам человеком, а потому Его можно изобразить, как и любого из нас.

– Нет, не так, – сказал один из спафарокандидатов. – Христос есть не только человек, но и Бог, а потому изобразить его нельзя, потому что в таком случае вы изображаете одну только плоть, отделяя ее от божества, а это – несторианство!

– Ты ошибаешься, господин, – тихо и немного хрипло проговорил брат Иперехий; простудившись в сырой холодной камере, он то и дело кашлял. – Мы изображаем не плоть Христа, а Его ипостась, а она неделима.

– Да, ведь и на кресте страдала только плоть, а не божество, но мы говорим, что Бог пострадал во плоти! – сказал монах Аммон.

– Совершенно верно, – улыбнулся Антоний. – Когда Христа распинали, божество Его было неотлучно от плоти. Но на иконе присутствует не Сам Христос, а только Его изображение, и нельзя сказать, что это изображение Бога, поскольку божество неизобразимо и не присутствует в иконе.

– Божество в ней присутствует! – ответил Евфимий. – Как в любом церковном символе. Во Христе всё свято, свят и Его характер, а значит, и поклоняем, когда изображается на иконе. А что его можно изобразить, это очевидно.

– Вовсе это не очевидно, – возразил епископ. – Бог-Слово воспринял в Свою ипостась человеческую природу, но если, как вы говорите, у нее есть еще и свой особенный характер, то таким образом вы вводите вторую ипостась. А это – опять ересь Нестория!

– Если Бог воспринял природу без ипостасных особенностей отдельного человека, – сказал монах Игисим, – то как могли бы Христа узнавать те, кто видел Его в земной жизни, и отличать от других людей? Это нелепо.

– Конечно, нелепо, – кивнул Парфений, самый юный из десяти студитов; у него еще борода не росла. – Бог-Слово принял в Свою ипостась человеческую природу со всеми ее особенностями, в том числе и с описуемостью.

– Вот еще, и этот молокосос туда же! – Асикрит расхохотался. – Да ты-то что понимаешь в догматах? Как ты докажешь свои слова?

– Да он, скорее всего, и не понимает, что говорит! – Арсафий усмехнулся. – Заучил с чужого голоса и повторяет, как попугай!

– Ну же, богослов, скажи нам, почему это, по-твоему, Слово приняло в Свою ипостась природу с характером? – ядовито спросил асикрит. – Да ты хоть знаешь, что такое характер?

– Знаю не хуже тебя, господин! – ответил Парфений запальчиво, но тут же взял себя в руки и продолжал уже спокойно. – И почему я так сказал, отвечу. Господь воплотился, чтобы спасти человека. Значит, Он должен был стать точно таким же по человечеству, как и мы, потому что, как объясняют отцы, «что не воспринято, то и не уврачено», то и не спасено. Поэтому Он должен был воспринять плоть со всеми ее особенностями, в том числе с такими, которые отличали его от других людей. А если, по-вашему, у него была плоть без характера и неопикуемая, то это какая-то другая плоть, не такая как у нас. Но если так, то Он никого из нас и не спас, и «вы еще во грехах ваших». Если же вы верите, что Он спас нас, то должны

верить и в то, что плоть Его была такая же, как у нас, то есть описуемая. Видишь, господин, – монах взглянул на асикрита и улыбнулся, – всё очень просто.

Асикрит вскочил и в гневе воскликнул:

– Он еще учить тут нас будет! Довольно! Мы по горло сыты этими бреднями!

– Тихо, тихо, господин Петр, – сказал Антоний, слегка поморщившись, – не надо так горячиться. Итак, отцы и братия, – обратился он к монахам, – вы не желаете вступить в общение со святейшими Феодотом?

– Не желаем! – ответил Евфимий. – Мы имеем законного патриарха, святейшего Никифора, и с ним состоим в общении, иного патриарха не знаем и знать не хотим. А тебе, и всем, кто держится с тобой одной ереси, – анафема!

Силейский епископ переглянулся с начальником Претория и встал.

– Жаль мне вас, братия! – вздохнул он, обводя взглядом монахов. – Вы такой же «жестокый род», как и древние иудеи, и так же гневите Бога нечестивым идолопоклонством, как они. За то и пожнете теперь, что посеяли! – И он вышел из помещения, за ним последовали и его спутники.

Арсافий повернулся к одному из стратиотов, охранявших двери и приказал:

– Бичи!

Тот вышел и вскоре вернулся еще с двумя дюжими стратиотами, которые несли несколько бичей из скрученных воловьих жил – высыхая, они становились острыми, как бритвы. Начальник Претория взял их и положил рядом с собой на стол, глаза монахов невольно приковались к ним.

– Ну, – угрожающе произнес патрикий, – последний раз спрашиваю: никто не передумал? Все решительно полагают, что их спина недостаточно хороша без отметин от бичей?

– Эти отметины будут нам лучшим украшением! – ответил Евфимий.

– Вот как? В таком случае, раздевайся! Тебя первого и украсят! – Арсафий кинул один из бичей плечистому стратиоту. Тот размахнулся и лихо щелкнул страшным орудием. От этого звука все монахи вздрогнули. Начальник Претория с усмешкой смотрел на них.

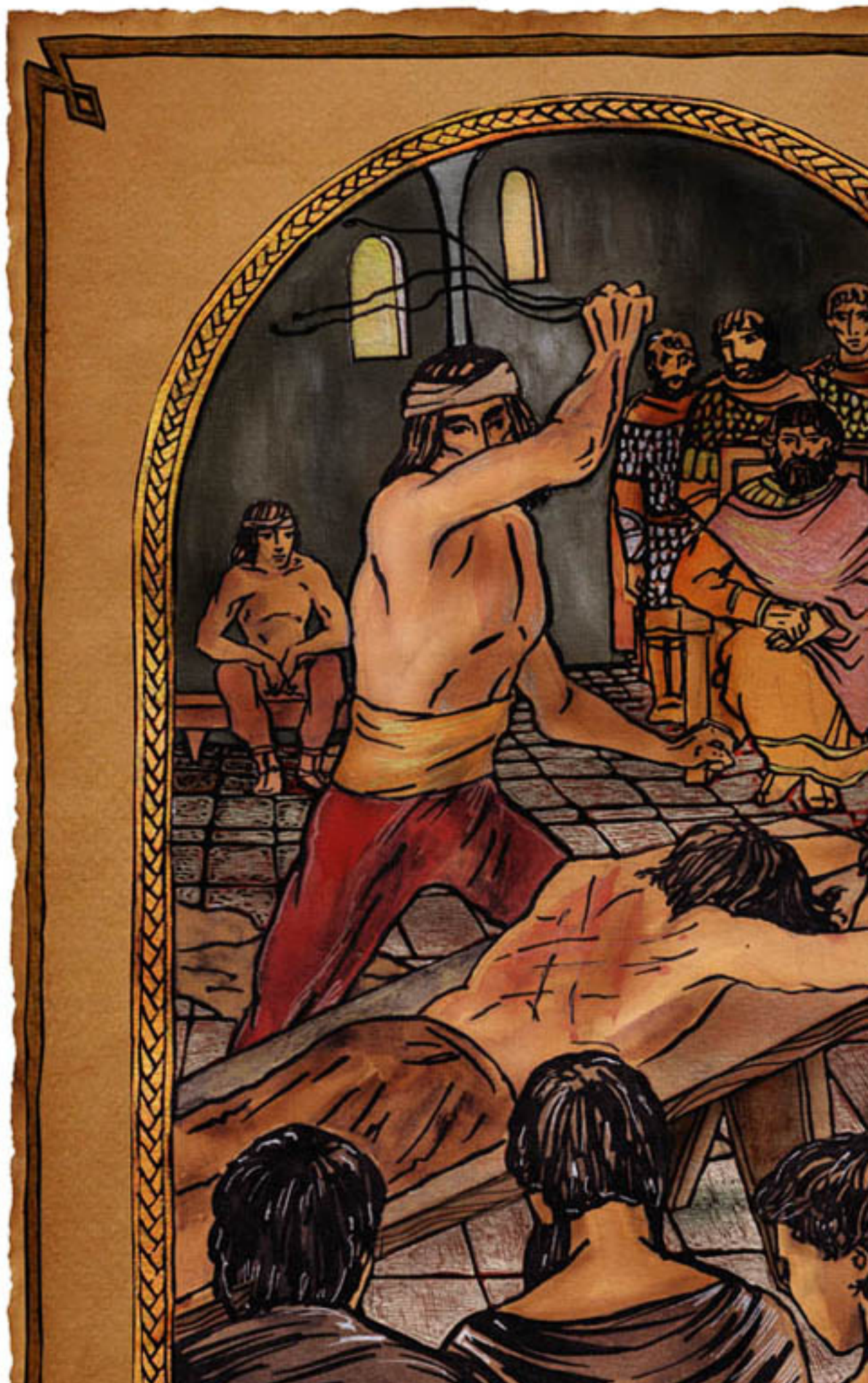
Посреди комнаты поставили две сдвинутые скамьи, стратиоты схватили Евфимия, который только успел снять мантию и параман, стащили с него хитон и, растянув на скамьях, привязали за руки и ноги толстыми веревками.

– Давай! – Арсафий кивнул стратиоту с бичом. – Пятьдесят!

Бич взлетел и опустился на спину монаха, на ней тут же вспухла красная полоса. Евфимий не издал ни звука. Удары следовали один за другим. Арсафий считал вслух. Вскоре кровь закапала на пол. Братия смотрели молча, почти у всех по лицам текли слезы. Симеон, монастырский больничник, схваченный при попытке тайно передать заключенным в Студийской обители братиям лекарства, которые сам изготовил, с ужасом думал о том, как долго будут заживать эти раны, тем более в тех условиях, в каких содержались заключенные. Парфений после двадцатого удара не выдержал и, зажмурив глаза, ткнулся носом в плечо стоявшему рядом Дорофею. Тот погладил его по голове и подумал: «Господи, если нас сейчас всех так будут бить, выдержит ли этот мальчик?! Господи, помоги Евфимию, помоги всем нам!»

– Пятьдесят! – наконец, произнес начальник Претория.

Стратиот опустил бич и, отойдя к стене, сел на лавку отдышаться. Лицо его совершенно ничего не выражало, словно бы он выполнял рутинную работу, ничем не примечательную и даже весьма скучную. «Как кирпич какой-то», – подумал Иперехий, исподтишка глядя на него. «Мясник!» – прошептал Афродисий.



Евфимия отвязали от скамеек. Кожа на спине его висела ключьями, кровь лилась ручьями. Он с трудом поднялся, и один из стратиотов кинул ему хитон.

– Ну, что, понравилось? – Арсафий зло усмехнулся и взглянул на остальных монахов. – Кто следующий?

И тут Евфимий, еще не надев хитона, повернулся к студитам, улыбнулся и проговорил:

– Не бойтесь, братия, это ничего не значит!

Лицо его в этот миг было таким светлым, что монахи ахнули. Арсафий, услышав эти слова, на мгновение опешил, а потом лицо патрикия исказилось яростью.

– Ах, ничего не значит? – заорал он. – Ну, так я тебе сейчас добавлю, еретическая гадина, идолопоклонник треклятый!

Схватив со стола новый бич, он хлестнул Евфимия, метя в лицо, но попал по плечу. Монах покачнулся и выронил хитон. Следующий удар сбил его с ног; Арсафий принялся хлестать, не разбирая, куда – по груди, по животу, по ногам; лицо Евфимий старался прикрыть руками. Наконец, патрикий отбросил бич и, подойдя, пнул исповедника носком сапога:

– Вставай, мерзкая тварь!

Евфимий попытался встать, но не смог. Арсафий хотел было опять пнуть его, но тут монах Ефрем не выдержал и крикнул:

– Оставь его, кровопийца! У тебя еще есть, над кем поиздеваться!

Патрикий повернулся к нему, сверкая глазами.

– А, так ты следующий? – Он кивнул стратиотам. – Привязывайте этого!

Те схватили Ефрема, сорвали с него одежду и растянули на скамейках. Симеон с Дороем помогли Евфимию подняться и одеться, после чего два стратиота увели его; он едва передвигал ноги. За его спиной уже раздавался свист бича; первого стратиота сменил другой и бил сильнее, с отяжкой, так что почти каждый удар вырывал из тела кусочки плоти.

– Пять! Шесть! Семь! – считал начальник Претория.

Весть о том, что десять братий предали анафеме Антония Силейского и были бичеваны, заключены, а затем изгнаны вон из столицы с запретом приближаться к Городу и переписываться с кем-либо об иконах под угрозой нового бичевания, некоторое время спустя дошла до Саккудиона, а оттуда в Метопу, но не только: рассказ об исповедничестве студийской братии передавался из уст в уста и распространялся все дальше. Иконопочитатели повторяли слова Евфимия: «Не бойтесь, братия, это ничего не значит!» – и воодушевлялись на дальнейшую борьбу.

«О, возвышенный твой ум! – писал Евфимию игумен Феодор, узнав о происшедшем. – О, твердость твоего сердца! Ты первый был бичуем за Христа и со Христом и после ударов поднялся окровавленный, с растерзанной плотью. Ты не испустил жалобного вопля, не пал на лицо свое, а произнес слова, которые повторяют все...» Подобные письма с похвалами Студит послал и остальным бичеванным, в то же время увещевая их не забываться, но жить трезвенно, чтобы как-нибудь не пасть и не сделать тщетным свое мученичество. Подвиг братий воодушевил игумена, и он стал писать смелее, убеждал не вступать в общение с еретиками, приводил в пример исповедников, призывал к мужеству. В первых числах июня было перехвачено одно из писем Феодора к епископу Халкидонскому Иоанну, изгнанному далеко от Константинополя. Епископ сильно страдал с непривычки к суровым условиям жизни – от природы болезненный, в ссылке он вынужден был перемогаться почти без врачебного ухода, – но не переставал при всяком удобном случае убеждать верующих не общаться с еретиками и разъяснял вопрошавшим догмат иконопочитания. В письме к Иоанну игумен называл иконоборческую ересь «подготовкой к пришествию антихриста» и ободрял епископа: «Чем больше сила нечестия у христорборцев, тем пышнее у нас торжество исповедников, совершенно не уступающих древним Христовым мученикам. Их венец да получишь и ты, треблаженный».

Прочтя это письмо, раздраженный император показал его патриарху, а потом и Грамматику. Иоанн в очередной раз пожалел про себя, что лишен возможности побеседовать со Студийским игуменом: раз отправив Феодора в ссылку, Лев не хотел возвращать его – он слишком боялся влияния Феодора, и чем дальше Студит находился от Константинополя и двора, тем спокойнее чувствовали себя император с патриархом.

– Этого увещевать бесполезно! – сказал Мелиссин в разговоре с василевсом. – В тюрьме ему самое место! А что, августейший, не сослать ли его еще подальше? А то он слишком ретиво пишет свои послания, и они слишком быстро расходятся...

...Вассиан проснулся оттого, что кто-то дотронулся до его плеча. Он открыл глаза, но с таким же успехом мог бы не делать этого: вокруг была кромешная тьма. Снаружи доносился шум дождя, ливень был сильный. Больше ничего не было слышно, и монах уже решил, что ему почудилось, как вдруг кто-то прикоснулся к его щеке, словно ощупывая. Молниеносным движением Вассиан схватил незнакомца за руку, ощутив, что одежда пришельца была мокрой насквозь; тот молча попытался вырваться, но не смог.

– Люди хорошие! – раздался жалобный шепот. – Ради Христа, не губите скитающегося монаха!

– Вот так-так! – тихо проговорил Вассиан, выпуская гостя. – Кто это к нам пожаловал, да еще в такую погоду? Погоди, брат, я зажгу огонь.

Ощупью он нашел у изголовья огниво и свечу, и вскоре желтый огонек озарил внутренность пещеры. Посреди нее прямо на земле сидел, дрожа от холода, совершенно вымокший монах, у него даже зубы стучали. Его мантия была залепана грязью, как и хитон, и местами изодрана.

– Никеец? – спросил Вассиан, оглядывая его. Тот сначала не понял, взглянул вопросительно, но в следующий миг лицо его озарила улыбка.

– Да, да!

– Да благословит Бог твой приход, брат! Откуда ты?

– Из Павло-Петрской обители. Разогнали нас, отца Афанасия взяли... Вот и скитаемся, кто где...

Куча ветхих, напоминающих тряпки одеял в углу зашевелилась, и из нее показалось заспанное лицо еще одного монаха.

– Кто тут? – спросил он, шурясь.

– Да вот, к нам гость из Павло-Петры, тоже изгнан за веру... Тебя как звать-то, брат? Меня – Вассиан, а его – Еводий.

– Аркадий я... А вы чьи?

– Студийские.

– О, какое счастье, что я наткнулся именно на вас! – вскричал Аркадий. – Слава Богу! Вы здесь только вдвоем?

– Нет, тут неподалеку еще наши скрываются... Но погоди, надо разжечь огонь, ты же вымок совсем и замерз, так и заболеть недолго! Хорошо, что мы вчера насобирали сучьев, и они сухие...

Вскоре в пещере уютно потрескивал костер, Аркадий, завернувшись в одеяло, сидел у огня на обручке бревна; рядом на воткнутых палках была развешана его одежда, от нее шел густой пар. Вассиан с Еводием устроились напротив на куче соломы, Еводий – с головой закутавшись в шерстяное одеяло, а другим накрыв ноги: его уже второй день знобило.

– Ну и хватка у тебя, брат! – сказал Аркадий, с улыбкой глядя на Вассиана и потирая руку. – Я думал вырвусь, да куда там... Атлет прямо!

– До монашества, – ответил тот, – я выступал на ипподроме: боролся, тяжести поднимал... Мог железный прут согнуть толщиной вот с эту палку! Ну, может, и сейчас могу, с тех пор не пробовал.

– Вот как! – Аркадий любопытно взглянул на него, но не решился спросить, как тот попал в монастырь. – А я с детства в храме прислуживал, так что силач из меня никакой... Какое название хорошее ты сказал – «никеец»! Правда ведь, седьмой собор был там же, где и первый...

– Это наш отец так называет иконопочитателей. – Вассиан вдруг пригорюнился. – Эх! Отец наш... Как-то он там?

– А где он теперь?

– В Метопе, в крепости заключен. Пишет оттуда мало, больше отцу эконому, а тот уж нам сообщает, что надо. Опасно писать по нынешним временам...

– Да, – вмешался Еводий, – император, говорят, на отца игумена сильно разгневан, ну, и на нас всех тоже. Отца Навкратия того и гляди схватят, да и мы тут, как видишь, живем не с удобствами...

Студиты действительно вызывали у императора и его сторонников всё больше раздражения. Где бы ни появлялись питомцы Феодора, они везде становились закваской, вызывавшей, сразу или по прошествии некоторого времени, нежелательное для иконоборцев брожение. Император и патриарх, как только узнавали, что где-либо кто-то осудил решения недавнего собора и отказался от общения с иконоборцами, приказывали прочесывать окрестности в поисках скрывавшихся студитов. Тех, кого удавалось схватить, бросали в темницы, но на свободе их всё же оставалось еще очень много.

## 11. Вонита

*...если путь долог, не удивляйся: ради великой цели надо его пройти... если что и придется претерпеть, взявшись за прекрасное дело, это тоже будет прекрасно.*

*(Платон)*

Уже пропели вторые петухи, когда раздался лязг засовов, и в темницу вошли четверо человек, двое из них держали факелы. Феодор на несколько мгновений прикрыл глаза рукой, пока не привык к свету, а потом, поднявшись, взгляделся в незваных гостей. Тех, что с факелами, он раньше не видел; третий, сурового вида, с желтоватым лицом и темными прямыми волосами, державший в руках свернутый в трубку пергамент, также был ему неизвестен, но четвертого он узнал.

– Здравствуйте, господа! – Игумен поклонился вошедшим. – Здравствуй, господин Никита! Чем мы обязаны вашему посещению?

– И ты еще спрашиваешь, мерзавец! – воскликнул желтолицый и повернулся к Никите. – Вот наглец! Всю Империю заполнил своими мерзкими воззваниями, а строит из себя невинного!

Патрикий в ответ слегка покачал головой, однако невозможно было понять, относится ли это к игумену или к возмущенному чиновнику.

– Господин Феодор, – сказал Никита, – мы прибыли возвестить тебе волю августейшего государя.

– Встань смиренно и слушай, что приказывает тебе благочестивейший император! – сурово сказал желтолицый.

Феодор и так стоял смиренно, поэтому не пошевелился, спокойно глядя на говорившего. Тот гневно сверкнул глазами и уже хотел что-то сказать, но Никита слегка дотронулся до его плеча, указывая молчать, взял у него пергамент, развернул лист и объявил волю василевса: Феодора, за нарушение общественного порядка и распространение «богомерзкого иконопоклонства», предписывалось отправить из Метопы в крепость Вониту – если, конечно, узник не захочет покаяться и вступить в общение с императором и патриархом. При этом заключенному строго-настрога запрещалось с кем-либо видаться и рассылать письма в защиту иконопочитания.

Игумен чуть улыбнулся и сказал:

– Я охотно переменю место, ведь местом я не ограничен. Любая земля, куда бы меня ни забросили, – моя, а лучше сказать, Господня, и мое странствие служит мне наградой. Но молчать ревнителям веры сейчас нельзя, и потому я никогда не умолкну и не покорюсь такому приказу. Мне всё равно, требуете ли вы этого с угрозами или просто советуете. Апостол запрещает повиноваться человекам больше, чем Богу. Если б я согласился молчать о вере, то к чему мне было бы вообще отправляться в изгнание?

– Да как ты смеешь, мерзкая тварь... – начал желтолицый, но патрикий Никита прервал его.

– Довольно, господин Кирилл! Мы пришли сюда не ругаться, а исполнить волю государя. Воля его объявлена, но господин Феодор отказался покориться. Значит, нам нужно исполнить дальнейшее – везти его в Вониту. Собирайся, отче! Мы должны выехать отсюда на рассвете.

Их путь лежал в Анатолик: Вонита находилась к востоку от города Хоны, за сотню миль от приморской Ликии. Вместе с игуменом отправились и бывшие с ним трое братьев. Путешествие прошло легко и приятно: стояли чудесные майские дни, вокруг всё цвело, дорога была сухой и ровной. Никита, бывший тайным иконопочитателем, о чем император не знал, сразу

же отослал Кирилла в столицу с кратким письмом к государю, а сам сопровождал ссыльных. На пятнадцатый день прибыли в Вониту, где местные власти встретили опального игумена весьма радушно. Узнав о прибытии Феодора на новое место жительства, друзья и ученики буквально завалили его посылками с деньгами, вещами и продуктами, не было недостатка и во всем необходимом для письма. Навкратий постоянно присылал к игумену то одного, то другого из братьев с разнообразными передачами, сообщая новости о положении в Церкви, которые ему удавалось узнать. Переписка Феодора, однако, еще не успела возобновиться в прежнем объеме, как он получил очередное суровое предупреждение от властей. Патрикий Никита, возвратившись из Вониты в столицу, был призван к императору и подвергнут допросу относительно всех подробностей его разговора с Феодором и о том, как прошел переезд узника в Анатолик. Хотя Никита постарался не говорить лишнего и не подставлять игумена под императорский гнев, это ему не удалось: Лев был сильно раздражен после того, как Кирилл, приехав из Метопы, в самом черном свете расписал ему «дерзость» Студита, и разговор с Никитой не заставил василевса изменить уже принятое решение. Раз Феодор не хотел молчать и прекращать переписку, это значило, что и все его монахи будут продолжать «возмущать народ», чему нужно было воспрепятствовать.

Феодор диктовал Николаю очередное письмо, Ипатий затачивал перья, а Лукиан линовал пергамент для рукописи, когда патрикий в сопровождении троих стратиотов вошел в помещение. Все монахи поднялись при их появлении.

– Здравствуй, господин Никита. – Феодор поклонился патрикию. – Ты что-то быстро воротился.

Никита несколько мгновений молча смотрел на узника и, наконец, сказал суровым тоном:

– Император велел бичевать тебя, Феодор. Сто ударов за отказ повиноваться его повелению и не учить иконопоклонству.

– О, Господи! – проговорил Лукиан, с ужасом глядя на бич, которым слегка поигрывал один из стратиотов. Ипатий выронил перо и ножик, а Николай, чувствуя, как у него задрожали губы, прижал ладонь ко рту, и посмотрел на игумена.

Феодор шагнул вперед, лицо его озарилось каким-то особенным светом.

– Благословен Бог! Я давно ожидал этого! – С этими словами он снял параман и скинул хитон. Взорам патрикия и его спутников предстало изнуренное постами и временем тело, походившее скорее на мощи, нежели на плоть живого человека.

Никита был глубоко поражен, страдание отразилось на его лице. Несколько мгновений он молчал, а затем повернулся к стратиотам, забрал у них бич и сказал:

– Выйдите! Я сам всё сделаю... Так повелел августейший. И этих выведите. – Он кивнул на монахов.

– Нет, нет! – закричал Николай. – Не надо! Не бей его! Лучше меня! Ради Христа! – Он хотел кинуться к ногам патрикия, но был схвачен двумя стратиотами и силой вытасчен из кельи. Третий стратиот вытолкнул наружу его собратий. Лукиан беззвучно плакал, опустив голову. Ипатий только успел прошептать, проходя мимо игумена:

– Мы будем молиться, отче!

Оставшись наедине с игуменом, Никита сел на лавку и закрыл лицо руками.

– Что же ты медлишь исполнять приказ государя, господин? – спросил Феодор.

– Надевай хитон, отче, – ответил патрикий, не отнимая рук от лица. – Я не буду бичевать тебя... Это выше моих сил... Нет, нет! Пусть лучше меня самого бичуют! – И этот огромного роста широкоплечий мужчина, чьего грозного вида боялись и слуги, и домашние, и подчиненные, заплакал, размазывая слезы по загорелым щекам. Феодор оделся, сел рядом и положил руку ему на плечо.

– Да благословит Бог твое доброе сердце, господин, – сказал игумен. – Но ведь если император узнает, тебе не поздоровится... Я, грешный, привык уже к лишениям, а вот ты вынесешь ли царский гнев?

– Я не могу, не могу! Нет! Отче, я до тебя не дотронусь... Нет, нет! – Никита опустил голову и какое-то время сидел молча, потом выпрямился и посмотрел на Феодора. – Вот что я сделаю! На чем вы тут спите? Ага... – Никита взял с деревянного ложа кусок овечьей шкуры, служивший Феодору подстилкой, и подошел к игумену. – Встань, отче. Император зол, как зверь, а мы будем хитры, как змеи! – Патрикий положил шкуру на плечи Феодору. – Держи ее, отче, чтоб не упала. Ну-ка, я попробую... – Размахнувшись, он нанес удар бичом по шкуре. – Не больно?

– Нет, – улыбнулся игумен.

Братия, сидя в соседнем помещении вместе со стратиотами, мучительно прислушивались. Когда послышался первый глухой звук удара, Николай дернулся было к двери, но один из стратиотов тут же схватил его за плечо. Лукиан побледнел, зажмурил глаза и заткнул обеими руками уши. Ипатий уткнулся лбом в стену и, закрыв глаза, принялся молиться. Однако после первого удара всё стихло.

– Неужели смиловался? – спросил Николай с отчаянной надеждой в голосе. Но вот опять раздался звук удара. И опять... – Нет, нет! – шептал монах, стиснув руки на груди; по щекам его текли слезы.

– Боже, – проговорил Ипатий, – умилосердись над отцом! Укрепи его!

Через некоторое время Никита вышел, тяжело дыша, и, бросив на пол окровавленный бич, с шумом опустился в приготовленное стратиотами кресло.

– Уф! Устал! – выдохнул он. Николай исподлобья посмотрел на него так, что если бы взглядом можно было испепелять, от патрикия бы в тот же миг не осталось и следа. Никита равнодушно взглянул на него и кивнул стратиотам: – А этих пока что обратно туда!

– Ну, шевелитесь! – Стратиоты тычками проводили троих монахов в келью и заперли дверь.

Войдя, Николай со стоном бросился к Феодору, который лежал ничком на ложе, покрытый одеялом.

– Отче, отче!

Феодор приподнялся, спустил ноги на пол и, виновато улыбнувшись, тихо сказал:

– Простите, чада мои, что мы заставили вас пережить такую горечь! Но не плачьте, еще не время! Хотя мне-то впору плакать, а не радоваться: не сподобился я пока принять мучение за Христа!

– Как?! – выдохнул Ипатий, а Лукиан так и сел на пол и безмолвно смотрел на игумена.

– Тебя не били? – воскликнул Николай.

– Тсс! – Феодор приложил палец к губам и показал взглядом на дверь. – Нельзя сказать, что меня не били, – улыбнулся он. – Но что меня били жестоко, сказать тоже нельзя. Если кому и досталось, так это ей! – Он указал на овечью шкуру. Братия смотрели во все глаза, всё еще не понимая. Феодор встал, взял шкуру и накинул себе на плечи.

– А! – шепотом вскрикнул Ипатий. – Понятно! Слава Богу! – Он перекрестился. – Да воздаст Он господину Никите за такую милость!

– Но... кровь! Откуда кровь на биче? – спросил Лукиан.

– Господин Никита проткнул себе руку и окрасил бич своею кровью, – ответил игумен. – Сказать по правде, я поразился ему! Вот поистине Божий человек!

Когда примерно через час патрикий опять пришел к узникам, трое монахов со слезами бросились благодарить его.

– Что вы, отцы! – смущенно пробормотал Никита. – Я ничего такого не сделал... И мне еще предстоит огорчить вас... Я всё-таки должен удалить отсюда двоих. Государь велел изгнать всех братьев, но одного я оставлю тебе, Феодор. Выбирай, кого.

Взгляд игумена остановился на Николае.

– Ты останешься со мной, брат. Нам с тобой еще предстоит много потрудиться... А вы, чада, – он обратился к Ипатию и Лукиану, – ступайте, и да хранит вас Бог! Не разлучайтесь друг от друга, но живите вместе: «горе одинокому», которого некому воздвигнуть, если он падет! Да вы всё знаете и сами. Пишите, не пропадайте. Не унывайте и не бойтесь! Будьте готовы всё претерпеть за веру! Ну, дайте, я вас благословлю, чада мои...

Братия, глотая слезы, стали собираться. Никита сказал игумену, что император повелел забрать все книги и иконы, поэтому он должен для виду взять хотя бы несколько, чтобы предъявить их государю в качестве свидетельства исполненного поручения. Феодор ответил, что патрикий может забирать всё, что найдет нужным. Никита забрал книги и иконы, а монахи отдали ему свои энколпии.

– Я должен забрать у вас и деньги, – нерешительно сказал патрикий. – Государь велел оставить тебе не более десяти номисм.

– Деньги? Да забирай хоть все, господин! – Феодор пожал плечами. – Не думает ли государь, что это для меня будет большой потерей? Если б я уповал на деньги, так зачем бы стал терпеть всё это?

Патрикий вздохнул и ничего не ответил.

– Послушай, господин Никита, – сказал Феодор, глядя, как тот складывает отобранные у них вещи в суму, – не лучше ли тебе забрать от меня и Николая? А то, неровен час, императору донесут о том, что ты поступил не совсем так, как ему хотелось, и тогда тебе не поздоровится...

Николай, услышав это, бросился к ногам игумена.

– Нет, отче, прошу тебя, не отсылай меня! Я не могу оставить тебя тут одного!

– Нет, отче, – сказал и Никита, – уж теперь что Бог даст, то и будет, а я что сделал, то сделал, и более уже не причиню вам никакой печали. Простите меня, отцы, и помолитесь за меня, грешного! – И патрикий подошел к игумену под благословение.

Последним распоряжением Никиты перед отъездом из Вониты был приказ усилить охрану узников: их по-прежнему не запрещалось навещать, но при них неотлучно находился часовой; в его присутствии узники и молились, и ели, и спали, и беседовали с приходившими. Посетителей было много, особенно монахов: приходили не только из окрестных мест, но и издалека, приносили еду и одежду, книги и писчие принадлежности. Некоторые после беседы с Феодором выражали готовность даже до смерти подвизаться за иконопочитание. «Хотя мы недостойны и дышать, – писал игумен Навкрагию, – но благой Бог к сосланным ради Него всегда внимателен, оберегает, промышляет, заботится в большей мере, чем можно было надеяться».

Вернувшись в столицу, Никита доложил императору, что исполнил всё, как он повелел, и передал ему изъятые у Феодора и его союзников книги, иконы и деньги. Лев велел поместить книги в дворцовую библиотеку, иконы сжечь, а деньги раздать нищим.

– Надеюсь, теперь этот неугомонный станет молчаливее! – сказал он.

В это время Феодор читал только что принесенное письмо, и слезы текли по его щекам. «Слава Богу! – думал он. – Еще одна заноза вынута. И еще один исповедник просиял во вселенной!» Игумен Феофан писал ему впервые за несколько лет: связь Феодора со своим восприемником по постригу прервалась после начала смуты из-за возвращения сана эконому Иосифу. Тогда Великопольский игумен прислал Студийскому резкое письмо, где порицал его за противление патриарху и говорил, что Феодор без нужды ворошит старые дела, никого теперь не интересующие и ни к чему не служащие, кроме смуты... Феодор написал Феофану обстоятельное послание, где обосновывал свою позицию, но ответа не последовало. Ни в ссылке на ост-

рове Халки, ни по возвращении из нее Феодор донине не получал из Великого Поля никаких вестей, несмотря на то, что несколько раз писал Феофану. Феодор печалился и не знал, как возобновить прерванные отношения. И вот, письмо, которое он уже не чаял получить, было перед ним. Оно шло окольными путями, несколько месяцев, но всё-таки дошло и очень утешило Студита.

Феофан писал, что через две недели после Богоявления императорские чиновники, прибыв в Великое Поле, вручили ему письмо василевса, просившего игумена прибыть в столицу: «Приди и помолись за нас, ибо мы отправляемся в поход на варваров». Предлог показался Феофану надуманным. «Разве нет в столице других молитвенников, что государь послал за мной, недостойным?» – спросил он. Но посланцы императора стали уверять, что Лев давно наслышан о его иноческих подвигах, а кроме того недавно прочел его «Хронографию» и желает видеть автора и просить его благословения. Феофана забрали из обители, несмотря на то, что игумен страдал от жестокого почечного приступа и даже ходить не мог: его отнесли к повозке, а затем к кораблю на носилках. На прощание игумен собрал всю братию и преподал им наставление: не изменять православию, что бы ни предстояло – гонения или даже смерть, – и не оставлять монашеских правил, куда бы ни забросила судьба. Братия плакали. Феофан взял с собой только своего келейника Анатолия. По приезде в столицу им определили местом жительства монастырь Сергия и Вакха. Там поминали нового патриарха, поэтому в храм Феофан не ходил и молился в келье вместе с Анатолием. Прошло три дня, и Лев пригласил игумена на воскресное богослужение в храм Святой Софии, с тем чтобы после литургии просить у старца благословения и молитв и пригласить его к праздничной трапезе. Феофан ответил императорскому посланцу, что сожалеет, но никак не может присутствовать на богослужении в Великой церкви, поскольку не может сослужить с неправославным патриархом. Уже на следующее утро игумен обнаружил, что дверь в келью, где жили они с Анатолием, заперта снаружи. Около полудня монах, принеший скудную пищу, на вопрос келейника ответил, что дверь отпрут и вообще отпустят их куда угодно, если они побывают на богослужении в Святой Софии и причастятся вместе с патриархом Феодотом.

– Что ж, – сказал Феофан, – посидим взаперти.

В понедельник к нему пришли люди от василевса и требовали вступить в общение с патриархом.

– Не знаю никакого патриарха, кроме святейшего Никифора, – ответил игумен, – а с ним я общения никогда не прерывал.

Разговор продолжался в том же духе и ни к чему не привел; чиновники ушли, пригрозив жестокой карой. Они приходили еще два раза, с перерывами в несколько дней, и диалог повторялся почти без изменений. В третий раз они попытались соблазнить одного келейника, но тот попросту заткнул пальцами уши и закрыл глаза. Тогда логофет в сердцах дал ему несколько пощечин, после чего их с Феофаном вновь заперли, а на другой день перевели в одно из подвальных помещений, где держали на хлебе и воде. От боли в почках игумен лежал, почти не вставая. Келейник крепился, хотя по ночам Феофан, который спал мало, иногда слышал, как Анатолий тихо всхлипывает, свернувшись под мантией на тонкой подстилке в углу. Так прошло около месяца, и вдруг однажды ночью они услышали как по соседству словно бы раздается пение. Келейник приложил ухо к стене и прислушался.

– «Се, Жених грядет в полуночи», – прошептал он. – Отче, там кто-то есть и поет «Се, Жених»!

– Значит, мы не одни тут посажены молиться о благоденствии императора. – Феофан усмехнулся.

Через два дня от носившего им пищу монаха, благорасположенного к ним, хотя и боявшегося нового игумена Сергие-Вакхова монастыря, они узнали, что рядом с ними в том же

подвале заключен экзарх константинопольских монастырей игумен Далматский Иларион. А спустя неделю Феофан был вызван для разговора к Грамматику.

Обо всем этом Феофан кратко рассказал в письме Феодору, а в конце, упомянув об угрозах иконоборцев и о вопросе Иоанна насчет божества Христова, писал: «Ты, может быть, удивишься, отче, но беседа с этим человеком приняла весьма неожиданный оборот и принесла много пользы моей бедной душе. Иоанн говорил также о разных вещах, не имеющих отношения к иконопочитанию, о которых недосуг ныне рассказывать подробно. Нельзя не признать, что этот человек умен и, пожалуй, весьма проницателен. Скажу лишь, что разговор с ним привел меня к осознанию того, что я очень виноват перед тобой, преславнейшее чадо, чьим отцом я недостойн называться. Я много осуждал тебя раньше за разные твои, как мне казалось, дерзкие деяния, но теперь вижу, что ты был прав, а я заблуждался. Прости меня, недостойного и грешного, и помолись, чтобы Господь сподобил меня совершить предстоящее поприще исповедания святой нашей и непорочной веры. Я же непрестанно молю Бога за тебя, возлюбленный мой отец, да укрепит тебя Господь шествовать по предлежащему нам поприщу скорбей, и да сподобишься вечного венца славы во царствии Божиим. Брат мой Анатолий приветствует тебя и просит святых твоих молитв».

...Кассия подхлестнула лошадь, и та резво потрусила вдоль кромки пшеничного поля. Афина, небольшая вороная кобылица, была куплена, когда Кассия, едва ей исполнилось десять лет, решительно заявила матери, что хочет научиться ездить верхом. Мать с приказчиком долго выбирали, искали смиренного коня; Марфа никогда в жизни не садилась на лошадь и побаивалась за дочь. Приказчик, в молодости бывший конюхом у одного патрикия, сам взялся учить юную госпожу ездить верхом. Кассия делала успехи, и на следующий год ее даже стали отпускать ездить одну. Летом, приезжая в их имение, она, бывало, по полдня не слезала с лошади, кружа по окрестным лугам и рошицам. Иногда, устав, она спрыгивала на землю и, упав прямо в траву, лежала и смотрела в небо, а лошадь паслась тут же. Стрекотали кузнечики, в воздухе стоял густой цветочный аромат, по небу плыли редкие облака, и Кассии казалось, что она тоже уплывает вместе с ними... На третье лето она, тайком от домашних, стала уезжать всё дальше – по ближним селениям и даже к лесу, в который, впрочем, углубляться опасалась. Встречавшиеся селяне провожали юную наездницу удивленными взглядами, селянки ахали, а мальчишки с гиканьем бежали следом. В одном месте, на небольшой лужайке у леса, Кассия обнаружила удобное место для упражнений: здесь была канава и несколько поваленных деревьев, лежавших почти через равные промежутки – как раз для скачки с препятствиями, а неподалеку возвышался небольшой, но довольно высокий холм, куда можно было заехать и созерцать окрестности. Кассия чувствовала себя почти амазонкой, не хватало только какого-нибудь дротика или копья...

Как-то раз она отправилась туда довольно рано поутру. До наступления жары оставалось еще несколько часов, пели птицы, бабочки разлетались из-под копыт лошади, стрекоза задела крылом по лицу Кассии, и девочка улыбнулась: было хорошо и не страшно. На подъезде к заветной лужайке она уже стала разгонять лошадь, чтобы с разбегу взять все три дерева подряд, как вдруг заметила на вершине холма всадника. Она натянула поводья и остановила Афины, которая удивленно и недовольно замотала головой. «Ладно, если что, ускачу!» – подумала Кассия и хлестнула лошадь. Когда та легко перемахнула через все препятствия, всадник спустился с холма и подъехал. Это был юноша лет восемнадцати, темноволосый, кареглазый, стройный. Его гнедой конь был норовист: ни мига не стоял на месте, перебирал тонкими ногами, косил горячим глазом.

– Привет! – крикнул юноша, подъезжая. – Ну, ты даешь! Летаешь, как птица!

– Здравствуй! – ответила Кассия.

– Как... – начал было он, но внезапно умолк и смотрел на нее, словно бы ему явилось видение. Она нахмурилась и, повернув лошадь, немного отъехала.

– Что ты так смотришь?.. Я не статуя!

– Нет, не статуя, конечно! – весело согласился он. – Как тебя звать?

– Кассия.

– А меня Акила. Ты оттуда? – Он махнул головой в сторону Марфиного имения. – Из дома на холме?

– Да. Откуда ты знаешь?

– Мне отец говорил, что там живет вдова с дочерьми, что одну из дочерей зовут Кассия и...

– И что?

– И что она очень красивая. – Акила улыбнулся. Кассия чуть наморщила нос. – А я только недавно приехал. Пять лет прожил в Афинах, а теперь вот буду в столице изучать философию.

– Мою лошадь зовут Афина.

– О! А моего – Геракл!

– Да, – сказала Кассия, с восхищением рассматривая коня, – он и правда такой красавец-герой!

– Твоя Афина тоже хороша! Ты давно ездешь верхом?

Они болтали довольно долго; наконец, Кассия спохватилась, что ей пора домой, а то ее потеряют, будут беспокоиться.

– Я буду здесь недели две, – сказал Акила. – Мы еще встретимся?

– Может быть.

На другой день она поехала туда же ближе к вечеру и заметила, что там кто-то уже был до нее: свежие следы копыт виднелись по обеим сторонам канавы. Акила! – догадалась она и нахмурилась. Наверное, он приезжал сюда утром, надеясь встретить ее опять. Кассия отъехала к подножию холма и задумалась. Хотелось ли ей самой встречаться с этим юношей? С ним в общем было о чем поговорить, и не скучно... Но если б он мог общаться с ней просто как с другом, а не как с красивой девушкой! Но он, кажется, так не мог... «Нет, лучше мне больше не видеться с ним! – подумала она. – Подожду недели три, тогда он уедет, и можно будет опять приезжать сюда. Вот несносная красота! Везде мешает! Хотя, конечно, приятно, когда тобой восхищаются, но... Нет, не буду с ним больше встречаться! Вдруг я ему слишком понравлюсь...» – и, развернув лошадь, она поехала в сторону дома.

Кассия еще год назад избрала свой путь. Это случилось осенью – второй осенью без Святой Софии, где теперь служили иконоборцы. Марфа с дочерьми больше не ходили туда, но каждый раз после посещения Книжного портика – а это бывало еженедельно – заходили к Милию и, стоя под аркой прижавшись друг другу, долго смотрели на великий храм и про себя молили Бога, чтобы православие поскорей восторжествовало.

В тот день они вышли из книжной лавки и направились к Милию, как вдруг Марфу остановила знакомая патрикия. Они разговорились, а Кассия быстро соскучилась, слушая их, вернулась с одной из служанок в портик и принялась вновь рассматривать книги на прилавке. Тут в сопровождении слуг вошли молодой мужчина и две девушки, одна довольно хорошенькая, а другая совсем некрасивая, но в то же время в их лицах было явное сходство: как будто по одному и тому же образцу были нарисованы два образа, но один художником, а другой – неумелым учеником. Мужчина спросил у торговца, готов ли его заказ и, узнав, что еще нет, недовольно заворчал. Торговец стал оправдываться, что «господин заказал слишком большую работу, буквицы, украшения, сами понимаете», – и просил зайти через неделю.

– А нет ли у тебя «Лествицы» святого Иоанна, господин? – спросила некрасивая девушка.

– Есть, как не быть! Один миг! – Торговец отошел к большому шкафу, открыл его и стал перекладывать рукописи, разыскивая нужную.

– Зачем она тебе, сестрица? – спросила другая девушка. – Ведь это для монахов!

– Да, – ответила та тихо, – но ведь мне уже надо готовиться...

– Что, всё-таки решила в монастырь?

– Да, решила.

– Готовиться так готовиться! – весело сказал их спутник. – Я тоже думаю, что прежде чем что-то предпринимать, надо справиться у знающих людей, каково это будет. Глядишь, узнаешь, как приходится жить монахам, так и передумаешь! – Он рассмеялся.

Некрасивая девушка ничего не ответила, взяла у торговца книгу, полистала, спросила, сколько стоит, развязала висевший на поясе кожаный кошелек и стала отсчитывать монеты. Торговец завернул книгу в холщовый лоскут, и мужчина положил ее в суму, которую держал один из слуг, после чего все они вышли из портика. А Кассия неподвижно стояла над раскрытой рукописью Златоуста.

«Готовиться!» Это слово из подслушанного чужого разговора поразило ее, как молния. Оно прозвучало словно ответ на мысли, уже давно бродившие в ее голове. С детства часто общаясь со студийскими монахами, слыша об их подвигах и борьбе за церковные каноны, она восхищалась ими: монахи казались ей героями, кем-то вроде христианских Геракла и Гектора. Иногда она мечтала, как тоже примет монашество и будет «подвизаться за правду Христову». Но периоды восторженных мечтаний сменялись временами сомнений. Ведь, с другой стороны, она знала, что монахи живут по очень строгим правилам, по раз и навсегда заведенному распорядку, который не могут нарушить, и это немного пугало ее. Хотя ее жизнь текла, в общем, достаточно размеренно и вовсе не беспорядочно, но всё же она могла в то или иное время заниматься разными вещами, читать книгу или гулять, или даже лечь и уснуть, а то и просто сидеть в саду, наблюдая, как котенок ловит бабочку, – монахи же, как ей было известно, не имели такой свободы. Зато они, как говорилось в писаниях отцов, имели великую помощь Божию на своем пути и гораздо быстрее, чем миряне, могли достичь божественных созерцаний и свободы от страстей... Кассия любила читать и проводила за книгами много времени, она читала везде – у себя в комнате, летом в саду, зимой в кресле у жаровни, иногда даже за едой не могла оторваться от книжки. Но монахи, как она знала, особенно новоначальные, больше упражнялись в трудах где-нибудь в поле, в огороде, на кухне, в мастерских; в том же Студийском монастыре книги в библиотеке выдавались братии лишь в определенное время, а как только проходили часы, отведенные на чтение, и звучал удар била, иннок обязан был немедленно вернуть книгу библиотекарю, в противном случае его ждала епитимия... Конечно, такая жизнь была хороша для большинства монахов, но Кассию, с ее любовью к чтению и познаниям, она несколько пугала. Раздумывая об этом, она обращалась мыслью к возможности вступить в брак, но тут те же самые склонности ее натуры «делали тесно» с другой стороны: замужняя женщина по необходимости должна была много заниматься домом, семьей, детьми, хозяйством... Это, впрочем, было бы еще ничего, ведь перед глазами Кассия имела пример собственной матери, всегда находившей время для чтения; но главный вопрос был в том, как найти мужа, который бы разделял устремления такой жены, какой стала бы Кассия, – того, с кем ей самой можно было бы прожить рядом всю жизнь «не скучно и уютно». Ее отец и мать встретились как бы случайно, но на самом деле, как говорила Марфа, в этом был «великий промысел». Однако Марфа в детстве никогда не задумывалась о монастыре, в отличие от дочери. В чем был «великий промысел» для Кассии?.. Когда девочка узнала от матери о том, что у земледельца Панкратия, который однажды угостил ее лепешками и сказал, что от любви «исчезает ум», дочь – ту самую, которую он, вместо того чтобы отпустить в монастырь, выдал замуж, – варвары пленили и заклали в жертву, Кассия была очень поражена, расплакалась, а потом много раздумывала об этом случае. Не стало ли несчастье следствием того, что убитая девушка и ее родители в свое время не познали «великого промысла»? Ведь если бы она ушла в монастырь, то осталась бы жива... С другой стороны, хоть она и погибла так страшно, но, как истолковал отец Нил,

стала христианской мученицей, святой, а разве мучениками становятся не по «великому промыслу»? И стала бы она святой, если бы прожила жизнь в монастыре, еще неизвестно... Какой же из «великих промыслов» для нее был лучше?.. А что должна избрать Кассия?..

«Готовиться!» Когда она услышала это, в ней словно воссияло: вот он, ответ, точный и несомненный! Монашество! Кассия закрыла рукопись, которую рассматривала, и медленно вышла из лавки. Мать как раз уже прощалась со знакомой, Кассия подошла, и они пошли к Милию. Марфа, по-видимому, раздумывала над тем, что ей рассказала патрикия, и потому молчала, а Кассия была этому рада: она ощущала себя сосудом, который вдруг до краев наполнили водой, и теперь надо было не расплескать. Пройти по жизни, не расплескав. И, стоя у Милия и глядя на крест Святой Софии, Кассия мысленно помолилась: «Господи! Если Ты зовешь меня на этот путь, то я иду!» – и тут же ощутила второй «удар», точнее, как она это сама для себя потом называла, «разверстые небеса». Нет, конечно, на самом деле, небеса не раскрылись, и она ничего не увидела, но она внутренне ощутила, как словно некая рука коснулась ее сердца – и как будто забрала его туда, в небесную высоту. Не было никаких сомнений, Чья это рука.

– Ну что, пойдём домой? – спросила Марфа.

– Пойдем.

Кассия шла, и ей казалось, что мир – вся эта шумящая толпа вокруг, этот Город, который она так любила, шедшая рядом мать, вообще всё – как бы отделился от нее прозрачной стеклянной стеной: он был рядом, она была в нем, и в то же время ее в нем не было. С того дня она больше не думала о замужестве как о возможности для себя, она просто не могла об этом думать: мысль о браке внутренне воспринималась как измена и натыкалась словно на некую невидимую стену, выросшую в ее сердце. Жених уже пригласил ее на брак, и это был тот единственный случай, когда отказать нельзя: звал не человек, а Бог.

## 12. «Старая кустодия»

*Настоящее поколение беспечно; оно отступило от строгой жизни и брать с него образец для жизни тщетно и бесполезно. ...почти все, можно сказать, опираются на обычаи человеческие и на установления соседей, противные заповедям Божиим, и хотят лучше следовать образу жизни такого-то и такого-то игумена, нежели божественных отцов наших.*

*(Св. Феодор Студит)*

Лето принесло неутешительные вести: мера, придуманная экономом Иосифом, оказалась столь успешной, что стали отпадать в ересь почти все те, кто раньше, казалось, твердо стоял в православии. Везде, но особенно в столице и ее окрестностях, процветало доносительство: доходило до того, что жившие в одном доме родственники боялись друг друга, а господа трепетали перед собственными слугами и рабами. Всего за одну найденную в доме икону или письмо с доводами в защиту иконопочитания хозяев могли бичевать. Иконы разрешалось оставлять у себя только тем, кто давал подписку не учить о вере и вступал в общение с патриархом Феодотом. Почти все константинопольские клирики и монахи дали подписку; многие миряне, в том числе из придворных, продолжали чтить иконы, но не смели говорить открыто в их защиту. Всё меньше исповедников оставалось на свободе, и тем приходилось скрываться. В середине лета стало слышно, что в июне умер папа Римский Лев и что император с патриархом хотят отправить внушительное посольство к новому папе с изложением иконоборческого исповедания веры и просьбой о поддержке нового церковного курса. Это намерение не только не скрывалось, но всячески провозглашалось, причем иконоборцы издевались над заключенными иконопочитателями, спрашивая, что будут они делать, если и «священная глава Римской Церкви, наследник великого Петра» одобрит иконоборческий догмат. Эконом Иосиф столь уверенно рассуждал об этом в беседах с узниками, будто точно знал, что папа будет на стороне Льва и Феодота. Всё это наводило уныние на православных, и некоторые дали подписку просто оттого, что им показалось, будто «всё равно уже всё кончено, сопротивляться бесполезно, лучше переждать».

Студийский игумен, узнав, что иконоборцы готовят посольство в Рим, решил написать новому папе, чтобы рассказать ему о положении дел в Империи. К этому времени ему удалось наладить переписку с несколькими игуменами, заключенными в крепостях не слишком далеко от Вониты, так что с ними можно было быстро связаться; они договорились, что Феодор напишет письмо от лица их всех.

– Неужели ты думаешь, отче, что папа может поддержать еретиков? – спросил Николай.

– Да не будет этого! Но всякое может случиться. Вспомни о папе Гонории... К тому же, иконоборцы могут представить дело так, будто речь идет о чем-то несущественном. Например, просто о борьбе с народными суевериями, а не о полном отвержении икон. Не забывай, что у нашего фараона есть свой Ианний, который способен изложить всё так, что не сразу найдешь подвох. А папе издали разобраться сложно, да и ссориться с императором ему нежелательно... Надо спешить!

«Конечно, уже известно верховному блаженству вашему, – писал Феодор, – случившееся с нашей Церковью по грехам нашим. Мы обратились “в притчу” и пословицу “у всех народов”, скажу словами Писания... Гоним Христос с Матерью и служителями, так как преследование образа есть гонение первообраза. Отсюда задержание патриаршей главы, изгнания и ссылки архиереев и иереев, монахов и монахинь, оковы и железные узы, мучения и, наконец, смерти.

О, страшно слышать!» Игумен просил папу «устрашить зверей-еретиков» и соборно анафематствовать иконоборчество.

Между тем в августе иконоборцы одержали очередную победу. На другой день после Преображения Господня, ближе к обеденному времени, двери темницы в подвале Сергие-Вакхова монастыря, где содержался игумен Мидикийский, отворились, и в нее вошли несколько человек. Это были игумены монастырей Ираклийского, Иполинийского, Гулейского, Флювутского и еще пятеро монахов, за их спиной в дверях маячила стража. В помещении сразу стало чрезвычайно тесно и душно. Никита воззрился на посетителей с удивлением.

– Приветствую вас, отцы! Чего ради вас привели к моему смирению?

– Отче, – сказал игумен Ираклийский, – мы пришли призвать тебя вместе с нами вступить в общение с патриархом Феодотом. Он уверяет, что больше ничего не потребует и немедленно разрешит вернуться в наши монастыри и сохранять почитания икон, как прежде. Мы решили, что это будет совсем небольшая уступка, и никакого посягательства на веру здесь нет.

Пораженный Никита не сразу нашелся с ответом. Видя, что он молчит, Петр, предстоятель Гулейского монастыря, заговорил горячо и торопливо:

– Отче, не думай, что мы испугались мучений или не желаем дальше страдать за православие! Но мы рассудили, что теперь надо предпочесть пользу и спасение многих. Ведь каждый из нас сможет вернуться в свою обитель, собрать расточенных, снова наладить прежнюю жизнь...

– «Спасение многих»?! – воскликнул Никита. – О каком спасении вы говорите, если решили вступить в общение с еретиком, которое – погибель? Как может из тьмы выйти какой-либо свет? Что вы, отцы? Что случилось с вами? Как помрачился ваш разум? О, Господи!

– Погоди, погоди сетовать, отче! – возразил Флювутский игумен. – Надеемся, что с разумом у нас пока всё в порядке. Ты говоришь про общение, но ведь это только один раз, в виде снисхождения, а потом мы уже сможем больше не поминать Феодота! Разве это такая уж большая плата за возможность возобновить монастырскую жизнь?

– Твое рассуждение, – печально сказал Никита, – похоже на рассуждение какой-нибудь женщины, которая, устав жить в бедности и видеть, как ее муж работает с утра до ночи, а дети голодают, решила «только один раз» совершить прелюбодеяние с богачом, давно домогавшимся ее любви и сулившим большие деньги. Можно ли сказать, что это «не такая уж большая плата» за будущее благоденствие? Ведь это лукавство!

– Отче, – сказал игумен Иполинийского монастыря, – твои возражения понятны, но подумай, как страдают наши братья, где они скитаются! Быть может, кто-нибудь из них уже не вынес такой жизни и пал в разные грехи, ведь некому ни наставить их, ни поддержать... Неужели тебе не жаль их? Да и что такого ужасного ты видишь в том, чтобы один раз сослужить с Феодотом? Ведь они даже уверяют, что это будет в храме, где сохраняются святые иконы!

– И что же? Разве не ясно, что они готовы пойти на всё, только бы заманить нас? Я не понимаю вас, отцы! Как могли вы поддаться на эту лесть после стольких перенесенных страданий? Как вы забыли про обещание, которое мы все дали святейшему Никифору, – не отделяться друг от друга и стоять за веру?

– Знаешь, отец Никита, – раздался вдруг спокойный и уверенный голос эконома Иосифа, который всё это время стоял за дверью и слушал, а теперь вошел в камеру; игумены потеснились и дали ему пройти, – святейший Никифор, безусловно, хорошо устроился: живет в собственном монастыре и служит там, когда и сколько хочет, а вас, овец своих, оставил гнить по тюрьмам!

– А, это ты, господин Иосиф, – проговорил Никита с неопределенным выражением.

– Да, я. Решил тоже сказать несколько слов, а то жаль мне, что ты так упорствуешь попусту. Ты говоришь: мы обещали святейшему не отделяться друг от друга. Но он первый отделился от нас! Мы томились по темницам, а он до сего дня живет вполне благоустроенно. А

что до веры, так веру вас никто предавать и не заставляет. Еще раз приходится повторить: вы все сможете вернуться в свои обители и чтить иконы, как прежде и даже еще больше, если пожелаете!

– Послушай, отче, – заговорил опять игумен Петр, – мы никак не можем оставить тебя погибать здесь! Твое поражение тогда окажется хуже нашего, ведь ты и сам погибнешь, и обитель свою погубишь окончательно. Согласись же! То, чего эти люди требуют от нас, – ничто!

Остальные игумены кивали, а Ираклийский добавил:

– Снизойдем немного, отче, чтобы не погубить всего!

Никита смотрел на пришедших и всё больше колебался. Перед ним стояли почтенные отцы: все они были старше него, а Иполинихнийский игумен был и вовсе старцем. О Флювутском Никита знал, что он с самого начала гонения стоял твердо и не только не соглашался в чем-либо уступить иконоборцам и был готов к мученичеству, но увещевал к этому других, в том числе епископов; он даже сумел убедить Никейского митрополита не общаться с еретиками, грозя в противном случае отделиться от него вместе с братией, – и вот, этот отец, казавшийся столпом веры, собирается вступить в общение с Феодотом, по примеру эконома! Так может, они и правы, и это действительно всего лишь допустимое снисхождение, всего лишь небольшая уступка, через которую можно приобрести души братий и спасти святые обители, сохранить и почитание икон? В самом деле, если они действительно смогут вернуться и чтить иконы, то и свою братию сохранят в православии и приходящих мирян будут утверждать в вере... В конце концов, кто он такой, чтобы противиться общей воле этих почтенных мужей? Разве он опытнее их? Не будет ли с его стороны гордыней отказ покориться их совету? Не покажет ли он этим, что считает себя умнее их?..

– Хорошо, – наконец, сказал Никита. – Я согласен выйти вместе с вами, отцы.

За два дня до праздника Успения Богородицы в храме во имя мученика Емилиана Доростольского в Равдосе патриарх Феодот торжественно совершил литургию, в сослужении многих клириков, в том числе Сергие-Вакхова игумена, и в присутствии некоторых синклитиков. Храм этот был, как и прежде, расписан священными изображениями – ни одно из них не было замазано. Выпущенные из темниц игумены, пришедшие на литургию с некоторым смущением, увидев иконы, воспрянули духом.

Перед началом службы, еще до того как игумены вошли в алтарь для сослужения патриарху, Грамматик сказал Мелиссину:

– Для пущей убедительности можно еще и анафематствовать тех, кто не кланяется иконе Христа.

– Как это? – удивился патриарх. – По-моему, это уже даже для снисхождения чересчур!

– Ты не понял, святейший. – Грамматик улыбнулся. – Я имею в виду истинную икону Христову, в понимании Иерийского собора – Евхаристию.

И вот, уже перед самым причащением сослужившего ему духовенства, патриарх провозгласил:

– Не поклоняющимся иконе Христовой – анафема!

Игумены переглянулись, и Ираклийский прошептал:

– Чего же ради мы так долго сидели в заточении?

Спустя несколько дней все бывшие заключенные – вымытые, накормленные, получившие от патриарха новые одежды и денег на дорогу – отправились по своим монастырям. Мидикийский игумен тоже пошел к пристаням узнать, на каком судне можно добраться до Вифинии. Но когда он взглянул на стоявшие в гавани торговые суда – одни только что причалившие для разгрузки товара, другие нагружаемые тюками, пифосами и бочками, третьи почти готовые к отплытию, – и на пеструю толпу, сновавшую вокруг, его вдруг охватила невыносимая тоска. На самом деле она грызла его с того дня, когда он причастился из рук Феодота, но теперь полностью затопила душу. После той литургии на него навалилась давящая тяжесть и не давала

покая мысль, что он совершил предательство. Никита сначала попытался прогнать помысел как искусительный, но это ему не удалось. «Что же теперь? – думал он. – Что я скажу братиям, если вернусь в обитель и опять соберу их туда? Что я вступил в общение с иконоборцем ради того, чтобы спокойно жить в монастыре?.. Боже мой, что я сделал! Зачем, зачем я послушался их?!» Оказавшись на пристани, он окончательно осознал, что не может вернуться в свою обитель. «Я пал! – думал он. – Это падение, что бы ни говорили эти отцы...»

Сначала Никита решил бежать подальше от столицы и, найдя уединенное место, подвизаться там, чтобы исправить свое поражение. Он сел на одно грузовое судно, отправлявшееся на Проконнес за мрамором, рассчитывая или обустроиться где-нибудь на острове, или перебраться с него на соседнюю Афусию, куда и собирались его сослать в случае, если б он не повиновался иконоборцам. Тоска и мрак внутри как будто бы уменьшились, но когда Никита добрался до Проконнеса, он, проведя ночь в молитве, принял иное решение и с тем же судном вернулся в Константинополь, где поселился у одного знакомого мирянина, тайного иконопочитателя. По Городу он почти не ходил, молился дома, но иногда заходил в храмы для поклонения мощам святых. Вскоре после возвращения Никиту заметил и узнал один из диаконов храма Апостолов, когда игумен пришел поклониться гробницам святых благовестников. Диакон подошел и приветствовал его.

– А я думал, отче, ты уже у себя в Вифинии. Разве ты не поехал туда?

– Нет. И не поеду. Падение должно быть исправлено там, где совершилось.

– Что ты называешь падением? – удивился диакон.

– Служение и причащение с Феодотом, на которое я согласился по глупости... точнее, по неразумному почтению к мнениям старших отцов. Через это мы все изменили православие.

– Ах, вот что! – насмешливо сказал диакон. – Тебя, видно, охмурил этот несносный Студит... И как это ему до сих пор разрешают рассылать свои писульки! – злобно добавил он.

– Ошибаешься, отче, Феодор ничего не писал мне. Но если он сочтет меня изменником, то будет прав. Феодот – иконоборец, и что бы он ни говорил нам об иконах и как бы ни разрешал верить, но сделанное сделано: мы вступили в общение с иконоборцем, а значит, и сами стали еретиками. Если тебе кажется иначе, это твое дело; а я думаю именно так и не успокоюсь, пока Господь не примет мое покаяние в содеянном.

Феодор узнал о падении заключенных игуменов в сентябре из письма от Навкратия и очень расстроился, особенно из-за Флювутского настоятеля, с которым имел возможность встретиться лично во время переезда из Метопы в Вониту: тогда тот еще не был заключен в тюрьму и был готов всё перенести ради православия, а теперь даже несколько не сокрушался о том, что сделал. «Но об этом муже что сказать? Что думать? – писал Феодор игумену Пеликитскому Макарию, сосланному на Афусию. – “Как упал ты с неба, денница”? Как повержен столп, восходивший до небес?» Что до остальных, то Студит не очень удивился их падению.

– Они ведь и раньше любили снисходить там, где не надо, – сказал он Николаю, – все признали прелюбодейный собор и осуждали нас за противление беззаконию. А об их покаянии в том заблуждении я не слыхал. Странно ли, что теперь их опять поманили тем же «снисхождением» и они попались? А вождем непотребства оказался всё тот же эконом!

«Построив дом свой на песке, – писал он Навкратию, – они при дуновении восставшей ереси, пали тяжчайшим падением, снова называя искажение истины снисхождением. Они и прежде были соблазном для Церкви Божией, и теперь делами своими увлекают всех к гибели». Но, заметил Феодор, «это старая рана, внутреннее зло. Иосиф, справедливо названный раньше сочетателем прелюбодеев, а теперь хулителем Христа, он – вождь этой старой кустодии...»

Между тем императору и патриарху быстро стало известно, что Мидикийский игумен опять в столице, с иконоборцами не общается и при случае проповедует собеседникам иконопочитание. Никиту немедленно вызвали во дворец. Император встретил игумена сурово:

– Почему в то время, как другие отцы ушли по своим обителям, ты один остался здесь, своевольничая и не повинуюсь нашему приказу? Мне сообщили, что ты еще и скрываться вздумал, надеясь нас провести. Оставь свои ухищрения, отче! Возвращайся в свой монастырь, а не то ты подвергнешься бедствиям еще худшим, чем раньше!

– Государь, – ответил игумен спокойно и кротко, – в монастырь я не вернусь и от веры своей не отступлю, а свое согласие вступить в общение с твоим патриархом считаю пагубным заблуждением. Теперь я хочу заявить снова, что почитаю святые иконы и в этом исповедании пребуду до конца. Я сотворил неподобное не по страху смерти или мучений и не из любви к этой жизни – Бог мне свидетель! – но ради послушания старцам сделал то, чего не должен был делать. Но я отрекаюсь от этого губительного послушания, и знай, августейший, что никакого общения с вами я не приемлю и остаюсь в той вере, которую принял от начала. Делай со мной, что тебе угодно, и не думай услышать от меня что-нибудь еще.

Император передал игумена спафарокандидату Захарии, смотрителю Манганского дворца, повелев держать Никиту в подвале, пока не будет решено, что с ним делать. Захария, втайне чтивший иконы, принял узника с почтением и поселил не в подземелье, а в одной из комнат верхнего этажа, всячески заботясь о нем. В Манганах Никита прожил около месяца, там он получил первое письмо от Студийского игумена: Феодор писал, что опечалился из-за падения Мидийского настоятеля, но, узнав о его покаянии, снова воодушевился; он молил Никиту «довести до конца нынешнее божественное исповедание» и просил молитв за себя.

Вскоре Никита, в очередной раз ответив отказом на требование вступить в общение с иконоборцами, был увезен на островок Святой Гликерии на Пропонтиде, недалеко от мыса Акрит и заключен в монастыре под крепким надзором. Над тамошними обителями был назначен экзархом некий Анфим, евнух очень жестокого нрава, весьма немилостивый; местные жители за кичливость и коварство прозвали его Каиафой. Этому Анфиму патриарх Феодот написал письмо, где обещал особые почести от императора, если экзарх заставит Никиту всё-таки передумать. Анфим, получив в свою власть игумена, заключил его в тесную темницу с таким низким потолком, что Никита мог там ходить, только согнувшись. Ключ от темницы экзарх носил с собой и никогда не открывал ее, чрезвычайно скудную пищу узнику подавали через отверстие. Но на все предложения «облагоразумиться и вернуться к общению со святейшим Феодотом» игумен неизменно отвечал:

– Анафема вашему «благоразумию» и вашему Феодоту.

...Фаддей умирал: было ясно, что выходить его не удастся, он и сам понимал это. Когда Григора пришел переменить ему повязки, монах слабо улыбнулся и прошептал:

– Не трудись, господин! Я всё равно... не доживу до завтра...

Григора уронил на пол льняной плат, упал на колени перед постелью умиравшего и заплакал.

– Что ты плачешь, Григора? – тихо проговорил Фаддей. – Не плачь... Лучше молись за меня... чтобы предстать мне пред Господом неосужденно... Братия! – позвал он чуть громче.

– Что, душа моя? – отозвался с соседней постели Виссарион. – Тебе легче?

– Да... мне теперь... хорошо... Ухожу... Молитесь за меня... чтобы мне неосужденно... предстать на суд Божий...

– Верую, что предстанешь неосужденно! – горячо ответил Виссарион.

– Да, – раздался в комнате еще один голос, совсем тихий, но ясный, – сейчас впору нам просить твоих молитв за нас, Фаддей! Ты идешь ко Господу, а мы... Нам еще подвизаться надо... Молись, чтобы мы претерпели до конца!

– Если... Господь сподобит... буду молиться...

Их бичевали накануне. До этого Фаддей несколько месяцев провел в одиночном заключении в Претории. Мирянин Григора передавал ему в тюрьму еду и одежду, а иногда тайком

писчие принадлежности: монах и в тюрьме продолжал переписываться кое с кем, убеждая стоять в православии, и поддерживал связь с братьями из той группы, в которой находился после рассеяния студитов при начале гонения. Через некоторое время, однако, попался властям один из его адресатов – студит Виссарион; у него нашли два письма Фаддея и после этого за Григорой установили слежку. Постепенно выловили еще нескольких братьев, скрывавшихся в окрестностях Никомидии: Тита, Филона, Еводия, Епатия, а также двух монахов из подчиненного Студию монастыря Святого Христофора – Лукиана и его ученика Иакова. Вассиан, живший с Еводием в пещере, остался на свободе: когда нагрянули в их убежище, он отлучился в село купить хлеба. Вернувшись и увидев, что в пещере всё перевернуто вверх дном, а Еводий исчез, он побледнел и тихо проговорил:

– Держись, брат!

В конце декабря дело восьми студитов прибыл расследовать из столицы протоспафарий Варда, свояк императора – он был женат на Албенеке, сестре августы Феодосии. Девятым призванным к ответу оказался иеромонах Дорофей, схваченный чуть раньше: он был уличен в том, что тайно причащал иконопочитателей и передавал Святые Дары столичным заключенным, а также ездил в Никомидию и Nikeю с той же целью. Все решительно отказались от предложения присоединиться к иконоборцам. Тогда их стали бичевать: первым растянули на скамье Фаддея, за ним Виссариона и Дорофея; все трое получили по сто тридцать ударов, причем первых двух Варда бичевал собственноручно. Под конец истязания Фаддей потерял сознание и без чувств был унесен обратно в камеру, другие двое едва смогли встать на ноги. Затем бичеванию подвергся Лукиан и после первых же ударов не выдержал и закричал:

– Нет! Не надо! Я дам подписку, только не бейте!

Его тут же отвязали. Он встал, оделся, не глядя на остальных братьев, и тут же подписался на листе с заготовленным текстом, пообещал завтра же причаститься на службе у патриарха Феодота, после чего был отпущен. Когда он уже направлялся к двери, Иаков воскликнул:

– Отче, как ты мог?!

Лукиан еще больше сгорбился, ничего не ответил и вышел. Варда усмехнулся и сказал Иакову:

– Ну, послушник, как видишь, наставник твой счел за лучшее избрать путь благоразумной мудрости. А ты что медлишь? Тебе уж и Сам Бог велел вступить в общение со святейшим Феодотом!

– Анафема вашему Феодоту! – вскричал Иаков. – И послушанию такому анафема! Я давал обет послушания Богу, а не человекам, отступившим от Него!

– Вот как? – угрожающе произнес протоспафарий. – Ты, значит, хочешь отведать воловьих жил?

– Хочу! – ответил Иаков, снимая хитон. – Бейте!

Его били долго и зло, по спине, по груди, по рукам, не только бичом, но и ногами, били, даже когда он уже лишился чувств, а потом, окровавленного, бросили тут же в углу на пол, сверху накрыв его же одеждой, словно мертвеца. Остальные братья были сильно напуганы, но всё-таки на вопрос, не хотят ли они дать подписку, ответили отрицательно. Тогда стали бичевать Тита; после двадцатого удара он не выдержал и сдался. Филон, глядя, как он ставит подпись на злосчастном пергаменте, заплакал и сказал, что тогда и он подписывается; оба они после подписки обещали вместе с Лукианом придти к патриарху и принять причастие. Тут Еводий и Епатий сказали почти в один голос:

– Я тоже подписываюсь!

На другой день все пятеро пришли в Святую Софию, чтобы причаститься с Феодотом. Лукиан и Тит с Филоном молились, а Еводий стоял, как столб, не крестясь и вообще никак не сообразуясь с ходом богослужения. Епатий, стоявший чуть позади, сначала было крестился и

кланялся, но потом, глядя на Еводия, тоже перестал, а когда уже было прочитано Евангелие, тихонько потянул брата за рукав.

– Чего тебе? – спросил Еводий, обернувшись.

– Давай сбежим, а? – прошептал Епатий. – Гляди, сколько тут народу! Никто и не заметит... Может, удастся спрятаться где-нибудь... Не хочу я с ними причащаться!

Еводий украдкой огляделся. Да, у них и правда была возможность незаметно улизнуть. «Где-то теперь Вассиан? – подумал он. – Что скажет он, если узнает о нашем падении? А что скажет отец игумен?.. Боже мой! Что мы натворили?!»

– Пошли! – кивнул он, и они с Епатием осторожно, прячась за людей и колонны, выскользнули в нарфик, затем во двор, быстро пересекли Августеон, на Средней улице смешались с толпой и, через Золотые ворота покинув Город, остановились у межевого столба.

– И куда теперь? – спросил Епатий.

– Не знаю. – Еводий опустил голову, подумал. – Может, в Саккудион? Навкратий примет нас, надеюсь...

Между тем всех бичеванных студитов, кроме Дорофея, наутро выдали пришедшему навестить их Григоре. Один из тюремщиков, тайно сочувствовавший иконопочитателям, шепнул ему:

– Забирай их, пока начальство не передумало, да спрячь где-нибудь!

Григора отвез всех к себе домой и пригласил знакомого врача. Тот осмотрел раны, покачал головой и сказал, что за Виссариона бояться нечего – должен выздороветь, – а вот с Фаддеем и Иаковом дело плохо: если и выживут, то могут на всю жизнь остаться калеками. Но Фаддей уже не мог выжить: он умер на следующую ночь после бичевания.

Получив очередное письмо с новостями от Навкратия и распечатав его, Студийский игумен подошел к окну, стал читать и вдруг вздохнул, прижал руку к груди и едва не выронил лист. Слезы на мгновение застлали ему взор, Феодор вытер глаза рукавом и продолжал чтение. Дочитав, он перекрестился и, подойдя к спавшему Николаю – тот с вечера занемог, и Феодор благословил его спать, пока не выспится, – растолкал его.

– Встань, брат!

– Что случилось, отче? – Николай испуганно смотрел в мокрое от слез лицо игумена.

– Брат наш Фаддей принял мученическую смерть за Христа!

«Куда ты удалился от меня, блаженный сын? – писал Феодор в тот же день, обращаясь к новому мученику в письме, адресованном Навкратию и остальным братьям. – Куда так скоро вознесся ты, сопричисленный к мученикам? О, жребий твой! О, благородство твое!» Игумен просил молитв у нового святого и заканчивал письмо так: «Смотрите, братья мои, что случилось, какое сокровище и какого брата мы приобрели. К славе Божией, и к нашей хвале, а также и к радости целой Церкви служит мученик Христов Фаддей!»

## 13. Ветхий Рим

*Бывает, что человек сдвигается с правого стояния, хотя он и старателен, ... по причине умножившихся искушений, которыми ... поглощается вся мудрость его и всё искусство. Попускается это, «да не будем надеяться на себя», и «да не похвалится Израиль, говоря: рука моя спасла меня».*

*(Св. Иоанн Карпафский)*

Время летело быстро: Мефодий и не заметил, как пошел второй год его пребывания в Риме. По приезде он, вместе с несколькими хинолакскими монахами, которых взял с собой, поселился в греческом монастыре Святого Саввы, где настоятелем был выходец из Константинополя архимандрит Василий. Епископ Моневмасийский Иоанн жил ближе к папе, в Латеране. Папа Лев принял их очень любезно, и никаких трудностей они не испытывали. Владыка Иоанн неплохо понимал латынь, а Мефодий хорошо знал западное наречие еще с юности, когда жил на Сицилии; теперь игумен быстро вспомнил то, что успел подзабыть, свободно общался с местными жителями и мог совершать богослужения в разных храмах. Он нередко бывал в Латеранской базилике, где обычно служил папа, но особенно любил храм Святого Петра, куда чаще всего ходил к мессе по воскресеньям; по будням он в основном служил в Свято-Саввской обители. Через год по прибытии в Рим папа, очарованный начитанностью и подвижнической жизнью игумена и его знанием латыни, рукоположил Мефодия в иерея.

Поручение, данное патриархом Никифором, епископ с игуменом выполнили блестяще: когда в середине осени из Константинополя прибыли посольства от императора Льва и патриарха Феодота, недавно избранный папа Пасхалий не только отказался сослужить с посланцами Феодота, но даже вообще их не принял, велел только передать им, что полностью поддерживает почитание святых икон, а Мелиссина законным патриархом не признаёт. Уже в декабре двое студитов привезли письмо от четырех игуменов и были ласково встречены Римским первостоятелем. Папа не написал ответного письма Феодору, но на словах просил передать, что всецело поддерживает борьбу за образ Христов и молитвенно желает скорейшего восстановления православия в восточной Империи. В конце весны следующего года Моневмасийский епископ и Хинолакский игумен получили восторженное письмо от Студита, узнавшего об их деятельности в Риме от своих посланцев, вернувшихся с богатыми дарами и благословениями от папы. «Как почетно ваше плавание, – писал Феодор, – как славен подвиг, совершенный вами здесь и сделавший вашу добродетель более значимой, как если бы двумя мужами было совершено общее спасение...»

Свободное время Мефодий в основном проводил в папской библиотеке, где нашел немало греческих рукописей, которые там с почтением хранились, но не читались: эллинского наречия даже в Риме уже давно никто не знал, за исключением монахов Саввской обители и нескольких переводчиков в Латеране. Игумен принялся восполнять недостатки в своем образовании: хотя в Хинолакке было немало книг, а в бытность свою архидиаконом Мефодий имел доступ и к патриаршей библиотеке, и к личному собранию Никифора, он не всегда находил достаточно времени для чтения, зато теперь наверстывал упущенное. Много книг греческих отцов было и в Саввском монастыре, где Мефодий обнаружил собрание творений святого Дионисия Ареопагита и принялся за изучение трактата «О церковной иерархии» и Посланий, с которыми до сих пор не был знаком.

Произведения эти, снабженные схолиями Максима Исповедника, весьма впечатлили Хинолакского игумена. Это впечатление наложилось на другое: с самого начала своего пребывания в Риме Мефодий был поражен тем почтением, которое здесь оказывалось папе. Самые

превыспренние формулы вежливости и уважения, употреблявшиеся в письмах, посылаемых в Ветхий Рим из Нового, не шли ни в какое сравнение с действительным отношением клира, монахов и мирян к восседавшему на престоле святого Петра. Невольно сравнивая увиденное с тем отношением к патриарху, которое ему пришлось наблюдать в Константинополе, Мефодий хмурился, и в нем постепенно нарастало глухое раздражение. Здесь, в Риме, казалось, было немислимо, чтобы какой-нибудь игумен, даже самого известного монастыря, мог оказать такое явное непослушание и так «унизить» правящего архиерея, как, по мнению Мефодия, неоднократно делал это Феодор Студит. Да что игумен – рядовые епископы не смели перечить «наместнику первоверховного»! «А что у нас? – думал Мефодий. – Ведь расскажешь кому-нибудь тут, так, пожалуй, и не поверят, что такое возможно! Но разве так должно быть?..» Ареопagit неожиданно подтвердил мысль Хинолакского игумена, что «студитское» отношение к церковным предстоятелям противно истине.

«Божественный чин иерархов, – читал он у святого Дионисия, – является первым из богосвещающих чинов, и крайний и последний – опять он же, ибо в нем заканчивается и исполняется всё строение нашей иерархии». Священники никак не могут учить высших по иерархии, как говорилось в схолиях к одному из Посланий Ареопagита: «Отметь похвальный церковный порядок: чтобы монашествующих наказывали диаконы, их – священники, священников – епископы, епископов же – апостолы и их преемники. А среди преемников апостолов наказание бывает от равных по чину», причем «апостолы и преемники апостолов больше епископов», и «каждый должен быть исправляем более святым, чем его чин», а «преемниками апостолов сейчас являются патриархи».

Из отечества Мефодию писали, что Студийский игумен не только увещевает стоять за православие, но и назначает епитимии впавшим в общение с еретиками, но потом опять вернувшимся к прежнему исповеданию, и более того – даже утверждает, что при нужде и рядовые монахи могут давать епитимии обращающимся к ним... «Что за дела? Феодор всё поставил с ног на голову! – думал Мефодий. – Как это совместить с тем, о чем учит святой Дионисий?!» Он сделал для себя копию творений Афинского святителя, вновь и вновь перечитывал их, и поля листов покрывались пометками и замечаниями, сделанными рукой Мефодия. Игумен даже сам начал писать некое «Размышление» по поводу отношения между патриархом и епископами, епископами и клириками, клиром и монахами, – но случившееся вскоре искушение заставило его отложить начатое писание и надолго выбило Мефодия из обычной колеи.

Это началось в июне, когда стояла такая жара, что, казалось, самые камни на мостовых готовы были расплавиться. В то воскресенье Мефодий служил в базилике Святого Петра. Когда месса отошла, а толпа схлынула, игумен захотел поклониться мощам великого апостола, поскольку не успел подойти к ним до начала богослужения. Он уже отошел от гробницы и собирался вернуться в алтарь, когда внезапно встретился глазами с ней. Она стояла фуцах в четырех от него – высокая стройная девушка, черноволосая, загорелая, с глазами цвета спелого каштана; ее густые черные брови своим изломом напоминали крылья чайки; тонкий, прямой нос, угловатые скулы и слегка вздернутый подбородок придавали лицу высокомерность; красивые чувственные губы надменно улыбались. На ней была светлая шелковая туника без всяких узоров, препоясанная таким же простым широким поясом почти под самой грудью; сверху был накинут белый плащ, а на голове – серебристая сеточка. В тот миг, когда их взгляды встретились, молитва Мефодия прервалась, и он даже не заметил этого. Девушку сопровождали слуги, но какие и сколько, игумен после, вспоминая эту встречу сказать не мог. Он ощутил нечто вроде удара в грудь, сердце стукнуло и подпрыгнуло, а потом ухнуло куда-то, и тут же нестерпимый пламень возгорелся во внутренностях; кровь бросилась в лицо Мефодию, он почти в ужасе отступил на шаг, повернулся и, быстро пройдя по солее, скрылся в алтаре. Игумен покинул базилику через боковой выход, закутанный в мантию, надвинув кукуль почти на

глаза. Воздух на улице обжигал, словно в термах, но Мефодия знобило: внутри у него полыхал пожар гораздо сильнейший. . .

Он думал, что это внезапное искушение – конечно, сильное, но всё-таки случайное, – быстро пройдет, ведь и раньше иногда бывало, что красивые женщины возбуждали в нем страстные движения, но он быстро умерщвлял нечистые помыслы молитвой. Не тут-то было: девушка не покидала его мыслей, мешала ему молиться, даже снилась. Он попросил владыку Иоанна исповедать его, покаяться в блудных помыслах и, по совету епископа, наложил на себя строгий пост и стал носить власяницу. Он почти не спал, делал по несколько сотен земных поклонов в день, но внутренний жар не проходил. Впрочем, через три недели пламень стал как будто утихать. За все эти дни Мефодий больше не видел девицы; быть может, она и приходила в Петров храм, но игумен старался не появляться там, где мог ее встретить: к мощам подходил еще до начала службы, а по ее окончании сразу возвращался в Саввскую обитель. В монастыре его и постигло новое крушение. Во вторник, после службы девятого часа, когда Мефодий уже возвратился к себе, игумен прислал к нему келейника с просьбой придти в «гостевую» – небольшую пристройку, где архимандрит принимал посетителей из мирян. Вход туда был сделан с улицы, помимо главных врат обители, чтобы посторонние не смущали остальных братий, ведь среди посетителей бывали и женщины, доступ которым в сам монастырь был запрещен.

– Там пришел один сенатор с семейством, узнали, что тут у нас монахи из Константинова Града, хотят побеседовать, – пояснил келейник Василия.

– Вот, отче, – сказал архимандрит, когда Мефодий вошел в «гостевую», – потревожил я тебя. Господин Виталиан очень уж возжелал поговорить с твоею честностью.

Тучный сенатор с блестящим от пота лицом поднялся навстречу Мефодию и подошел под благословение, а за ним его супруга Юлия, – дородная женщина, чрезвычайно пышно и ярко разодетая; многочисленные золотые украшения с драгоценными камнями и эмалевыми вставками, очень тонкой работы, смотрелись на ней довольно неуместно.

– А это наша дочь Сабина, – сказал Виталиан, кивая девушке, которая сидела в противоположном углу и потому осталась незамеченной Мефодием, когда он вошел. – Благослови и ее, отче.

Мефодий повернулся и застыл на месте. Сабина подходила к нему, чуть заметно улыбаясь. На этот раз она была одета в голубые тунику и плащ, по-прежнему без всяких узоров, но в ушах качались изящные серебряные серьги с крупными продолговатыми жемчужинами.

– Здравствуй, отче, – голос у нее был грудной, красивый, и проник, казалось до самых костей игумена. – Благослови!

Девушка слегка склонилась перед ним, и теперь он лучше разглядел словно выточенные из мрамора черты, гладкую нежную кожу, длиннейшие густые ресницы и волосы цвета воронова крыла, волнистые, блестящие и мягкие, словно пух, – он ощутил это, когда, благословив, прикоснулся к ее голове. В этот миг рука игумена предательски дрогнула, и задрожали ресницы девушки, – а когда она выпрямилась и взглянула в его бледное лицо, Мефодий понял, что она прекрасно видит, что с ним творится.

Дальнейшая беседа протекала, как во сне. Сенатор спрашивал о гонениях на иконы в восточной Империи, Мефодий отвечал – и, по-видимому, говорил толково и связно, поскольку все слушали внимательно и не выражали какого-либо недоумения, – но почти не сознавал, о чем рассказывал. Очнулся он лишь тогда, когда Сабина, до этого молчавшая, заметила:

– Твоя латынь довольно неплоха, отче! Признаться, не думала, что есть греки, так хорошо говорящие на ней.

Мефодий ощутил, что краснеет. Василий с улыбкой сказал:

– Ну вот, смутили отца игумена! Он ведь родом с Сицилии, госпожа Сабина, а тамошние греки часто знают оба языка.

– О! – воскликнула девушка. – Так мы, значит, земляки! Ведь я тоже родилась на Сицилии. Как это мило!

– Прекрати, Сабина! – строго сказал Виталиан, но тут же улыбнулся, обращаясь к Мефодию. – Мы очень рады познакомиться с тобой, отче, и сочли бы за честь, если б ты посетил нас, смиренных, в нашем скромном жилище.

– Ну, положим, – весело вмешалась Сабина, – наше жилище трудно назвать скромным, папочка! Боюсь, как бы отец Мефодий не осудил нас за любовь к роскоши!

– Благодарю за приглашение, господин Виталиан, – едва выдавил игумен, стараясь не смотреть на девушку. – Я... может быть, загляну когда-нибудь...

– Ну, вот! Что значит «когда-нибудь»? – сказала Юлия и повернулась к Василию. – Отец архимандрит, мы очень ждем вас в это воскресенье, приведи к нам отца Мефодия, Христа ради! А то я смотрю, он так скромнен, что будет долго собираться!

Всё это время Мефодий ощущал на себе пристальный взгляд Сабины и мысленно проклинал себя и всё на свете; молиться он не мог. В ближайшее воскресенье Василий действительно отправился в гости к сенатору и взял с собой игумена. Тот было стал отнекиваться, но архимандрит сказал:

– Отче, я прекрасно понимаю, что тебе совсем не хочется касаться мирского общества и бесед. Но видишь ли... Господин Виталиан с супругой много благотворят нашей обители, и я бы не хотел огорчать их. А они так просили меня привести тебя к ним! В конце концов, от одного посещения этого гостеприимного дома, думаю, с тобой ничего не случится.

«Ничего не случится!» Мефодий мысленно застонал: четыре дня, прошедшие после встречи с семейством сенатора он провел в такой горячке, что временами ему казалось будто он бредит. «Господи! Сделай так, чтобы ее там не оказалось! Ведь она может уехать, заболеть, в конце концов! Ну, хоть немного, хоть на день! Только бы мне не встречаться с ней!» Но он с ужасом чувствовал, что, несмотря на свои молитвенные просьбы, жаждет этой встречи так, как еще, кажется, никогда ничего не хотел в жизни...

Когда архимандрит с игуменом оказались во втором часу пополудни в светлой гостиной сенаторского особняка, за столом, уставленном серебряной посудой, перед блюдами со вкуснейшей рыбой, самыми свежими овощами и горячим, недавно вынутым из печи хлебом, в обществе друзей Виталиана – чиновников высокого ранга, Мефодий облегченно вздохнул: Сабины здесь не было, и приветствовать их она, в отличие от госпожи Юлии, не вышла. За трапезой игумен вновь рассказывал о церковных делах в Константинополе – то, что знал из полученных им писем от патриарха и других исповедников, хвалил папу за поддержку иконопочитателей. Собеседники строили предположения о том, что же будет дальше, и выражали надежду, что Бог не попустит «звероименному тирану» долго царствовать. К столу подали прекрасное вино, и хотя игумен пил мало, оно всё же вступило ему в голову. Мефодий пошутил, что уже отвык от таких «амброзических напитков».

– Захмелел, отче? – с улыбкой спросил архимандрит. – А ты пойди в сад, подыши воздухом, там у госпожи Юлии прекрасные цветники, и фонтан есть, свежо, хорошо!

– Да-да, конечно! – засуетился Виталиан. – Я сам готов проводить...

– О, не стоит, господин, – сказал игумен, вставая. – Не покидай ради меня твоих друзей. Просто покажи мне, где выход в сад, я и один прогуляюсь.

В саду действительно было прохладно, и Мефодий, идя по дорожке, невольно залюбовался: цветы, кусты, деревья так красиво сочетались между собой, что сразу была видна рука и вкус настоящих мастеров садового дела. Он дошел до большого круглого пруда, в середине которого был сделан фонтан. Два белоснежных лебедя лениво плавали недалеко от берега и, увидев игумена, подплыли к нему, видимо, ожидая, что Мефодий чем-нибудь их покормит, но он только развел руками и улыбнулся. Вдруг через его плечо пролетел кусочек хлеба и упал в пруд, за ним еще один; лебеди радостно поспешили склевать подачку. Мефодий обернулся и

вздрагнул всем телом: перед ним стояла Сабина, без плаща, в одной только светлой шелковой тунике, под которой соблазнительно вырисовывалась фигура, с тонкой повязкой на небрежно заплетенных волосах и толстым ломтем хлеба в руках.

– Здравствуй, отче! – сказала она, улынувшись чуть насмешливо.

– Здравствуй, госпожа, – с трудом проговорил Мефодий, подумав: «Надо немедленно уйти!» Но он не мог этого сделать: девушка стояла прямо перед ним и загораживала дорожку.

– Я знала, что ты, конечно же, придешь посетить наше «скромное жилище».

Она отщипнула еще два кусочка хлеба и бросила в пруд через плечо игумена. Он следил за ее движениями и ощущал, как его решимость уйти улетучивается быстрее, чем лебеди хватали за его спиной хлебный мякиш... Сабина пристально взглянула на него, улынулась и, пройдя мимо, совсем близко, едва не коснувшись его, сошла к самой воде. Мефодий оказался за ее спиной и мог бы удалиться – однако не двинулся с места. В эти мгновения он опять проклинал себя, но ничего не мог поделать: девушка действовала на него подобно магниту. Скормив весь хлеб, она обернулась к нему и снова улынулась:

– Раз ты не ушел, отче, то ты не прочь со мной поговорить, не так ли?

– Разве нам есть о чем говорить? – спросил он немного резко.

– Наверное, есть, раз ты стоишь и не уходишь, – усмехнулась она, подходя. На его щеках вспыхнули два красных пятна.

– Скорее, это ты хотела со мной поговорить, госпожа, раз пришла сюда.

– Я пришла покормить лебедей, – насмешливо ответила Сабина и, встав почти рядом с игуменом, на полшага впереди, обратила взор к пруду. – Впрочем, раз ты оказался тут, то я не прочь побеседовать с тобой кое о чем.

– О чем же? – тихо спросил он.

– Можно задать тебе один вопрос, отче? – И, не дожидаясь ответа, она продолжала. – Зачем вы идете в монахи, если спустя столько лет монашества вас всего несколькими взглядами можно заставить делать всё, что хочешь? Никогда не могла этого понять! Мне кажется, что если уж человек решился на такую жизнь и подвизается так усиленно, так долго... Кстати, а сколько лет ты уже монашествуешь?

– Тринадцать, – с трудом проговорил он.

– Немало! Почти вся моя жизнь... И несмотря на это, красивая девушка одним взглядом может привести тебя в полное замешательство. Вот цена всего вашего монашества! А ведь как вы превозносите его! «Наука наук, искусство искусств»! Ах! Но вот, например, если человек только начинает учиться мастерству... допустим, ткацкому, то он сначала делает много негодной ткани, а потом, когда со временем приходит навык, было бы удивительно, если б он ошибался так же легко, не правда ли? У вас же выходит, что сколько бы лет кто ни подвизался, но если представится случай, пасть в грех для него – ничего не стоит? Не так ли? – Тут она повернулась к нему и заглянула в глаза. Он вздрогнул и отпрянул, но не в силах был отвести взгляд. – Поцелуй меня! – сказала она. Он сделался белым, как полотно, и прошептал:

– Как смеешь ты предлагать мне это?!

– Вот еще! – ответила она усмешливо. – Как смею! Разве я первая захотела этого? Но если желаешь знать, я и сейчас этого не очень-то хочу. Хоть ты и красавец, знаешь ли ты это? Мне просто интересно, смогу ли я тебя заставить. Думаю, что смогу! Ну, чего ты ждешь? Ведь ты хочешь! Или ты такой же лицемер, как все вы, черноризцы?

Пока она говорила, бледность игумена сменилась ярким румянцем, и теперь всё лицо его горело. Сабина презрительно усмехнулась и, отвернувшись от него, стала смотреть на лебедей, которые лениво плавали, чистили перья, иногда опускали голову в воду. Мефодию тоже хотелось окунуть голову в пруд... В то же время он был поражен недоумением: откуда у этой девушки – такой юной! – столько презрения к монахам и столько дерзости?

– Почему ты считаешь всех монахов лицемерами?

Она снова обернулась, глаза ее сверкнули гневом.

– А разве вы не лицемеры? Я здесь всего три года, раньше мы жили в Медиолане... И вот, за три года уже сколько тут было слышно всяких историй! Кто пал с женщиной, кто сбежал из монастыря, кого уличили в мужеложестве. – Она брезгливо поморщилась. – И это еще явные случаи, которые прогремели по городу! Можно только догадываться, сколько подобных тайн погребено в стенах ваших «святых обителей» и в исповедальнях духовников! Да у мирян не встретишь таких безобразий! То есть встретишь, конечно, но только что ж, мы на то и миряне – так себе людишки, бранный прах, почти никто не спасается... Не то, что ваше сословие, «свет миру», «избранный род» и как еще там вы величаете себя! – Девушка отвернулась к лебедям.

– Твои упреки справедливы, госпожа Сабина, – сказал Мефодий, помолчав. – Но ты не учитываешь, что монахов, как было открыто святым отцам, дьявол искушает гораздо сильнее, чем мирян.

– Так и знала, что ты это скажешь! Но я знаю и другое: как было открыто тем же отцам, монахам и Бог помогает больше, чем мирянам. Ну, к кому из нас приставлены легионы ангелов, а? Вот за твоей спиной они сейчас стоят, да, эти легионы? – Она вновь повернулась к нему и продолжала, глядя прямо в глаза. – Но если я сейчас тебя обниму, сможешь ли ты воспротивиться?

Мефодия снова бросило в жар. Он хотел отвести взгляд, отступить хотя бы на шаг – и не мог: ноги точно приросли к земле. А она приблизила лицо к нему – они были почти одного роста, и губы ее прошептали почти у самых его губ:

– Сможешь? А если нет, то значит, никаких легионов ангелов за тобой не стоит! И всё это вранье и сказки, все эти слова о том, как спасительно монашество и как нехороши миряне!

«Я погиб!» – пронеслось у него в голове. Кажется, она прочла эту мысль в его глазах и, усмехнувшись, отступила на два шага и сказала, глядя ему в лицо:

– Я давно уже наблюдаю за тобой, господин Мефодий, больше года. Я ведь часто бываю в храме Святого Петра. Ты красиво служишь... Мне как-то показалось, что ты должен быть... честнее, чем все эти... Ты горд, а гордому легче быть честным! – Она немного помолчала, разглядывая игумена и словно раздумывая, а потом заговорила чуть тише. – Когда мы сюда приехали из Медиолана, папочка нас по «святых обителям» стал таскать, любит он к преподобным отцам захаживать... И вот, пошли мы с ним в... Впрочем, ладно, не буду говорить, куда. В конце концов, все эти ваши монастыри одинаковы! Пришли, игумен нас принял, тут же с ним экономом был и еще несколько монахов из первенствующих... И мы к ним со всем благоговением и почтением, и я тоже, доверчивая я тогда еще была... Ну, вот. А через две недели пришел этот игумен к нам сюда с экономом, папенька ведь чуть не всех черноризцев рвется приглашать к нам, кормит, обхаживает... Лучше б нищих кормил, чем этих! – зло добавила она и продолжала. – Вот, пришли они, маменька их за стол посадила, еду им подала собственноручно, папаша рассыпается в благочестивых вздохах... А я благословение взяла у игумена и в сад пошла. Сижу на скамье и книжку читаю. И вот, этак через час смотрю: идет экономом тот самый, монастырский, будто гуляет. Подходит и говорит, что освежиться вышел, да и сад посмотреть, папаша, мол, позволил. И про сад стал спрашивать, какие тут у нас цветы... А у нас цветов много, и редкие всякие, мамаша любит. Я ему стала рассказывать, показывать... А он вдруг хватить меня за руку – и потащил в кусты. Я так растерялась, что и не вскрикнула даже. Не успела оглянуться, как уже в траве лежу, а он мне... под хитон лезет... И шепчет: «Не вздумай кричать, всё равно тебе никто не поверит!» – Сабина закусил губу и отвернулась.

«О, Господи! – подумал Мефодий. – Бедный ребенок!.. Так вот что...»

– Спасла меня наша собака, – девушка продолжала, уже не глядя на него. – Она любит меня очень и как-то почуяла... Слуги говорили, что она как начнет рваться и лаять, и цепь сорвала, и понеслась... Набросилась на него и давай драться. А он – орать. А я – бежать... Собаку оттащили, а эконома от нас прямо во врачевницу на носилках отправили. После этого монахи

к нам одно время ходить боялись, хоть папаша и звал постоянно. А потом опять заходили... Родителям я ничего не сказала, потому что... Ну, зачем им такое потрясение, бедным? Они ведь думают, что, благотворя монахам, душу спасают!.. Я тебе первому рассказала эту историю. Кажется, легче стало... Можешь считать, что это была исповедь! – Она усмехнулась и умолкла.

Мефодий попытался собраться с мыслями и, наконец, сказал тихо:

– Это, конечно, ужасно, и позор нашему чину... Но всё-таки, госпожа, неправильно по отдельным негодьям судить обо всех вообще.

– Неправильно? – Сабина вновь повернулась к игумену. – Вот я и хочу проверить, святой отец! – Она улыбнулась и шагнула к нему. – Завтра мои родители с утра на целый день уедут, и я буду здесь одна. Если ты придешь, Мефодий, я допьяна напою тебя сладостью уст моих, – она опять приблизила лицо почти вплотную, и ее дыхание обвевало его губы, – и не только уст, Мефодий! Ты мне нравишься, Мефодий, потому что ты такой же гордый, как я, и так же любишь, чтобы другие покорялись твоей воле, это по твоей манере служить видно... Всё, что сейчас под этим хитоном, будет твоим, верь мне, я не обману! Ты будешь первым, кто сорвет мой цветок! Говорят, это должно быть очень сладко... – И она почти шепотом стала читать стихи – чьи, игумен на знал:

«Но наконец-то вдвоем на желанном любовники ложе:  
Муза, остановись перед порогом любви!  
И без тебя у них потекут торопливые речи,  
И для ласкающих рук дело найдется легко...»

Мефодия охватил озноб, он побледнел от напряжения и ощутил, что сейчас больше не сможет сдерживаться и обнимет ее... Но Сабина отступила на шаг и сказала негромко:

– Нет, не сейчас, Мефодий! Здесь нас могут застать, и тогда не придется вкусить самого сладкого. Вот завтра нас никто не потревожит, и ты сможешь целовать меня, сколько захочешь! Если же ты не придешь, то тогда я, может быть, поверю, что не все монахи такие, как тот эконом, и что «легионы ангелов» существуют... До завтра! – Она двумя пальцами легко прикоснулась к его щеке, улыбнулась и быстро пошла прочь по дорожке.

Как он вернулся обратно за стол, как продолжалась беседа, как они с архимандритом поблагодарили хозяев, простились со всеми и вышли, Мефодий почти не сознавал. Он пришел в себя только на улице, на полпути к Саввской обители – и остановился, как вкопанный.

– Что с тобой, отче? – спросил Василий. – Ты сегодня какой-то... С тобой говоришь, ты вроде отвечаешь, а сам будто всё о другом думаешь.

– Я пьян, – усмехнулся игумен. – Послушай, отче, я с тобой не пойду сейчас. Мне нужно помолиться у мощей святого Петра. Я, может, и ночь там пробуду, так что ты не удивляйся, если я не вернусь вечером.

– Значит, тебя ждать утром?

– Да, если... если я хорошо помолюсь.

– Загадки ты задаешь, отче! Ну, а если плохо помолишься?

Мефодий вздрогнул и тихо ответил:

– Тогда ждите меня завтра к вечеру.

Он не воспользовался тенью портиков и шел прямо под солнцем, которое всё еще палило, несмотря на приближение вечера; пот тек с игумена ручьями, но он не замечал этого. Завтра ему предстояла казнь, и он не знал, как ее отменить. Откуда взялось это неудержимое влечение? Что за неодолимая сила влекла его к этой девушке? Как могло это произойти? Почему? Разве не случалось ему раньше встречать красивых женщин и девиц? Сабина была неправа, когда сказала, что «красивая девушка одним своим взглядом» может свести на нет всё его монашество. Дело было не в красоте, а в самой Сабине. Почему именно она, почему именно

сейчас? Откуда эта страсть, которая всё расплавил в нем? И только ли это плотская страсть и ничего более? Если только плотская, то почему именно к ней, а не к какой-нибудь другой красавице?.. А она сама – что движет ею? Просто желание посмеяться над монахом и показать, что его монашество ничего не стоит? Отомстить в его лице всем монахам?.. Но почему именно его она избрала для своего жестокого опыта? «Ты мне нравишься, Мефодий, потому что ты такой же гордый, как я...» Что же, сходство характеров – причина этого странного притяжения?.. И эта «исповедь»... Почему именно ему она доверилась?.. Он приложил руку к щеке: место, где коснулись ее пальцы, горело, словно от ожога; будь у игумена зеркало, он бы, пожалуй, посмотрел, не осталось ли там какой-нибудь отметины. Любовь?.. Но как он, избежавший этой ловушки в юности, попал в нее на четвертом десятке?! Наказание за гордость? Не иначе!.. Но что Сабина могла в нем найти – она, которой было, наверное, не больше пятнадцати лет? «Ты красавец, знаешь ли ты это?..» Глупости! Но ведь она определенно что-то нашла в нем... «Я давно уже наблюдаю за тобой...» Сабина!..

Теперь он ясно понимал, что больше не может противиться. Он шел в Петров храм в последней отчаянной надежде, зная, что если не случится какого-нибудь чуда, то завтра он впадет в блуд. Ничто не могло отвлечь его от этого поступка: ни то, что он оскорбит Бога попранием монашеских обетов; ни то, что он лишится священства и навлечет позор не только на себя, но и на всех греческих монахов Рима, да и не только на них, но и на страдавших сейчас за православие в отечестве; ни то, что наслаждение, которое сулила ему юная римлянка, продлится лишь несколько часов и не будет иметь никакого продолжения: ведь даже если бы он вздумал сложить с себя самое монашество, никто бы не отдал ему Сабину, да она никогда и не пошла бы за него – дочь сенатора, одна из красивейших и богатейших невест в Риме, да еще младше его на столько лет! И мысль, что она просто хочет посмеяться над ним, не останавливала его: ему было всё равно, он хотел слиться с ней и раствориться в ней... как бы недолго это ни продолжалось и каких бы ужасных последствий не имело. «Я сошел с ума», – больше он никак не мог это назвать.

Когда он пришел в храм, там только что началась вечерняя служба. После нее, когда народ разошелся, Мефодий испросил у служителей позволения остаться на ночь, чтобы помолиться у мощей первоверховного апостола. Это была даже не молитва, а крик отчаяния. «Помоги мне!» – шептал игумен и клал, и клал земные поклоны... Спустилась ночь, но над гробницей сияли несколько неугасимых лампад. Наконец, Мефодий совсем изнемог, упал на пол и беззвучно заплакал: страсть по-прежнему терзала его, словно он всё это время не молился а мечтал о Сабине. «Значит, завтра конец!» – с этой мыслью последняя слабая надежда оставила его, он бессильно закрыл глаза и в тот же миг провалился в забытие. Уснул ли он или потерял сознание? После он не мог точно сказать этого, равно как того, сколько прошло времени до момента, когда вокруг внезапно стал разливаться свет. Игумен поднял голову и затрепетал: золотая крышка раки медленно приподнималась сама собой, и свет – нестерпимо яркий, Мефодий едва мог смотреть на него – исходил из гробницы. Когда крышка откинулась совсем, из раки поднялась фигура мужа, ростом выше среднего, коротко стриженного, с лысиной на затылке; он был одет в белоснежный хитон и препоясан золотым поясом, на ногах поблескивали золотые сандалии. Муж сошел из раки по воздуху и предстал перед Мефодием – светлый, сияющий, с величавой осанкой и спокойным взором, – и игумен узнал великого апостола: именно таким он был изображен на стеной мозаике над гробницей. Мефодий упал к его ногам и услышал ласковый голос:

– Встань, отче, и не бойся!

Он поднялся, но не смел взглянуть на святого. И тут Петр шагнул к игумену, протянул руку и через хитон дотронулся до его срамного уда. Резкая боль пронзила тело Мефодия, он согнулся в поясе и едва не закричал. Апостол отступил от него и сказал:

– Свободен ты от страсти, Мефодий! – повернулся, вновь поднялся в гробницу, лег в нее, и крышка опустилась, а золотистый свет исчез.

Когда игумен очнулся, он обнаружил, что лежит на холодном полу перед ракой. В высоких полукруглых окнах базилики брезжил рассвет. Мефодий пошевелился и невольно застонал: в пах ему точно вонзилось раскаленное железо. Он с трудом поднялся, стиснув зубы от боли, и вдруг понял, что нестерпимое влечение и страстный жар, уже больше месяца мучившие его, бесследно исчезли: он не ощущал ни малейшего желания увидеть Сабину.

– Слава Тебе, Господи милостивый! – прошептал он и, упав на колени перед святой гробницей, принес благодарение за помощь Богу и Его апостолу.

Помолившись за утренней службой, Мефодий возвратился в Саввскую обитель. Идти приходилось медленно: каждый шаг причинял ему боль, – но игумен даже радовался этому как епитимии за мысленный грех, в котором он пребывал в последнее время. Он зашел к архимандриту Василию, сообщил, что вернулся, и сразу затворился в своей келье. Оставшись один, он закатал хитон, взглянул и невольно вздрогнул: уд его странно скрючился и высох; теперь даже если бы Мефодий и захотел согрешить с женщиной, это было для него физически невозможно. Было по-прежнему очень больно, но уже не столь сильно, как поначалу. Игумен опустил хитон и, подойдя к окну, долго смотрел в синее, без намека на облачко, небо. «Воистину, “наказание гордому – падение его”! – подумал он. – И помощь гордому – ко смирению его: сильные борются со страстями и побеждают их, а немощные не могут избавиться иначе, как только став неспособными физически... Что ж, теперь буду меньше мнить о своем духовном преуспеянии!»

За неделю боль в паху почти утихла, и игумен мог служить по-прежнему. В воскресенье он была на мессе в Петровой базилике, а после богослужения ему сказали, что какие-то иноки хотят говорить с ним. Он вышел в центральный неф, и к нему подошли двое монахов – как оказалось, приехав из Константинополя, они не знали, где лучше поселиться, и один из служителей посоветовал обратиться к Мефодию. Игумен ответил, что в Свято-Саввском монастыре их всегда с любовью примут, и что лучшего места для грекоязычных монахов в городе не сыскать. Разговаривая, они отошли от солеи ближе к раке с мощами святого Петра, и тут, случайно повернув голову, игумен увидел Сабину. Она стояла чуть поодаль, с тремя служанками, и смотрела на него... очень странно смотрела. Мефодий не ощутил даже отзвука прежней страсти ни в душе, ни в теле. Он слегка поклонился девушке, но она не шевельнулась, даже не кивнула в ответ, только еще несколько мгновений очень пристально глядела на него, а потом повернулась и, сделав знак служанкам, пошла к выходу из храма. Больше он никогда не видел ее.

...Сентябрь стоял очень сырой: дождь шел через день, но Мефодия такая погода располагала к чтению и научным занятиям. Игумен наконец-то, впервые после летнего искушения, взялся за отложенное «Размышление», однако, перечтя написанное, нашел его неубедительным, попробовал переправить, но неудачно, и в конце концов сжег свои записки. «Наверное, еще не время, – подумалось ему. – Да может, мне и не по чину писать такие вещи. Разве я епископ? А писать о чем собрался! Осуждаю Студита, а сам подражаю ему, только иным образом... Уж не была ли летняя напасть послана, чтоб остановить меня?» Тут мысли его невольно обратились к Сабине. «Что-то с ней стало? Так же ли она презирает монашеский чин, как прежде?.. А впрочем, она, должно быть, скоро выйдет замуж, если уже не вышла, и ей будет не до того! Подобные мысли у нее могли явиться, скорее всего, от излишней праздности. И тот случай с экономом, конечно, повлиял... Впрочем, это забудется со временем... Дай Бог, чтоб она устроилась в жизни!»

Спустя несколько дней игумен неожиданно узнал, как устроилась жизнь его искусительницы. В Саввскую обитель вновь пришли сенатор Виталиан с супругой – побеседовать с архи-

мандритом и внести очередное крупное пожертвование. Они также хотели передать деньги на нужды страждущих за православие иконопочитателей, и Василий пригласил Мефодия встретиться с ними. Виталиан и Юлия были очень рады увидеться с игуменом, попросили благословения и молитв, передали ему деньги, и Мефодий обещал отправить их с одним из хинолакских братьев в Константинополь.

– Помолись, отче, и за нашу Сабину, – сказала Юлия. – Замуж мы ее выдали недавно.

– О! – произнес игумен. – Вас можно поздравить.

– Да, слава Богу! – кивнул Виталиан. – Позавчера с мужем уехала в Равенну, у него там богатый особняк и земли, там и жить собираются. Слава Господу! А я уж было вовсе отчаялся, ведь сколько мучила она нас, и не рассказать!

– Да чем же? – удивился Мефодий.

– Ах, отче, – ответила Юлия, – к ней ведь уже кто только не сватался, и какие! Красавцы, знатные, богатые... Нет, ни в какую не шла! «А мне, – говорит, – они не нравятся!» – и весь сказ. И когда Марк посватался, мы и не чаяли: думали, раз уж она молодых отвергла, то за него разве выйдет, он ведь, отче, на одиннадцать лет ее старше! Правда, тоже собой недурен, да и положение завидное: командует легионом, денег не считает... Но удивила меня Сабина, право! Ведь и лучше жениха могла бы взять...

– Да слава Богу, что хоть так! – воскликнул Виталиан. – И этого-то заставила у себя в ногах валяться, прежде чем согласие дала. Правда, удивительно, что быстро согласилась... Но гордыня велика в ней, ох, велика! Помолись за нее, отче, чтоб она в разум пришла хоть немного! Мы уж отца Василия просили, вот и тебя просим... Марк, слава Богу, нрава не легкомысленного, может, и выйдет толк у них, может, и воспитает он ее хоть немного. Мы-то, грешные, избаловали ее...

– Конечно, я помолюсь, – сказал Мефодий. – Думаю, всё у них будет хорошо.

Он скоро простился и покинул «гостевую», но, закрывая за собой дверь, успел услышать, как Юлия сказала:

– Послушайте, ведь до чего странно! Я только сейчас заметила... Марк-то наш... на отца Мефодия похож! Ты, Виталиан, не замечал?

Ближе к концу декабря Мефодий получил письмо, написанное по-латыни, крупным круглым, будто детским почерком.

«Здравствуй, отче! – говорилось в нем. – Надеюсь, ты не рассердишься на меня за это небольшое напоминание о себе, тем более, что оно первое и последнее. Я хотела попросить прощения за то, что так ужасно искусила тебя. Ты, может быть, уже знаешь, что я теперь почтенная замужняя женщина и живу в Равенне. Мой муж – прекрасный человек, очень умный и веселый. Правда, он то и дело вынужден отлучаться по долгу службы, и тогда я немного скучаю. Впрочем, время хорошо коротать за чтением. У мужа немало книг и много денег, так что можно покупать и еще. Я взяла в услужение одного грека с Сицилии и стала учиться у него вашему языку, уже немного понимаю и могу читать что-нибудь простое, а вместе с греком мы разбираем Гомера. В целом жизнь моя нехитрая. Но скоро, должно быть, станут рождаться дети, так что всегда будет, чем заняться. Я хотела также поблагодарить тебя за данный мне урок. Ты настоящий монах, и пусть Господь и дальше помогает тебе на твоём пути. Теперь я верю в легионы ангелов. Всё-таки я была ужасно глупой да и сейчас не очень поумнела. Прошу тебя, отче, молись обо мне хоть иногда. Как видишь, я не ставлю на письме обратного адреса, а значит, не жду от тебя ответа, а то ты, пожалуй, напишешь, что будешь молиться, чтобы Бог изгладил из твоей души память обо мне. Впрочем, это шутка. Я нередко вспоминаю тебя. Если у меня родится сын, я уже решила назвать его Мефодием. Жаль, что невозможно послать в письме улыбку. Прощай!»

Подписи не было. Игумен грустно улыбнулся, еще раз перечел письмо, зажег свечу и поднес листок к огню. Мефодий смотрел, как пламя поглощает папирус, и вдруг странная тоска

сжала его сердце, не от мысли о Сабине – о ней он думал спокойно, как о хорошей знакомой, и только, – но при внезапном воспоминании о том, как почти четырнадцать лет назад он, честолюбивый юноша, мечтавший о мирской карьере и успехе в обществе, держал путь в Константинополь с рекомендательными письмами к отцовским знакомым и с внушительной суммой денег, когда встреча с Сардским архиепископом круто переломила его жизнь и направила совсем в иное русло. Он вдруг подумал, что, не заедь он тогда к владыке Евфимию, всё могло бы сложиться совсем по-другому, и как знать – быть может, он бы сейчас тоже, как муж Сабины, занимал бы высокое положение, был бы военачальником или влиятельным чиновником при дворе... Зашедший к нему в тот вечер Монеувасийский епископ, поговорив о текущих делах, пристально взглянул на Мефодия и спросил:

– Ты что так задумчив, отче? Какие-то новости?

– Нет... – Игумен помолчал немного. – Знаешь, владыка, иногда бывает, что будто встречаешься с той жизнью, которую ты сам мог бы прожить, если бы обстоятельства сложились по-другому...

– Бывает, – кивнул Иоанн. – Но ведь главное – чтобы та жизнь, которую ты живешь на самом деле, была осуществлением самой лучшей из возможностей, правда?

Мефодий поднял на него глаза и улыбнулся:

– Да, конечно.

## 14. Маставрское дело

*...у того, кто погряз в возделениях или тщеславии и самозабвенно им служит, все мысли могут быть только смертными, и он не упустит случая, чтобы ... приумножить в себе смертное начало. Но если человек отдается любви к учению, стремится к истинно разумному..., он, прикоснувшись к истине, обретает бессмертные и божественные мысли.  
(Платон)*

Кратёр, стратиг Анатолика, стоял у окна и, хмурясь, перечитывал письмо, доставленное этим утром из Вониты. Около месяца назад стратиг Фракия Орава в своем послании поставил ему на вид, что необходимо принять жесткие меры против заключенного в крепости Вонита «еретика Феодора», который письмами и беседами «развращает благочестивых людей и противится повелениям августейшего владыки». Поводом к письму Оравы послужило то, что двое клириков города Маставры во Фракийской феме отложились от своего епископа-иконоборца и увлекли за собой некоторых монахов и мирян. Епископ устроил расследование и узнал, что отложившийся священник, настоятель одного из главных маставрских храмов Арсений, решился на «уход в раскол» после беседы с Феодором.

В октябре Арсений поехал в Хоны навестить своих родственников и, узнав, что недалеко от них находится в заключении знаменитый Студийский игумен, решил посетить его и попросить наставления, молитв и благословения. Прибыв в Вониту, Арсений без труда получил разрешение поговорить с Феодором: к игумену пускали почти всех желающих, хотя при разговорах всегда присутствовал страж. Когда священник представился и просил благословения, игумен спросил, православную ли веру он исповедует.

- Конечно, отче! – ответил Арсений.
- Значит, ты чтить святыя иконы?
- Как же их не чтить!
- А состоишь ли ты в общении с патриархом Феодотом?
- Да, отче.

Феодор внимательно посмотрел на гостя. Арсений, казалось, был совершенно искренен и не видел в своих ответах никакого противоречия.

– Отче, мне кажется, ты сам не знаешь, что говоришь, – мягко сказал игумен. – Разве не Феодот председательствовал на соборе, ниспровергшем почитание икон? Как же ты, состоя с ним в общении, можешь говорить о собственном православии? Прости меня, но я не понимаю, как это может совмещаться.

Арсений растерялся.

– Но ведь... ведь святейший не запрещает желающим чтить святыя образа! У нас в храме всё остается по-прежнему, иконы висят на своих местах!

– Тогда почему ты служишь в своем храме вместе с другими, а я, грешный, нахожусь здесь, и братия мои скитаются по «вертепам, горам и пропастям земным»? Как по-твоему, господин Арсений? Почему одни спокойно продолжают служить в храмах и жить в монастырях, а другие сосланы, заключены в темницы, бичеваны или терпят иные притеснения? За что умерщвлен брат наш Фаддей? Ведь ты, наверное, слышал, что он стал мучеником за икону Христову?

– Да, я знаю об этом...

– Так вот, отче, что я скажу тебе. Не может быть общения у гонимых с негонимыми. Если вы православны и благочестивы, но при этом продолжаете спокойно служить в своих храмах и почитать епископов, которые безмолвно или даже приветственно приняли решения

еретического сонмища, то за что страдают те, кто заключены и бичуемы за почитание икон? Что скажут вам те, кто скитается и страдает от гонений? Если вы православны, то чего ради мы терпим всё это? Если же православны мы, страдающие за почитание Христова образа, то, прости меня, вы отступили от веры и поступаете незаконно. Апостол призывает отлучаться «от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которое вы приняли от нас». А вы смешиваете исповедание Христово и служите соблазном для благочестивых. Я знаю, многие так поступающие говорят, что своими действиями спасают монастыри и храмы; ты тоже так считаешь?

– Да, я думал, что... и паства таким образом может спастись, как прежде, и храмы сохраняются от осквернения... Так все говорят у нас и наш владыка тоже...

– Нет, отче. – Феодор покачал головой. – Подумай сам: святые иконы соборно отвергнуты, патриарх и другие епископы сосланы, многие монахи и миряне терпят лишения... А ты, служа в душепагубном обществе и в зараженном месте – именно так, а не в храме! – думаешь, что поступаешь хорошо? Как это возможно? Какой ты спас храм, если ты осквернил храм Божий – самого себя? Какую сохранил ты паству, если твое общение стало для нее заразой и растлением? Ты стал соблазном миру и примером отступничества! Увы, отче, мои слова тебе могут казаться жестокими, но я говорю истину. Если ты хочешь действительно быть православным, ты должен покаяться и отвергнуть общение с нечестивыми. Только так во времена гонений сохраняется благочестие – и никак иначе! Если ты избереешь страдать за Христа, которого теперь оскорбляют в Его иконе, то обрадуешь не только нас, грешных, но и всех ангелов и святых. А если не захочешь отвергнуть общение с нечестивыми, то я не смогу дать тебе своего благословения.

Священник поднялся со скамьи и упал игумену в ноги.

– Прости меня, отче! Я всё понял! Отныне я каюсь и желаю идти по твоему пути!

Получив разные наставления и благословение от вонитского узника, Арсений возвратился в Маставру и больше не приходил служить в свой храм, поначалу сказавшись больным. Когда же его навестил один из сослуживших ему прежде диаконов, с которым они близко дружили, Арсений рассказал ему о встрече с игуменом Феодором и об услышанном от него. В тот же день священник и диакон согласились более не служить со своим епископом, а еще через день Арсений отправился в храм и объявил собравшимся на богослужение, что отрекается от общения с иконоборцами. Случай этот вызвал в Маставре большой скандал. Оба отложившихся были в тот же день брошены в тюрьму. Епископ стал допрашивать всех клириков города, но ничего не узнал; тогда он пригласил к себе близких родственников Арсения и его друга-диакона. Те отмалчивались, но когда епископ стал угрожать, что император прикажет до смерти бичевать отложившихся, жена диакона не выдержала, расплакалась и стала умолять пощадить ее мужа, пошедшего за Арсением «просто по глупости».

– Значит, зачинщик этого беззакония – отец Арсений? – спросил епископ.

– Он, он, владыка святой! – всхлипывая, закивала женщина. – Как мой-то у него побывал, так и... Ы-ы! – опять заголосила она. – Господи, что же это за наказание такое?!

– Ну, не надо так убиваться, почтеннейшая! Надеюсь, наш отец диакон вскоре образумится! А скажи-ка, госпожа, не знаешь ли ты, почему отцу Арсению пришла в голову такая безумная мысль?

– Знаю, знаю, владыка! Сейчас расскажу! Он недавно к родственникам своим ездил в Хоны, ну, и узнал, что там недалеко игумен этот бывший Студийский заключен, Феодор, будь он не ладен! Вот он и решил его посетить, на свою голову! А тот ему наговорил всякого... Сказал, будто мы все тут еретики... Благословения дать не хотел, пока отец Арсений не откажется от общения со святейшим Феодотом!

– Так вот оно что!

Епископ немедленно отправился к стратигу Ораве и доложил ему о результатах расследования. Орава, убежденный иконоборец, за ревностную поддержку нового церковного курса получивший командование во Фракисии, в тот же день написал как Анатолийскому стратигу, так и императору, сообщая о случившемся с маставрскими клириками. «Не следует, почтеннейший, – писал он Кратеру, – оставлять без внимания презирающих законы благочестивейшего государя и допускать, чтобы нарушители проводили свою жизнь безнаказанно». Кратер сразу же послал в Вониту запрос о том, посещал ли узника Феодора маставрский клирик, и призывал ли Феодор его порвать общение со своим епископом и с патриархом. Дождливый ноябрьским утром он получил утвердительный ответ – и понял, что на горизонте сгущаются тучи. Коль скоро Орава сообщил императору о происшедшем в Маставре и о роли в этом Феодора, то, если к «проклятому игумену» не принять суровых мер, Кратеру и самому может грозить наказание за попустительство... В тот же вечер, призвав к себе комита Феофана, стратиг в спешном порядке отправил его в Вониту.

Комит застал узников за написанием «Опровержения иконоборцев»: Феодор диктовал, а Николай записывал. При них был еще один студит, Андрей, который тоже делал отдельные пометки и записи для себя: записывать всё подряд он не мог, не будучи таким скорописцем, как Николай. Когда в замке заскрежетал ключ, Николай вскочил и быстро спрятал исписанные листы под рогожку на полу. Андрей хотел последовать его примеру, но замешкался, сделал неловкое движение, и листы разлетелись по комнате, один из них упал прямо под ноги вошедшему Феофану. Тот подобрал его и прочел: «Следует ли, говорят, поклоняться надписанию или только изображению, чье название написано? – Вопрос подобен тому, как если бы кто спросил, следует ли поклоняться Евангелию или наименованию не нем, образу креста или написанному на нем. Каким образом можно отделить именуемое от имени, коим оно именуется, чтобы одному из них поклоняться, а другому нет?» Комит покачал головой, протянул листок Андрею, собиравшему рассыпанное, и сказал, обращаясь к Феодору:

– Здравствуй, отче! Ты очень неосторожен, как я вижу.

– Здравствуй, господин, – поклонился ему игумен. – Думаю, что не очень, а ровно в той мере, в какой требует положение дел.

– Боюсь, что положение дел требует от тебя прекратить сношения с окружающими, в противном случае ты можешь вовсе лишиться возможности говорить и писать.

– Я ко всему готов, господин, – сказал Феодор. – А говорить и писать должное буду до последнего издыхания, как я уже сказал приходившим к нам до тебя. Но ты, видимо, имеешь какой-то приказ императора относительно нас?

– Не императора, а стратига Анатолика господина Кратера, который и послал меня. – Феофан остановился, опустил глаза и продолжал с некоторым смущением. – Мне приказано дать тебе пятьдесят ударов бичом.

Андрей опять выронил собранные листы. Николай сделал движение к игумену, словно хотел защитить его своим телом. Феодор шагнул вперед и сказал:

– Что ж, исполняй то, что тебе приказано, чадо.

Игумен спокойно развязал пояс и отдал его Николаю. Тот принял, закусив губу; Феодор тихонько сжал ему руку выше кисти и еле заметно ободряюще улыбнулся, а затем стал снимать с себя параман. Феофан смотрел на узника с каким-то испугом. Когда игумен уже собрался снять и хитон, комит воскликнул:

– Нет-нет, постой, отче, не надо! – Он схватил Феодора за руку, а потом вдруг упал пред ним на колени. – Нет, отче! Бичевать тебя я не буду! Нет, нет... Прости меня, грешного, что я вообще заговорил об этом! Благослови меня, отче, и я уйду!

Николай прижал руку к груди, Андрей с восторгом глядел на комита, а Феодор вздохнул словно с сожалением и сказал:

– Да благословит тебя Господь за твою доброту, господин! Но смотри, стой до конца на избранном пути!

Они еще немного побеседовали, а когда Феофан уже собрался уходить, игумен спросил его:

– А почему господин стратиг так прогневался на мое смирение?

– Он не сказал мне об этом. Но подозреваю, что виной тому скандал в Маставре... Ведь у тебя тут был тамошний клирик?

– Да, был.

– Так вот, он отложился от своего епископа и увлек за собой еще несколько человек.

Кажется, это дело уже дошло до государя...

Когда Феофан вышел, Феодор перекрестился и тихо сказал:

– Слава Богу, укрепляющему рабов Своих! Да поможет Он отцу Арсению и всем, подвизающимся о благочестии!

Возвратившись, Феофан доложил Кратеру, что всё исполнил по его приказу.

– А что... – начал было стратиг, но не успел договорить.

Дверь распахнулась, и в приемную прямо-таки ворвался высокий мужчина, одетый в темно-зеленый расшитый золотом скарамангий и такие же штаны; полы синего шелкового плаща с золотой оторочкой развевались, словно крылья, – так быстро он вошел. Пружинистая, стремительная и в то же время мягкая походка, огненно-рыжая густая шевелюра, широкие скулы и хищный изгиб губ придавали вошедшему сходство со львом или тигром; небольшие глаза странного желтовато-зеленого цвета сверкали, как у кошки; в правой руке он держал хлыст для верховой езды. Кратер вздрогнул при его появлении: это был протоспафарий Анастасий Мартинакий, назначенный василевсом на должность великого куратора и получивший при дворе большое влияние.

– Здравствуй, господин Анастасий! – Стратиг поклонился ему.

– Будь здоров и ты, пока здоровается! – ответил Анастасий и усмехнулся. – А не то, глядишь, можно и болезней нажать... Больную спину, например. – Хищно улыбнувшись, он слегка щелкнул хлыстом.

– Присаживайся, – сказал Кратер, стараясь держаться как можно спокойнее. – Чем мы обязаны твоему посещению?

– Да вот, господин стратиг, – ответил Мартинакий, усаживаясь в кресло и постукивая рукояткой хлыста по сапогу, – до августейшего государя дошли сведения, что в подчиненной твоему почтенству области не всё спокойно в отношении соблюдения догматов нашей святой веры. Он и послал меня выяснить, так ли это, и если так, то кто в этом виноват.

Протоспафарий говорил не спеша, негромко и даже вкрадчиво, но огонек, горевший в его глазах, не давал обмануться. У стратига мороз пошел по коже. «Письмо Оравы! – молнией сверкнуло у него в мозгу. – Дьявол!...»

– Я, право, не совсем понимаю, что ты имеешь в виду, господин Анастасий, – сказал он, изо всех сил стараясь не выдать охватившего его страха. – Божией милостью, в нашей богоспасаемой области всё в целом спокойно. Недоумеваю, что могло так встревожить державного владыку. Хотя нечестивые еретики иногда поднимают голову, мы всегда быстро усмиряем их дерзость.

– Так ли уж? – усмехнулся Мартинакий. – А кто распустил этого нечестивца в Воните? Его руки удлинились настолько, что достигли даже до соседних фем! Разве ты не знаешь, господин Кратер, что в Маставре через Феодора возникла церковная смута, с которой до сих пор не могут справиться? – Голос великого куратора звучал всё более гневно и угрожающе. – Разве не было приказано вам стеречь этого смутьяна крепко и смотреть за ним в оба?

– Но за ним смотрели! – возразил Кратер. – К нему давно приставлена стража, его не оставляют одного ни днем, ни ночью, он даже спит под наблюдением воина!

– Прекрасно! В таком случае как это так выходит, что он и при страже умудряется обращаться приходящих в свою ересь? Что толку в страже, если она пускает к нему всех, кто бы ни пришел?

– Но...

– Какие еще «но»? По этому негодяю плачут бичи, но гляди, господин Кратер, не заплакали бы они и по тебе!

– Господин Анастасий, – сказал стратиг с торжеством в голосе, поднимаясь со стула, – смею тебя уверить, что бичи по Феодору уже не плачут. Господин Феофан только что прибыл из Вониты, где, по моему приказу, дал этому смутьяну пятьдесят ударов. – Кратер указал протоспафарию на комита, который во всё время разговора следил за Мартинакием с некоторым испугом. Великий куратор посмотрел на Феофана взглядом готовящегося к прыжку тигра.

– Это правда, господин Феофан?

– Сущая правда! – кивнул слегка побледневший комит.

– Пятьдесят ударов?

– Да, господин.

– Маловато! Вот что, – Анастасий поднялся, – поскольку государь сильно разгневан, а маставрское дело до сих пор не улажено, к этому студийскому разбойнику нужны еще более суровые меры. Придется мне самому взглянуть, как обстоят дела в Воните. Так ли, как вы говорите, или иначе.

Мартинакий сверкнул на стратига и комита зеленоватыми глазами, переложил хлыст из одной руки в другую и, не прощаясь, вышел.

...Иеромонах Дорофей уже почти год сидел в подвале Воскресенского монастыря, куда его перевели после бичевания в Претории. Видимо, его хотели уморить медленной и неявной смертью, поскольку не только заключили в очень тесное и душное помещение, но и почти не кормили, а покрытый плесенью хлеб, который выдавали раз в день, Дорофей едва мог есть. Пищу заключенному приносил сам настоятель, при этом всегда называя иеромонаха «идолобеснующимся» и насмехаясь над ним. После бичевания спина заживала долго и мучительно, а страж-игумен не давал не только масла, но даже и воды, чтобы смазывать раны. Всё-таки выжив, Дорофей воспринимал это как чудо. И вдруг на третий месяц заключения он стал получать передачи – одежду, обувь, еду. Всё это тайком от игумена передавал ему один воскресенский монах по имени Астий, каким-то образом сумевший раздобыть копию ключа от подвала. Через несколько недель он передал узнику холщовый мешок, где оказались молитвослов, «Беседы» святого Макария Великого и свечи. Никаких записок ни к одной из передач не прилагалось, и узник недоумевал, кто бы мог быть его неожиданным благодетелем. Кто-нибудь из братьев? Но почему тогда ни одного письма? Правда, за передачу писем от студитов, а особенно от Феодора можно было жестоко поплатиться, – может, Астий не передает их из боязни? Поначалу Дорофей так и думал, и когда получил книги, то бросился листать их в поисках какого-нибудь условного знака, но ничего не обнаружил. Тогда он задумался: по всему выходило, что передачи шли не от студитов. От кого же? Астий ничего не говорил, но Дорофей замечал, что он будто бы посмеивается над ним. Иеромонах недоумевал и, молясь о «благодетелях», стал просить, чтобы Господь открыл, кто же так заботиться о нем. Через два дня Астий, передавая заключенному очередной сверток, фамильярно похлопал его по плечу, и Дорофей ощутил, что от монаха пахнет вином. Астий подмигнул и сказал с развязной улыбкой:

– Ты, отче, всех тут перещеголял, скажу я тебе! Уж кто-кто у нас ни сидел в этих подвалах – и священники, и монахи, и игумены, – но такие красотки, как к тебе, ни к кому из них не ходили!

Узник недоуменно посмотрел на монаха.

– Да, – продолжал тот, – и нечего невинность из себя строить! Такие девушки так просто ходить не будут! Зазноба у тебя что надо! Просто, ну, Елена Прекрасная!

Разгневанный иеромонах уже хотел было осадить Астия, но вдруг догадался:

– Ты про ту, что носит мне передачи?!

– Ну, а про кого ж? – Астий удивленно взглянул на Дорофея. – Э, да неужто ты и впрямь не знаешь, кто к тебе ходит?!

– Вот как пред Богом говорю: не знаю! Сам давно хочу узнать, кто мне благодет. Скажи, какая она из себя? Может, я и знаком с нею...

– Да уж верно знаком! Она-то, по крайней мере, тебя знает, иначе с чего бы именно о тебе так заботиться стала? Тут и до тебя сживала ваша упрямая братия, да только девицы этой я не видал... И видно, из богатых она, этак деньгами сорить! Она ж ведь меня прямо, можно сказать, озолотила! Только б любезного ей отца Дорофея ублажить! – Астий опять подмигнул. – Ну, не серчай, отче! Шучу!

– Скажи лучше, какая она из себя! Сколько ей лет?

– Да юная она совсем, больше четырнадцати ей точно не дам! А то и поменее... Но красавица! В жизни не видал таких! Да у нее и служанки как на подбор тоже все хорошенькие такие... Я-то ведь, брат ты мой, привратником стою каждый третий день... Вот, в мое дежурство и приходит она, да. И такая вся из себя... ээ... тонковоздушная... А глаза! Синие, огромные, просто море!

О том, что Дорофей заключен недалеко от их дома, в Воскресенской обители, Кассия с матерью узнали не сразу. Когда письма от иеромонаха прекратились, а потом пришла весть от эконома Навкратия, что он в числе прочих схвачен и бичеван в Претории, Марфа послала туда одного из слуг, разведать, что стало с исповедниками, и передать им еду и одежду, если это будет возможно. От сердобольного тюремщика, который отдал студитов Григоре, слуга узнал об их судьбе и о том, что Дорофей переведен из тюрьмы, а куда – неизвестно. Слуга сумел отыскать Григору, передал ему приношения от своей госпожи и деньги на содержание братьев. Виссарион уже почти поправился, но с Иаковом дело было плохо: монах не умер, но от перенесенного избиения у него отнялись ноги, а в спине он ощущал такую боль, что не мог ни стоять, ни даже сидеть. Так он и лежал в расслаблении, сильно страдая, но терпел молча, чем удивил даже врача, который сказал Григоре, что при таких повреждениях больные обычно стонут, а то и кричат почти постоянно... Марфа пыталась наводить справки об отце Дорофее через разных знакомых, но безуспешно. И вот, как-то раз знакомая спафарокандидатисса при встрече на рынке на вопрос о том, как идут дела, расплакалась и шепотом, почти на ухо рассказала Марфе, что сын собрался уходить в монастырь.

– В Воскресенский хочет идти, тот, что при храме святой Анастасии... А там ведь, Марфа, иконопочитателей мучают! Сколько уж там их перебивало, ох! А сейчас, как мне сказали, одного иеромонаха из студитов там голодом морят!

– Иеромонаха? А как звать его, ты не знаешь?

– Ой, забыла, душенька! Говорили мне... На «д» как-то... Домний? Нет... Досифей, что ли?..

– Может, Дорофей?

– Да-да, точно! Говорят, после бичевания его туда привезли, бедного!

Марфа послала в Воскресенскую обитель слугу с наказом попытаться узнать что-нибудь об отце Дорофее. Это удалось не сразу: иноки в разговоры с посторонними не вступали, а когда Геласий заговорил с несколькими братьями, чинившими монастырскую стену, и спросил, правда ли, что в обители держат «мятежников из Студия», монахи испуганно посмотрели на него, и один сказал полупрошепотом:

– Уходи, добрый человек, уходи, Христа ради! Не велено нам говорить об этом! Игумен узнает – прибьет!

Геласий приуныл, но когда он уже отправился домой и проходил мимо монастырских ворот, небольшая узкая дверь слева от них вдруг отворилась, и показалось круглое хитроватое лицо черноризца.

– Ты, милейший, что тут ходишь взад-вперед? Потерял чего? Так я тебе найти, может, помогу... за умеренную плату, конечно!

Так Геласий познакомился с Астием, который за две серебряных монеты не только рассказал все подробности о содержании Дорофея в подвале обители, но и согласился, при условии дальнейшей «умеренной оплаты услуг», делать ему передачи. Первую посылку для Дорофея принесла Марфа, но после этого неожиданно сильно занемогла и почти месяц пролежала в постели. Тогда Кассия сама стала носить передачи в Воскресенский монастырь. Услуги Астия вознаграждались щедро, а любопытство – очень скупое: на все попытки узнать, кто она и откуда, Кассия только хмурила брови и качала головой. Она запретила привратнику говорить Дорофею о том, кто делает ему передачи, однако Астий думал, что и заключенный, и его благодетельница просто притворяются. Но наконец, монах не стерпел и решил выпытать у самого Дорофея, что это за «красотка».

– Синие глаза?! – воскликнул иеромонах.

– Что, знаешь ее?

– Да, – улыбнулся узник, – знаю.

## 15. Исповедники

*Если и избавлюсь нынешнего мучения от людей, но руки  
Всемогущего я ни живой, ни мертвый не избежу. Посему, мужественно  
ныне расставшись с жизнью, старости достойным явлюсь, юным  
же образ доблести оставлю, как умирать усердно и мужественно за  
досточестные и святые законы.*

*(II Книга Маккавейская)*

Феодор спал беспокойно, стонал, метался и опять стонал: любое движение причиняло ему боль. Николай осторожно положил руку ему на лоб – он горел. Тряпицы, которыми были обвязаны раны, уже почти высохли. Кусая губы от боли, Николай приподнялся, ощупью нашел в холщовом мешочке льняной лоскут, но тут вспомнил, что воды в сосуде почти не осталось. От жажды давно пересохло во рту, и он едва подавил желание допить воду: игумен, когда проснется, попросит пить, надо сберечь для него... С трудом Николай поднялся на ноги и, хватаясь за стены, дошел до двери. Осторожно постучал, боясь разбудить Феодора. Не дождавшись ответа от стражника, постучал сильнее, но снаружи было тихо. Должно быть, страж заснул, ведь сейчас уже, кажется, поздно... Но где же раздобыть воды? Внезапно Николая охватило отчаяние. Он сполз по стене на холодный пол и заплакал. Пить хотелось невыносимо, внутренности горели, даже боль от ран отступала перед этим огненным мучением. Сколько может человек прожить без воды? Подвижники в пустыне проводили без воды даже недели... «Я не подвижник, я так всё равно не смогу... Значит, умру... И отец умрет... умрет здесь, в этой тьме, в этой грязи! И эти богоборцы закопают его в землю где-нибудь за стеной, как собаку... А может, и не закопают, а так бросят... С них станется...» Феодор опять застонал, и слезы брызнули из глаз Николая. Он бы всё отдал, только бы отцу стало легче, он бы собственную кровь выцедил, он бы умер, претерпел бы любые пытки, только бы не мучили отца, только бы не трогали его! Что они сделали с ним! Как могли, как смели они так поступить с ним?! Как допустил это Господь? Зачем? За что?!

– Почему Ты допустил это?! – прошептал Николай.

Господи, как хочется пить!.. Ему вдруг показалось, что из противоположной стены начинает течь вода, сначала тонкой струйкой, потом сильнее... Вода! Николай попытался встать, но не смог; в следующий миг он потерял сознание.

Когда он очнулся, голова его лежала на коленях у игумена, и Феодор осторожно вливал ему в рот по капле ту самую воду, которую Николай хотел сберечь.

– Отче, – проговорил Николай.

– Пей, пей.

– Нет. Тебе, – Николай сомкнул губы, не давая больше поить себя. Феодор вздохнул и отставил сосуд. – Выпей, – прошептал Николай. – Я не буду... Выпей, отче!

Игумен внимательно посмотрел на ученика, взял сосуд и допил воду – ее уже почти не осталось. Николай повернул голову и ужаснулся: Феодор сумел перетащить его обратно к подстилкам – как он это сделал, ведь ему так больно?! На полу – следы крови – чьей? Игумена или его собственной, или обеих?.. Господи, как больно! А отцу как?!..

– Отче.

– Да, чадо. Не плачь. Господь милостив!

– Я усомнился, отче... Я подумал... мы умрем тут, и это всё... А они будут смеяться... торжествовать...

– Нет, брат. Просто мы еще должны потерпеть. Еще не исполнились суды Господни. Нынешняя ересь – бич Божий. Как у больного жар не спадает, пока не перегорит внутренняя

гнилость, так и Церковь не может получить мир, пока болезнь от наших грехов не будет заглажена бичующей ересью... Господь вразумит, а потом исцелит, в нужное время. Это судьбы Божии, и не нам исследовать их. Не падай духом! – Феодор побледнел и замолк, на мгновение закрыв глаза.

– Отче, зачем ты... тащил меня? – прошептал Николай.

– Пустяки, чадо, – Феодор взглянул на него и чуть заметно улыбнулся. – Не горюй! Скоро утро, и нам, может быть, принесут воды. А если не принесут, умрем за Христа, и страдания наши кончатся... И то, и это – великий дар Божий. Видишь, что бы ни случилось с нами, всё будет хорошо, и нужно благодарить, а не роптать!

После их бичевания прошло восемь дней. Анастасий Мартинакий, прибыв в Вониту, первым делом отправился к узникам и потребовал, чтобы Феодор разделся. Когда игумен исполнил приказ, великий куратор расхохотался и воскликнул:

– Где же следы бичей?

Страж, постоянно находившийся при заключенных, испуганно заморгал. Анастасий обернулся к нему:

– Бичи сюда и парочку скамей, да поживее! Ишь, рассердобольничались! Живей, живей, а то и тебе достанется! Охраннички! Вам впору дохлых крыс охранять, а не государственных преступников!

Собственноручно дав Феодору с Николаем по сто ударов, Мартинакий приказал заключить их, почти бездыханных, в помещение под крышей, забить дверь, оставив только небольшое отверстие для передачи пищи, и не давать узникам ничего, кроме хлеба, воды и дров. Кого-либо пускать к ним для свидания было запрещено, даже лестница от двери была отставлена – ее разрешалось придвигать только раз в день, когда охранник приносил заключенным пищу. Кругом поставили военную стражу, не только внутри, но и вокруг дома: она встречала всякого, входящего в крепость, и не позволяла даже приближаться туда, где были заключены студиты. Великий куратор навел на обитателей крепости такого страха, что даже после его отъезда несколько дней все разговаривали друг с другом шепотом и боялись лишний раз вступить в беседу. Только один из стражей, приставленных к студитам, изредка дерзал приносить им из дома еду, воду и тряпицы для перевязки ран, чтобы они совсем не умерли «в этом гробу», как назвал Феодор их новое жилище.

На другой день после бичевания вонитских узников Мартинакий уже был у стратига Анатолика.

– Ну, господин Кратер, – воскликнул он с порога, – ты меня удивил! Я знаю случаи, когда этих негодяев по сердобольности, а точнее, по глупости били меньше, чем следовало. Но вот чтобы их вообще не били, столь наглым образом попирая повеления державного, это впервые вижу. Поистине, тебе подобает песнь... сыгранная на струнах из тех самых воловьих жил, что ты пожалел для студийского разбойника! – Последние слова Анастасий произнес с расстановкой и таким тоном, что стратига бросило в дрожь.

– Ч-что?! – ошарашено спросил он.

– А то, что никаких следов от бичей на спине этого пса я не обнаружил! Его и пальцем не тронули! Неужто для тебя это новость?

– Вот перед Христом Богом говорю: я ничего не знал! – воскликнул стратиг, бледнея. – Это всё Феофан, негодяй! Ну, сейчас я ему покажу! – Он схватил с крючка на стене палочку с железным шариком на конце и что есть силы заколотил по висевшему тут же металлическому кругу. Двумя ударами вызывался секретарь, тремя – стража, четырьмя – хартуларий, но поскольку разгневанный стратиг стучал много и без счета, то прибежали сразу все и испуганно столпились в дверях. – Комита Феофана позвать сюда, срочно!

Феофан пришел через четверть часа, приветствовал Кратера и Анастасия и остался стоять посреди комнаты. Комит был бледен, но спокоен. Ему уже сообщили, что опять прие-

хал «этот рыжий», и что стратиг в таком гневе, в каком его давно никто не видел; Феофан понял, что его обман разоблачен, и приготовился к худшему. Он знал, что Кратер чрезвычайно боится прогневать императора, а потому постарается выгородить себя и, скорее всего, образцово-показательно покарать виновного.

– Так значит, господин Феофан, ты дал Феодору пятьдесят ударов? – спросил стратиг, и в его голосе вдруг послышались те же самые вкрадчивые нотки, которые наводили ужас на собеседников, когда говорил Мартинакий.

– Нет, – тихо ответил комит. – Я не бил его.

– Смотрите-ка, – воскликнул Кратер, обращаясь к великому куратору и к стоявшему у дверей стратиоту, – он, похоже, даже не раскаивается!

– Нет, не раскаиваюсь. Я не могу бить монахов, тем более священников, уже убеленных сединами. Если бы ты послал меня опять, господин, я бы снова не тронул отца Феодора.

– Так... – Стратиг смерил Феофана взглядом с головы до ног. – Понятно. Ну, что же, в таком случае, придется возместить на тебе то, чего ты не додал этому треклятому еретику. Раздевайся! – Он взглянул на стратиота. – Две скамьи сюда, веревки и бичи!

Пока шли суетливые приготовления к бичеванию, Анастасий сидел в кресле и молча, чуть заметно усмехаясь, наблюдал за происходящим. Когда стратиоты привязали обнаженного Феофана к сдвинутым скамьям, стратиг взял в руки бич.

– Отойдите! Я сам... Раз! – Феофан дернулся, но не издал ни звука. – Два! Три! Четыре! – считал стратиг, махая бичом.

– Э, господин Кратер, стой-ка! – сказал вдруг Мартинакий. Стратиг остановился и взглянул на великого куратора с некоторым удивлением. – Ты, я вижу, бить-то как следует не умеешь. – Анастасий усмехнулся. – Разве так бьют? Дай, покажу!

Он не торопясь отстегнул золотую фибулу со вставкой из синей яшмы, снял плащ, аккуратно сложил вдвое и повесил на спинку стула, вытянул вперед руки, несколько раз согнул и разогнул, повел плечами и взял у Кратера бич. Стратиоты и стратиг смотрели на эту разминку, почти затаив дыхание.

– Ну, сколько там было уже, пять? – спросил великий куратор. – Считай дальше! – Он взмахнул бичом.

– Шесть! Семь!

Феофан издал глухой стон: вместо красных полос вспухавшей кожи, оставленных ударами стратига, на спине комита появились кровавые. На двадцатом ударе Мартинакий остановился и отдал бич Кратеру.

– Теперь понял, как надо? С оттяжкой надо, господин стратиг, эти бичи оттяжечку любят. Давай, попробуй, а я посчитаю. – Он снова сел и заложил ногу на ногу. – Двадцать один! Двадцать два! Вот-вот, хорошо! Молодец! Двадцать пять!..

После пятидесяти ударов спина Феофана была истерзана в клочья. Когда комита отвязали, встать самостоятельно он не смог, и стратиоты подняли его под руки.

– В подвал его на десять дней! – приказал стратиг. – На хлеб и воду! Если жена его придет или родственники, всех гнать в шею! Через десять дней пусть приходят и забирают... Негодяй!

Кратер бросил бич на пол, сел и отдышался. Вид пролитой им крови подействовал на него возбуждающе. Когда стратиоты увели Феофана, унесли скамейки и бич, вытерли пол и вышли, стратиг взглянул Анастасию в глаза и улыбнулся плотоядной и торжествующей улыбкой. Мартинакий усмехнулся и встал.

– Вот ты, господин Кратер, – сказал он, надевая плащ, – видно, считаешь, что я человек жестокий?

Стратиг вздрогнул от неожиданности.

– Э-э... – Подходящий вежливо-обтекаемый ответ не приходил ему в голову, а совсем врать, что нет, не имело смысла.

– Да ты не бойся, я не обидчив. Это я просто к тому, что теперь ты сам видишь: с нашими людьми иначе нельзя! Мягкосердечны, глупы... Но хитры при этом, мерзавцы! – Великий куратор застегнул фибулу и пригладил непокорные волосы. – Вот и приходится с ними скорее жестко, чем мягко... Ну, я поехал, надо уж домой!

– Как, и на обед не останешься? – удивленно спросил Кратер.

– Нет, дружище, прости, спешу! – Анастасий улыбнулся совсем по-другому, неожиданно открыто и радостно. – Сын у меня родился, крестить уж собрались, а тут государь послал по этому делу... Вот, все мои меня дожидаются, тороплюсь! В дороге где-нибудь перекушу.

– О, поздравляю! Сын-то такой же рыжий? – весело поинтересовался стратиг. Мучительный страх, терзавший его с момента первого приезда Мартинакия, совершенно оставил Кратера, и он чувствовал в душе пьянящую легкость.

– Нет, в мать пошел, темный! – Анастасий был уже у двери. – У нас волосы передаются через поколение: я вот в деда... Значит, внуки засияют солнцем!

– А назвать как решили?

– Ингером. Жена, правда, Андреем хотела, но я сказал: нет, будет Ингер! Прадеда и деда моего так звали. Славные были мужи, воины, гордость рода! Ну, всё, пора мне. Прощай, господин Кратер!

– С Богом! Поклон державному!

– Всенепременно передам!

Выслушав доклад Мартинакия, император решил еще ужесточить меры против иконопочитателей и в тот же день приказал арестовать находившихся в Саккудионском монастыре Навкратия и других монахов: из перехваченных недавно писем окончательно стало ясно, что именно через студийского эконома поддерживалась в основном связь братьев с заключенным в Воните игуменом. Вскоре задержанные в Саккудионе братья были доставлены в Брусу. Навкратия и еще семерых бичевали и заключили в тюрьму, где они находились около двух недель, после чего под конвоем были отправлены в столицу, несмотря на незажившие раны от бичей и зимнее время. В Константинополе Навкратия посадили в одиночную камеру в тюрьме Претория, а бывших с ним – в Елевфериеву тюрьму. В Претории Навкратий провел еще около месяца, а затем оказался в подвале Сергие-Вакхова монастыря, где его больше недели держали впроголодь, раз в день выдавая ломтик черствого хлеба и немного воды, так что узник совсем ослабел. Наконец, наутро девятого дня его вывели из подвала, провели по каменной лестнице на второй этаж и ввели в комнату с иконой Богоматери над столом и картой Империи на стене. Навкратий по пути уже догадался, что ему предстоит разговор с «нечестиеначальником», как прозывал Иоанна в письмах Студийский игумен. Действительно, Грамматик поднялся со стула навстречу узнику, окинул его внимательным взглядом и сделал приведенным его монахам знак выйти.

– Здравствуй, почтенный отец! – сказал Иоанн, когда они остались вдвоем. – Садись. Давно я желал тебя видеть.

– Признаться, я тоже, – усмехнулся Навкратий, опускаясь на лавку у стены.

– Хочется разоблачить «нечестивого софиста»? – Грамматик улыбнулся, поудобней устраиваясь в кресле у окна.

– Скорее, узнать поподробнее о его доводах.

– Что ж, прекрасно! Значит, наша беседа пройдет к обоюдному удовольствию, – Иоанн скрестил на груди руки. – Итак, по-твоему, Христа и святых подобает изображать на иконах для поклонения, господин Навкратий?

– Да.

– На каком основании ты так считаешь?

– Ведь тебе известно, думаю, что почитание икон – древний обычай. О том, что иконы существовали, сказано во многих писаниях. Отцы восхваляют искусство живописцев и говорят о пользе созерцания Христа и святых на иконах. Святой Григорий Нисский...

– Погоди, отче, – прервал его Грамматик. – «Я часто видел на иконе изображение страдания и без слез не проходил мимо этого зрелища, так живо искусство представляет зрению событие», – это высказывание мне известно. Равно как и великого Василия. Ведь ты, отче, далеко не первый, с кем я беседую об иконах, и эти доводы мне довелось слышать неоднократно. Но не все отцы учили одинаково об иконах, а потому вопрос этот всё же из числа спорных. Например, святой Епифаний Кипрский вопрошает: «Пусть рассудит твое благочестие, прилично ли нам иметь Бога, начертанного красками?» И еще в другом месте он говорит: «Я слышал, что некоторые предлагают живописать и необъятного Сына Божия; трепещи, слыша это!» Я, кстати, могу показать тебе и книгу с его произведениями, где он говорит об этом, чтобы ты не подумал, будто я обманываю тебя.

Иоанн говорил не спеша и внимательно разглядывал сидевшего перед ним монаха. Навкратию было уже за пятьдесят; выглядел он, впрочем, моложе своего возраста, но волосы, некогда темно-русые, почти все поседел, а теперь были грязными и свалялись от долгого заключения; глаза блестели молодо, и хотя сейчас экононом знаменитого Студия был сильно изможден, можно было понять, что телом он весьма крепок и может прожить еще долго... если, конечно, не уморят где-нибудь в темнице. Иоанну стало жаль его, мелькнула мысль предложить хотя бы воды – игумен заметил, что губы узника потрескались от жажды, – но Грамматик тут же подумал, что заключенный, скорее всего, откажется принять питье из рук «еретика», тем более «предводителя отступников». Иоанн знал, что Навкратий был одним из приближенных к Студийскому игумену братьев, его близким другом и помощником; судя по перехваченным письмам, игумен особенно любил его и во всем ему доверял. Можно сказать, перед Грамматиком сейчас сидел «образ» неукротимого Студита, и спор об иконах с ним был поэтому почти спором с самим Феодором. Коль скоро, по воле императора, с главным противником сойтись они могли только заочно, то теперь, похоже, представлялся именно такой случай...

Навкратий поднял глаза на Иоанна и чуть заметно улыбнулся:

– Не нужно. Я тебе верю, господин Иоанн.

– Благодарю! Надо заметить, что не все твои собратья были столь великодушны... Но Бог им судья! Итак, свидетельства святого Епифания я привел, есть и другие – например, святителя Астерия Амасийского: «Не изображай Христа, ибо довольно для Него одного уничижения – воплощения, которое Он добровольно принял ради нас. Но умственно сохраняя в душе своей, носи бестелесное Слово». Божественный Феодот Анкирский говорил: «Мы составляем образы святых не из вещественных красок на иконах, но научились изображать их добродетели сказаниями о них в писаниях, как некие одушевленные иконы, побуждаясь этим к подобной им ревности. Ибо пусть скажут выставляющие такие изображения, какую они могут получить от этого пользу, или к какому духовному созерцанию возводятся они чрез это напоминание? Очевидно, что это тщетная выдумка и изобретение диавольской хитрости». Мне кажется, отче, что изречение это истинно. Ведь сколько ни проливай слез, глядя на икону, но истинную пользу душе мы можем получить только через молитву, а при молитве держать в уме какие бы то ни было образы прямо запрещено отцами. Дьявольская же хитрость тут в том, что простой и неграмотный народ, ради которого, как говорят некоторые из ваших, особенно нужны иконы, вполне может решить, что вот, посмотрел он на образ, повздыхал – и этого как будто довольно для спасения.

– Относительно молитвы ты прав, но делаешь неверные выводы. Из того, что кто-то, пусть даже многие, употребляют во вред вещи, придуманные ради пользы, еще не следует, что эти вещи вредны. Приведенный тобой пример можно повернуть и иначе: человек забылся, рассеялся, потерял память Божию, но взглянул на икону – и вспомнил о Боге, и снова стал молиться.

Вот и польза! Что до представленных тобой свидетельств, то если эти отцы действительно так думали об иконах, я могу только сказать, что они в этом вопросе, к сожалению, заблуждались. Мы же знаем, что и великим святым иногда случалось ошибаться.

– Это так. Но почему ты считаешь, что из святых, что-либо писавших об иконах, заблуждались именно отрицавшие их, а не одобрявшие?

– Потому что «живописать необъятного Сына Божия» всё-таки можно, поскольку Он воплотился, став ради нас человеком, лежал в объятиях Матери, был повит пеленами, носил одежду, перемещался из одного места в другое, входил в дома и выходил оттуда, был схвачен иудеями, связан и представлен Пилату, и всё прочее, о чем говорит Евангелие. Это не свойственно необъятному божеству, но свойственно вполне объемлемому человечеству Христа. Потому Он изобразим. И странно называть это «уничижением». Воплощение не бесславно!

– Ты говоришь об описуемости Христа до Его воскресения. Это можно было бы признать. Но после воскресения – как можно назвать описуемой плоть, потерявшую свойство ограниченности? Ведь Христос проходил сквозь запертые двери, появлялся в одном месте, исчезал в другом. Ты, конечно, скажешь, что Он был осязаем апостолами, и они узнавали Его, но это было уже не так, как у нас, а потому описать такую преображенную воскресением плоть, как мне представляется, невозможно.

– Если после воскресения Господь имел плоть уже не так, как имеем ее мы, то мы не могли бы верить тому, что Он подобен нам, – возразил Навкратий. – Но Он Сам сказал, что и по воскресении имеет плоть и кости.

– Да, свойства тела Он имел, но не в таком грубом виде, как у нас, ведь это очевидно. Потому Он и мог становиться невидимым и творить прочие чудесные дела.

– Но если Он всё же был видим апостолами, то Он описуем и по воскресении. А если неописуем, то и видим ими быть не мог. Разве не логично? Да и чем так уж изменилось Его тело в сравнении с тем, каким оно было до воскресения? Ведь Он и до воскресения ходил по водам, а это не свойственно человеческой природе. Не укрощал ли Он бурю? Не проходил ли между иудеями, когда хотел, так что они не могли схватить Его? Правда, после воскресения Он перестал нуждаться в удовлетворении телесных потребностей, и если ел пред учениками, то только чтобы показать им, что Он не бесплотный дух. Но у всех нас по воскресении не будет таких потребностей. Разве из этого следует, что мы перестанем быть описуемы? Это нелепо.

«Логично!» – подумал Грамматик. И это было сказано не просто логично, но очень спокойно: в Навкратии ощущался некий глубокий и непоколебимый мир, приобретенный многолетним пребыванием в умной молитве и борьбой со страстями. Ни боязни, ни смущения, ни сомнений не ощущалось в узнике – и в то же время в нем не было какой-либо неприязни к Иоанну, стремления поддеть, обличить и пристыдить. Студийский эконом просто излагал свою веру – и только. Грамматик не заметил в нем какого-либо азарта спорщика или стремления во что бы то ни стало «разбить в пух и прах» противника, никакой враждебности к собеседнику, ни намека на положение «страдальца за веру»: казалось, Навкратий вообще не думал о том, что он – истощенный, немытый, нечесанный, в грязной одежде, – сидит теперь перед тем самым человеком, который морил его несколько дней голодом, содержа в темном подвале.

– Но Христос состоит из двух природ, – сказал Иоанн после краткого молчания, – а на иконе в любом случае возможно изобразить лишь одну. Таким образом, вы разделяете Христа, а это сродни несторианству.

– Мы изображаем не природу. Природу саму по себе, какова бы она ни была, изобразить нельзя. Изображается всегда ипостась – частный случай существования природы. Тот или иной человек изображается не поскольку он есть разумное смертное существо, способное к мышлению и познанию, как это можно сказать о любом человеке, а поскольку он отличается от других людей – ростом, формой носа, цветом глаз и волос и тому подобное. Вот, кстати, скажи мне, Иоанн, признаешь ли ты портрет обычного человека портретом именно этого человека?

– Конечно, если портрет имеет должное сходство.

– А ведь на портрете изображается только тело человека, а не душа, которая невидима, и изобразить ее нельзя. Но ты ведь на этом основании не скажешь, что на портрете живописец «разделяет» человека. Точно так же и Христос описуем по Своей ипостаси, хотя по Божеству не описуем, и при этом Он не разделяется.

– Всё-таки вы несториане, – сказал Иоанн почти с сожалением. – Если то, что вы изображаете, есть ипостась Христа, то в Нем две ипостаси. Ведь человеческие особенности и природа и составляют ипостась.

– Не согласен, – покачал головой Навкратий. – Ипостась не есть «сложение» личных особенностей и природы, иначе исчезла бы простота в Боге, ведь в Нем три ипостаси, но Он при этом не сложен. Ипостась это... можно сказать, способ существования. Христос воспринял в Свою ипостась Бога-Слова человеческую природу с ее особенностями, но при этом не явилось две ипостаси. Ипостась остается одна – Слова. Но в Нем после воплощения есть ипостасные особенности не только Слова, но и человека. Потому Христос и получает имя собственное – Иисус, а это значит, что Он отличается от всех прочих людей определенными личными признаками. Но это не означает, что в Нем появилась отдельная человеческая ипостась. Разве ты не согласишься с этим?

Иоанн хотел было ответить отрицательно, но внезапно понял, что по существу возразить ему нечего. Он был уверен, что *пока* нечего: просто он чего-то не доглядел, не додумал... Если бы сейчас перед ним был не студийский эконом, а кто-нибудь другой, игумен, возможно, просто прервал бы беседу до лучших времен. Но прибегать к такому приему перед Навкратием ему не хотелось. И Грамматик впервые на всем протяжении диспутов, которые он вел с иконопочитателями, произнес:

– Я должен подумать.

...Игумен Великого Поля уже больше года сидел в тюрьме при Елевфериевом дворце, куда его перевели из Сергие-Вахковой обители. Когда его на носилках вытащили из монастырского подвала и погрузили на повозку, чиновник, один из служителей тюрьмы, руководивший переправкой узника на новое место заключения, сказал келейнику Феофана, выведенному следом и отчаянно шутившемуся на солнечном свете, которого он не видел уже несколько месяцев:

– Ну, а ты можешь выметаться, куда глаза глядят! И чтоб духу твоего не было за пятьдесят верст от столицы!

– Что?! – воскликнул Анатолий, бледнея. – Нет, я никуда не пойду! Я не могу бросить отца Феофана! Ведь он так болен, за ним уход нужен! Вы же видите, он не может даже ходить!

– Не велено никого с ним пускать! – сурово ответил чиновник и оттолкнул монаха, пытавшегося забраться на повозку. – Отойди, ну! Или хочешь, чтоб тебя отправили обратно в подвал?

– Пустите меня с ним, пустите! Пощадите его! – Анатолий зарыдал. – Ведь он умрет там один! Неужели у вас совсем нет милости?!

Тюремщик нахмурился, но ответить не успел – сзади раздался голос Грамматика:

– Пусти его вместе с Феофаном, господин.

Чиновник обернулся:

– Но, отец Иоанн, господин логофет сказал мне, что Феофана надо посадить в одиночную камеру...

– Господин логофет, – холодно ответил игумен, – кажется, забыл, что государь передал этих иконопочлонников в мое распоряжение, а тюремщики обязаны слушаться меня, и этот приказ пока не отменен. Этот монах пойдет в заключение вместе с Феофаном.

Анатолий прижал к груди руки и сквозь слезы смотрел на Иоанна, словно не понимая, а потом вдруг всхлипнул и поклонился ему до земли со словами:

– Благодарю тебя за эту милость!

Грамматик не ответил, даже не взглянул на монаха – он смотрел на Феофана, который, с трудом приподнявшись на локте, с повозки наблюдал всю эту сцену. Взгляды их встретились на несколько мгновений, Иоанн чуть заметно усмехнулся и, повернувшись, пошел прочь.

– Ну, давай, залезай быстро, ехать надо! – пробурчал чиновник, не глядя на Анатолия.

Елевфериевы тюремщики были не так уж строги, и заключенные могли писать и получать письма. Кормили их тут получше, чем в подвалах Сергие-Вакховой обители, а один сердобольный страж приносил тайком укропно-сельдерейную настойку и миндальное масло для больного, так что Феофан получил облегчение в болезни и через некоторое время смог садиться на постели и даже, с помощью келейника, немного ходить. Потом наступила сырая осень, а за ней – довольно ранняя зима с пронизывающими ветрами. Феофан застудил почки, болезнь снова обострилась, и игумен стал сильно сдавать: больше не вставал с постели, почти ничего не мог есть. Он уже ясно ощущал приближение смерти и готовился к ней постоянной молитвой. В начале февраля один из стражей, передавая узникам еду, шепотом сообщил, что начальник тюрьмы собирается на днях доложить императору о состоянии Феофана.

– Может быть, отче, – с надеждой сказал Анатолий игумену, – император смягчится и позволит тебе вернуться в нашу обитель, чтобы ты скончался там в мире?

– Нет, чадо, нет, – ответил Феофан, едва шевеля губами. – Он не отпустит меня, но сошлет на суровый остров... и там один пресвитер приютит нас...

Действительно, император, узнав о плачевном состоянии узника, сказал:

– Если он всё равно не жалец, то пусть умрет подальше отсюда, чтобы не было никакого шума. А то сейчас появятся «мучениколюбцы», глупые женщины, бродячие монахи, будут просить тело, распускать слухи о «зверствах тюремщиков»... Ни к чему это!

В середине февраля Великопольский игумен был увезен на Самофраки – небольшой каменистый остров в Эгейском море. Там их принял на попечение один местный священник, тайный иконопочитатель, и поселил в своем доме. К ним даже не приставили никакой стражи: было ясно, что Феофан никуда не сможет убежать, да он и не собирался этого делать. Погода стояла очень ветреная, почти каждый день шли дожди, но к концу месяца потеплело, солнце всё чаще проглядывало сквозь тучи, и в хорошую погоду Феофан днем лежал у открытого окна и смотрел на старые платаны во дворе дома, на вершину горы Саоки – царицы острова. Анатолий иногда гулял по окрестностям, как-то набрел на красивый водопад и пожалел, что игумен не может увидеть его. «Впрочем, что это я? – спохватился монах. – Ведь отец уже скоро увидит такие красоты, которых “око не видело”! А я всё развлекаюсь на это земное...» Возвратясь к игумену, он с изумлением увидел, что Феофан сидит на постели с дощечкой на коленях и, положив на нее лист пергамента, что-то пишет. Игумен поднял голову, улыбнулся келейнику и вновь обмакнул перо в стоявшую на столике у кровати чернильницу. Дописав, поставил внизу листа подпись, свернул письмо, протянул Анатолию и сказал:

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.